

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2020

№ 55

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Щербинин А.И.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сукушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Скочилова В.Г.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглезнев В.В.** (Томск, Россия) доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Щербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия), кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сизтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопал Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief
Rykun A.U. (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology)
Shcherbinin A.I. (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science)
Agafonova E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor
Sukhushina E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology)
Skochilova V.G. (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Political Science)
Borisov E.V. (Tomsk, Russia)
Ogleznev V.V. (Tomsk, Russia)
Syrov V.N. (Tomsk, Russia)
Chernikova I.V. (Tomsk, Russia)
Ladov V.A. (Tomsk, Russia)
Uzhaninov K.M. (Tomsk, Russia)
Shcherbinina N.G. (Tomsk, Russia)
Kashpur V.V. (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K.E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Viatkina N.B.** (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M. S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor Rafal** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Lobovikov V.O. Applying Logic to Philosophical Theology: A Formal Deductive Inference of Affirming God's Existence from Assuming the A-Priori-ness of Knowledge in the Sigma Formal Axiomatic Theory.....	5
Анкин Д.В. Конечность, квазиобозримость и два типа логической необходимости.....	13
Николина Н.В. Научные теории: рациональная vs историческая традиции.....	21
Хромченко А.С. Холизм и природа математических объектов.....	29

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Mikhailov I.F. Social Ontology: Time to Compute.....	36
Антух Г.Г., Гукова А.В., Петренко А.Н. Парадокс эго-идентичности: от человека до нации.....	47
Быков А.А., Зейле Н.И. Благотворительность и государственное призвание в России в «бунташном» XVII веке как экзистенциальная проблема.....	59
Гизбрехт Е.С., Тарабанов Н.А. Современный экуменизм и просвещенческий культ разума.....	70
Голдовская А.В. Проблема интеграции людей с особенностями интеллектуального развития в социум: социально-философский анализ.....	78
Львов Д.В. Архетипы в контексте априорного знания и эпистемы.....	89

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Головина Ю.А. А.Ф. Кистяковский о смертной казни и нравственных основаниях государства.....	97
Гончаренко М.В. Конstellация факта в контексте философских концепций Л. Витгенштейна и К. Поппера.....	109
Косарев А.В. Второй этап творчества Р. Бернстайна как критический неопрагматизм.....	118
Целищева О.И. Герменевтика Гадамера в неопрагматизме Рорти: философия как «разговор».....	127
Шахматова Е.В. «Индия-Русь» Н. Клюева как символ всеединства мира.....	138
Яковлев В.В. Наследие советской историографии религиозно-философских идей Джона Толанда.....	149

СОЦИОЛОГИЯ

Lozovskaya K.B., Menshikov A.S., Purgina E.S. "Horizon of the Future": Realities and Aspirations of Top-Ranking BRICS Universities (Analysis of Mission Statements).....	163
Вавилина Н.Д., Ефремова Е.А. Риски личностного развития в образовании.....	175
Вайсбург А.В. Обзор современных электронных количественных опросных методов социологических исследований.....	185
Овчинников А.В., Головашина О.В., Благинин В.С. Культурная память россиян в ситуации миграционных вызовов.....	196
Руденкин Д.В. Полосы политической активности российской молодежи: сравнение активистов провластных и оппозиционных движений.....	203

ПОЛИТОЛОГИЯ

Богдан И.В., Гурылина М.В., Зверев А.Л., Чистякова Д.П. Политическое восприятие системы здравоохранения населением: опыт мониторинговых исследований.....	216
Гришин Н.В. Государственная политика идентичности: новая ставка в политической борьбе?.....	231
Демчук А.Л. Политические аспекты управления международными экологическими конфликтами.....	240

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Касавин И.Т. Этический парадокс науки: между абсолютом и солидарностью.....	249
Столярова О.Е. Призвание ученого в расколдованном и вновь заколдованном мире.....	255
Масланов Е.В. Дар в научном сообществе: к вопросу о производстве разнообразия.....	261
Шибаршина С.В. «Безумный» ученый: теневая сторона научного призвания?.....	266
Антоновский А.Ю. Бойтесь науки, дары приносящей.....	271
Касавина Н.А. Научное призвание как экзистенциальный выбор.....	279
Тухватулина Л.А. Онтологическая безопасность и суррогатное знание: о социальных основаниях недоверия к науке.....	285

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	290
----------------------------------	-----

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Lobovikov V.O. Applying Logic to Philosophical Theology: A Formal Deductive Inference of Affirming God's Existence from Assuming the A-Priori-ness of Knowledge in the Sigma Formal Axiomatic Theory.....	5
Ankin D.V. Limitedness, Quasiobservability, and Two Types of Logical Necessity	13
Nikolina N.V. Scientific Theories: Rational vs Historical Tradition.....	21
Khromchenko A.S. Holism and the Nature of Mathematical Objects	29

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Mikhailov I.F. Social Ontology: Time to Compute	36
Antukh G.G., Gukova A.V., Petrenko A.N. The Paradox of Ego-Identity: from Person to Nation.....	47
Bykov A.A., Zeile N.I. Charity and State Support in Russia in the "Rebellious" 17th Century as an Existential Problem.....	59
Gizbrekht E.S., Tarabanov N.A. Modern Ecumenism and the Cult of Reason of the Enlightenment Period.....	70
Goldovskaya A.V. The Problem of Integrating People with Intellectual Developmental Needs into Society: A Socio-Philosophical Analysis.....	78
Lvov D.V. Archetypes in the Context of A Priori Knowledge and Episteme	89

HISTORY OF PHILOSOPHY

Golovina Yu.A. Alexander Kistiakovski on the Death Penalty and on the Moral Foundations of a Polity	97
Goncharenko M.V. A Constellation of Fact in the Context of the Philosophical Concepts of Ludwig Wittgenstein and Karl Popper.....	109
Kosarev A.V. The Second Period of Richard Bernstein's Work as Critical Neopragmatism	118
Tselishcheva O.I. Gadamer's Hermeneutics in Rorty's Neopragmatism: Philosophy as "Conversation"	127
Shakhmatova E.V. Nikolai Klyuev's "India-Russia" as a Symbol of the Total Unity of the World.....	138
Yakovlev V.V. The Legacy of the Soviet Historiography of John Toland's Religious-Philosophical Ideas	149

SOCIOLOGY

Lozovskaya K.B., Menshikov A.S., Purgina E.S. "Horizon of the Future": Realities and Aspirations of Top-Ranking BRICS Universities (Analysis of Mission Statements).....	163
Vavilina N.D., Efremova E.A. Risks of Personal Development in Education.....	175
Vaisburg A.V. A Review of Modern Electronic Quantitative Survey Methods of Sociological Research	185
Ovchinnikov A.V., Golovashina O.V., Blagin V.S. The Cultural Memory of Russians in the Situation of Migration Challenges	196
Rudenkin D.V. Polarities of Russian Youth's Political Activity: A Comparison of Activists of Pro-Government and Opposition Movements.....	203

POLITICAL SCIENCE

Bogdan I.V., Gurylina M.V., Zverev A.L., Chistyakova D.P. A Political Perception of the Healthcare System: An Experience of a Monitoring Research	216
Grishin N.V. The State Identity Policy: A New Bet in the Political Struggle?.....	231
Demchuk A.L. Political Aspects of the Management of International Environmental Conflicts.....	240

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

Kasavin I.T. The Ethical Paradox of Science: Between the Absolute and Solidarity.....	249
Stoliarova O.E. The Vocation of a Scientist in a Disenchanted and Re-enchanted World.....	255
Maslanov E.V. The Gift in the Scientific Community: On the Issue of Producing Diversity.....	261
Shibarshina S.V. The "Mad" Scientist: The Shadow Side of Scientific Vocation?	266
Antonovskiy A.Yu. Fear Science Bringing Gifts	271
Kasavina N.A. Scientific Vocation as an Existential Choice	279
Tukhvatulina L.A. Ontological Security and Surrogate Knowledge: On the Social Basis of the Distrust of Science.....	285

INFORMATIONS ABOUT THE AUTHORS	290
---	-----

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

УДК 16 + 17 + 2 + 51-7

DOI: 10.17223/1998863X/55/1

V.O. Lobovikov¹

APPLYING LOGIC TO PHILOSOPHICAL THEOLOGY: A FORMAL DEDUCTIVE INFERENCE OF AFFIRMING GOD'S EXISTENCE FROM ASSUMING THE A-PRIORI-NESS OF KNOWLEDGE IN THE SIGMA FORMAL AXIOMATIC THEORY

For the first time a precise definition is given to the Sigma formal axiomatic theory, which is a result of logical formalization of philosophical epistemology; and an interpretation of this formal theory is offered. Also, for the first time, a formal deductive proof is constructed in Sigma for a formula, which represents (in the offered interpretation) the statement of God's Existence under the condition that knowledge is a priori.

Keywords: formal axiomatic epistemology theory; two-valued algebra of formal axiology; formal-axiological equivalence; a-priori knowledge; existence of God.

1. Introduction

Since Socrates, Plato, Aristotle, Stoics, Cicero, and especially since the very beginning of Christianity philosophy, the possibility or impossibility of logical proving God's existence has been a nontrivial problem of philosophical theology. Today the literature on this topic is immense. However, even in our days, the knotty problem remains unsolved as all the suggested options of solving it are controversial from some point of view.

Some respectable researchers (let us call them "pessimists") believed that the *logical proving* of God's existence in theoretical philosophy was impossible on principle, for instance, Occam, Hume [1], and Kant [2] believed that any *rational theoretic-philosophy proof* of His existence was a mistake (illusion), consequently, a search for the *logical proving* of His existence was wasting resources and, hence, harmful; only *faith* in God was relevant and useful; reason was irrelevant and useless. At the very beginning of the 21st century, a theoretically interesting discourse of impossibility to demonstrate logically the existence of a Deity was developed at the level of contemporary symbolic logic and set theory by Bocharov and Yuraski-

¹ Автор: В.О. Лобовиков.

Название статьи: Приложение логики к философской теологии: формальный дедуктивный вывод утверждения о бытии Бога из допущения априорности знания в формальной аксиоматической теории Сигма.

Аннотация. Впервые дается точное определение формальной аксиоматической теории Сигма, являющейся результатом логической формализации философской эпистемологии, и предлагается интерпретация этой формальной теории. Также впервые в теории Сигма конструируется формальное дедуктивное доказательство такой формулы, которая, при условии принятия допущения об априорности знания, представляет собой (в указанной интерпретации) утверждение о бытии Бога.

Ключевые слова: формальная аксиоматическая теория эпистемологии; двужначная алгебра формальной аксиологии; формально-аксиологическая эквивалентность; априорное знание; бытие Бога.

na [3]. Their attitude to the faith-reason-problem was an *inverted* and modernized one of Tertullian [4]. Their attitude was an *inverted* one (*in relation to Tertullian*) because they rejected resolutely his maxim “*Credo quia absurdum est*”, but, being his worldview-opponents in relation to Faith, they agreed with Tertullian’s statement that Reason and Faith were absolutely separated. As to the possibility of logical proving God’s existence, Bocharov and Yuraskina were pessimists owing to their belief in the possibility of logical proving the impossibility of God’s existence. In this concrete relation, Bocharov and Yuraskina, who have manifestly called themselves “convinced atheists” [3. P. 3], belong to the pessimists who think (together with Tertullian) that faith and reason are absolutely incompatible. According to some non-atheist-minded but *sincerely religious* representatives of the pessimists, looking for a perfect proof of God’s existence is exposing the nonexistence of faith in His existence, i.e. exposing atheism.

However, some other eminent thinkers (let us call them “optimists”) believed that, on principle, the *logical proving* statement of God’s existence *within rational theoretic philosophy* was possible and compatible with faith, namely: St. Anselm [5]; St. Thomas Aquinas [6–8]; Descartes [9–11]; Spinoza [12]; Leibniz [13, 14]; Gödel [15, 16]; Plantinga [17]; consequently, a search for the logical proving of His existence could be successful and useful; therefore, expending some limited resources for the search was worth undertaking. Equipped with the concrete logic tools available at their time, optimists attempted to invent (construct) a perfect logical proof of God’s existence within some rational philosophical theology doctrine and thus to establish a perfect harmony of faith and reason. Before the 20th century, all the attempts were accomplished by means of natural language and traditional (not-mathematized) classical formal logic. In the 20th century, Gödel [15] made an original attempt to apply *artificial language* and *modern symbolic logic* machinery for creating a *formal deductive proof* of God’s existence. This formal deductive proof initiated an interesting discussion [17]. Plantinga’s applying modal logic to the problem is also worth mentioning here. A noteworthy critical analysis of Plantinga’s modalizing the ontological argument is made in Gorbatova’s publications and in her interesting dissertation [18]. A systematical critique of all the hitherto invented ontological arguments is given by Lewis [19] and Sobel [20]. A respectable survey of the theoretically significant literature on the theme is done by Oppy [21].

With respect to both sides: the pessimists and the optimists, in the present article I would like to take part in discussing the nontrivial problem. Below I will be writing within the paradigm of the optimists. However, in this article, the optimistic paradigm has undergone a significant modification, as the conceptual apparatus exploited for the deductive logical proving of God’s existence differs much from the one used by the overwhelming majority of the optimists hitherto. I mean systematical exploiting (1) two-valued algebra of formal axiology [22–24] and (2) a formal axiomatic epistemology theory Σ (Sigma) to be precisely defined for the first time below in the article. Hereafter the terms “proof” and “theorem” are used in the special meanings which have been defined in the 20th-century mathematical logic by the formalists (D. Hilbert et al). Gödel’s famous proof of God’s existence is a representative example of the systematical usage of the terms “proof” and “theorem” in the indicated formalistic meanings. In the present article, I shall use these terms in the formalistic meanings as well. Namely, by definition, a proof of a

formula as a theorem in an axiomatic theory is such a finite succession of formulae of the theory, in which (succession) any formula belonging to the succession is (1) either an axiom of the theory or (2) obtained from previous formulae of the succession by an inference-rule of the theory.

Within the hitherto not considered formal axiomatic theory Σ , below a *formal deductive proof of formula* ($Aa \supset [Dx]$) as a theorem in Σ is constructed for the first time. The article gives such an interpretation of the formal axiomatic epistemology theory Σ , in which the formula $[Dx]$ of Σ represents the famous theology *tenet of God existence*. According to the given interpretation, the formula Aa represents the *assumption of a-priori-ness of knowledge*. In the interpretation under discussion, “ \supset ” is “classical (material) implication”. Formally to prove that ($Aa \supset [Dx]$) is a theorem in Σ and to attentively examine the proof, it is indispensable to have exact definitions of the terms involved into the discourse. Therefore, let us start with submitting precise definitions of the notions relevant to the case.

2. A Precise Definition of the Formal Axiomatic Epistemology Theory Σ

Section 2 of this article is aimed at acquainting the reader with the rigorous formulation of the formal axiomatic epistemology theory Σ , which is a result of a further development (complementing substantially) the axiomatic epistemology system Ξ originally submitted in [25, 26].

According to the definition, the logically formalized axiomatic epistemology system Σ contains all symbols (of the alphabet), expressions, formulae, axioms, and inference-rules of the formal axiomatic epistemology theory Ξ [25; 26] which is based on the classical propositional logic. But in Σ several significant aspects are added to the formal theory Ξ .

As a result of these additions, the alphabet of Σ 's object-language is defined as follows:

- 1) propositional letters q, p, d, \dots are symbols belonging to the alphabet of Σ ;
- 2) logic symbols $\neg, \supset, \leftrightarrow, \&, \vee$ called “classical negation”, “material implication”, “equivalence”, “conjunction”, “not-excluding disjunction”, respectively, are symbols belonging to Σ 's alphabet;
- 3) technical symbols “(” and “)” belong to Σ 's alphabet;
- 4) *axiological variables* x, y, z, \dots are symbols belonging to Σ 's alphabet;
- 5) symbols “g” and “b” called *axiological constants* belong to the alphabet of Σ ;
- 6) *axiological-value-functional symbols* $A_k^n, B_i^n, C_j^n, D_m^n, J, N, D, I, L, \dots$ belong to the alphabet of Σ . The upper number index n informs that the indexed symbol is n -placed one. Nonbeing of the upper number index informs that the symbol is determined by one axiological variable. The value-functional symbols may have no lower number index. If lower number indexes are different, then the indexed functional symbols are different ones.
- 7) symbols “[” and “]” belong to the alphabet of Σ ;
- 8) an unusual artificial symbol “=+=” called “*formal-axiological equivalence*” belongs to the alphabet of Σ ;
- 9) a symbol belongs to the alphabet of object-language of Σ , if and only if this is so owing to the above-given items 1) – 7) of the present definition.

A finite succession of symbols is called an *expression* in the object-language of Σ , if and only if this succession contains such and only such symbols which belong to the above-defined alphabet of Σ 's object-language.

Now let us define precisely the general notion "term of Σ ":

1) the *axiological variables* x, y, z, \dots (from the above-defined alphabet) are terms of Σ ;

2) the *axiological constants* "g" and "b", belonging to the alphabet of Σ , are terms of Σ ;

3) If F_k^n is an *n-placed axiological-value-functional symbol*, and t_1, \dots, t_n are terms (of Σ), then $F_k^n t_1, \dots, t_n$ is a term (compound one) of Σ (here it is worth remarking that symbols t_1, \dots, t_n belong to the meta-language, as they stand for *any* term of Σ ; the analogous remark may be made in relation to the symbol F_k^n);

4) An expression in language of Σ is a term of Σ , if and only if this is so owing to the above-given items 1) – 3) of the present definition.

Now let us agree that in the present article symbols $\alpha, \beta, \omega, \pi, \dots$ (belonging to meta-language) stand for *any* formulae of Σ . By means of this agreement the general notion "formulae of Σ " is defined precisely as follows.

1) All the above-mentioned propositional letters q, p, d, \dots are formulae of Σ .

2) If α and β are formulae of Σ , then all such expressions of the object-language of Σ , which possess logic forms $\neg\alpha, (\alpha \supset \beta), (\alpha \leftrightarrow \beta), (\alpha \& \beta), (\alpha \vee \beta)$, are formulae of Σ as well.

3) If t_i and t_k are terms of Σ , then $(t_i = t_k)$ is a formula of Σ .

4) If t_i is a term of Σ , then $[t_i]$ is a formula of Σ .

5) If α is a formula of Σ , then $\Psi\alpha$ is a formula of Σ as well.

6) Successions of symbols (belonging to the alphabet of the object-language of Σ) are formulae of Σ , if and only if this is so owing to the above-given items 1) – 5) of the present definition.

The symbol Ψ belonging to meta-language stands for any element of the set of modalities $\{\square, K, A, E, S, T, F, P, Z, G, W, O, B, U, Y\}$. Symbol \square stands for the alethic modality "necessary". Symbols K, A, E, S, T, P, Z , respectively, stand for modalities "agent knows that...", "agent *a-priori* knows that...", "agent *a-posteriori* knows that...", "under some conditions in some space-and-time a person (immediately or by means of some tools) *sensually perceives* (has *sensual verification*) that...", "it is *true* that...", "person *believes* that...", "it is *provable* that...", "there is an *algorithm* (a machine could be constructed) for *deciding* that...".

Symbols G, W, O, B, U, Y , respectively, stand for modalities "it is (*morally*) good that...", "it is (*morally*) wicked that...", "it is *obligatory* that ...", "it is *beautiful* that ...", "it is *useful* that ...", "it is *pleasant* that ...". Meanings of the mentioned symbols are defined by the following schemes of own-axioms of epistemology system Σ which axioms are added to the axioms of classical propositional logic. Schemes of axioms and inference-rules of the classical propositional logic are applicable to all formulae of Σ .

Axiom scheme AX-1: $A\alpha \supset (\square\beta \supset \beta)$.

Axiom scheme AX-2: $A\alpha \supset (\square(\alpha \supset \beta) \supset (\square\alpha \supset \square\beta))$.

Axiom scheme AX-3: $A\alpha \leftrightarrow (K\alpha \& (\square\alpha \& \square\neg S\alpha \& \square(\beta \leftrightarrow \Omega\beta)))$.

Axiom scheme AX-4: $E\alpha \leftrightarrow (K\alpha \& (\neg\square\alpha \vee \neg\square\neg S\alpha \vee \neg\square(\beta \leftrightarrow \Omega\beta)))$.

Axiom scheme AX-5: $(\Box\beta \ \& \ \Box\Omega\beta) \supset \beta$.

Axiom scheme AX-6: $(t_i = + = t_k) \leftrightarrow (G[t_i] \leftrightarrow G[t_k])$.

Axiom scheme AX-7: $(t_i = + = g) \supset G[t_i]$.

Axiom scheme AX-8: $(t_i = + = b) \supset W[t_i]$.

Axiom scheme AX-9: $G\alpha \supset \neg W\alpha$.

Axiom scheme AX-10: $(W\alpha \supset \neg G\alpha)$.

In AX-3 and AX-4, the symbol Ω (belonging to the meta-language) stands for any element of the set $\mathfrak{R} = \{\Box, K, T, F, P, Z, G, O, B, U, Y\}$. Let elements of \mathfrak{R} be called “*perfection-modalities*” or simply “*perfections*”.

The axiom-schemes AX-9 and AX-10 are not new in evaluation logic: one can find them in Ivin’s famous monograph [27]. But axiom-schemes AX-5–AX-8 are perfectly new: they have not been published hitherto.

3. Defining Semantics of/for Σ

Meanings of the symbols belonging to the alphabet of the object-language of Σ owing to items 1–3 of the above-given definition of the alphabet are defined by classical propositional logic.

Axiological variables x, y, z, \dots range over (take their values from) such a set Δ , every element of which has: (1) one and only one *axiological value* from the set {good, bad}; (2) one and only one *ontological value* from the set {exists, not-exists}.

Axiological constants “g” and “b” mean, respectively, “good” and “bad”.

N-placed terms of Σ are interpreted as n-ary algebraic operations (n-placed evaluation-functions) defined on the set Δ .

Speaking of *evaluation-functions* means speaking of the following mappings (in the proper mathematical meaning of the word “mapping”): $\{g, b\} \rightarrow \{g, b\}$, if one speaks of the evaluation-functions determined by *one* evaluation-variable; $\{g, b\} \times \{g, b\} \rightarrow \{g, b\}$, where “ \times ” stands for the Cartesian product of sets, if one speaks of the evaluation-functions determined by *two* evaluation-variables; $\{g, b\}^N \rightarrow \{g, b\}$, if one speaks of the evaluation-functions determined by *N* evaluation-variables, where *N* is a finite positive integer.

If t_i is a term of Σ , then formula $[t_i]$ of Σ means *either true or false proposition* “ t_i exists”. The proposition $[t_i]$ is true if and only if t_i has the ontological value “exists”.

The formula $(t_i = + = t_k)$ of Σ is translated into natural language by the proposition “ t_i is *formally-axiologically equivalent* to t_k ”, whose proposition is true if and only if the terms t_i and t_k have identical *axiological values* from the set {good, bad} under any possible combination of *axiological values* of their *axiological variables*.

The one-placed term Dx is interpreted in this article as *one-placed evaluation-function* “*God of* (what, whom) x *in a monotheistic world-religion*”. This function is precisely defined by the following evaluation-table 1.

Table 1. One-placed evaluation-functions

x	Jx	Nx	Dx	Ix	Lx	Ax
g	g	b	g	g	b	b
b	b	g	g	b	g	b

In the above evaluation-table 1, the symbol Jx stands for the evaluation-function “*being (existence), life of* (what, whom) x ”. Nx stands for the evaluation-function “*non-being (nonexistence), death of* (what, whom) x ”. Dx stands for the

evaluation-function “*God of (what, whom) x in monotheistic world-religion*”. I_x stands for the evaluation-function “*deity of (what, whom) x in polytheistic local (pagan, heathen) religion*”. L_x means the evaluation-function “*daemon of x in polytheistic local (pagan, heathen) religion*”. A_x – “*Anti-God (God’s Enemy) of (what, whom) x in monotheistic world religion*”.

4. Formal Proving ($A\alpha \supset [Dx]$) in Σ

The proof of ($A\alpha \supset [Dx]$) in Σ is the following succession of formulae.

- 1) $(Dx = + = g) \supset G[Dx]$ by substituting Dx for t_i in axiom-scheme AX-7.
- 2) $(Dx = + = g)$ by the formal-axiological definition of God as *absolute goodness*.
- 3) $G[Dx]$ from 1 and 2 by *modus ponens*.
- 4) $A\alpha \leftrightarrow (K\alpha \ \& \ (\Box\alpha \ \& \ \Box\neg S\alpha \ \& \ \Box([Dx] \leftrightarrow G[Dx])))$ by: substituting G for Ω ; and substituting $[Dx]$ for β in AX-3.
- 5) $A\alpha \supset (K\alpha \ \& \ (\Box\alpha \ \& \ \Box\neg S\alpha \ \& \ \Box([Dx] \leftrightarrow G[Dx])))$ from 4 by the rule of elimination of \leftrightarrow .
- 6) $A\alpha$ assumption.
- 7) $K\alpha \ \& \ (\Box\alpha \ \& \ \Box\neg S\alpha \ \& \ \Box([Dx] \leftrightarrow G[Dx]))$ from 5 and 6 by *modus ponens*.
- 8) $\Box([Dx] \leftrightarrow G[Dx])$ from 7 by the rule of elimination of $\&$.
- 9) $[Dx] \leftrightarrow G[Dx]$ from 8 by the rule of elimination of \Box .
- 10) $G[Dx] \supset [Dx]$ from 9 by the rule of elimination of \leftrightarrow .
- 11) $[Dx]$ from 3 and 10 by *modus ponens*.
- 12) $A\alpha \mid\text{---} [Dx]$ by the above formula-succession 1—11.
- 13) $\mid\text{---} (A\alpha \supset [Dx])$ from 12 by the rule of introduction of \supset .

Here you are.

5. Discussing the Theorem and Arriving to the Conclusion

Hume [1. P. 372–378] undertook a systematical critique of all possible *a priori* arguments demonstrating rational-philosophy statement of the existence of a Deity. In relation to his negating the *a priori* arguments *in general*, the result obtained above in the present article is a counter-example; at least some of the *a priori* arguments can be valid. In the above-defined interpretation of Σ , the theorem ($A\alpha \supset [Dx]$) formally proved in Σ means that *if agent a-priori knows that α* , then God exists. Thus, in the present article *existence of God is formally proved* within the *homogeneous* system of *a-priori knowledge exclusively*. Talks of *facts (=contingent truths)* and *empirical* arguments are not involved into the discourse of God’s being. This means that in the present article an abstraction from the empirical aspect of the problem under discussion is accepted and, consequently, the significance of the result obtained in this article is limited. Nevertheless, the above-submitted formal deductive inference is interesting theoretically and worth discussing among specialists with a view for further developing the analytic trend in philosophical theology investigations.

References

1. Hume, D. (1996) *Malye proizvedeniya* [Small Works]. Translated from English. Moscow: KANON. pp. 297–426.

2. Kant, I. (1994) *The Critique of Pure Reason*. In: Adler, M. (ed.) *Great Books of the Western World*. Vol. 39. Chicago; Auckland; London; Madrid: Encyclopaedia Britannica.
3. Bocharov, V.A. & Yuraskina, T.I. (2003) *Bozhestvennyye atributy* [Divine Attributes]. Moscow: Moscow State University.
4. Tertullian, Q.S.F. (2015) *On the Flesh of Christ*. Savage, Minnesota: Lighthouse Christian Publishing.
5. St. Anselm of Canterbury. (1998) *The Major Works*. Oxford: Oxford University Press.
6. Aquinas St. Thomas. (1975) *Summa contra Gentiles*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
7. Aquinas St. Thomas. (1994) *The Summa Theologica*. Vol. 1. In: Adler, M. (ed.) *Great Books of the Western World*. Vol. 17. Chicago; Auckland; London; Madrid: Encyclopaedia Britannica, Inc.
8. Aquinas St. Thomas. (1994) *The Summa Theologica*. Vol. II. In: Adler, M. (ed.) *Great Books of the Western World*. Vol. 18. Chicago; Auckland; London; Madrid: Encyclopaedia Britannica, Inc.
9. Descartes, R. (1994a) *Meditations on First Philosophy*. In: Adler, M. (ed.) *Great Books of the Western World*. Vol. 28. Chicago; Auckland; London; Madrid: Encyclopaedia Britannica. pp. 295–329.
10. Descartes, R. (1994b) *Objections against the Meditations, and Replies*. In: Adler, M. (ed.) *Great Books of the Western World*. Vol. 28. Chicago; Auckland; London; Madrid: Encyclopaedia Britannica. pp. 330–519
11. Descartes, R. (1994c) *Discourse on the Method of Rightly Conducting the Reason*. In: Adler, M. (ed.) *Great Books of the Western World*. Vol. 28. Chicago; Auckland; London; Madrid: Encyclopaedia Britannica. pp. 265–291.
12. Spinoza, B. (1994) *Ethics*. In: Adler, M. (ed.) *Great Books of the Western World*. Vol. 28. Chicago; Auckland; London; Madrid: Encyclopaedia Britannica. pp. 589–697.
13. Leibniz, G.W.F. (1996) *New Essays on Human Understanding*. Translated from German by P. Remnant and J. Bennett. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
14. Leibniz, G.W.F. (1952) *Theodicy: Essays on the Goodness of God, the Freedom of Man, and the Origin of Evil*. London: Routledge and Kegan Paul.
15. Gödel, K. (1995) *Collected Works*. Vol. 3. New York; Oxford: Oxford University Press.
16. Świętorzecka, K. (ed.) (2016) *Gödel's Ontological Argument: History, Modifications, and Controversies*. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Semper.
17. Plantinga, A. (1974) *The Nature of Necessity*. Oxford: Clarendon Press.
18. Gorbatova, Yu.V. (2012) *Logiko-ontologicheskie osnovaniya sovremennoy analiticheskoy teologii (na materiale kontseptsii Alvina Plantingi)* [Logical and ontological foundations of contemporary analytical theology (instantiated by Alvin Plantinga conception)]. PhD dissertation. Moscow: HSE.
19. Lewis, D. (1970) *Anselm and Actuality*. *Noûs*. 4. pp. 175–88.
20. Sobel, J. (2004) *Logic and Theism*. New York: Cambridge University Press.
21. Oppy, G. (2019) *Ontological Arguments*. In: Zalta, N. (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. [Online] Available from: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/ontological-arguments/> (Accessed: 11th November 2019).
22. Lobovikov, V. (2015) *The Trinity Triangle and the Homonymy of the Word "Is" in Natural Language (A Logically Consistent Discrete Mathematical Representation of the Trinity by Means of Algebra of Morality and Formal Ethics)*. *Philosophy Study*. 5(7). pp. 327–341. DOI: 10.17265/2159-5313/2015.07.001
23. Lobovikov, V. (2018) *Vindicating Gödel's Uniting Logic, Metaphysics and Theology (God's omnipresence proved by computing compositions of evaluation-functions in two-valued algebra of metaphysics as formal axiology)*. *Proceedings of the Round Table "Religion and Religious Studies in the Urals"*. Ekaterinburg: Delovaya Kniga. pp. 33–36.
24. Lobovikov, V. (2019) *Analytical Theology: God's Omnipotence as a Formal-Axiological Law of the Two-Valued Algebra of Formal Ethics (Demonstrating the Law by "Computing" Relevant Evaluation-Functions)*. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 1(47). pp. 87–93. DOI: 10.17223/1998863X/47/9
25. Lobovikov, V. (2018) *Proofs of Logic Consistency of a Formal Axiomatic Epistemology Theory Ξ , and Demonstrations of Improvability of the Formulae $(Kq \rightarrow q)$ and $(\Box q \rightarrow q)$ in It*. *Journal of Applied Mathematics and Computation*. 2(10). pp. 483–495. DOI: 10.26855/jamc.2018.10.004
26. Lobovikov, V. (2019) *A model \Sigma for the theory \Ksi*. *Formal Methods and Science in Philosophy III*. Abstracts of the International conference. Dubrovnik, Croatia. April 11–13, 2019. Institute of Philosophy, Zagreb. pp. 19–20.

27. Ivin, A.A. (1970) *Osnovaniya logiki otsenok* [Foundations of Evaluation Logic]. Moscow: Moscow State University.

Vladimir O. Lobovikov, Institute of Philosophy and Law, the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: vlobovikov@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 5–12.

DOI: 10.17223/1998863X/55/1

APPLYING LOGIC TO PHILOSOPHICAL THEOLOGY: A FORMAL DEDUCTIVE INFERENCE OF AFFIRMING GOD'S EXISTENCE FROM ASSUMING THE A-PRIORI-NESS OF KNOWLEDGE IN THE SIGMA FORMAL AXIOMATIC THEORY

Keywords: formal-axiomatic-epistemology-theory; two-valued-algebra-of-formal-axiology; formal-axiological-equivalence; a-priori-knowledge; existence-of-God.

The article deals with applying contemporary philosophical logic (the mathematized one) to analytic theology. A significantly novel machinery for a logical analysis of philosophical theology problems, namely, a formal-axiomatic-epistemology-theory Sigma, is introduced, defined, and exploited systematically. Definitions of Sigma's artificial-language-alphabet, terms, formulae, and axioms are somewhat unusual. Exact defining Sigma's semantics is unusual as well. These substantial novelties give quite a new possibility to logically prove God's existence under the condition that all the knowledge involved into discourse is an a priori one. In the present article, the mentioned formal proof is constructed within Sigma according to the formal-derivation-rules, and interpreted according to the mentioned semantics of Sigma's artificial language. Sigma is a result of a logical formalization of philosophical epistemology: that is why the exotic epistemic modality "agent *a-priori* knows that q" is involved into the discourse. The contrary epistemic modality "agent *a-posteriori* knows that q" is also included into Sigma and defined by its axiom-schemes; but, in this article, the author accepts an abstraction from *empirical* knowledge (agent knows that q *from experience*). Thus, the statement of God's existence is proved only within the a-priori-knowledge subsystem of the axiomatic theory under investigation. Although the scope of this result is limited, it is worth discussing among specialists. In contrast with the well-known "ontological arguments", the substantially new option of the formal-logical proof of God's existence given in the article may be called either a "formal-epistemological argument" or a "formal-axiological argument" because two-valued algebra of formal axiology is essentially exploited in it. The formal axiomatic epistemology theory Sigma synthesizes many qualitatively different modalities: alethic, epistemic, deontic, evaluative (axiological), etc. Axiological modalities "good" and "bad" are especially important in this article, since God is absolute goodness; He is necessarily good. Thus, axiological, alethic, and epistemic notions make up a synthesis explicated in this article by the Sigma formal axiomatic theory and interpreted according to the mentioned semantics of Sigma's artificial language.

УДК 165.0

DOI: 10.17223/1998863X/55/2

Д.В. Анкин

КОНЕЧНОСТЬ, КВАЗИОБОЗРИМОСТЬ И ДВА ТИПА ЛОГИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Проводится сопоставление идей логического всеведения и интеллектуальной конечности познающего. Проводится противопоставление между чисто логическим a priori и концептуальным (или содержательным) a priori. Недостижимые возможные миры, мыслимые агентом, характеризуются через понятие квазиобозримости. Анализируются формально и концептуально противоречивые типы квазиобозримости. Показана зависимость онтологии от границ и языка познающего агента.

Ключевые слова: апостериорная необходимость, логическое всеведение, мыслимое и возможное, квазиобозримость, концептуальное (содержательное) a priori.

1. Лейбниц и Китай: возможное в контексте божественного всеведения

У читателя может возникнуть вопрос: почему в подзаголовке появились Лейбниц и Китай? Это не более чем мои образы, метафоры. Мы не будем рассматривать влияние китайской культуры на Лейбница, который ею действительно интересовался. Данные образы всего лишь выражают идею *логического всеведения* (данная метафора широко используется в логической литературе вслед за Я. Хинтикой [1]), персонализируемую в лице Лейбница и аналогичную, по моему мнению, некоторым аспектам культуры древнего Китая.

Я бы сравнил функции логиков в нашем познании с функциями пограничников в государстве, но государстве особенном. Логика чем-то напоминает мне Древний Китай, огороженный Великой Китайской Стеной, многие бойницы которой смотрели не вовне, а внутрь самого Китая. Охрана Великой Стены имела предписание стрелять не только по внешним врагам, но и по собственным подданным, нарушающим закон, пытающимся перейти (и / или перенести что-либо) во внешнее пространство.

Подобным образом и логики понимают, что за границами логически корректного ничего нет, и обязаны наказывать тех, кто не понимает этого. Логика предназначена, прежде всего, для компенсации *конечности* нашего интеллекта, поэтому подобна «костылям», предназначенным для компенсации передвижения людей с ограниченными возможностями. Логика защищает нас только от нас самих.

Всякий, полагающий, что за границами логики что-то имеется, есть «опасный шпион» несуществующего и ошибочного. Наш интеллект ограничен, конечен, и при приближении к собственным границам ему свойственно *ошибаться*. Считать же ошибку правильным рассуждением и *настаивать* на этом равняется попытке мыслить о немислимом, подобное поведение, согласно нашим метафорам, аналогично попытке вырваться за «Великую Сте-

ну» возможных миров (в дальнейшем ВМ. – Д.А.), за которой, как мы уже отмечали, ничего на самом деле нет.

Наши идеи о предназначении логики и математики в какой-то степени возникли вслед за прочтением веселых диалогов математика Ларса Гординга [2], который говорит о ненужности, второстепенности математики для Бога. Бесконечному интеллекту было бы нечего вычислять и доказывать, так как для Него невозможно совершать ошибочные переходы от истинных посылок к ложным заключениям, так как последние являются для Него утверждениями, не требующими никакого доказательства или обоснования, поскольку уже известны Ему *непосредственно* (в силу всеведения).

Можно интерпретировать вышесказанное чуть иначе. Используя категорию ВМ Лейбница, можно сказать, что бесконечный интеллект *интуитивно* знает, что за границами ВМ ничего не имеется (нет даже «Ничто!»). Поэтому бесконечному интеллекту все наши значки и прочие символы совершенно ни к чему, он и без них все о всех ВМ знает. Например, он знает, который из ВМ самый лучший (благой, когерентный и т.д.).

Логически возможное *в классическом смысле* зависит от предположения о бесконечном интеллекте. Классическая логика строится как тень бесконечного интеллекта, конструируемого эпистемическим агентом. Конечные агенты, несмотря на всю свою конечность, *вынуждены* придумать логическое всеведение.

Бесконечному интеллекту не нужны ни логика, ни математика, так как они ничего нового не могут добавить к уже имеющимся у него знаниям. Логик необходим лишь для нашего *конечного* интеллекта, он сопровождает наш ограниченный интеллект, чтобы помочь ему в диагностировании *отдаленных* от нашей интуиции ВМ. И логик может сделать это только искусственным и опосредованным образом, с помощью *специальных значков* и символов, выступающих инструментами нашей конечной мысли. Логика никогда не сойдет со своих символических «костылей» – значков, символов, в которых и воплощается вся ее сущность.

В то же время логическая экзекуция оказывается самой толерантной из дисциплинарных экзекуций. Почему? Потому что чисто логическая необходимость (на основе принципа непротиворечия) достаточно узка, а логическая возможность (на основе непротиворечия) достаточно широка, в силу чего логика максимально толерантна к *возможным* конструкциям нашей мысли (о чем говорилось выше). Я подозреваю даже, что *чистая* логика не возражает и против «деревянного железа», «круглых квадратов» и прочих подозрительных сущностей, поскольку признание их логической противоречивости всегда имеет *условный* характер, так как требует введения каких-то *нелогических* постулатов – например, что дерево не металл, что фигуры планиметрии однозначно заданы сторонами и т.д. По-видимому, запретная область бессмысленного, с которым следует бороться, оказывается гораздо богаче, чем это можно увидеть в рамках чистой логики.

Категория ВМ делает необходимость более широкой, чем чисто логическая необходимость, так как может включать какие-то нелогические постулаты относительно объектов исходного языка. Более широкая необходимость, характерная для области семантики ВМ, одновременно делает область возможного *более узкой* (и менее «толерантной!»), чем в чистой логике, запре-

шая все те же круглые квадраты, деревянное железо и прочие сущности (допустимые с точки зрения чистой логики). Это происходит за счет того, что универсум ВМ всегда есть универсум некоторого заданного языка, со всеми его нелогическими аспектами и условиями.

Таким образом, если ВМ необходимо зависят от некоторого языка, эта зависимость вносит в чистую логику дополнительные *концептуальные* ограничения¹, определяемые исходным языком, который должен пониматься нами как *случайное a priori*, аналогичное априорности утверждения об эталонном метре (Витгенштейн, Крипке). Тем не менее «толерантность» логики ВМ еще достаточно велика – могут допускаться урановые горы, люди ростом в километр и прочие подозрительные конструкции нашего ума, которые придется в подобном случае устранять уже иными, более сильными средствами, чем даже семантика ВМ. А для этого необходимо покинуть и логику, и семантику, чтобы обратиться к иным, еще более (чем в семантике ВМ) содержательным ограничениям сферы возможного.

Итак, если бы интеллект не имел границ, то для такого интеллекта не имела бы никакого смысла ни логика, ни математика. Все ВМ бесконечным интеллектом изначально представлены, вместе с их самыми отдаленными следствиями («отдаленными», с нашей точки зрения, как существ конечных, поскольку бесконечность не знает ни дальше, ни ближе). Логика и математика являются «костылями», т.е. *инструментами* нашей конечности, необходимыми для компенсации ограничений нашей техники рассуждения и / или расчета. Инструменталистская интерпретация позволяет рассматривать логику и математику независимо от их нормативных или дескриптивных функций.

Очевидно, что истины факта для бесконечного интеллекта не нужны. Всякий индивидуальный факт или событие дан(о) бесконечному интеллекту априорно, апостериорного же для него просто не существует. Поскольку бытие (наличие) всякой *апостериорной истины* производно от нашей эпистемической *конечности*, постольку апостериорное оказывается по одну сторону с невозможными, но мыслимыми объектами!

Это только для конечного интеллекта существует разрыв между прагматикой и семантикой, между уместным и возможным; для бесконечного же интеллекта *горизонт возможного* (семантика) сливается с *горизонтом уместного* (прагматика). Разделения *семантики и прагматики* для бесконечного интеллекта не существует, остается лишь чистая семантика, прагматика же возможна *только* для конечных существ, признающих «истины факта» с их апостериорными принципами и законами.

Если мы определяем необходимость и возможность на основе закона запрещения противоречия, то для необходимости это будет очень узким, а для возможности – очень *широким* определением. В рамках подобных классических определений даже разговор о «круглых квадратах» не будет содержать какого-либо противоречия. Противоречивость «круглых квадратов» проявляется только тогда, когда мы дополнительно ограничиваем логически возможное посредством каких-то *нелогических* постулатов. Например, аксиомами *некоторой геометрии*, которые выводят нас за рамки чистой логики.

¹ Из авторов, разграничивающих чисто логическое и концептуальное, можно назвать Д. Левина [3].

В априорных дисциплинах, которые несводимы к логике, мы находим содержательное, *концептуальное* (поскольку оно детерминировано некоторым языком данных дисциплин) а priori. Это а priori может быть как необходимым а priori, которое имеется в математике, так и случайным концептуальным а priori некоторых, несводимых к математике и логике, формальных дисциплин (например, грамматики). Представляется, что и философия располагается здесь же, в области концептуального и случайного а priori.

2. Полиция внутреннего пространства: апостериорное знание и содержательное (концептуальное) а priori

Вернемся в наш «Китай». Кто же более нетерпим к нашим ошибкам и заблуждениям, чем логики? Кто же инспектирует *внутреннюю* область нашего государства ВМ? Переходя к области *апостериорного*, мы расстаемся с логиками и семантиками и попадаем в руки внутренней полиции в лице представителей конкретных дисциплин, впереди которых идут представители естественных наук.

(1) Возможно ли через секунду переместится в галактику Андромеды, а через две секунды вернуться к себе на кухню?

(2) Возможно ли иметь рост в один километр?

(3) Возможно ли встретить гору из урана?

Все названные, описываемые данными высказываниями положения дел являются *логически возможными*. В то же время, будучи логически возможными, положения дел (1) и (3) невозможны *согласно* имеющимся законам физики, а (2) невозможно *согласно* имеющимся законам биологии.

Однако ошибочно говорить о «физически невозможном», «биологически невозможном» и т.п. Приведенные выражения не более чем метафоры, так как физики, биологи и прочие честные ученые всегда готовы к *пересмотру собственных законов*, если последние окажутся ложными. Физически необходимого, биологически необходимого и тому подобного поэтому не бывает. Апостериорно необходимого – в смысле необходимого для конкретных наук – *не существует*.

Например, скорость света не может быть превышена не с точки зрения науки физики (фундаментальные константы *могут* быть иными), а с точки зрения догматичных метафизиков, подобных сторонникам антропного принципа. Сторонники антропного принципа «знают» подлинную сущность «действительного мира», как это и положено настоящему метафизику (гипостазирование апостериорного + редукция эпистемически возможного). Не стоит гипостазировать метафизическое в качестве некоторого загадочного а posteriori, и значит, ошибочно говорить об *апостериорной необходимости*. Термин «метафизическая необходимость» того же С. Крипке гораздо более корректен, чем термин «апостериорная необходимость».

Получается, что классическая логика допускает существование слишком многого, и кое-что из допускаемого может оказаться невозможным в опыте с точки зрения тех или иных наук. В области возможного нет более свободных, менее принуждающих ограничений, чем ограничения классической логики. Поэтому всякий разговор о том, что логика в чем-то нас ограничивает, ущемляет нашу свободу, абсурден (впрочем, аналогично разговору об ограничениях нашей свободы со стороны физики, биологии и т.д.).

Неужели логика настолько толерантна к нашим самым произвольным измышлениям? Что же тогда делают логики, если допускают подобную «вседозволенность» в области возможных событий? Где же их строгость и контроль? Как мы уже видели, на помощь к нашим логикам-пограничникам приходит внутренняя полиция, распоряжающаяся областью *апостериорного* – физики, биологии, социологии и т.д. Однако самое интересное, что в рядах этой внутренней полиции, но уже за рамками сферы апостериорного, оказываются и философы.

Философу, если он является честным гражданином нашего внутреннего государства, логика жизненно необходима, только этого мало... Неслучайно семантика ВМ дает нам нечто большее, чем чистая логика. Применительно к философии речь должна идти об особом *концептуальном (метафизическом) a priori*, накладывающем свои дополнительные ограничения на сферу возможного.

Философы иногда запрещают то, что логики разрешили. Например, задаются вопросом, возможен ли «философский зомби», т.е. такое существо, которое тождественно нам, славным представителям узконосых обезьян из отряда приматов (вид *Homo Sapiens*), но не наделенное сознанием? Логика в своей толерантности ничего не могут возразить против существования подобного существа – философский зомби может оказаться *логически возможным* (доказательство этого, как мы уже отметили, может оказаться доступным лишь для бесконечного интеллекта). Однако, даже если зомби возможен чисто логически (что недоказуемо), это еще не значит, что зомби возможен концептуально! На основе подобной концептуальности некоторые философы-физикалисты пытаются доказать, что зомби хоть и мыслим, но *метафизически* невозможен.

Для обоснования необходимости выделения области содержательного а priori уместно отметить и то, что как формально, так и концептуально противоречивое может находиться за рамками логической достижимости *в узком смысле слова*. Именно в силу этого онтология («метафизика») детерминируется границами нашего интеллекта. Об этом мы сейчас и поговорим.

3. Можем ли мы мыслить логически невозможное?

Быть мыслимым не значит быть логически возможным.
Х. Патнэм [4. С. 186]

Противоречием всему сказанному нами ранее звучит идея Х. Патнэма, что эпистемически возможное *шире*, чем логически возможное, с точки зрения семантики ВМ. Однако если семантика ВМ допускает сверхлогические возможности, это настораживает. «Невозможные возможные миры», «поверхностная информация», «эпистемически возможное за рамками логически возможного» уместно считать *мышлением о логически невозможном*, которое сопровождает человека в силу его конечности.

Иллюзию непротиворечивости, а значит, иллюзию логической возможности уместно именовать *квазиобозримостью*. Когда мы говорим о непротиворечивости в смысле «поверхностной информации» Хинтикки [1] – это также соответствует тому, что можно назвать квазиобозримостью. Содержательное а priori может проявляться и как иллюзия, и даже как галлюцинация, которые зачем-то нам нужны.

«Фактически, как только мы раскрыли природу воды, ни один мир, где вода не имеет такой природы, не может рассматриваться как возможный... С другой стороны, вполне можно представить себе, что опыт убедит нас (и придаст рациональный характер нашей вере в то), что вода не есть H_2O . В этом случае мыслимо, что вода не есть H_2O . Мыслимо, но не логически возможно! Быть мыслимым не значит быть логически возможным» [4. С. 186].

В качестве ВМ можно рассматривать только релятивные к действительному миру положения дел. ВМ не обладают *независимым* онтологическим статусом (если не принимать модальный реализм). Если мы что-то установили в качестве необходимого в действительном мире, то оно должно сохранять свой статус необходимости во всех ВМ. Даже если мы *ошиблись* (но не ведаем об этом)! Поэтому-то *логически* невозможно, чтобы было иначе. Однако если мы ошиблись, то эпистемически верно, что дело обстоит иначе.

Самым важным здесь видится то, что логическая возможность трактуется в каком-то более узком значении, чем мы это видели на примере классической идеи божественного всеведения (первая часть данной статьи). Представляется, это более узкое понимание логической возможности производно от привязки ВМ к некоторому выделенному в качестве «действительного» миру. Как мы уже говорили, идея «действительного (фактического) мира» неуместна для божественного интеллекта.

«Крипке называет утверждения, которые рационально не могут быть пересмотрены (допустим, что такие существуют), эпистемологически необходимыми. Утверждения, истинные во всех ВМ, он определяет как просто необходимые (иногда – как «метафизически необходимые»). Используя эту терминологию, можно переформулировать сказанное выше следующим образом: утверждение может быть (метафизически) необходимым и эпистемически случайным. Человеческая интуиция не имеет привилегированного доступа к метафизической необходимости» [Там же]

И все же главным метафизиком здесь оказывается именно человек. Мы получаем интересное превращение логически необходимого (в ограниченном смысле, т.е. с точки зрения семантики ВМ с жесткими десигнаторами) в *метафизически необходимое*. Логическая необходимость с точки зрения семантики ВМ приравнивается метафизической необходимости, а семантика превращается в метафизику. Думаю, что не будет большой ошибкой считать «метафизическую необходимость» С. Крипке *онтологической* необходимостью. Онтология ВМ релятивна к некоторому выделенному миру конечного агента – «действительному» миру.

Семантика ВМ дважды релятивна: (1) по отношению к некоторому агенту *S*, заменяющему Бога в области полагания *действительного* мира, от которого и отсчитываются все ВМ в качестве контрфактуалов (С. Крипке, Н. Гудмен и др.); (2) по отношению к некоторому *языку*, который производит «расчленение» (в духе У. Куайна) этого действительного мира на те или иные классы объектов. В то же время *эпистемически* возможное не может быть релятивизировано к некоторому агенту *S* в силу того, что эпистемология полагается *общей* для всех агентов. В эпистемологии сохраняются принципы божественного всеведения.

Эпистемически возможное включает познавательные усилия всех возможных агентов познания (аналогично неограниченному сообществу иссле-

дователей Ч.С. Пирса), а также включает все возможные ошибки и заблуждения всех возможных агентов познания. Неудивительно, что оно оказывается шире логически возможного, тем более логически возможной семантики ВМ. Возможно, мы ошиблись в чем-то в процессе познания. Тогда мы конструируем ВМ как достижимые от мира, который мы назвали «действительным», но который включает объекты и ситуации, порожденные нашей ошибкой. В подобном случае контрфактические ситуации и жесткие десигнаторы *уже заданы исходной нашей ошибкой*, и мы обязаны признавать вытекающую отсюда логическую необходимость, которая может приводить к чему-то расходящемуся с действительным (без кавычек) миром.

В силу сказанного, в рамках семантики ВМ именно на логику (а не на эпистемологию) накладываются дополнительные концептуальные ограничения, из-за чего семантика ВМ в крипкеанской интерпретации оказывается некоторой метафизикой «действительного мира» со своим содержательным а priori. Поэтому познаваемое в универсуме возможных миров некоторого агента оказывается уже познаваемого вообще, или «эпистемически возможного». Здесь мы имеем переопределение границ между мыслимым и познаваемым, которые у Канта задавались областью «возможного опыта», трактуемого трансцендентально, т.е. независимо от *конкретного* агента.

Можно предположить, что не только крипкеанская семантика ВМ предполагает узкое понимание логического и порождает на этой основе некоторую метафизику. О том, что *всякая* семантика ВМ необходимо есть некоторая метафизика, оригинально и достаточно убедительно пишет Тимоти Уильямсон [5].

Следует различать мыслимость как признание возможности *на основе опыта* и известных научных законов и мыслимость как *вообразимость* [6. С. 47]. Очевидно, что логически возможное связано с выходящей за рамки опыта и известных научных законов, связано с мыслимостью как вообразимостью. К сожалению, понятие эпистемически необходимого остается неопределенным в силу отсутствия у нас каких-либо *законов* эпистемологии. Мы не можем говорить об эпистемически необходимом и возможном.

Подведем итоги. Апостериорной необходимости не существует – правильнее говорить о «*метафизической* необходимости». Во всякой науке предельные ограничения связаны лишь с областью *логически* возможного. Попытка выхода за рамки логически возможного предосудительна при любой трактовке логически возможного – широкой (логическое всеведение) или узкой (семантика ВМ). Есть два типа логически необходимого и логически возможного. Возможное и необходимое в семантике ВМ насквозь метафизичны и являются более узкими категориями, чем возможное и необходимое чистой логики. Область *эпистемически* возможного выходит лишь за рамки *метафизически* возможного семантики ВМ, но не за рамки логически возможного в абсолютном смысле.

Литература

1. Хинтика Я. В защиту невозможных возможных миров // Логико-эпистемологические исследования. М.: Прогресс, 1980. С. 228–244.
2. Гординг Л. Фон Нейман у дьявола / пер. с швед. Т. Шапошниковой // Алгебра и анализ. 2009. № 5. С. 222–226.

2. Levine J. 2001. *Purple Haze: The Puzzle of Conscious Experience*. Oxford : Oxford University Press, 2001.

3. Патнэм Х. Значение «значения» // *Философия сознания*. М. : Дом интеллектуальной книги, 1999. 240 с.

5. Williamson T. *Modal Logic as Metaphysics*. Oxford University Press, 2013.

6. Пап А. Семантика и необходимая истина: исследование оснований аналитической философии. М. : Идея-Пресс, 2002. 420 с.

Dmitry V. Ankin, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: dmitryankin@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 13–20.

DOI: 10.17223/1998863X/55/2

LIMITEDNESS, QUASIOBSERVABILITY, AND TWO TYPES OF LOGICAL NECESSITY

Keywords: a posteriori necessity; logical omniscience; conceivable and possible; quasiobservability; conceptual (informative) a priori.

The article substantiates that not all accessible possible worlds are conceivable, and not all conceivable worlds are accessible. The first part shows that the conceivable should (ideally, without taking into account the agent's limits) be accessible, and the second that the inaccessible (due to the agent's limits) possible worlds may be quasiobservable. A comparison is made between the ideas of logical omniscience and the idea of the intellectual limits of the knower. The idea of logical omniscience is associated with the idea of pure logic. The idea of a limited agent is associated with the idea of the possible world's counterfactuality to the real world. The opposition of these ideas is interpreted in the context of an instrumentalist interpretation of logic and mathematics. It is argued that logic and mathematics are only tools of limited agents. The opposition of the purely logical (omniscience) and the logical within the framework of the semantics of possible worlds (agent relativization) also relates the opposition of the purely logical a priori and the conceptual (or informative) a priori. Thus, two interpretations of logical accessibility appear. The idea is expressed that both the formally contradictory and the conceptually contradictory may be beyond the framework of logical accessibility in a limited sense. The accessibility is determined by the semantics of possible worlds linked to a separate distinguished ("real") world and has a metaphysical character. The ontology is determined by the limits and language of the cognizing agent. Finally, it is argued that the idea of a posteriori necessity is not correct due to the fact that empirical sciences do not have strict limitations on the field of the possible. There is neither a "physical necessity" nor a "biological necessity", etc. There is only a logical necessity of the two types mentioned earlier. Therefore, the term "a posteriori necessity" should always be replaced by the term "metaphysically necessary". The connection of the semantics of possible worlds with metaphysics is considered. The reasons why the "epistemically possible" is broader than the "logically possible" in the narrow sense, that is, within the semantics of possible worlds, are explained.

References

1. Hintikka, I. (1980) *Logiko-epistemologicheskie issledovaniya* [Logical and Epistemological Studies]. Moscow: Progress. pp. 228–244.

2. Gording, L. (2010) Von Neumann with the Devil. *St. Petersburg Math. J.* 21(5). pp. 839–842.

3. Levine, J. (2001) *Purple Haze: The Puzzle of Conscious Experience*. Oxford: Oxford University Press.

4. Putnam, H. (1999) *Filosofiya soznaniya* [Philosophy of Consciousness]. Translated from English. Moscow: Dom intellektual'noy knigi.

5. Williamson, T. (2013) *Modal Logic as Metaphysics*. Oxford University Press.

6. Пап, А. (2002) *Semantika i neobkhodimaya istina: Issledovanie osnovaniy analiticheskoy filosofii* [Semantics and necessary truth: An inquiry into the foundations of analytic philosophy]. Translated from English. Moscow: Ideya-Press.

УДК 167.7

DOI: 10.17223/1998863X/55/3

Н.В. Николина

НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ: РАЦИОНАЛЬНАЯ VS ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИИ¹

Рассматриваются традиции построения методологической базы науки, предложенные П. Фейерабендом: историческая и рациональная. В основе исторической традиции лежит определение науки как живой деятельности, в основе рациональной – определение науки как корпуса знаний. Проблема следования определенной традиции в выборе метода для построения научных теорий является актуальной для современной философии науки. Автор демонстрирует основные характеристики и различия конкурирующих традиций, которые наблюдаются и в современных нравственно-этических исследованиях техносферы.

Ключевые слова: научное познание, наука, знание, метод.

Современная наука, как и культура в целом, – многообразие точек зрения, мнений и оценок. Одни ученые выступают за создание единых критериев, единой базы или единых правил для научного познания и науки. Другие являются сторонниками многообразия, что позволяет создавать новые науки или направления путем соединения как смежных, так и несмежных областей. Однако в этом нет ничего нового. Замечания, что культура приходит в некое «расстройство» и дезорганизацию, можно встретить у философов разных эпох. Поток подобных высказываний усилился в XIX в. и не стихает до сих пор. Говоря словами Ю. Хабермаса, мы все еще живем в «новой необозримости», т.е. невозможно найти свой путь в потоке стилей, теорий, точек зрения – потоке, затопившем общественную жизнь. Однако и поиск единообразия концепций, теорий, стилей и правил не способствует развитию. П. Фейерабэнд приводит выражение Ф. Жакоба: «Нам угрожают... монотонность и тупость» [1. С. 10]. Споры во многом связаны с погоней за объективностью и рациональностью в научном познании. В связи с этим возникает проблема, которую можно поставить в виде вопроса: так все-таки какой метод более эффективен для развития науки – многообразие теорий или формирование четких правил и границ в науке? П. Фейерабэнд в работах «Против метода», «Наука в свободном обществе» и сборнике статей «Прощай, разум!» разделяет рациональную и историческую традиции. В своих работах Фейерабэнд обосновывал свою позицию по отношению к актуальному методологическому вопросу: если рациональная традиция выступает за формирование четких границ науки, а историческая – за многообразие теорий, то какой традиции для развития науки необходимо следовать?

В учебных пособиях по истории и философии науки П. Фейерабэнд описывается как представитель постпозитивизма наряду с К. Поппером, Т. Куном и И. Лакатосом. Однако концепция П. Фейерабенда не только не продолжает линию рассуждений данных философов, но и в некоторых позициях

¹ Исследование выполнено при поддержке гранта РФФ № 20-18-00188.

прямо противоположна. В статье «Прощай, разум!» П. Фейерабенд вспоминает, что К. Поппер был его куратором, хотя он предпочитал работать с Л. Витгенштейном. После смерти Л. Витгенштейна К. Поппер предложил П. Фейерабенду стать его ассистентом, но он отказался. В философской литературе существует мнение, что лозунг «Все дозволено» негативно влияет на развитие науки. Например, Н.Н. Голуб пишет, что «философские и научные идеи Пола Фейерабенда вызвали мировой резонанс, в немалой степени благодаря его методологической теории «эпистемологического анархизма» [2. С. 1553]. В.И. Жилин придал тезису П. Фейерабенда «Все дозволено» несколько другой смысл: «Мракобесы наступают. И это беспокойство П. Фейерабенда созвучно сегодня всем тем, кто пытается противостоять беспредельному методологическому релятивизму „современной“ постнеклассической науки, ее воинственной „междисциплинарности“ по наитию и „ревизии основ“ по безграмотности» [3. С. 44]. Н.И. Кузнецова в статье «Неопознанный Фейерабенд» пишет, что в философии науки «Фейерабенд – подлинный *enfant terrible* западного постпозитивизма периода его подлинного расцвета» [4. С. 210]. Она замечает: «Снова и снова задаешь себе вопрос: а был ли Фейерабенд антисциентистом? Был ли он релятивистом? Какую цель он преследовал, разоблачая так называемый „шовинизм“ научного мировоззрения?» [Там же. С. 211]. Сам П. Фейерабенд поясняет, что выражение «Все дозволено» ему не принадлежит и никаким образом не отражает его взглядов или результатов исследования. Его волновали вопросы: разумно ли заниматься поиском теорий науки и существуют ли лучшие философские концепции, дающие понимание научного познания. Он пришел к выводу, что заниматься подобным поиском неразумно: «Понять процесс познания и содействовать развитию науки можно только участвуя в нем, а не исходя из абстрактных теорий. Следовательно, примеры не являются теми деталями, которые можно опустить, когда дано реальное объяснение, – они и есть это объяснение» [1. С. 373].

Несмотря на то, что он поддерживает многообразие в науке, в его работах и статьях присутствует анализ проблемы с разных сторон и точек зрения. Сам термин «рациональность», по мнению П. Фейерабенда, не совсем полезен для использования в отношении к научному познанию: «Твердолобые эмпирики считают иррациональным сохранять идеи, находящиеся в явном противоречии с экспериментальными результатами, в то время как твердолобые теоретики подсмеиваются над иррационализмом тех, кто склонен пересматривать базисные принципы при малейшем расхождении их со свидетельствами» [Там же. С. 18]. Наиболее удачное сравнение ученого, занимающегося наукой, и теоретика философии науки приводит А. Эйнштейн: «Эпистемолог сначала ищет ясную систему, обосновывает свой образ мыслей с помощью этой системы, затем интерпретирует содержание науки в смысле этой системы, отвергая все, что не вписывается в систему. Однако ученый не может стремиться к эпистемологической систематичности: внешние условия, заданные фактами опыта, не позволяют при построении его концептуального мира ограничиваться какой-то эпистемологической системой. Поэтому систематическому эпистемологу он должен казаться каким-то легкомысленным оппортунистом» [Там же. С. 251]. П. Фейерабенд определяет две традиции в обосновании научных теорий, обозначая их терминами «рациональная» и

«историческая». В соответствии с первой традицией наука – корпус знаний, согласно со второй, наука – живая деятельность, которая является частью истории. Под наукой П. Фейерабенд понимает «современные естественные и общественные науки, или, вернее, то, как их представляют себе ученые и образованная публика, – исследование, стремящееся к объективности, опирающееся на наблюдение и разумные доводы при обосновании своих результатов и руководствующееся ясными, логичными правилами» [1. С. 34]. Здесь же он уточняет, что наука и научные технологии не могут превосходить другую деятельность, вне зависимости от ценностей, фактов и убеждений. В работе «Наука в свободном обществе» П. Фейерабенд пишет: «Во всяком случае ни наука, ни рационализм не обладают достаточным авторитетом для того, чтобы исключить миф, примитивное мышление или космологические картины» [5. С. 185].

В соответствии с разделением на историческую и рациональную традиции П. Фейерабенд разделяет контекст открытия (история получения части знания) и контекст обоснования (содержание и методы признания). Иллюстрацией контекста обоснования может служить цитата С.Е. Лурии: «Содержанием науки является совокупность находок и обобщений, имеющихся сегодня, – это срез процесса научного исследования в данный момент времени. Движение науки я рассматриваю как самоочищение в том смысле, что выживают лишь те элементы, которые становятся частью действующего *корпуса знания*... История того, как была найдена модель ДНК, не имеет большого значения для операционального содержания науки» (курсив мой. – *Н.Н.*) [1. С. 144]. Контекст открытия, который является основой исторической традиции, становится неважен для понимания содержания знания в современной философии науки. Несмотря на то, что многие философы науки придерживаются мнения, высказанного Сальвадором Лурией, в научных кругах стало развиваться направление передачи опыта с помощью конференций, открытых лабораторий, форумов и семинаров, которые превращают математику, физику, химию и другие науки в «живой дискурс». По мнению П. Фейерабенда, историческая и рациональная традиции имеют право на существование. Рациональная традиция вносит специальный порядок и сталкивается с трудностями, когда старается изменить историческую традицию.

Знания представляются как способ упорядочивания событий. Однако различные формы знания выстраивают различные способы упорядочивания. Использование одной и той же информации в разных областях способствует возникновению нового порядка и ведет к изменению обоснования. Примером может служить использование понятий «проектирование», «моделирование» в социальных науках. Любая теория познания, как известно, пытается ответить на основной вопрос гносеологии: что такое знание. П. Фейерабенд в работе «Против метода» пишет, что традиционный ответ на этот вопрос «дает определение знания, или знания в потенции, и перечисление шагов, посредством которых можно получить знание» [6. С. 214]. Если принятое в науке определение знания необходимо изменить, то это происходит путем изменения познавательной практики без изменений эпистемологии. В итоге оказывается, что связь науки и эпистемологии ослабевает или исчезает. Рациональная традиция отличается от исторической тем, что она успешно создает формулировки, теории, принципы и факты, которые представляются как

объективные, универсальные. Например, П. Медавар пишет: «По мере развития науки частные факты аккумулируются, следовательно, в некотором смысле уничтожаются общими утверждениями возрастающей объяснительной силы. Благодаря этому становится излишним знать и помнить множество фактов. Во всех науках мы освобождаемся... от тирании частных» [1. С. 157]. Однако при более близком ознакомлении с развитием социально-гуманитарных наук, гуманистических принципов такое высказывание оказывается несостоятельным. В случае с такими науками, как социология, психология, лингвистика, частности определяют развитие принятых принципов и правил, в них больше исключений, чем правил. Поэтому, заключает П. Фейерабенд, нам необходима новая позиция, которая включена в социальную структуру и зависима от уникальных исторических процессов, чтобы понять и обосновать те знания и факты, которыми пользуются современные ученые.

Историческая традиция характеризуется наличием креативности в создании научной теории. Рациональная традиция диктует законы, по которым должно развиваться научное исследование и которым необходимо соответствовать. Индивидуальная креативность ученого играет огромную роль в построении теории и открытии нового. К концу XX в. и в современной ситуации философия науки теснейшим образом связана с научными исследованиями. Обычно ученый использует те методы и теории, которые подтверждают его собственное мнение. «Открытие не является результатом какого-либо фиксированного правила. Лучшее средство способствовать развитию науки, – писал П. Дюгем, – заключается в том, чтобы позволить каждому виду интеллекта развиваться в соответствии со своими собственными законами и полностью реализовать свои возможности» [7. С. 98–99]. Ученые, по мнению П. Фейерабенда, не должны быть похожи на тех, кто слепо следует правилам, они не задаются вопросом, каким образом должен действовать эффективный ученый, чтобы применить к своему исследованию эти ограничения. Своей деятельностью и креативностью ученые создают и изменяют науку. С точки зрения исторической традиции история становится важной частью научного исследования. Научному исследованию невозможно научиться, по мнению Э. Маха, поэтому понять науку – значит узнать, изучить достижения ученых, которые дадут «благодатную почву» для индивидуальной креативности.

В пользу исторической традиции П. Фейерабенд приводит тезис, что результаты науки не подчиняются какой-либо структуре, т.е. нет элементов, которые были присущи только научным исследованиям, но не встречались бы в других областях. Успешные и эффективные научные исследования имеют особенности, однако не любое исследование, созданное по тому же принципу, использующее те же методы, будет успешным и эффективным. «Теория науки, которая изобретает стандарты и структурные элементы всякой научной деятельности и освещает их ссылкой на некую теорию рациональности, может производить впечатление на посторонних, однако является слишком грубым инструментом для работающих людей, т.е. для ученых, сталкивающихся с конкретными проблемами» [1. С. 370]. Поэтому все, что теоретики философии науки могут, – предложить разработанные правила, познакомить с историей науки, описать случаи и методы действий, объяснить

сложность научного исследования, т.е. подготовить, предупредить о том, с какой неопределенностью они могут столкнуться. Ученый также должен понимать, что отказ от конкретных правил не облегчает задачу, ученому придется контролировать и проверять каждый элемент своего исследования. Ученый несет ответственность не только за применение и результаты исследования, но и за стандарты, которыми он руководствуется. Наука обладает более сложной и многогранной структурой, которая не ограничивается лишь теоретическими элементами. Создание общих теорий, превозношение рационалистической традиции, элементы которой порой исключают человеческий фактор, с необходимостью приведут к бесчеловечным последствиям.

Таким образом, историческая традиция характеризуется следующими положениями:

- 1) наука как живая деятельность;
- 2) история – важная часть развития науки;
- 3) одним из главных факторов прогресса в науке является индивидуальная креативность ученого;
- 4) развитие научных теорий в контексте открытия;
- 5) разнообразие структур и методов получения знания.

Рациональная традиция определяется позициями:

- 1) наука как корпус знаний;
- 2) установление объективных, универсальных законов развития научных теорий;
- 3) одним из главных факторов создания эффективной научной теории является следование установленным правилам;
- 4) развитие научных теорий в контексте обоснования;
- 5) выработка единой структуры научной теории и единых методов получения знания.

Историческая традиция не предполагает, что необходимо отказаться от правил, структуры и законов или что они в ней не предусмотрены. Законы и правила вырабатываются в процессе деятельности, в процессе открытия. Главное отличие исторической традиции от рациональной состоит в том, что законы вырабатываются не теоретиками, а практиками. Критику П. Фейерабенда по отношению к рациональной традиции можно свести к одному утверждению: принципы, формы, законы, правила построения и развития научных теорий не следует создавать ученым, не участвующим в научной деятельности. Это утверждение справедливо по отношению не только к естественным наукам, но и к социально-гуманитарным. По мнению П. Фейерабенда, теоретизирование по поводу того, как люди, которых мы никогда не видели, должны жить, на практике оказывается бесполезным. Поэтому для создания научных теорий как естественных, так и социально-гуманитарных наук наиболее эффективным было бы следование следующей установке: «Способы рассмотрения и решения научных проблем зависят от обстоятельств их возникновения, от (формальных, экспериментальных, идеологических) средств, доступных в данный момент времени, и от желания людей, которые ими занимаются. Не существует неизменных граничных условий научного исследования» [1. С. 403]. Данная установка транслирует позицию исторической традиции, так как, изучая историю проблемы, исследователь знакомится со всеми ее факторами.

В философии различают направления экстернализма и интернализма, характеристики и основные идеи которых схожи с разделением исторической и рациональной традиций, предлагаемых П. Фейерабендом. Кроме этого, в современной эпистемологии разделяют философию науки и социологию науки, которые соответственно можно отнести к рациональной и исторической традиции в интерпретации П. Фейерабенда. Хотя было бы неправильно говорить о том, что философию науки интересует только выработка метода, а социологию науки – только история ученого. Например, С. Вулгар в книге «Science: The very idea» характеризует различие между философским и социологическим анализом науки в определении критериев демаркации науки: «Предпочтение SSK (социального изучения науки) состоит в том, чтобы признать, что науку нельзя отличить от не науки, руководствуясь правилами принятия решений. Суждения о том, были ли гипотезы проверены (или опровергнуты) относительно того, что составляет ядро или периферию исследовательской программы и в какой момент полностью отказаться от исследовательской программы, являются результатом сложных социальных процессов в конкретной среде. Научные знания не возникают от применения ранее существовавших правил принятия решений к конкретным гипотезам или обобщениям» [8. Р. 17]. Под социальным изучением науки С. Вулгар понимает совокупность различных дисциплинарных интересов в науке, в частности в истории и социологии науки. Теперь, если мы вернемся к характеристикам исторической и рациональной традиций, то увидим, что социология науки пытается охватить аспекты как исторической, так и рациональной традиции. Однако в последние годы социология науки в разработке акторно-сетевой теории значительно отделилась от установок классической социологии науки.

Учитывая современные варианты подходов к изучению науки, предлагаемые П. Фейерабендом формулировки «исторический» и «рациональный», представляются недостаточно логичными для прояснения различий. Проблема выбора традиции в современной философии не решается категорично. В современных исследованиях наблюдается тенденция к поиску не противоречий, а синтеза традиций. Например, конструктивизм (в различных формах) определяет основным принципом развития научных теорий «представление об активности познающего субъекта, который использует специальные рефлексивные процедуры при построении или конструировании образов, понятий, рассуждений» [9. С. 65]. Эволюционный конструктивизм, охватывающий научные, социальные, исторические, культурные, коммуникативные и другие аспекты жизни познающего субъекта, становится одним из эффективных решений выбора традиции. Другим примером может служить разработка NBICS-технологий, аккумулирующих подходы к производству научного знания с позиций естественных и гуманитарных наук. В современных исследованиях новый тип рациональности формируется в нравственно-этическом контексте. Актуальная проблематика этики ученого в исследованиях технического знания и техносферы по-новому ставит вопрос о выборе метода. Анализ историко-философских идей демонстрирует сначала продолжительность существования универсальных методов в различных временных рамках, а затем возврат к проблеме выбора традиций. Таким образом, проблема выбора рациональной или исторической традиции (или в других интерпрета-

циях) решается не созданием всеобъемлющего метода или подхода, а целями и ожидаемыми результатами научной деятельности.

Литература

1. Фейерабенд П. Прощай, разум! / пер. с англ. А.Л. Никифорова. М. : АСТ : Астрель, 2010. 477 с.
2. Голуб Н.Н. Вопросы методологии и проблемы научного знания в философии Пола Фейерабенда // Экономика и социум. 2016. Вып. 3 (22). С. 1546–1554. URL: [http://iupr.ru/domains_data/files/sborniki_jurnal/Zhurnal%20_3\(22\).pdf](http://iupr.ru/domains_data/files/sborniki_jurnal/Zhurnal%20_3(22).pdf) (дата обращения: 21.04.2018).
3. Жилин В.И. «Против метода» П. Фейерабенда как предупреждение – «возможно все» // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2011. № 3 (9) : в 3 ч. Ч. 1. С. 40–44.
4. Кузнецова Н.И. Неопознанный Фейерабенд // Эпистемология & философия науки. 2005. Т. III, № 1. С. 210–216.
5. Фейерабенд П. Наука в свободном обществе / пер. с англ. А.Л. Никифорова. М. : АСТ : Астрель, 2010. 378 с.
6. Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания / пер. с англ. А.Л. Никифорова. М. : АСТ : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. 413 с.
7. Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение. М. : КомКнига, 2007. 328 с.
8. Woolgar S. Science: The very idea. Sussex : Ellis Horwood limited, 1988. 121 p.
9. Конструктивизм в теории познания / Рос. акад. наук, Ин-т философии; отв. ред. В.А. Лекторский. М. : ИФРАН, 2008. 171 с.

Nadezhda V. Nikolina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

Email: nikolinanadya@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 21–28.

DOI: 10.17223/1998863X/55/3

SCIENTIFIC THEORIES: RATIONAL VS HISTORICAL TRADITION

Keywords: scientific knowledge; science; knowledge; method.

Modern science, like culture as a whole, is the diversity of points of view, opinions and assessments. Some scientists advocate the creation of a common criteria, a single base or common rules for scientific knowledge and science. Others are supporters of diversity, which allows the creation of new sciences or directions by connecting both adjacent and non-adjacent areas. Paul Feyerabend analyzes this topic in detail in his *Against Method, Science in a Free Society, Farewell to Reason!* Feyerabend separates two traditions in the justification of scientific theories: rational and historical. The first tradition is science as a body of knowledge, the second is science as a living activity that is part of history. Feyerabend separates the context of discovery (history of obtaining part of knowledge) and the context of justification (content and methods of recognition). The rational tradition differs from the historical one: the former successfully creates formulations, theories, principles and facts that are presented as objective, universal. The historical tradition is characterized by creativity in the creation of a scientific theory. The rational tradition dictates laws by which scientific research should develop and which must be observed. Considering modern versions of approaches to the study of science, the formulations “historical” and “rational” proposed by Feyerabend seem to be not logical enough to clarify the differences. The problem of the choice of tradition in modern philosophy is not resolved categorically. In modern research, a new type of rationality is formed in a moral and ethical context. The relevant problems of the ethics of the scientist in the study of technical knowledge and the technosphere raise the question of choosing a method in a new way. The analysis of historical and philosophical ideas demonstrates, first, the duration of the existence of universal methods in different time frames and, then, a return to the problem of choosing traditions. Thus, the problem of choosing the rational or historical tradition (or in other interpretations) is solved by the goals and expected results of scientific activity rather than by creating a comprehensive method or approach.

References

1. Feyerabend, P. (2010) *Proshchay razum* [Farewell to Reason]. Translated from English by A.L. Nikiforov. Moscow: AST: Astrel'.

2. Golub, N.N. (2016) Voprosy metodologii i problemy nauchnogo znaniya v filosofii Pola Feyerabenda [Methodological issues and problems of scientific knowledge in the philosophy of Paul Feyerabend]. *Ekonomika i sotsium*. 3(22). pp. 1546–1554. [Online] Available from: [http://iupr.ru/domains_data/files/sborniki_jurnal/Zhurnal%20_3\(22\).pdf](http://iupr.ru/domains_data/files/sborniki_jurnal/Zhurnal%20_3(22).pdf) (Accessed: 21st April 2018).

3. Zhilin, V.I. (2011) Paul Feyerabend's against method as the warning that everything is possible. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvo-vedenie. Voprosy teorii i praktiki – Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice*. 3(9). pp. 40–44. (In Russian).

4. Kuznetsova, N.I. (2005) Neopoznanny Feyerabend [Unidentified Feyerabend]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 3(1). pp. 210–216.

5. Feyerabend, P. (2010) *Nauka v svobodnom obshchestve* [Science in a Free Society]. Translated from English by A.L. Nikiforov. Moscow: AST: Astrel'.

6. Feyerabend, P. (2007) *Protiv metoda. Ocherk anarkhistskoy teorii poznaniya* [Against method: Outline of an anarchistic theory of knowledge]. Translated from English by A.L. Nikiforov. Moscow: AST, KhRANITEL'.

7. Duhem, P. (2007) *Fizicheskaya teoriya. Ee tsel' i stroenie* [Physical Theory. Its Purpose and Structure]. Translated from French. Moscow: KomKniga.

8. Woolgar, S. (1988) *Science: The very idea*. Sussex: ELLIS HORWOOD LIMITED.

9. Lektorsky, V.A. (ed.) (2008) *Konstruktivizm v teorii poznaniya* [Constructivism in the Theory of Knowledge]. Moscow: IFRAN.

УДК 165.171

DOI: 10.17223/1998863X/55/4

А.С. Хромченко

ХОЛИЗМ И ПРИРОДА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Рассматриваются онтологические и эпистемологические предпосылки принятия аргумента Куайна–Патнэма о неустранимости математики из естественных наук, который служит самым распространенным обоснованием математического платонизма. Принимая во внимание прагматический аспект философии Куайна, в работе осуществляется нетривиальная попытка сохранить данный аргумент, отказавшись от его платонистических следствий.

Ключевые слова: аргумент о неустранимости математики, семантический холизм, подтверждающий холизм, натурализм, прагматизм.

Онтология и эпистемология математического платонизма берут свое начало из того на первый взгляд неоспоримого факта, что математика является неустранимой из наших научных теорий. В противовес математическому платонизму попытки номиналистических интерпретаций научных теорий направлены против аргумента о неустранимости математики из науки и пытаются ответить на вопрос, возможно ли понять и объяснить применение математики без предположения о существовании математических объектов. Способом достижения этой цели служит демонстрация того, что наука может обходиться без математики и иметь свое выражение в виде системы номиналистических суждений, которые не пересекаются во внелогическом содержании с математической теорией и не предполагают никаких сущностей, содержащихся в математических теориях.

В своей работе «Наука без чисел» Хартри Филд пытается показать и обосновать принципиальную возможность и даже необходимость номиналистической переформулировки существующих физических теорий. Он утверждает, что исключение абстрактных математических сущностей из науки не просто возможно, но и является единственным способом реализации адекватного методологического принципа, согласно которому в основе любого внешнего объяснения лежит объяснение внутреннее. По его мнению, каждая физическая теория должна иметь свое номиналистическое выражение прежде, чем прибегать к объяснению с помощью математики. Для обоснования возможности номиналистических интерпретаций научных теорий необходимо доказать, что математика не участвует в дедуцировании выводов о наблюдаемых объектах. Это доказательство, согласно Хартри Филду, заключается в принципе консервативного расширения теории: любое номиналистическое утверждение является следствием *только* номиналистического каркаса утверждений используемой теории. То есть любое следствие научной, например физической, теории может быть получено без применения математики [1. Р. 12].

Хартри Филд заявляет, что этот принцип имеет те же квазииндуктивные основания, которые мы имеем для убеждения в непротиворечивости матема-

тики. По мнению автора, большинство из нас убеждено, что математика независима от опыта, априорна или истинна во всех возможных мирах. Если математика имеет априорный характер и истинна во всех возможных мирах, то любое следствие математической теории S должно быть логически непротиворечивым. Это означает, что конкретные результаты о конкретных сущностях не могут быть следствиями математических теорий, поскольку утверждения о конкретных физических объектах не могут оцениваться с точки зрения логической истинности в отличие от математических суждений. Истинность той или иной математической теории в случае, когда номиналистическое утверждение является следствием научной теории, в которой используется математика, и не является следствием номиналистического каркаса утверждений этой теории, зависит от фактических утверждений, что противоречит убеждению о независимости математики от опыта. Для того чтобы доказать, что математика не является консервативной, необходимо доказать, что она апостериорна и содержит данные о конкретных предметах или что она логически противоречива [1. Р. 14–15].

Естественно, принцип консервативности имеет метафизическое обоснование и может быть оспорен. Тем не менее, если мы сможем показать, что какая-либо физическая теория может быть выражена без помощи математики с сохранением всех результатов этой теории, мы сможем открыто заявить принципиальную *возможность* устранения математики из науки. Последнее бы означало, что не существует независимого от мышления мира идей или математических объектов, который мы открываем в процессе познания и который овеществляется в физической реальности. Однако для опровержения математического платонизма достаточно показать, что аргумент о неустранимости математики, который является единственным его обоснованием, не имеет платонистических следствий.

Эксплицитная формулировка аргумента о неустранимости математики из естественных наук принадлежит Марку Коливану и выглядит следующим образом:

P(1) Мы должны иметь онтологические обязательства, или онтологическую приверженность (*ontological commitment*), *только* перед *всеми* теми сущностями, которые являются неустранимыми (*indispensible*) из наших лучших научных теорий.

P(2) Математические сущности являются неустранимыми из наших лучших научных теорий.

Поэтому

S(1) Мы должны иметь онтологические обязательства перед математическими сущностями [2. Р. 11].

Согласно аргументу о неустранимости, существование математических объектов, таких как числа, функции, интегралы и многое другое, необходимо признать наравне с существованием таких теоретических сущностей, как, например, поле, частица или волна. Коливан утверждает, что посылки аргумента имеют поддержку в виде доктрин натурализма и подтверждающего холизма Куайна [Ibid. Р. 12].

Согласно интерпретации Коливана, доктрина натурализма Куайна возникает из глубокого уважения к научной методологии и признания неоспоримого успеха этой методологии как способа ответа на фундаментальные вопросы о

природе вещей. Это означает, что с целью построения онтологии мы должны обращаться только к нашим лучшим научным теориям, и философия в этом вопросе не должна иметь привилегированного положения. Наоборот, философия во всех ее проявлениях должна согласовываться с научными фактами и быть продолжением научных исканий [2. Р. 22–26]. Таким образом, натурализм дает нам основание верить в те сущности, которые описываются лучшими научными теориями, и запрещает верить в любые другие. Эта доктрина оправдывает наличие слова «только» в первой посылке аргумента о неустрашимости математики. Однако натурализм не обязывает верить в существование *всех* сущностей, описанных научными теориями. И именно здесь, по мнению Коливана, на первый план выходит доктрина холизма [Ibid. Р. 13].

Марк Коливан различает два вида холизма в философии Куайна: семантический и подтверждающий [Ibid. Р. 33–37]. Семантический холизм подразумевает, что значение выражений нельзя рассматривать вне всего массива языка или хотя бы большого его фрагмента [3. С. 23–24]. Однако для Коливана важен именно подтверждающий холизм, согласно которому единицей подтверждения или опровержения является не единичная гипотеза, а, скорее, некоторый существенный массив научных гипотез [2. Р. 34–35]. Причем можно привести довольно веские аргументы в пользу того, что в некоторых случаях эта большая совокупность гипотез является целой научной теорией. Например, если посмотреть, каким образом вытесняли друг друга теории Кеплера и Птолемея, Эйнштейна и Ньютона, Дарвина и Аристотеля. Соответственно, необходимо признать, что если научная теория подтверждается эмпирическими фактами, то подтверждается вся теория в целом, включая ее математические компоненты. Таким образом, при обосновании реалистической веры в математические компоненты теории апеллируют к тем же самым доказательствам, что и при обосновании эмпирической части теории, т.е. онтологическое признание математических объектов обосновывается теми же эпистемическими средствами, что и вся научная теория в целом. Эта доктрина оправдывает наличие слова «*всеми*» в первой посылке аргумента [Ibid. Р. 37–38]. Так, натурализм и холизм обосновывают аргумент о неустрашимости математики, который, в свою очередь, по мнению Коливана, является основным мотивом приверженности математическому платонизму [4. Р. 1].

Доктрина холизма, как правильно отмечает в своих работах Коливан, является следствием рассмотрения Куайном ряда лингвистических проблем, в том числе проблемы радикального перевода и проблемы различения аналитических и синтетических суждений. Если мы принимаем те выводы Куайна, которые он делает в связи с разрешением этих проблем, то мы обязаны принять его теорию референции и доктрину семантического холизма, одним из следствий которой как раз является рассмотрение науки как единого целого. Различение семантического и подтверждающего холизма является гипотезой Коливана и искажает онтологию Куайна. Семантический холизм Куайна и его теория референции не допускают существования независимых от нашего сознания платонистических объектов, а потому Коливан очень выборочно относится к некоторым положениям философии Куайна. Для того чтобы сделать корректные онтологические выводы, опираясь на аргумент о неустрашимости математики, необходимо более подробно рассмотреть предпосылки и следствия принятия этого аргумента.

Как было упомянуто выше, доктрина семантического холизма является, помимо прочего, следствием проблемы различения аналитических и синтетических суждений. Различение аналитических и синтетических истин кажется естественным в свете понимания того, что истина зависит как от языка, так и от внелингвистических фактов. Соответственно, естественно предположить, что в некоторых высказываниях зависимость от фактов сведена к минимуму, а потому они являются аналитическими. Однако Куайн утверждает, что граница между аналитическими и синтетическими высказываниями не была проведена и, более того, проведена быть не может. Невозможно это в силу того, что понятие «аналитичность» не определимо ни с помощью понятий значения и когнитивной синонимии, поскольку нет никаких гарантий, что совпадение по объему выражений опирается скорее на значение, нежели на какие-то случайные эмпирические обстоятельства, ни с помощью понятия необходимости, ни даже с помощью семантических правил искусственного языка. Оно используется нами крайне интуитивно и метафорично, и нет никаких лингвистических средств, которые бы позволили нам определить понятие и критерий аналитичности [5. С. 45–67].

Предположение Куайна заключается в том, что говорить о лингвистической и фактической компонентах каждого отдельного предложения бессмысленно. Наука, взятая в целом, испытывает одновременную зависимость и от языка, и от опыта, и эта двойственность не может осмысленно проследиваться до высказываний, взятых по отдельности [Там же. С. 74]. Согласно метафоре самого Куайна, наука является некоторым силовым полем, которое взаимодействует с опытом только на периферии. Центральная часть этого поля представляет собой набор более теоретических высказываний математики, логики или онтологии. Конфликт между нашим знанием и опытом приводит к переустройству некоторых элементов системы, приходится перераспределять истинностное значение некоторых высказываний. Естественно, мы склонны к тому, чтобы как можно меньше подвергать систему изменениям, поэтому сосредоточиваем исправления на более эмпирически специфичных высказываниях, отчего создается впечатление, что они обладают определенной выраженной эмпирической референцией. Однако центральные элементы системы и даже высказывания о логических взаимосвязях самих элементов точно так же могут быть подвержены изменениям при обнаружении противоречивого опыта. Соответственно, вся наука в целом, с одной стороны, зависит от опыта, но, с другой стороны, определяется не только им [Там же. С. 75–77].

Последняя метафора действительно может быть интерпретирована в духе «подтверждающего холизма» Коливана: весь наш эмпирический опыт подтверждает всю систему научного знания в целом, включая ее математические компоненты. Однако для принятия такой холистической картины необходимо принять и предпосылку о невозможности различения аналитических и синтетических суждений, что противоречит взглядам математического платонизма. Коливан признает, что математическая и эмпирическая лексика тесно связаны в наших лучших научных теориях, и он утверждает: чтобы опровергнуть подтверждающий холизм, необходимо по крайней мере отделить одну лексику от другой [2. С. 37]. Однако признание спутанности научной лексики не означает отказа от идеи, что математический и логический языки

отличаются по своей природе от эмпирического языка. Проведенное Коливаном различие между семантическим и подтверждающим холлизмом и отказ говорить о семантическом холлизме в контексте аргумента о неустраимости математики служат его личному интересу в оправдании математического платонизма.

Принятие семантического холлизма также означает принятие специфической теории референции Куайна. Дело в том, что особенности теории референции Куайна, в частности перенятая им теория дескрипций Рассела, позволяют ограничить нашу онтологию от *любых* нежелательных сущностей, в том числе от абстрактных математических объектов. Проблема радикального перевода, которую ясно обозначил Куайн, показала, что знания невербального значения предложения наблюдения недостаточно для перевода или даже понимания термина, который обозначает объект. Мы постулируем объекты только тогда, когда вовлекаем обозначающий их термин в подходящее взаимодействие со всем аппаратом нашего языка: артиклями, местоимениями, идиомами предикации и квантификации. Вопрос, считать ли языковую единицу термином, решается на основе соображений систематической *эффективности* ее использования в качестве термина [3. С. 176–177].

Объекты, которые мы признаем существующими, согласно Куайну, это именно те объекты, которые являются референтами связанной переменной квантификации [6. С. 36]. Вопрос о том, считать ли математические объекты сущностями, является вопросом о том, проводить ли квантификацию относительно переменных, которые имеют своим значением математические объекты (числа, классы, функции и т.д.). Стоит отметить, что вопрос о существовании каких угодно объектов, абстрактных или физических, решается в рамках научной теории, а не в рамках ее формализации. Каким образом формализовать теории и что ставить на место связанных переменных – это вопросы, которые должны решаться учеными с целью исключения неправильных интерпретаций их теории [Там же. С. 40]. Это оставляет возможность формулировать научные теории так, чтобы в них не содержалось отсылок на абстрактные сущности. Тем не менее Куайн придерживается мнения, что онтологическое допущение этих объектов является вопросом практического *удобства* концептуальной схемы науки [5. С. 79–80].

И физические, и математические сущности концептуально вводятся в теорию как удобные посредники между явлением и нашим пониманием этого явления. Говорить о том, что, в отличие от математики, существование физических объектов подтверждается опытом, в онтологии Куайна бессмысленно. Как бессмысленно и само различие природы математических и физических объектов, коль скоро мы не можем провести границу между аналитическими и синтетическими высказываниями. По сути, все концептуальное содержание науки, по мнению Куайна, является *человеческой конструкцией*, которая подвержена постоянному переустройству, и единственной целью этой конструкции является осмысление опыта. Поэтому то, как будет выглядеть эта концептуальная схема, зависит только от опыта и особенностей языка, с помощью которого происходит концептуализация опыта [Там же. С. 75–77]. Соответственно, математические объекты не являются *необходимыми* и *независимыми от сознания* сущностями. Математика действительно является неустраимой, но только до тех пор, пока нам удобно с ее помощью осмыслять

наш опыт. Естественно, такая интерпретация аргумента о неустранимости исключает все его платонистические следствия.

Математику действительно можно рассматривать как равносильный другим наукам инструмент осмысления опыта. Соответственно, мы можем признавать неустранимость математических объектов из научного описания мира, поскольку признаем, что математика – это часть той сложной концептуальной схемы, которую мы создаем для осмысления физических явлений. Таким образом, у нас имеется достаточный набор аргументов для того, чтобы сохранить аргумент о неустранимости математики, отказавшись при этом от его платонистических следствий. Тем самым мы вправе отказаться от необходимости номиналистических интерпретаций науки с целью ограничения нашей онтологии. Вероятно, предложенная Куайном идея о природе математического знания не исчерпывает вопросов о том, почему наши мыслительные конструкции находятся в некотором соответствии с реальностью и насколько адекватно наше описание этой реальности. Тем не менее при таком подходе устраняется множество проблем, например проблема объяснения процесса овеществления идеальных объектов, которая возникает при принятии платонистической картины мира. И с другой стороны, устраняется технически сложная задача номинализации науки. Хотя бы поэтому можно считать такое разрешение проблемы устранимости математики из науки и попытку осмысления применимости математики удовлетворительными.

Литература

1. Field H.H. *Science Without Numbers: a Defence of Nominalism*. Princeton : Princeton University Press, 1980. 130 p.
2. Colyvan M. *The Indispensability of Mathematics*. Oxford : Oxford Universities Press, 2001. 172 p.
3. Куайн У.В. Слово и объект / пер. с англ. А.З. Черняк, Т.А. Дмитриев. М. : Логос, Праксис, 2000. 386 с.
4. Colyvan M. *Confirmation Theory and Indispensability // Philosophical Studies*. 1999. Vol. 96. P. 1–19.
5. Куайн У.В. Две догмы эмпиризма // С точки зрения логики. 9 логико-философских очерков / пер. В.А. Ладова, В.А. Суровцева; под общ. ред. В.А. Суровцева. М. : Канон+ : РООИ «Реабилитация», 2010. С. 45–80.
6. Куайн У.В. О том, что есть // С точки зрения логики. 9 логико-философских очерков / пер. В.А. Ладова, В.А. Суровцева; под общ. ред. В.А. Суровцева. М. : Канон+ : РООИ «Реабилитация», 2010. С. 21–44.

Anna S. Khromchenko, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: annhs971017@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 29–35.

DOI: 10.17223/1998863X/55/4

HOLISM AND THE NATURE OF MATHEMATICAL OBJECTS

Keywords: indispensability argument; semantic holism; confirmational holism; naturalism; pragmatism.

The author of the article does not agree with the ontology of mathematical Platonism. Mathematical Platonism is justified by the argument that mathematics is indispensable from natural sciences. At the beginning of the article, the author gives an example of Hartry Field's nominalistic strategy, which argues against the indispensability of mathematics. However, the main thesis of the article is that it is enough to show that the argument about the indispensability of mathematics does not actually have direct Platonic consequences. The main focus is on the Quine-Putnam Indispensability Argument in

Mark Colyvan's Platonic interpretation. The article discusses how Colyvan justifies this argument. In particular, Quine's doctrines of epistemological naturalism and confirmation holism are considered. Colyvan's interpretation is called into question. The author analyzes the premises of accepting the indispensability argument in the framework of Quine's original philosophy. The author concludes that if we are trying to justify the argument by using Quine's philosophy, we have to reject its Platonic consequences. Quine's semantic holism and his reference theory do not assume the existence of Platonic objects that are independent of our consciousness. Quine's assumption is that science as a whole is simultaneously dependent on both language and experience, and this duality cannot be meaningfully traced to statements taken separately. This is why we cannot assert the a priori nature of mathematical statements. This contradicts the views of mathematical Platonism. In addition, Russell's description theory that Quine adopted allows us to restrict our ontology from any undesirable entities, including abstract mathematical objects. We postulate objects only when we involve the terms denoting them in a suitable interaction with the entire apparatus of our language. The question of whether to consider a language unit as a term is decided on the basis of the *systematic effectiveness* of its use as a term. Any ontological assumptions are a matter of *practical usability* of the conceptual schema of science. In this way, it is possible to preserve the indispensability argument, which is traditionally given in defense of mathematical Platonism. At the same time, we can reject its Platonic consequences without appealing to nominalistic interpretations of scientific theories.

References

1. Field, H.H. (1980) *Science Without Numbers: A Defence of Nominalism*. Princeton: Princeton University Press.
2. Colyvan, M. (2001) *The Indispensability of Mathematics*. Oxford : Oxford Universities Press.
3. Quine, W.V. (2000) *Slovo i ob"ekt* [Word and Object]. Translated from English by A.Z. Chernyak, T.A. Dmitriev. Moscow: Logos, Praxis. pp. 16–321.
4. Colyvan, M. (1999) Confirmation Theory and Indispensability. *Philosophical Studies*. 96. pp. 1–19. DOI: 10.1023/A:1004248218844
5. Quine, W.V. (2010a) Dve dogmy empirizma [Two dogmas of empiricism]. In: Ladov, V.A. & Surovtsev, V.A. (eds) *S tochki zreniya logiki. 9 logiko-filosofskikh ocherkov* [From the point of view of logic. 9 logical and philosophical essays]. Moscow: Kanon+ : ROOI "Reabilitatsiya", 2010. pp. 45–80.
6. Quine, W.V. (2010b) O tom, chto est' [On what there is]. In: Ladov, V.A. & Surovtsev, V.A. (eds) *S tochki zreniya logiki. 9 logiko-filosofskikh ocherkov* [From the point of view of logic. 9 logical and philosophical essays]. Moscow: Kanon+ : ROOI "Reabilitatsiya", 2010. pp. 21–44.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

УДК: 165.62

DOI: 10.17223/1998863X/55/5

I.F. Mikhailov¹

SOCIAL ONTOLOGY: TIME TO COMPUTE

Discussions on the alleged methodological specificity of social knowledge are fueled to not the least extent by a kind of retarded position of the latter against technological advancements of natural and information science based on exact methods and formal or quantitative languages. It is more or less obvious that applicability of exact scientific methods to social disciplines is highly dependent on a chosen conception of social reality, i. e., on social ontology. In the article, the author critically approaches the ontological views of Tony Lawson and proposes a computational view on social ontology that is supposed to eliminate some internal contradictions of Lawson's realist conception.

Keywords: *social ontology, Tony Lawson, computation.*

1. Introduction

The dispute on whether any kind social knowledge (SK) must comply with methodological requirements of natural science (NS) is a long-run story. It is obvious that, technologically and in a utilitarian respect, NS is far ahead. The question is whether it is a matter of methodological perfection thereof, in which case SK must find its way to using the proper methods of scientific inquiry. Or, as many enthusiasts claim, SK has merits of its own and its appropriate methods are to stem from a somewhat better understanding of its specific subject-matter.

In order to demonstrate the validity of the first view, one has to present social reality as ready to be put under formal and mathematical analysis; this enterprise has been tried so far with variable success. Meanwhile, for the second approach to be accepted, one has to show how we may know anything about a specific entity prior and independently of having a particular method of obtaining knowledge. Usually, adepts of the second view stick to working out various doctrines allowing for some intuitive penetration into the core of things.

¹ **Автор:** И.Ф. Михайлов.

Название статьи: Социальная онтология: время вычислений.

Аннотация. Дискуссии о предполагаемой методологической специфике социального знания не в последней степени вызваны в каком-то смысле его отстающей позицией по отношению к технологическим достижениям естествознания и информатики, которые основаны на точных методах, а также на формальных или количественных языках. Более или менее очевидно, что применимость точных научных методов к социальным дисциплинам сильно зависит от выбранной концепции социальной реальности, т.е. от социальной онтологии. В статье я критически оцениваю онтологическую позицию Тони Лоусона и предлагаю вычислительный подход к социальной онтологии, который должен устранить некоторые внутренние противоречия реалистической концепции Лоусона.

Ключевые слова: социальная онтология, Тони Лоусон, вычисления.

Overall, this is the old Kantian dilemma: whether an object may be shown to us only being shaped by our way of looking at it and, thus, inheriting the properties of the projection, or, conversely, our way of looking is determined by the nature of the object, which is somehow manifested in this or that way. Both stances have their weak points. It is a natural question then if there is a third option. In search of the answer, let us look into discussions around the conception of social ontology proposed by Tony Lawson and the Cambridge project [1–4], as it is, presumably, one of the most prominent proposals founded by arguments taken from the strict and professional philosophy of science.

Setting the point in the ‘method vs. object’ discussion, Edward Fullbrook, one of Lawson’s commenters, states that Lawson’s ontological approach, as it were, corrects the distortion introduced by J.S. Mill and early economists, who preferred NS as a source for a method in SK. As he puts it,

Adopting this approach to methodology means that instead of being led by ontological enquiry, one defines a priori the ontology to fit the method. Nothing could be more against the procedures and mindset that have dominated the natural sciences from Copernicus on. <...> In real science an ontology, however imperfect, decides the method, not the opposite. The birth of classical mechanics is a paragon case. Rather than pretend that the mechanical universe had properties isomorphic to an existing mathematics, Newton invented one, calculus, which did [4. P. 4].

In other words, why push SK with its definitely different ontology to fit the alien methods, if NS itself has worked these methods out in accordance with its own proprietary ontology, and not the other way around? It is a strong point, as far as I am concerned, unless we examine Newton’s ontology against its historical and cultural contexts. First, Newton’s natural philosophy was getting shape having substantialism vs. Cambridge Neo-Platonism disputes in the background [5], where this or that conception of God’s spacial nature played an important role, or in discussion with Descartes’ (meta)physics, whence he borrowed the idea of true and immutable natures [6]. These circumstances allow for assuming that his ontology, at least for an important part, was not derived from seeing the nature as it is, but rather from specific philosophical, religious or other cultural commitments of his time. And, second, the concept of a physical body that moves rectilinearly with zero acceleration unless it is affected by a force is no less far from laymen’s intuitions and everyday experience than the priority of method over object from the actual scientific practice, according to Fullbrook. And third, no one of us, including Isaac Newton, is in a position to observe the ‘mechanical universe’ as such other than within the frame of this or that mechanics. We need some universal principles and laws to see the world as a unified medium for their implementation, a *universe* in a proper sense. In their absence, we are left with fractured and heterogenic ‘realities’, struggling, *e.g.*, with the task of incorporating the social world into a physical one.

But Lawson openly sides with ‘object over method’ doctrine in application to SK, particularly to economics. At the same time, he argues in various publications that his approach “is thoroughly naturalistic <...>. It also serves to ground a social science that can be scientific in the sense of natural science” [2. P. 345].

I am going to critically approach two of Lawson’s principal positions. They may be presented as the following:

- Epistemologically, human practices are privileged with the respect of getting to the core of reality, as their general properties are (probably) those of reality.
- In social research, practices are the source of proper and accurate scientific ontological concepts.

2. What Is Ontology?

It is always an ambitious enterprise to explain to traditionalists what ontology is beyond some philosophical, or even metaphysical, antiques, and why modern science may need it. The most obvious way to do this is to explicate it in terms of presuppositions. If your theory says that electrons manifest properties of particles in certain experimental situations and those of waves in the other, then it presupposes that your reality consists (at least) of particle-like and wave-like objects, and electrons as true existents must be subsumed by either of the classes. Here is where ontology stops, and theory proper starts with claims on which particular class this particular existent subsumes. The philosophy of ontology¹ starts with the question of whether the truth of the assertion entails the truth of its presupposition. A realist would claim that it certainly does. Lawson hits this road quite decisively: “As long as we are in possession of theories widely regarded as reliable, whose content can serve as premises for ontological analysis, there is reason to suppose that the presuppositions uncovered can relate to a reality beyond conceptions” [1. P. 27].

This statement is vulnerable in more than one respect. First, and maybe the least essential, objection emerges against this ‘widely regarded’ unsustainable claim that, having been taken by others, has previously been reciprocated by Lawson himself with ‘by whom?’. But what is more important is the issue with the soundness of this deduction from presuppositions of reliable theories to the composition of the ultimate reality. Reliability of a theory as a necessary condition for it to be a source for ontology is stated unequivocally: “Reliability of entry points is the key here” [Ibid.].

The Ptolemaeus astronomy was quite reliable for the sake of navigation. The caloric theory proved to be reliable for Sadi Carnot who pictured the ideal schemas of thermodynamic processes, the schemas are viable so far. If the history of science teaches us any lessons, they are about the general unreliability of reckless scientific realism.

Lawson correctly labels ontological assumptions of a theory as ‘presuppositions’. Those differ from entailments in that a presupposition is implied by both a statement and its negation. If we, for instance, had a ‘reliable’ theory stating that caloric (or phlogiston, or whatever) is completely absorbed by a gas whatever volume the latter occupies, its ontological presupposition would be that caloric is there. But, in this case, as in any other, a contradicting theory saying that there may be a certain unabsorbed residue of caloric in certain volumes/masses would have to be considered unreliable by perforce. But they both would point out one and the same ‘ultimate reality’. Of course, this situation is consistent with our formal rules, but still then – what is the point of singling out the reliability of a theory as a reason for its being a source of ontological revelations?

Another philosophical issue is if ontology is research or investigation of the same kind as theory. Lawson believes that “the branch of study concerned with

¹ Some prefer to call it ‘metaontology’ [7–9].

what is or what exists, that investigates the natures of particular existents, is reasonably distinguished as scientific ontology. <...> Clearly, so understood scientific ontology, if irreducible to, is often carried out within science itself" [1. P. 20].

I cannot interpret this definition as anything but stating that scientific ontology either is reduced to the science itself or is part of a scientific investigation. Here Lawson mixes up two importantly differentiated things: the study of what really inhabits the investigated area and the study of what may be accepted as an object of a particular science. In the first case, the resulting propositions of the study may be true or false, while, in the second, they may turn out (and, in most cases, really are, as far as I can tell) purely conventional. Propositions of the first kind belong to a scientific theory, while propositions about possible objects of a study constitute an ontology of a particular science. In the latter case, one asks if a certain type of an object is appropriate for a particular scientific endeavor. In the former one, one empirically determines if this type is populated with any real-world instances. Epistemologically, these propositions are as different as can be. If ontology were a kind of a 'theory' on its own, then philosophy experiencing in building ontologies for about 2,500 years could compete with science directly. But, in fact, if contingently invented ontologies have any *raison d'être*, it consists in their waiting to be engaged in the mission of interpretation of properly theoretical and/or factual propositions.

3. How Can Social Reality Be Picked Out by an Ontology?

Lawson then points out one of the principal (if not the most principal) distinctions of the social reality from the natural one:

Indeed, when eventually the social realm is examined, it will be observed that it is more often the insights of lay theorising that inform the theories of economists rather than the other way around; it is lay theorising and understanding that constrain economists to posit certain real-world categories / entities such as markets, money, firms, institutions, technology, etc. [Ibid. P. 27].

From this abstract one can infer that social science differs from natural one in that it is informed by lay theories in what concerns their ontologies, while in natural science it is the other way around. If this is really the case, there may be two alternative – or, even complimentary – explications thereof. One is that social science has not met the scientific standards yet, because it is still dependent on laymen's intuitions, while natural science has managed to avoid this dependency and to rise above our everyday prejudices. The other is that the ways of contacting reality in the two cases are quite different by themselves: nature reveals itself in our sensations, while society is present only through the 'theories' we have concerning our collectivity.

And, again, missing or omitting the epistemological specificity of any ontologies as compared to theories proper may lead to the incorrect belief here that the social reality is adequately revealed in lay theories, which are nothing but our everyday concepts describing ongoing human intercourse around us. But do either laymen's ontologies, or scientific ones, discover any truths about any ultimate reality? Or do they just propose this or that arbitrary schematic view on possible states of affairs, whose views, being complemented with theories in the proper sense of the word, either work or fail in explaining facts? And, if so, it is only a matter of some abductive probable inference to conclude that, if a theory

works, then its added ontology reveals some fragment of the Kantian thing-in-itself.

Lawson obviously takes the realist stance, which he attempts to ground further. To this end, he introduces human practices, including those of scientific research, to be a leverage for penetration into the very core of things. He concentrates on how scientific experiments in artificially insulated circumstances may produce regular event sequences:

Let a system or scenario in which an event regularity is produced, or occurs, be described as closed; a domain of reality that comprises more than one ontological level (e.g., that does not consist only of events) be described as structured; and let any components of a system which can be insulated from (the effects of) others be described as separable [1. P. 28].

If these preconditions result in producing regular events, and, moreover, in triggering the same regularities within natural circumstances, this means, according to Lawson, that the reality itself “is characterised by such general properties as structure, causality, separability and openness, and so on” [Ibid.].

Much like propositions in Wittgenstein’s *Tractatus*, the course of experiments, according to Lawson, says something of the world with its immediate results, but also manifests (‘shows’) the world’s intrinsic features with its own normative premises. But pay attention to his “Let a system <...> be described as <...>”. Actually, he concludes from one of the possible general descriptions of an experimental situation to some categorical attributes of reality: if *A*, *B* and *C* characterize an experimental situation, and the latter produces trains of events that prove to be reproducible in the ‘real’ world, then *A*, *B* and *C* are also immanent attributes of the world. But, as we notice, while *A*, *B* and *C* in an experiment are obvious and arbitrarily invoked, the *A*-, *B*- and *C*-ness of the world by itself is far from being obvious and must be philosophically unveiled, *i.e.*, ascribed thereto. The said inference may be either necessary or abductive and, therefore, probable. Compare: if an ape is hairy and uses a stick to reach for a banana, then a human using a stick to the same end is hairy too. And if the deduced human’s hairiness is not evident in observation, then it is part of their hidden ontological essence – a step typical for Ancient Greek thinkers.

Lawson further states that, while concepts of natural science are usually new and strange to our everyday thinking, those of social science are known prior to the research. And this, according to him, is because “the social phenomena, unlike those of the non-social realm, emerge through human interaction and, qua social phenomena, depend on us, including our conceptions, for their continuing existence” [Ibid. P. 31].

Thus, like in the case of the widely discussed ‘folk psychology’, we may speak about a kind of ‘folk sociology’ here which, by definition, underlies the real entities of our social being. For Lawson, if our interactions are determined by our lay social concepts, then the latter conceive the ultimate social reality under question. Once we adopt this view, a single minor question remains: why do we need all this ontological ‘investigation’, when all the social thing-in-itself lies open to our mundane sight? If our lay concepts are enough to do some proper social science over them, then all the problems of social ontologies are resolved. But, on the other hand, this very folk-sociological approach of many social thinkers may be the reason why “<n>ot only do the social sciences appear to be largely explanatorily

unsuccessful, even by their own standards, but also they constitute a veritable cauldron of claims and counterclaims devoid of anything approaching consensus, and so are seemingly quite unable to provide potential entry points for ontological reasoning” [I. P. 30].

There are reasons to suspect that the comparative success of natural sciences stems to a great extent from the underlying counter-intuitive ontologies that counter our everyday intuitions not because we have ‘discovered’ them by means of some ‘research’, but because someone very prominent decided that, for all those maths to work, we need some simpler and better defined ‘objects’ than those we used to see around. And, if social students had put less trust into folk sociology but had gone in for invention of some alternative sets of objects, a perfect match might have once been achieved between a social ontology in a proper sense and an effective formalized theory.

Lawson himself recognizes that lay theory concepts are hardly a reliable source for any scientifically justified ontology, and, therefore, the problem with social-scientific ontologies “is that much social theorising around these categories is found to be unreliable, and certainly contested. As a result it is difficult to find social-scientific claims or theories that can safely be treated as providing suitable premises for the ontological elaboration” [Ibid. P. 31].

But, in the absence of any truth-check criteria for such theoretical foundations, ‘difficult’ may well mean ‘impossible’. Again, Lawson sees ‘ontology’, all in all, as one of scientific research tasks: you may try the world on how things behave, or you can do the same to find out what things there are. That is why the mutual dependency of ‘theories’ and ‘ontologies’, in his view, looks rather linear: the ones imply or ground the others. Holding up to this concept, we have to see certain ontologies as ‘true’, while regarding as ‘false’ those differing therefrom, at least, in one and the same respect. But, as it has been shown, the history of natural science provides evidence that counters this view, and even more so does the present day of social science. For, if all ontologies were implied by corresponding theories, any proven falsehood of an ontology would have necessarily, by *modus tollens*, destroyed its grounding theory. But it was not the case neither with ether, nor with caloric or phlogiston: the respective mathematics, like, say, Maxwell’s equations, proved to be generally independent of their theorists’ ontological commitments, and explanatory capacities of rival ontologically differing theories often proved to be equal (see, e. g., [10–14] for a more detailed analysis)¹. Therefore, at least, some ontologies are not implied by the theories they underlie, *i.e.*, one cannot speak of a general rule here.

Of course, in particular circumstances particular ontologies are induced by previous successful theories, even in other research realms, by common myths and shared everyday experience, by aesthetic analogies, even by esoteric doctrines a researcher personally roots for. But, generally, an ontology is not deduced from, but rather offered to a theory in order to serve as its model of interpretation. Their match may be lucky or not, but neither case provides any reason for ascribing truth or falsehood to an ontology.

¹ In this context, it is interesting to note that departure from the caloric ontology of one of Lavoisier’s disciples, a Russian chemist A.N. Scherer, had partly philosophical reasons, *i. e.*, Kant’s arguments against imponderables from *Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft* [15].

4. How Can We Steer to the Proper Social Ontology?

After this methodological introduction, Lawson posits an elementary unit of social ontology as he sees it. This, in his view, is a *social practice* that he defines as “a way of proceeding that (implicitly) bears the status of being (collectively) accepted within a community” [1. P. 34]. Ibidem, he clarifies that social practices are “accepted or acknowledged or recognised or observed ways of doing things (the term ‘accepted’ is utilised as a generic term – without implying there is necessarily approval), which guide the practices that individuals follow throughout a specific community” [Ibid.].

May we suppose that ‘a way of doing things’ is akin to an algorithm? Like ‘if you want x , then do the steps a , b , c , and if d occurs, then do e , otherwise do f ’. Certainly, social practices may be determined not only by the choice of possible actions, but also by some aesthetics, like a dress uniform. But choosing an appropriate suit may as well be presented as a logical gate in an algorithm.

And here we have some complications with this view on social objectivity. An ontology makes sense if it comes down to some elementary entities¹ of a certain reality that cannot be presented as complex ones. An algorithm, or, as Lawson puts it, ‘a way of doing things’, may not be so presented as we need ‘things’ to be named and described in order to identify an algorithm they are referred by. The essence of things processed by social algorithms (or *practices*, in Lawson’s terms) may be assumed as what distinguishes social algorithms from what we would familiarly call *natural*² ones. But let us examine the difference.

If I go fishing using only my own handmade tools, my way of doing things is determined by their physical properties. But what is *physical* in this case? This term just stands for the idea that I don’t have to mind, say, manufacturers’ brands of rods and hooks or if I paid for the fishing license. I just use productive features of things as they are *outside* of society. At the same time, if I *have* to mind some ‘non-physical’ properties of things, those turn out to be specific tokens recognized according to their certain physical properties all the same – like a form and color of a logo, or a paper with some ink on it. The principal difference of those things is not their own ‘nature’ but *the way they are processed*. In one case, a beard on a man’s face or his shaven cheeks mean nothing but his preferences in style and personal care. But, in the other, this or that option thereof may reveal his confessional affiliation. Respectively, people meeting this man either generally ignore the presence or absence of his beard, or, on the contrary, make important decisions on engaging in a certain intercourse with him. A beard remains ‘physical’ as it has always been, and it is the algorithm that changes.

Therefore, we need to find out what determines the difference in these kinds of algorithms. To put it simply, if we process a paper with ink as a fisher’s license, we must keep in mind a certain institution that issues such licenses. If we regard a man’s beard as a token of his affiliation, we most probably remember of a stable group of people who normally use a beard as an identification. Overall, in order to be able to execute algorithms of this kind, one must (1) possess some cognitive capabilities – like those of memory, distinction and categorization – and (2) be involved in lasting relations with those alike.

¹ *Atoms* or *individuals*, which, in Greek and Latin respectively, mean entities further undividable.

² Although society, I believe, is part of evolving nature.

And now we are in a position to approach the proper composition of social ontology. It has been stated above that the research of social reality must reach the ultimate entities that cannot be disassembled without losing their gist. The most common candidates thereto used to be persons or their relations. But, in both cases, we need some amendment to make these entities social, as a person may drop out of a social structure, and an interpersonal relation may come out to be a biological, not a social, one (as in cases of instant sex or cannibalism). I believe that in search of social atoms we have to turn to constituting parts of algorithms (or Lawson's 'practices') as such, as we have established that it is them who keep the secret of the social.

The first thing that must be affirmed here is that *algorithmic processes are computational ones by definition*. It is a contested view, but I think I have strong arguments in its favor.

There is a general consensus that what computation is is properly revealed in Alan Turing's famous article of 1936 [16], in which he described an ideal processing device later named *Turing Machine* (TM). In short, a computation, as described there, is a process, every step of which is determined by (1) incoming data, (2) a current state of TM, and (3) a rule appropriate for certain (1) and (2) that is applied to save, delete or change (1) and to proceed to the next step. It was later proven that TM adequately describes any process pretending to be computational¹.

But the issue with the common reception of this idea stems from the fact that Turing's concept appeared in the context of the mathematical discussion on computable functions. Hence the major belief (purely psychological, in my view) that computation is, perforce, what is accomplished by conscious agents (say, mathematicians) with the aim of finding a proper value of a function. While in fact, as I have conceived it, Turing's overall idea (maybe not even fully realized by himself) was the following: if a human (a 'computer', in his terms) executes a sequence of operations that may be as well executed *by a machine*, then it is computation. By default, a computation presupposes an algorithm (a set of rules in TM). But if you have an algorithm, you can anyway set up a machine² to execute it.

But, of course, the definition of computation as of some action potentially performed by a machine is not sufficient. One may argue that if somebody digs a ditch – and this is a sequence of operations that can be executed by a machine – then this labor must be called computation according to my definition, which is strongly counter-intuitive. And this objection is fair. But imagine that the digger is in an environment where s / he can stumble upon either an Egyptian mummy, or an unexploded war bomb, or a pirates' treasure. S/he can proceed uniformly in any of those cases, but the result will hardly be satisfying. For the digger to act 'smarter', s / he needs a set of 'if – then – else' rules, which is nothing but a simple instance of algorithm: case A – call archeologists, case B – call sappers, case C – call the police, neither one of the above – keep digging. If the digger is human, then what s / he does according to an algorithm like that is computing in the proper sense. But, as far as I can tell, nowadays machines can implement similar and even far

¹ Though even this statement is disputed these days by weakening the intensional of 'computation'. I happened to add to this discussion in [17] and [18].

² To be precise, by 'machine' I mean a deterministic machine in Turing's sense, as a non-deterministic machine whose every next step is not univocally fixed by data and a current state, demands involvement of a human operator (a 'computer').

more complicated algorithms, including visual recognition, categorization, statistical learning, and many more. Both a human and a machine compute while passing through a chain of alternatives. Then, *computation is the activity of a machine capable of regular alteration of its behavior in compliance with varying incoming data.*

When we compute, we act like / as machines.

It is important to note that computations have been pictured here so far as linear (or serial) trains of actions. But, as we know now, owing to some new technologies, computations may be shaped in parallel, executing comparatively simple algorithms over a set of interconnected processors (say, neurons), thus producing a complicated emergent outcome. And what I call ‘social computations’ has very similar architecture.

The second point of my ontological analysis concerns elementary units of ‘social practices’ conceived as computations. As long as it has been established earlier that social atoms have to be entities that cannot be disassembled any further without ceasing to be social in some decisive respect, and both persons and their relations do not fit the precondition, we need to look closer at the structure of social algorithms. Computer scientists know that algorithms are composed of some typical elementary operations juxtaposed in various combinations. They are usually called ‘computational primitives’, which are supposed to serve as building blocks of more complicated algorithms. This leads us to the idea of identifying similar primitives in social computations that I will briefly call *social primitives*. Identifying them implies a real art of recreating the real structure of social algorithms, which is somewhat akin to the so-called ‘reverse engineering’, *i.e.*, recreating the genuine design of an actual working device by guessing the logic of its creators.

Concerning society, it may occur a huge research project, the course of which cannot even be foreseen in a small article like this. But I can try to imagine what social primitives might be like. If we speak about a network structure that is a medium for parallel distributed processing, then algorithms are executed at the level of particular neurons (agents), while an emergent outcome happens at the level of the whole of the network. Then, inherent capacities of agents capable to process streams of data within the network might be:

- ‘friend / foe’ distinction
- ‘allowed / forbidden’ distinction
- ‘approved / condemned’ distinction
- ‘senior / vassal’ distinction
- ‘learn meaning of a sign’ capacity

and so on¹. It is important to note that, when it comes to a scientific theory in a proper sense, any philosophical attempts to produce a discursive definition like ‘condemnation is...’ or ‘meaning of a sign is...’ are of little use. All the primitives must be defined purely functionally: what happens in the network when something is condemned, when the meaning of a sign is learned, *etc.* It is obvious to me that this kind of methodology is the only way to obtain really reliable social science free of poorly grounded incommensurable ‘claims’, which Lawson mentions more than once as one of the major flaws of this science nowadays.

¹ This list is only an instant sketch of a possible social ontology, not the one that I propose and promote.

References

1. Lawson, T. (2015) A conception of social ontology. In: Pratten, S. (ed.) *Social Ontology and Modern Economics*. London; New York: Routledge. pp. 19–52.
2. Lawson, T. (2012) Ontology and the study of social reality: emergence, organisation, community, power, social relations, corporations, artefacts and money. *Cambridge Journal of Economics*. 36. pp. 345–385. DOI: 10.1093/cje/ber050
3. Lawson, T. (2016) Comparing Conceptions of Social Ontology: Emergent Social Entities and/or Institutional Facts? *Journal for the Theory of Social Behaviour*. 4(46). pp. 359–399. DOI: 10.1111/jtsb.12126
4. Fullbrook, E. (ed). (2009) *Ontology and Economics: Tony Lawson and His Critics*. London; New York: Routledge.
5. Slowik, E. (2013) Newton's Neo-Platonic Ontology of Space. *Foundations of Science*. 18(3). pp. 419–448.
6. McGuire, J.E. (2007) A dialogue with Descartes: Newton's ontology of true and immutable natures. *Journal of History of Philosophy*. 45(1). pp. 103–125. DOI: 10.1353/hph.2007.0015
7. Inwagen, P. van (1998) Meta-ontology. *Erkenntnis*. 48(2–3). pp. 233–250.
8. Berto, F. & Plebani, M. (2015) *Ontology and Metaontology: A Contemporary Guide*. London; New York: Bloomsbury Publishing Plc.
9. Eklund, M. (2006) Metaontology. *Philosophy Compass*. 1(3). pp. 317–334.
10. Acuña, P. (2014) On the empirical equivalence between special relativity and Lorentz's ether theory. *Studies in History and Philosophy of Science Part B*. 46(1). pp. 283–302. DOI: 10.1016/j.shpsb.2014.01.002
11. Consoli, M. & Pappalardo, L. (2010) Emergent gravity and ether-drift experiments. *Gen. Relativity and Gravitation*. 42(11). pp. 2585–2602. DOI: 10.1007/s10714-010-0999-z
12. Schurz, G. (2011) Structural correspondence, indirect reference, and partial truth: Phlogiston theory and Newtonian mechanics. *Synthese*. 180(2). pp. 103–120. DOI: 10.1007/s11229-009-9608-7
13. Ladyman, J. (2011) Structural realism versus standard scientific realism: The case of phlogiston and dephlogisticated air. *Synthese*. 180(2). pp. 87–101. DOI: 10.1007/s11229-009-9607-8
14. Šesták, J., Mareš, J. J., Hubík, P. & Proks, I. (2009) Contribution by Lazare and Sadi Carnot to the caloric theory of heat and its inspirative role in thermodynamics. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*. 97(2). pp. 679–683. DOI: 10.1007/s10973-008-9710-y
15. Kargon, R. (1964) The Decline of the Caloric Theory of Heat: A Case Study. *Centaurus*. 10(1). pp. 35–39. DOI: 10.1111/j.1600-0498
16. Turing, A.M. (1938) On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem. a correction. *Proc. London Math. Soc.* s2-43(1). pp. 544–546. DOI: 10.1112/plms/s2-43.6.544
17. Mikhailov, I.F. (2019) Computational Knowledge Representation in Cognitive Science. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 56(3). pp. 138–152. DOI: 10.5840/eps201956355
18. Mikhailov, I.F. (2019) The Proper Place of Computations and Representations in Cognitive Science. In: Curado, M. (ed.) *Automata's Inner Movie: Science and Philosophy of Mind*. Vernon Press. pp. 329–348.

Igor F. Mikhailov, Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).

E-mail: ifmikhailov@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 37–46.

DOI: 10.17223/1998863X/55/5

SOCIAL ONTOLOGY: TIME TO COMPUTE

Keywords: social ontology; Tony Lawson; computation.

The article is an attempt to contribute both to the discussion on methodological peculiarities of social knowledge and to the somewhat older ‘method over object’ discussion. The study proceeds from the assumption that formal and exact methods are the main clue to technological advancements of natural and information science. If so, then we either find a way to provide for their application to social subject-matters or stay with social science’s ‘own ground’ being content with its specific methods inferred from the specificity of its object. In order to closely examine the problem with all its possible implications, the author approaches Tony Lawson’s prominent concept of social ontology. Lawson’s

school starting point is an assumption contrary to the author's: there is no point in transferring natural methods to social knowledge as they have been worked out by natural science in compliance with a definite conception of nature, that is, with its own natural ontology. The author briefly counters that view with some facts from the history of science showing that the ontology of classical physics was shaping mainly under metaphysical and religious considerations rather than in observations and experiments. Moreover, to infer an ontology of a mechanical universe, one has to already master this or that mechanics. Siding then with Lawson, the author proposes to explicate ontology in terms of presuppositions that underlie properly theoretical statements. So, the philosophical question is whether the truth of a claim entails the truth of its presuppositions. Lawson answers it by affirmation saying that presuppositions of a 'reliable' theory are a proper source for a 'true' ontology. The problem here is that both a reliable theory and the one that directly contradicts it presuppose the same ontology. The author concludes this section with the concept of ontology as a set of statements on which typical objects are appropriate for a particular theory, which statements cannot, therefore, be assessed as true or false. Then the author approaches Lawson's claim that a proper social ontology may be derived from lay theories and social practices. He shows that lay theories are no better than scientific ones in proving the underlying ontologies by a simple fact of their 'reliability'. As for social practices, the author shows that a conclusion from their properties to the properties of reality may be only abductive and, therefore, probable. Further, he proposes to replace Lawson's 'social practices' that he construes as 'ways of doing things' with the concept of algorithms that is more precise in this respect. The author deduces that social algorithms are computational by nature, as computation, in his opinion, is the activity of a machine capable of regular alteration of its behavior in compliance with varying incoming data. Thus, the author sees nature as capable of building algorithmic machines, starting from living cells and ending with ourselves and our societies. Beyond the scope of this article remains the author's consideration that being a machine does not exclude what philosophers call 'free will'. You only need a right combination of algorithms. Then the author proceeds to the idea of 'social primitives.' If social behavior is computational by nature, then social science has to identify some individual (literally, from Latin 'undividable') algorithmic operations, combinations of which form the social reality. And, as far as the computational architecture of society is parallel and distributed, those primitives must be implemented at the level of particular actors as their embedded behavioral patterns. Functional dependencies studied by a so conceived social science tie algorithms executed at the level of particular nodes with an emergent outcome at the level of the whole network.

УДК 1.16; 316.6

DOI: 10.17223/1998863X/55/6

Г.Г. Антух, А.В. Гукова, А.Н. Петренко

ПАРАДОКС ЭГО-ИДЕНТИЧНОСТИ: ОТ ЧЕЛОВЕКА ДО НАЦИИ

По мере усложнения общественного устройства и способов коммуникации, роста темпов научно-технического и социального прогресса все большую актуальность приобретает проблема самоопределения человека. Исследование данной проблемы связано с анализом понятий тождества личности, кризиса идентичности и стратегий социального взаимодействия. В статье рассматривается проблема эго-идентичности и приводятся аргументы о парадоксальности ее природы, дается описание сущности кризиса самоопределения и его исторического генезиса с позиций современной философии. Тематизируются направления перспективных исследований проблемы самоопределения человека и кризиса идентичности.

Ключевые слова: эго-идентичность, кризис идентичности, самоопределение, самосознание, народ, нация.

Уже в середине прошлого века философы понимали, что свобода, предоставленная открытым обществом человеку, станет для последнего серьезным испытанием [1]. В целом они не ошиблись. Из достижений, которые обычно приписываются нашей эпохе, и недостатков, о которых говорится чуть меньше, складывается экстравагантный узор современности – карты без отчетливых границ для личности и векторов для самоопределения. Ускоренные процессы индивидуализации [2], информационное разнообразие [3] и практическое отсутствие ограничений для коммуникации требуют особых личностных качеств, способствующих сверхадаптации [4], основу которой составляют чрезвычайная психологическая пластичность и социальная мобильность. Быть всем сразу и не быть ничем – только так возможно удержаться на поверхности социальной реальности, не обещающей сегодня того же, что было вчера и тем более будет завтра. В условиях свободы выбора и волеизъявления, непостоянства социальной и политической обстановки, возможной ангажированности СМИ и вариативности экспертных оценок человеку все труднее определиться с тем, кто он на самом деле есть. Более того, никто не в силах помочь ему это сделать. Среди многоголосия мнений, версий и предположений, в отзвуках которых уже неразличимы полутона здравого смысла, вопрос о собственной идентичности приобретает особую значимость. Подтверждением тому служит широкое общественное обсуждение проблемы эго-идентичности на различных уровнях: этническом, религиозном, национальном, политическом, гендерном, профессиональном и т.д. Не остаются в стороне философия и социогуманизированные дисциплины, для которых данная проблема имеет фундаментальный статус [5–8]. После всего того, что уже было сказано в этой области, представляется должным провести ревизию имеющегося материала, начав с анализа чистых понятий и конкретных исторических фактов.

Суть вопроса

Термин «идентичность» включает в себя широкий спектр значений, в основном связанных с ощущением целостности, определенности и постоянства

для индивида. Например, Э. Эриксон, с появлением работ которого данный термин закрепился в научном языке, определял идентичность как субъективное отношение тождества самому себе и ощущение непрерывности существования во времени и пространстве, признаваемое другими людьми [9]. Такую интуитивно понятную дефиницию идентичности предлагает нам эгопсихология в лице Эриксона, и, казалось бы, большего от определения и не требуется. Но не все так однозначно, как может показаться.

Пусть перед нами лежат две монеты одинакового номинала. Тождественны ли они друг другу? Понятно, что говорить о тождественности денежных знаков можно только в одном случае – подразумевая эквивалентность номинальной стоимости символических денежных единиц. Нас же интересует не столько конвенциональная природа денег, сколько конкретные физические объекты, которыми и являются монеты, лежащие перед нами. И в этом смысле мы не можем говорить об их тождественности. Они выпущены в разное время, о чем свидетельствует дата на чеканке, они имеют свои потертости и царапины, историю своего обращения и, в конце концов, здесь и сейчас они занимают определенное место в пространстве. Отложим одну монету в сторону и зададимся вопросом: тождественна ли оставшаяся монета сама себе? По всей видимости, иначе как утвердительно ответить на поставленный вопрос не получится. Конечно, можно попробовать сказать, что монета, которая сейчас лежит перед нами, в то же самое время *не есть* монета, которая перед нами сейчас лежит. Но это явная бессмыслица. Согласно закону тождества, не существует иной возможности мыслить вещь в границах здравого смысла, кроме как мыслить ее тождественной самой себе. Стало быть, условие тождественности вещи самой себе есть необходимое условие существования вещи в мышлении. Все это предельно очевидно, менее очевидно следующее.

Исходя из принципа непротиворечия, нелегко, чтобы какая-нибудь из вещей была тождественна другой вещи, следовательно, быть тождественным себе означает не быть тождественным ничему, кроме единственной вещи – той, о которой идет речь. Если, например, речь идет о тождественности монеты, которая сейчас лежит перед нами, следует полагать, что данная монета не тождественна ни одной вещи в мире, не считая той, которая сейчас перед нами лежит. И тут возникает вопрос: что в итоге остается от тождественной себе вещи, помимо тождественности ее самой себе? Точнее, через какие признаки возможно представить тождественность вещи самой себе, если никаких признаков, кроме идентичных, по определению нет? Например, если мы говорим о том, что Петербург располагается севернее Москвы, то мы так или иначе разделяем убеждение, согласно которому между Москвой и Петербургом существует соизмеримое с определенной величиной различие. Подобным образом в утверждении того факта, что высота Эйфелевой башни на десятки метров уступает высоте Останкинской телебашни, сообщается об определенном различии в соотношении физических характеристик двух сооружений. Отсюда следует, что всякое реальное отношение между вещами складывается из различия между ними, а любое тождество есть не более чем тавтология [10, 11]. Правильно ли тогда говорить о тождественности как об отношении между вещами, если никаких различий в случае с тождественностью a priori не предполагается, да и никаких вещей не предполагается, если не считать ту, о которой идет речь? Скажем, в чем могла бы заключаться идентичность вы-

мысленного Томаса, которому 37 лет, и каждый день, кроме воскресенья, он ходит на работу, помимо того, что он Томас, ему чуть меньше сорока, и каждый день, кроме воскресенья, он ходит на работу? Проще всего было бы сослаться на реальное положение дел, при котором такие предикаты как «быть тридцатисемилетним», «ходить на работу» и «называться „Томасом“» составляют идентичность Томаса и, возможно, исчерпывают ее. По крайней мере, выбрав данный способ идентификации, мы не столкнемся с противоречиями, которые могли бы возникнуть в другом случае.

Предположим, что в какой-то момент своего существования Томас озадачится вопросом следующего содержания: «Кто я есть?». При ответе на данный вопрос возможны два сценария. Первый заключается в том, что Томас сознает себя тем, кем он и является. Тогда ему остается лишь собрать портфель и отправиться на работу, не забыв прихватить пропуск на свое имя. В случае с противоположным ответом все немного сложнее. Нужно понимать, что всякий вопрос, обращенный к прояснению реального положения дел, имплицитно содержит в себе утверждение состоявшегося события или факта. Например, из вопроса о конструктивных особенностях двигателя внутреннего сгорания, адресованного специалисту, мы можем понять несколько самоочевидных вещей: во-первых, что есть такой объект, который именуется «двигателем внутреннего сгорания», во-вторых, что этот объект имеет конструктивные особенности, отличающие его, скажем, от паровой машины. Точно так же и вопрос Томаса «Кто я есть?» имплицитно содержит в себе утверждение уже присутствующего в мире «я». То есть прежде вопроса «Кто я есть?» должен быть тот, кто об этом спросит, и этот кто-то есть Томас. Если такового «я – Томаса» нет, то и вопроса о существовании *несуществующего* «я – Томаса» по всем принципам логического вывода быть не должно. Таким образом, ответ на поставленный вопрос существует до актуализации самого вопроса и определяет его осмысленность. А далее все по тому же сценарию: если есть Томас, то есть все необходимое для того, чтобы ответить на вопрос о том, кто Томас есть. Если ничего указывающего на существование Томаса нет, то и нет никаких оснований, чтобы утверждать, что Томас в принципе существует. Все очень просто – для того чтобы быть монетой, лежащей на столе, нужно всего лишь быть монетой, лежащей на столе, большего не требуется. И тут можно было бы привести аналогию в духе наивного картезианства, вспомнив о том, что если кто-то ставит перед собой вопрос о наличии у себя сознания, это означает, что этот кто-то в известной степени уже осознает себя и может об этом отчитаться. В противном случае ни о каком сознании и речи быть не может. Ну а для того, чтобы быть Томасом, нужно всего лишь быть им, иных вариантов нет.

Что из этого следует?

Рискуя сделать поспешное обобщение, предположим, что актуализация вопроса о собственной идентичности является признаком, указывающим на несостоятельность настоящей эго-концепции. И в самом деле, возможно ли назвать состоятельной идентичность, внутри которой вопреки здравому смыслу через самоотрицание ставится вопрос о собственном определении? Показательна в этом отношении роль психологической науки. Мало кто из психологов писал о здоровом самоопределении по существу. Чаще всего тео-

рия личности представляет собой теорию патологии, где эго-идентичность рассматривается через патологические проявления личности и личностные кризисы [12–14]. Например, тот же Эриксон осмысливает понятие «идентичность» в связке с понятием «кризис идентичности», указывая на практически одновременное возникновение этих понятий в поле исследовательского интереса. По его мнению, актуализация проблемы идентичности связана с осознанием возникшего кризиса самоопределения. И это вполне понятно, ведь здоровая эго-концепция – это концепция, в которой нет места вопросу о собственной идентичности.

Также понятно, что с рациональной точки зрения вопрос о собственной идентичности противоречив и не имеет никакого смысла. Об этой особенности проблемы эго-идентичности неоднократно говорили философы самого различного толка, которые также понимали, что иррациональный вопрос не может иметь рационального ответа [15]. Именно поэтому данная проблема требует тщательного анализа с поиском непротиворечивых трактовок понятий тождества личности и эго-идентичности. Практическая необходимость данной задачи объясняется потребностью осмысления современного общества и места человека в нем, но уже с учетом накопленного исторического опыта и исторических ошибок, которые допустила цивилизация на пути своего развития.

Проследить связь между кризисом самоопределения и его реальными последствиями достаточно просто. Пусть вопрос «Кто я есть?» относится к области спекулятивной метафизики, не имеющей прямого отношения к действительности. В противоположность этому этико-эстетическое содержание эго-концепции прямо сообщает нам о способах и формах выражения идентичности в действительности. Более того, данное содержание имеет форму императива с предписанием к долженствованию. Правило это может быть сформулировано примерно так: «Для того чтобы быть тем, кто ты есть, делай то, что делает тебя тем, кто ты есть». Таким незамысловатым образом проблема эго-идентичности из области отвлеченной метафизики становится проблемой замысла и жеста. Несложно представить, какие смыслы и действия может породить самопротиворечивое эго, заданное неопределенными признаками и свойствами. Из ближайшей истории – истории XX в. – можно почерпнуть немало примеров того, как эхо кризиса национальной идентичности сопровождало события, унесшие жизни миллионов людей. Имея в виду все то, с чем столкнулось цивилизованное общество за последние сто лет, необходимо ясно понимать и природу вопроса о собственной идентичности, чтобы точно угадывать симптомы того, что не должно повториться никогда.

К слову, нас не должна смущать разнородность двух типов идентичности: личной и коллективной. Ведь если мы говорим об общих эпистемологических основаниях идентичности и механизмах идентификации, то разница между Я-концепцией и Мы-концепцией не такая уж и большая – ее не должно быть в принципе. Наиболее же значительными проявлениями Мы-концепции являются народ и / или нация.

Уроки истории

Как известно, феномен национальной идентичности возник относительно недавно в масштабах истории цивилизации. Этот процесс, начавшийся в Новое время, по общему мнению, являлся следствием буржуазной револю-

ции, т.е. перехода от феодализма к капитализму. Поскольку данный переход был связан с индустриализацией, которая по ряду причин происходила в разных странах неодновременно, постольку и формирование национальной идентичности у разных народов осуществлялось со значительной разницей во времени.

Вместе со сменой социально-экономического и политического уклада менялись и ценностные ориентиры.

Широко распространено мнение, что проблема самоопределения в современном обществе связана с кризисом базовых ценностей Просвещения, предполагавших поступательное, прогрессивное развитие социума и культуры. Об этой особенности человека, усвоившего основные ценности Просвещения, но осознающего невозможность следовать им в современных реалиях, в частности, пишет П. Слотердаjk [16]. По его мнению, естественным следствием данного противоречия в сознании человека становится бегство к циничному сознанию, суть которого может быть выражена следующим лозунгом: «Как бы ты ни поступал, избегай моральной ответственности!» Думается, данное правило никак не способствует самоопределению и формированию здоровой идентичности, но даже наоборот – препятствует этому. Уже только потому, что всякая идентичность предполагает позицию, а всякая позиция неизбежно влечет оппозиционную трактовку, цинизм кажется непригодным для того, что называется самоопределением. Ясно, что определив себя в мире и по отношению к миру определенным специфическим образом – выступив «за», необходимо аналогичным образом выступить и «против». В этом смысле всякое самоопределение невозможно без моральных ограничений, которые совершенно избыточны в случае с цинизмом. Тем более циническое мировоззрение кажется ущербным при анализе общественных форм самосознания.

Остановимся на том, что процесс формирования национальной идентичности связан со спецификой культурного, экономического и социального развития каждого отдельного народа, его внешнеполитического окружения, географического положения и бесчисленного количества иных, порой совершенно случайных, факторов, которые придают своеобразие его историческому пути.

Однако если Просвещение стало важной вехой в развитии Я-концепции человека, то вскоре – с появлением наций и национальных государств – исторический вызов был брошен общественным формам идентичности.

Так, достигнув своего апогея в Центральной Европе на рубеже XIX–XX в., процесс формирования национального самосознания закономерным образом привел не только к появлению ряда новых государств, но также и к началу Первой мировой войны. Тогда, летом 1914 г., большая часть Европы оказалась во власти милитаристских умонастроений. В это время национально-патриотический подъем в странах Европы был настолько сильным, что в числе выражавших свою поддержку провоенному курсу или идеям национализма оказались многие выдающиеся ученые и деятели культуры, по праву считающиеся гуманистами. Одобрительные высказывания в пользу националистического курса правительства можно найти в письмах и работах К.С. Петрова-Водкина, Н.С. Гумилева, В.В. Маяковского, И.Ф. Стравинского, В.Я. Брюсова, С.С. Прокофьева, С.Н. Булгакова, Т. Манна, З. Фрейда, М. Ве-

бера, С. Цвейга, Р. Киплинга, А. Франса, А. Бергсона и др. [17. С. 10–27]. Конечно, большинство указанных деятелей, познав истинную сущность войны, скоро пересмотрели свои взгляды.

Разумеется, если говорить о подлинных причинах начала Первой мировой войны, то сводить их исключительно к возникшему чувству национального самосознания народов Европы нельзя. Но, по-видимому, именно это чувство придавало войне особую ожесточенность и бескомпромиссность, превратив ее в борьбу, которая продолжалась до исчерпания всех национальных ресурсов [18. С. 46–47]. Даже спустя четыре года с начала войны, несмотря на колоссальные человеческие потери и ненависть к войне, боевые действия продолжались. Тогда казалось, это была не обычная война, а война за само право на жизнь. Г. Уэллс писал: «Каждый солдат, который сражается против Германии, участвует в крестовом походе против войны. Эта величайшая из всех войн – не какая-то очередная война, а война последняя!» [17. С. 24]. Словно в ответ устами героя своего романа Э.М. Ремарк парирует: «Мы не сражаемся, мы спасаем себя от уничтожения. Мы швыряем наши гранаты в людей, – какое нам сейчас дело до того, люди или не люди эти существа с человеческими руками и в касках?» [19. С. 78]. Так или иначе, даже если у Первой мировой войны была какая-то историческая миссия, то она не была завершена. С одной стороны, по окончании войны многие народы Европы и Азии впервые за многие века получили свою государственность, а некоторые народы (как, например, польский) еще и долгожданное единство. В остальном итоги войны были тяжелыми и не обещали больших перспектив отдельно взятым регионам. Так, Вторая Речь Посполитая с объединением польского народа разъединила украинцев и белорусов. Объединенная Италия, даже будучи в числе стран-победителей, по-прежнему испытывала социальные и политические проблемы, связанные со слишком разным менталитетом населения юга и севера страны, которые со временем нарастали из-за послевоенного экономического упадка. Аналогично сербы, хорваты, словенцы и другие народы Балкан, несмотря на близость языка и культуры, с трудом уживались в общем монархическом государстве.

Какие же уроки можно извлечь из этого? Условно, обретение национального самосознания есть следствие культурно-исторического развития народа, на определенном этапе которого общество сталкивается с кризисом идентичности. Как выяснилось, одной из важнейших предпосылок возникновения кризиса идентичности выступает противоречивая природа вопроса о самоопределении, где механизмом преодоления данного кризиса становится противопоставление условной переменной идентичности собственной противоположности. Несколько упрощенно это выглядит так: «Прежде чем будет ясно, кто мы есть, мы должны совершенно точно понимать, кто мы не есть». Без всяких сомнений, данный способ идентификации порочен по своей сути, как с точки зрения эпистемологических оснований, так и с позиции этико-эстетического выражения. Принципиальным же кажется следующий вопрос: а необходимо ли вообще искать собственную идентичность, если иных способов, кроме как противопоставить себя чему-либо и, как следствие, выступить против этого, нет? Если это необходимо, то прогноз на будущее неутешителен. Каждый раз, когда та или иная группа людей достигнет внутренней готовности заявить о себе и о своем месте в мире, она будет вынуждена вы-

ступить против всего того, что, по ее мнению, к ней не относится. Примеров тому достаточно. Следует ли из этого, что войнам, конфликтам, сегрегации, дискриминации никогда не будет положен конец?

В целом есть две главные проблемы в понимании внутренней структуры и динамики перехода личности или группы людей от безотчетной нерефлексивной эго-позиции к эго-концепции через кризис самоопределения для того, чтобы ответить на основной вопрос: возможно ли в принципе на том или ином этапе развития общественного самосознания избежать кризиса идентичности? Во-первых, нужно понять, связано ли становление рефлексивного самосознания с утверждением эго-идентичности; во-вторых, выяснить, существуют ли иные, отличные от противопоставления условной переменной идентичности собственной противоположности, способы самоопределения? Попробуем в самом общем виде ответить на поставленные вопросы.

Стихийный характер идентичности

Как известно, всякое развитие влечет за собой кризисы. Успешное преодоление кризиса означает переход на следующий виток развития, неуспешное – стагнацию [20. С. 86–91]. Без разницы, имеем ли мы дело с развитием человека или с развитием каких-либо общественных форм человеческого существования, будь то экономика, политика, наука, технологии или искусство, – всякий кризис должен мыслиться как необходимый этап развития. Как развитие того или иного недуга фиксируется врачом в истории болезни, так и общество, столкнувшееся на определенном этапе с кризисом, вынуждено обращаться к своей истории. Тем более что проблема национальной идентичности в общемировом масштабе не исчерпана до сих пор.

В качестве мысленного эксперимента обрисуем две возможные ситуации. Журналист спрашивает прохожего в Мюнхене: «Кем вы ощущаете себя: баварцем или немцем?» После едва заметного замешательства прохожий отвечает: «Я – баварец, но также немец и европеец». Можно предположить, что данный респондент живет в гармонии со своей национальной идентичностью. Проявленное им замешательство, вероятно, свидетельствует о том, что ему вообще не приходилось задаваться подобным вопросом. Теперь представим, что подобный вопрос был задан, например, жителю Барселоны. Ожидаемо, что в большинстве случаев последует ответ либо «испанец», либо «каталонец», но вряд ли и то и другое одновременно. Не есть ли это следствие кризиса идентичности человека, находящегося в конфликте со своей органически обусловленной эго-концепцией? Будучи испанцем по территориально-государственному принципу, он не принимает эту идентичность как национальную в силу описанной выше потребности к самоопределению по принципу «от противного»: быть каталонцем значит не быть испанцем. Казалось бы, право каждого свободного человека – называться тем, кем ему заблагорассудится. К сожалению, результатом стремления группы людей обособить свою идентичность, порожденного внутренним конфликтом и кризисом самоопределения, нередко становятся радикальные формы национализма и сепаратизма. И тогда права многих свободных людей нарушаются самым немыслимым образом.

Само собой, данное различие в толковании собственной идентичности задано спецификой культуры и истории Германии и Испании. В настоящее

время баварцы отличаются от усредненных немцев весьма условно, хотя в этой земле все же сохранились свои традиции, кухня, диалект немецкого языка и даже национальная одежда для праздников. Сохранились и некоторые особенности политического и государственного устройства земли, в частности своя политическая партия «Христианско-социальный союз», которая на общенациональном уровне традиционно входит в коалицию с партией «Христианско-демократический союз», представленной во всех землях, кроме Баварии. В остальном племенные различия бавар от других древнегерманских народов основательно забыты. Пожалуй, никто сейчас не мечтает о создании независимого государства Баварии, ведь, напротив, национальное единство немцев – это та цель, ради которой немецкий народ шел на большие жертвы в прошлом. В случае с Каталонией дело обстоит несколько иначе. Несмотря на относительно высокую этническую, языковую и культурную близость с испанцами, равно как более долгую историю сосуществования в общем государстве, самосознание каталонцев не только не растворяется в общеиспанской культуре, но, напротив, все более обособляется и самореплицируется в отношении иммигрантов данного региона. С позиции сохранения культурного разнообразия данную тенденцию едва ли можно назвать негативной, однако в случае с Каталонией, как известно, она привела к нарастающему сепаратизму и политической напряженности в стране, что стало причиной недавнего конфликта вокруг референдума о независимости.

Конечно, рассуждая над причинами того или иного кризиса, разумнее всего первым делом провести ревизию ближайшей истории развития. Когда мы говорим о специфике национальной идентичности, мы сразу же обращаемся к истории развития государственности и национального самосознания. А что если данная проблема уходит своими корнями гораздо глубже?

Предположим, что в первобытном обществе эго-концепция человека задавалась относительно простыми признаками и свойствами. Также допустим, что архаичному человеку было несвойственно задаваться вопросом о собственной идентичности. Самоопределение, как и этико-эстетическое содержание эго-концепции, устанавливалось для него естественным образом – той реальностью, в которой ему случилось быть. Какие социальные роли и формы идентичности были доступны древнему человеку? Несколько утрируя, предположим, что если этот человек был мужчиной, то ему как члену племени вменялось в обязанность быть охотником. Нужно ли спрашивать, что это за племя, если его даже необязательно было называть, оно существовало *de facto*. Трудно представить, чтобы член племени «мужчина-охотник» был обременен огромным количеством вопросов, которые волнуют современного человека. И даже мыслить условную переменную собственной идентичности через ее противоположность было бы для него излишним. Об этом можно сделать косвенные выводы по самоназваниям народов.

Например, самоназвание государства немцев «Deutschland» состоит из слов «Deutsch» и «land», где последнее слово переводится как «страна» и используется в современном немецком языке, а слово «Deutsch» в настоящее время переводится как «немецкий». Соответственно, словосочетание целиком переводилось бы на русский язык самым простым образом: как «немецкая страна» или «страна немцев». Если верить словарям, само слово «Deutsch» происходит от древнегерманского «diutisc», что означает «принад-

лежащий народу», которое, в свою очередь, произошло от древневерхненемецкого слова «*diot[a]*», т.е. просто «народ». Похожие этимологические образования можно найти в первоначальных самоназваниях многих народов мира. Как представляется, данное обстоятельство свидетельствует о том, что древние люди просто не испытывали необходимости в рефлексивном анализе собственной идентичности, о которой, как следствие, они не имели никакого представления. В архаичном обществе человек мыслил себя частью народа, а другие народы представлялись как отличные лишь на основании того, что человек не был их частью. Как говорилось выше, быть тождественным себе означает не быть тождественным ничему, кроме того, что уже есть, и это что-то и есть идентичность. Конечно же, внешние отличия между представителями разных племен в архаичном обществе существовали и проводились на основании культа, ритуала и языка: это и почитаемые боги, и характерные черты внешности, и в значительно большей степени отношение к определенному родовому и лингвистическому сообществу. Возможно, именно по этой причине как в древности, так и в раннем Средневековье межкультурные и межэтнические связи, например между славянами и скандинавами, были очень развитыми, а коммуникативные барьеры, напротив, – менее выраженными, чем это представляется на данный момент, о чем говорят некоторые современные исследователи [21].

Вероятнее всего, человек в древности не имел дела с кризисом самоопределения, поскольку он практически никогда не находился в состоянии выбора этой идентичности. Она была в значительной степени детерминирована средой обитания и социальной реальностью, в которой он существовал. С учетом локального характера социальных связей и низкой динамики учреждения институциональных отношений, уступающей скорости смены поколений, первобытный человек вообще не сталкивался с необходимостью переосмысления собственной роли в обществе. Можно сказать, что его идентичность была стихийной и оттого с ней не возникало никаких проблем. Быть может, идентичность вообще не возникает иначе как стихийно и необходимо, определяясь тем, что есть, но никак не тем, чего никогда не было. Требуется ли нам еще больше уроков истории, чтобы осознать эту простую истину?

Выводы

В целом мысль о том, что становление рефлексивного самосознания влечет за собой кризис идентичности, кажется правдоподобной. Сейчас нельзя с уверенностью сказать, какие именно эпистемологические механизмы задействованы при манифестации кризиса самоопределения. Похоже, что без серьезного анализа мышления, речи и языка разрешить проблему происхождения кризиса самосознания как на уровне личности, так и на уровне общества нельзя. Отвечая на вопрос о допустимых способах идентификации, отличных от противопоставления условной переменной идентичности ее противоположности, следует вновь указать на парадоксальную природу проблемы эго-идентичности. Ранее отмечалось, что манифестация кризиса идентичности влечет за собой невозможность рационального полагания и разрешается через деструктивное этико-эстетическое выражение. Говорилось же кем-то, что фашизм – это поза, а не идея [22]. Стало быть, вопрос не столько в том, воз-

можно ли преодолеть кризис идентичности, сколько в том, возможно ли его избежать. Для ответа на этот вопрос в будущем потребуется:

- 1) провести анализ логико-эпистемологических оснований проблемы эго-идентичности;
- 2) исследовать связь возникновения рефлексивного самосознания с кризисом самоопределения;
- 3) изучить культурно-исторические особенности национальной идентичности на примере различных народов;
- 4) найти неструктивные механизмы самоопределения как на уровне личности, так и на уровне общества.

Литература

1. Фромм Э. Бегство от свободы / пер. с англ. А. Лактионова. М. : АСТ, 2009. 256 с.
2. Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М. : Логос, 2005. 390 с.
3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М. : Academia, 2004. 788 с.
4. Langstraat L. The Point Is There Is No Point: Miasmatic Cynicism and Cultural Studies Composition // A Journal of Composition Theory. 2002. Vol. 22, № 2. P. 293–325.
5. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / пер. с нем. Г.Г. Шпета; отв. ред., пер. примеч. и авт. послеслов. М.Ф. Быкова. М. : Наука, 2000. 495 с.
6. Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления / пер. с нем. В.В. Библихина. СПб. : Наука, 2007. 621 с.
7. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. с фр. В.П. Визгин, Н.С. Автономова. СПб. : А-сэд, 1994. 408 с.
8. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / пер. с фр., послесл. и примеч. Е.А. Самарской. М. : Культурная революция ; Республика, 2006. 269 с.
9. Эрикссон Э. Идентичность: юность и кризис / пер. с англ. общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. М. : Прогресс, 1996. 344 с.
10. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы / пер. с нем. М.С. Козловой, Ю.А. Асеева; сост. и коммент. М.С. Козловой. М. : Гнозис, 1994. Ч. I. 612 с.
11. Рассел Б. Избранные труды / пер. с англ. В.В. Целищева, В.А. Суворцева. Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2009. 260 с.
12. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности / пер. с англ. Г.В. Барышниковой, А. Вяхирева. М. : Эксмо-Пресс, 2017. 352 с.
13. Адлер А. Понять природу человека / пер. с англ. Е.А. Цыпина. СПб. : Академ. проект, 1997. 256 с.
14. Олпорт Г. Становление личности : избранные труды / пер. с англ. Л.В. Трубицыной, Д.А. Леонтьева. М. : Смысл, 2002. 462 с.
15. Липовецкий Ж. Эра пустоты: эссе о современном индивидуализме / пер. с фр. В.В. Кузнецова. СПб. : Владимир Даль, 2001. 336 с.
16. Слотердайк П. Критика цинического разума / пер. с нем. А.В. Перцева. М. : АСТ, 2009. 800 с.
17. Федянина О., Бессмертная М., Солдатов Н. Анна играет «Боже, царя храни», с удовольствием слушаю // Коммерсантъ Weekend. 2014. № 10.
18. Рассел Б. Практика и теория большевизма / пер. с англ. И.Ю. Воробьевой, И.Е. Задорожнюк, Ю.Г. Казанцева. М. : Наука, 1991. 128 с.
19. Ремарк Э.М. На Западном фронте без перемен / пер. с нем. Ю.Н. Афонькина, И.А. Горкиной. М. : Худож. лит., 1988. 399 с.
20. Тойнби А. Д. Постижение истории / пер. с англ. Е.Д. Жаркова; под ред. В.И. Уколовой, Д.Э. Харитоновича. М. : Айрис-пресс, 2010. 640 с.
21. Успенский Ф. Б. Скандинавы. Варяги. Русь : историко-филологические очерки. М. : Языки славянской культуры, 2002. 456 с.
22. Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.Л. Нацистский миф / пер. с фр. С.Л. Фокина. СПб. : Владимир Даль, 2002. 78 с.

Gennady G. Antukh, Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: g.antukh@yandex.ru

Angelina V. Gukova, Siberian State Medical University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: angelina.gukovaa@yandex.ru

Alexander N. Petrenko, Siberian State Medical University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: alexandr_n@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 47–58.

DOI: 10.17223/1998863X/55/6

THE PARADOX OF EGO-IDENTITY: FROM PERSON TO NATION

Keywords: ego-identity; crisis of identity; self-determination; self-consciousness; folk; nation.

Back in the middle of the past century, philosophers understood that the freedom open society gave people would become a serious challenge for them. The accelerated processes of individualization, informational variety and almost no boundaries for communication require special personal qualities that contribute to super-adaptation based on excess psychological and social lability. As the social structure becomes more complex and the speed of the scientific, technological and social progress grows, the issue of a person's self-determination becomes relevant. This is confirmed by a wide public discussion of the problem of ego-identity at various levels: ethnic, religious, national, political, gender, professional, etc. The study of human identity is impossible without analyzing the concepts of the crisis of self-determination and the individual's identity. The article describes the essence of the crisis of identity, its historical genesis from the standpoint of contemporary philosophy, it also identifies relevant areas of research strategies to overcome such crises. The results of the research allow concluding that the ego-identity problem has a paradoxical essence. Based on this, it is assumed that one of the possibilities to resolve the identity crisis is to oppose the conditional variable of identity to its own opposite. It is shown that this method of resolving the crisis of self-determination is vicious, both in terms of epistemological grounds and in terms of ethical and aesthetic expression. Thus, the future research will focus on the following tasks: the analysis of the logical and epistemological foundations of the ego-identity problem; the clarification of the connection between reflexive self-consciousness and the self-determination crisis; the study of cultural and historical features of national identity on the example of different peoples; the determination of constructive mechanisms of self-determination, at the level of both the individual and society.

References

1. Fromm, E. (2009) *Begstvo ot svobody* [Escape from freedom]. Translated from English by A. Laktionov. Moscow: AST.
2. Bauman, Z. (2005) *Individualizirovannoe obshchestvo* [The Individualized Society]. Translated from English. Moscow: Logos.
3. Bell, D. (2004) *Gryadushchee postindustrial'noe obshchestvo. Opyt sotsial'nogo prognozirovaniya* [The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting]. Translated from English. Moscow: Akademia.
4. Langstraat, L. (2002) The Point Is There Is No Point: Miasmatic Cynicism and Cultural Studies Composition. *A Journal of Composition Theory*. 22(2). pp. 293–325.
5. Hegel, G.W.F. (2000) *Fenomenologiya dukha* [The Phenomenology of Spirit]. Translated from German by G.G. Shpet. Moscow: Nauka.
6. Heidegger, M. (2007) *Vremya i bytie* [Being and Time]. Translated from German by V.V. Bibikhin. St. Petersburg: Nauka.
7. Foucault, M. (1994) *Slova i veshchi. Arkheologiya gumanitarnykh nauk* [The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences]. Translated from French by V.P. Vizgin, N.S. Avtomova. St. Petersburg: A-cad.
8. Baudrillard, J. (2006) *Obshchestvo potrebleniya. Ego mify i struktury* [Consumer Society]. Translated from French by E.A. Samarskaya. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya, Respublika.
9. Erikson, E. (1996) *Identichnost': yunost' i krizis* [Identity: Youth and Crisis]. Translated from English by A.V. Tolstykh. Moscow: Progress.
10. Wittgenstein, L. (1994) *Filosofskie raboty* [Philosophical works]. Translated from German by M.S. Kozlova, Yu.A. Aseev. Moscow: Gnozis.
11. Russell, B. (2009) *Izbrannye trudy* [Selected works]. Translated from English by V.V. Tselishchev, V.A. Surovtsev. Novosibirsk: Sibirskoe universitetskoe izdatel'stvo.

12. Freud, S. (2017) *Ocherki po psikhologii seksual'nosti* [Three Essays on the Theory of Sexuality]. Translated from English by G.V. Baryshnikova, A. Vyakhirev. Moscow: Eksmo-Press.
13. Adler, A. (1997) *Ponyat' prirodu cheloveka* [Understanding human nature]. Translated from English by E.A. Tsypin. St. Petersburg: Akademicheskiiy proekt.
14. Allport, G. (2002) *Stanovlenie lichnosti: Izbrannye trudy* [Becoming a person: Selected works]. Translated from English by L.V. Trubitsyna, D.A. Leontiev. Moscow: Smysl.
15. Lipovetski, G. (2001) *Era pustoty: esse o sovremennom individualizme* [The age of emptiness: essays on contemporary individualism]. Translated from French by V.V. Kuznetsov. St. Petersburg: Vladimir Dal'.
16. Sloterdijk, P. (2009) *Kritika tsinicheskogo razuma* [Critique of Cynical Reason]. Translated from German by A.V. Pertsev. Moscow: AST.
17. Fedyanina, O., Bessmertnaya, M. & Soldatov, N. (2014) Anna igraet "Bozhe, tsarya khрани", s udovol'stvиеm slushayu [Anna is playing "God save the Tsar", I am listening with pleasure]. *Kommersant" Weekend*. 10.
18. Russell, B. (1991) *Praktika i teoriya bol'shevizma* [The Practice and Theory of Bolshevism]. Translated from English by I.Yu. Vorobieva, I.E. Zadorozhnyuk, Yu.G. Kazantsev. Moscow: Nauka.
19. Remarque, E.M. (1988) *Na Zapadnom fronte bez peremen* [All Quiet on the Western Front]. Translated from German by Yu.N. Afonkin, I.A. Gorkina. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
20. Toynbee, A.D. (2010) *Postizhenie istorii* [A Study of History]. Translated from English by E.D. Zharkov. Moscow: Ayris-press.
21. Uspensky, F.B. (2002) *Skandinavyy. Varyagi. Rus': Istoriko-filologicheskie ocherki* [Scandinavians. Varangians. Rus: Historical and philological essays]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
22. Laku-Labart, F., & Nancy, J.L. (2002) *Natsistskiy mif* [The Nazi Myth]. Translated from French by S.L. Fokin. St Petersburg: Vladimir Dal'.
23. Zizek, S. (2005) *Interpassivnost'. Zhelanie: vlechenie. Mul'tikul'turalizm* [Interpassivity. Desire: Attraction. Multiculturalism]. Translated from English by A. Smirnov. St. Petersburg: Aleteya.
24. Bauman, Z. (1994) *Ot palomnika k turistu* [From Pilgrim to Tourist]. Translated from English by O.A. Oberemko. *Sotsiologicheskyy zhurnal – Sociological Journal*. 4. pp. 133–154.
25. Bauman, Z. (2008) *Tekuchaya sovremennost'* [Liquid Modernity] Translated from English by S.A. Komarov. St. Petersburg: Piter.

УДК177.7. 16

DOI: 10.17223/1998863X/55/7

А.А. Быков, Н.И. Зейле

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИЗРЕНИЕ В РОССИИ В «БУНТАШНОМ» XVII ВЕКЕ КАК ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Статья посвящена анализу благотворительности в России в XVII в. Этот период русской истории оказался во многом трагическим. В начале века решались две экзистенциальные проблемы: спасение населения от вымирания во время великого голода и сохранение русской государственности. Авторы рассматривают конкретные меры государственного и частного призрения населения, а также проект царя Федора Алексеевича и некоторые другие предложения по развитию благотворительного начала в России.

Ключевые слова: *благотворительность, призрение, богадельни, милостыня, нищенство.*

XVII век занимает особое место в русской истории. Это смута, великий голод начала века, смена династии, народные волнения. В.О. Ключевский не зря назвал его «бунташным временем» [1. С. 125].

Социально-экономическая и вместе с ней политическая ситуация в мире и в России в частности осложнилась в связи с началом «малой ледниковой эпохи». Французский ученый Ле Руа Ладюри датировал ее начало 1600-ми гг. [2. С. 93].

Как следствие, с осени 1601 г. в России разразился трехлетний голод. В те времена еще не было международных фондов, американской пшеницы и других внешних источников хлеба. Страна оказалась один на один с этой страшной бедой. Конрад Буссов, иностранный наемник, так описывал подробности гибели населения: «Но клянусь Богом, истинная правда, что я собственными глазами видел, как люди лежали на улицах и, подобно скоту, пожирала летом траву, а зимой сено. Некоторые уже были мертвы, у них изо рта торчали сено и навоз...» [3. С. 34]. Здесь же К. Буссов дает описание людоедства.

Другой иностранец, капитан Жак Маржерет, пишет о последствиях острой нехватки хлеба: «Словом, это был столь великий голод, что, не считая тех, кто умер в других городах России, в городе Москве умерли от голода более 120 тыс. человек; они были похоронены в трех общественных местах, отведенных для этого за городом, о чем, включая даже саван для погребения, заботились по приказу и на средства императора» [4. С. 159]. Императором на Западе нередко титуловали русского царя. Далее Ж. Маржерет сообщает о бегстве населения в Москву из сельских местностей, поскольку император Борис велел ежедневно раздавать милостыню всем беднякам, сколько их будет [Там же]. Французский очевидец народной трагедии пишет и о большой сумме денег – «20 тыс. рублей», – отправленных голодающим в Смоленск.

«Этот голод значительно уменьшил силы России и доход императора», – констатирует Ж. Маржерет [4. С. 160].

О посылке денег в Смоленск, причем в тех же размерах, о которых сообщает Ж. Маржерет, пишет и великий русский историк Н.М. Карамзин. Он считал, что царь «не оставил ни одного города в России без вспоможения... везде уменьшая число жертв» [5. С. 67].

Раздача денег голодающим была, возможно, первой мерой государственного призрения, но не единственной. Борис Годунов прекрасно понимал, что этого мало, нужен комплекс мероприятий. Необходимо задействовать все резервы государства и благотворительный потенциал общества и церкви.

Конрад Буссов, отличавшийся аналитическим складом ума, помимо раздачи денег, отметил следующие действия царя: «Он „царь“ приказал также во всех городах открыть царские житницы и ежедневно продавать тысячи кадей за полцены» [3. С. 36].

Оказывалась помощь и тем, кто стыдился просить подаяние. «Всем вдовам и сиротам из тех, кто сильно бедствовал, но стыдился просить, и прежде всего немецкой национальности, царь послал безвозмездно на дом по несколько кадей муки, чтобы они не голодали» [Там же]. Интерес к иностранцам, забота об их спасении объясняются, видимо, их ценностью как специалистов, и количество этой категории бедствующих было невелико.

К. Буссов отметил и воззвание царя к князьям, боярам и монастырям, «чтобы они приняли близко к сердцу народное бедствие, выставили свои запасы зерна и продали их несколько дешевле, чем тогда запрашивали» [Там же]. В этом возвании явно просматривается стремление Бориса Годунова использовать благотворительные традиции русского народа.

Однако обращение к совести аристократов, церковных иерархов, даже раздача денег и муки не могли решить проблему выживания населения в условиях продолжавшихся неурожаев. Требовались более жесткие административные меры, и они последовали. Осенью 1601 г. в указе царя было сказано об установлении государственных хлебных цен и о пресечении спекуляции хлебом.

Указ содержал перечень мер по борьбе с этим злом. «Представители посадского и волостного управления получали право обнаруживать и переписывать хлеб в амбарах, житницах и лавках, предлагая владельцам продавать его по установленным государственным ценам. Если кто-либо имеет избыточные запасы хлеба, не хотел продавать его по указанной цене, то таких нарушителей предполагалось штрафовать и сажать в тюрьму. Отобранный хлеб продавался по „уложенной“ цене, однако вырученные деньги возвращались владельцам. Скупщиков наказывали кнутом на торгах, а если они не прекращали спекуляции, то их сажали в тюрьму» [6. С. 126].

Известный русский знаток благотворительности Евгений Максимов отмечал социальное новаторство Бориса Годунова, которое заключалось в принятии мер против монополизации хлебной торговли крупными торговцами. Он же впервые организовал общественные работы для голодающих. Василий Шуйский во многом следовал политике своего предшественника. «Оба они действовали уже не только как частные благотворители, но и как правители государства; при этом оба они положили начало специализации мер помощи нуждающимся» [7. С. 9].

Впервые в истории России государство в лице монархов предпринимает столь комплексные масштабные меры по борьбе с голодом. Сложно оценить действенность, эффективность этих шагов. Все ли было сделано для спасения голодающих? Возможно, не все, но и силы государства и общества уступили мощи природных бедствий. Итак, в начале XVII в. наметилась тенденция к усилению роли государства в делах призрения нуждающихся слоев населения, но, с другой стороны, происходит упадок земско-приходской жизни в восточной и средней полосе России. Е. Максимов, анализируя состояние общественного призрения после Смуты, выделяет несколько причин ослабления земско-приходской благотворительности. Во-первых, усиление в системе государственного управления «приказного начала» за счет сокращения земского. Во-вторых, уменьшение прав «вольностей» простого народа, что и неудивительно. В XVII в. снижается количество свободных крестьян, во многих приходах их осталось совсем немного. Поэтому и значение их как земских самоуправляющихся единиц значительно ослабло. В-третьих, церковные иерархи захотели прибрать к своим рукам церковную казну приходских союзов и в конце концов добились своего. «С падением земско-приходских организаций пала и постепенно свелась к нулю и приходская благотворительность» [7. С. 8]. Закрепощение крестьян и деградация приходской благотворительности и привели к постепенному росту статистических тенденций в сфере призрения как компенсации исчезновения низовой, народной благотворительности.

Однако оставались другие направления личной благотворительности. Например, кормление населения в неурожайные годы, а они случались и позднее рассматриваемой нами трагедии в начале XVII в. Продолжалось использование древних христианских практик благотворительности, одна из них – божедомская. Она заключалась в содержании неимущих в особых местах, носивших название «божьих, или убогих, домов», на средства жертвователей. М. Соколовский, русский историк XIX в., насчитал в Москве пять таких «убогих домов». Он же писал о «потюремных деньгах». Это сбор милостыни заключенными в тюрьмах на свое же содержание. Данная благотворительная традиция сохранялась «еще долее царствования Петра Великого» [8. С. 793–795].

В XVII в. зарождается и «воинское призрение», но государство пока оставалось в стороне от этой работы и возложило все на церковь, точнее, на монастыри. «Весьма возможно, что отставные воинские чины вначале определялись в монастыри лишь при условии приема ими монашеского звания и только впоследствии это условие было уничтожено» [Там же. С. 814]. Система призрения отставных воинских чинов получила серьезное развитие только в XVIII в.

Воины, а в еще большем количестве простые люди, крестьяне, холопы и др., попадали в плен к татарам и туркам. Выкуп из полона (плена), фактически рабства, считался довольно древней христианской традицией. В царствование Михаила Романова появляется специальный налог – «полоняничные деньги». Это подворная, а не посошная подать, назначенная на выкуп пленных у татар и турок. Во времена первого из Романовых, Михаила, она собиралась временно по особому распоряжению правительства. По Соборному Уложению 1649 г. этот налог становится постоянным и, по данным

В.О. Ключевского, собирался ежегодно «со всяких людей», как тяглых, так и нетяглых, но не в одинаковом размере с людей разных состояний: посадские обыватели и церковные крестьяне платили с двора по 8 денег, крестьяне дворцовые, черные и помещичьи вдвое меньше, а стрельцы, казаки и прочие служилые люди низших чинов только по 2 деньги. По словам Катошихина, полоняничных денег в его время собиралось ежегодно тысяч по 150. Эту подать собирал заведовавший выкупом полоняников Посольский приказ [1. С. 205–206].

Выкуп пленных можно считать общественно-государственным направлением благотворительности, поскольку помимо сбора налога имели место и частные пожертвования: от царя до простых крестьян.

Среди других добродетелей часто назывались «убогим вспоможение», «сирот милование», «трудолюбие», «больных посещение», «страннолюбие», «нищелюбие», «милостыня»; эти добродетели составляют ступени «лестницы, ведущей в рай и ад», изображенные на одной гравюре [9. С. 566].

Самой массовой формой личной благотворительности в христианстве была милостыня, одна из ступеней «лестницы». В сборнике слов и поучений XVII в. имеется «Слово о милостыне, яко даят милостыню убогим самому Христу и сторицею приять» [Там же. С. 565].

Вера в то, что в образе нищего скрывается сам Христос, была настолько сильна, что многие верующие считали милостыню панацеей от всех бед, даже духовным средством от болезней. В одном сборнике XVII в. помещено «Слово о спасшемся от болезни милостыни ради и паки раскаявся умре». Начинается Слово рассказом о том, что «...некто был в Константинограде разболевся и смерти убоаяся нищим дает 30 литр злата». Некоторые православные считали, что «милостыня способствует освобождению от плена» [Там же. С. 555].

Однако возникает вполне естественный вопрос: кому подавалась милостыня? Ответ вроде бы ясен – нищим, просящим, нуждающимся, но демографический состав нищенского сообщества был весьма гетерогенным: от детей и бедных женщин, как правило матерей, до инвалидов и немощных стариков. Можно их разделить и по-другому: действительно нуждающиеся и профессиональные нищие, «верховные богомольцы» и «богадельные нищие».

Особенно интересна категория «верховных богомольцев». Они появились при царе Михаиле Федоровиче и, по сути, являлись придворными нищими. Жили они при царском дворе и содержались на царском иждивении. По данным М. Соколовского, в Ружной разметной книге отмечено, что «верховным богомольцам 32 человекам по памяти из Дворца дается по 146 руб. с полтиной на год; им из казенного приказу дается теплое и холодное платье и шапки, и рукавицы, тюфяки и подушки в три года без цены» [8. С. 815].

В конце XVII в., уже в правление Петра Первого, двумя распоряжениями в области призрения был уничтожен институт верховных богомольцев и установлен осмотр богадельных нищих, т.е. нищих, призреваемых в богадельнях, стали разделять на действительно нуждающихся и молодых и здоровых, которых следовало отсылать на работу [Там же. С. 814]. Однако эти меры были приняты в конце XVII в. Раннее, в царствование Алексея Михайловича, предпринимались более мягкие действия, скорее, экономического

характера, о чем свидетельствует, например, грамота царя от 1671 г. «О немании села Еремейцева с приселки и с деревнями... и бобылишков и нищих, питающихся от церкви Божей милостынею, против крестьянских поборов денег» [8. С. 784].

По мнению М. Соколовского, данный документ интересен в двух отношениях. Во-первых, в нем говорится об освобождении от налогов неимущего населения, «каковая мера должна рассматриваться одним из видов предупредительной благотворительности». С другой стороны, документ дает понятие о населении церковных земель, состоявшем из крестьян, бобылей и нищих» [Там же. С. 785]. В переписных книгах XVI–XVII вв. много указаний на существование близ монастырей и церквей нищенских изб – «келий» [Там же. С. 783].

По данным В.Н. Берха, нищих только в одной Москве насчитывалось в это время до 1 000 человек [10. С. 130]. И.Т. Посошков посчитал примерное количество нищих в царствование Федора Алексеевича на Руси и назвал 30 000 человек [Там же. С. 132].

Почему на Руси, несмотря на некоторые меры церкви и государства, количество нищих скорее росло, чем уменьшалось? Искать причины нищенства в экономических проблемах, набегах татар, стихийных бедствиях вряд ли объективно. Многие крестьяне, и не только, продолжали работать, невзирая на временные трудности, а кому-то, несмотря на бедственное положение, просто было стыдно просить милостыню. Однако часть людей становилась нищими. Причины следует искать в индивидуальной психологии и социальном окружении таких индивидов, которое не способствовало развитию трудовой мотивации.

Главной причиной появления класса нищих следует считать позицию русского духовенства, которое с началом христианства на Руси (988) взяло нищих под свою опеку и воспитывало у населения, пока еще во многом языческого, чувства жалости и сострадания. По мнению русского историка Н. Виноградского, оно делало это, во-первых, собственным примером – монастыри были первыми нищелюбцами. Во-вторых, духовенство старалось возбудить тоже чувство милосердия к нищим у общества своими поучениями [11. С. 118]. Итогом просвещенческой деятельности русской православной церкви стала традиция подавать милостыню, ибо «всякому просящему дай», как сказал Иисус Христос.

Данная установка воспитывалась с раннего детства и стала, как писал В.О. Ключевский в работе «Добрые люди древней Руси», средством нравственного воспитания, прививая благонравие. Тем более что и во второй половине XVII в. нищие считались людьми церковными [Там же. С. 152].

Однако, как отмечали современники, поведение нищих не отличалось «благонравием». По словам Флетчера, они бродили в несчетном множестве, приставали к каждому встречному со словами: «Дай мне, или убий меня». Днем они просили, ночью крали или отнимали, так что в темный вечер люди осторожные не выходили из дому. Мало того, христарадничество в то время даже в официальных описях городских ремесел и промыслов значилось как особое ремесло под рубрикой: «Кормится Христовым именем» [10. С. 130].

Нищие второй половины XVII в. не отличались особой воспитанностью и знанием церковных канонов. Они просили милостыню в церквях даже во

время совершения богослужения. «Поэтому Собор 1666 г. вынужден был дать также постановление: во время церковной службы у дверей храма должен кто-то стоять, чтобы нищие в церкви во время пения по церкви не бродили и милостыню не просили, а стояли бы тихо в храме или на паперти. Нищих, которые будут нарушать церковное благочиние, собор предлагал смирать священникам» [10. С. 130].

Решение Собора 1666 г., похоже, не выполнялось, и об этом свидетельствует следующий факт: на Соборе 1681–1682 гг. царь (Федор Алексеевич) просил, «чтобы нищие в церквях во время церковного пения милостыню не просили и тем в церкви стоящим христианам мятежа не чинили» [Там же].

Как отмечалось выше, нищенство считалось ремеслом, а стало быть, и существовала категория «ремесленников», т.е. профессиональных нищих. Каков процент «профи» от общего количества нищенствующих, большая часть которых действительно не могла себя прокормить, трудно сказать. Реально нуждающимся, а это дети, вдовы, калеки, престарелые, необходима была хотя бы элементарная материальная поддержка. Однако «...на счет государственной казны не содержалось в Москве ни одной богадельни» (в царствовании Федора Алексеевича) [11. С. 152]. «Правда, при некоторых церквях были открыты богадельни. Но они были бедны и дурно управлялись. Таким образом, общественная и частная благотворительность не удовлетворяли нуждам нищих» [10. С. 132].

Поэтому на Церковном соборе 1682 г. наряду с чисто управленческими проблемами внутри церкви и другими был поставлен вопрос о борьбе с нищенством. Авторство проекта принадлежало царю Федору Алексеевичу (Проект о борьбе с нищенством напечатан в сочинении русского историка В.Н. Берха «Царствование Федора Алексеевича», 1834). Данный Собор мало известен, но ему уделяли внимание такие отечественные историки, как Н. Виноградский, Г. Воробьев, С.М. Соловьев, Е. Максимов.

По мнению Е. Максимова, «...к 1682 г. относится самый замечательный в древней русской истории письменный акт, систематично и последовательно устанавливающий руководящие начала общественной помощи нуждающимся» [7. С. 10].

В проекте Федора Алексеевича содержится несколько предложений, касающихся проблемы нищенства. Во-первых, «к нищим нельзя относиться как к молитвенникам за души благотворителей. Напротив того, многие из них не больше как „притворные воры“» [7. С. 10]. Во-вторых, нищих необходимо разобрать, дифференцировать. «Странных и больных держать в особом месте со всяким довольством от государственной казны: так чтоб патриарх и все архиереи приказали также в городах строить пристанища нищим. А ленивые, здоровые пристали бы к работе» [12. С. 245]. При царе Федоре велено было построить две богадельни, одну в Знаменском монастыре, а другую на гранитном дворе за Никитскими воротами, «чтоб вперед по улицам бродящих и лежащих нищих не было» [Там же]. В третьих, нищих, не способных к трудовой деятельности, необходимо кормить в особых отдельных местах, больных – лечить. В предложениях Собора неоднократно подчеркивается установка на увеличение количества богаделен и госпиталей. В-четвертых, речь идет об организации призрения, о привлечении «добрых дворян и других лиц», т.е. об упорядочивании системы управления по работе с нищими.

В-пятых, «нищих, которые не поместятся в богадельни и госпитали, следует раздать по монастырям» [7. С. 10]. В-шестых, ставится вопрос о призрении крепостных крестьян и об их лечении, что было прописано, возможно, впервые в русской истории. В высшей степени любопытно седьмое предложение царя. Оно предвосхищало дальнейшие события. Речь идет о призрении детей. «Для них, по примеру иных государств, рекомендуются особые дворы, в которых „робята“ выучивались бы грамоте и ремеслам, а также многим практическим наукам, необходимым в государственном управлении» [Там же]. В этом предложении высказывалась идея о необходимости воспитания своих специалистов, вместо «из иных чужих государств» приглашенных за большие деньги.

Каким наукам собирался обучать детей нищих царь Федор Алексеевич? Это «наука цифирная», «фортификация», «архитектура», «живописная наука», «геометрия», «артиллерия» [11. С. 155], т.е. те науки, которые любил и всячески культивировал на русской почве младший брат царя Федора, Петр.

Восьмое предложение также предвосхищало действия в сфере призрения нищих Петра I, но пока это было лишь пожелание. «„Гулякам“ надлежит воспретить нищенство. Стрельцы по караулам и воротам должны их ловить и приводить в Аптекарский приказ. Что делать с ними, как наказывать и к каким приставить работам – об этом необходимо издать особый указ» [7. С. 10]. Правда, указа не последовало, но сама идея привлечь здоровых, бездельных нищих к труду уже «витала в воздухе» намного раньше преобразований Петра.

Девятое предложение царя (мы рассматриваем только сферу призрения нищих) было продолжением предыдущего, но более конструктивным. Конечно, необходимо здоровых нищих заставить работать, однако лучше сначала обучить их ремеслам. «Самая надобность в призрении, при развитии ремесел сократилась бы, и государева казна сохранена была бы» [Там же. С. 11].

В проекте перечисляются ремесла, которым следует обучать нищих: «суконное дело, золотое и серебряное дело, часовое дело, токарное, костяное, кузнечное» и др. [11. С. 155]. Как следствие обучения нищих – искоренение этого социального явления: «... что не только в Москве, но и в городах всего Московского государства никакого нищего по улицам бродить не будет» [Там же].

Помимо обучения ремеслам предлагались и другие, по современным понятиям, социальные меры. После усвоения ремесленного мастерства предлагалось покупать им дворы, помочь в создании семей, т.е. сделать все, чтобы бывшие нищие встали на ноги. Любопытна и идея приобщения к труду калек (инвалидов) – «искать, кому какую работу удобнее работать» [7. С. 11].

Конечно, можно считать эти предложения царя Федора Алексеевича наивными, сильно опережающими свою эпоху, однако мы можем только догадываться, что было бы сделано, если бы царь не скончался в том же 1682 г., когда проект был принят Собором словами «Да будет так». Но все вышло иначе, и лишь позднее, после прихода к власти Петра I, часть предложений проекта была реализована.

Во второй половине XVII в. выдвигались не только царские предложения по регулированию проблемы бедности и нищенства. Инициативу проявляли и менее статусные акторы истории. В этом смысле интересна личность и дея-

тельность Епифания Славинецкого (ок. 1600–1675) – богослова, филолога, переводчика из Киева. В царствование Алексея Михайловича он был приглашен в Москву для «более правильного» перевода текста Библии».

Епифаний Славинецкий отличался разноплановыми интересами и идеями. Интересны его предложения по поводу призрения бедных, но без участия государства, исключительно за счет самоорганизации «низов». Опираясь на опыт братств юго-западной Руси, он предлагал оказывать поддержку тем бедным, которые не просят милостыни на улицах, сидят дома, но при этом испытывают «великую нужду». К ним он относил иереев и диаконов, служащих душам человеческим, между тем не имеющих никаких доходов или имеющих малые и скудные, вдов и сирот, странников и пришельцев, разорившихся от болезни, пожара, кражи, и, наконец, уже просителей народных [13. С. 9].

Для оказания действенной помощи данным категориям населения предлагалось создать братство или общество милосердия. «Дело милости, – говорит он (Епифаний), – тогда будут иметь хороший успех, когда многие совокупными усилиями будут стараться достигать одной цели. Кто будет давать деньги, а кто помогать своим трудом» [Там же]. Необходимо для оказания конкретной помощи избрать 10 распорядителей, собирающих данные о нуждах бедных, обсуждающих виды помощи. Женщины могли бы также создавать свои общества милосердия. Е. Славинецкий допускал возможность организации касс для бедных, которые давали бы займы и даже имущим, но без «лихвы».

Эти предложения отчасти предвосхищали Эльберфельдскую систему в Германии (вторая половина XIX в.), создание большого количества благотворительных обществ в России, в том числе женских, опыт российских касс взаимопомощи для рабочего класса.

Однако предложения Е. Славинецкого, как и царя Федора Алексеевича, сильно опережали свою эпоху, поэтому их реализация, да и то не в полной мере, произошла намного позднее. Это были попытки социального новаторства, пусть пока и неудачные, но отметим и некоторые успехи.

Во второй половине XVII в. в стране происходили важные изменения (законодательная и церковная реформы, военные преобразования и т.д.). Медленно, но менялась сфера общественного призрения, где были свои герои и новаторы.

В России традиционно многое зависело от первого лица в государстве. Царь Алексей Михайлович поступал как добрый христианин и подавал пример своим подданным, что и отразилось в письме уже опального патриарха Никона. «И ты, великий государь, подражая небесному отцу и Богу в щедротах, и в Воскресенском монастыре милостию своею не забыл, всякою милостию своею посещал: и пироги имянинные присылал, и милостыню. И я ту твою, великого государя, милость со прозорством (с гордостью) принимал, а все то делал, чтоб мне от твоей милости забвену бытии» [14. С. 514–515].

Одним из самых известных благотворителей XVII в. был дворецкий и дядька (воспитатель) царевича Алексея Федор Михайлович Ртищев (1625–1673).

В.О. Ключевский перечисляет наиболее известные благотворительные подвиги Ф.М. Ртищева. В 1654 г. он во время польского похода организовал

лазарет для больных, нищих и увечных, а также временные госпитали, где лечил нуждающихся за свой счет и на деньги, данные ему на это дело царицей.

В Москве он велел собирать по улицам валявшихся пьяных больных в особый приют, где содержал до вытрезвления и излечения, а для неизлечимых больных, престарелых и убогих строил богадельню, которую также содержал на свой счет» [1. С. 312].

Ф.М. Ртищев тратил большие суммы денег на выкуп русских полоняников (пленных) у татар, помогал даже иноземцам, попавшим в русский плен, заключенным, сидевшим в тюрьмах за долги.

Ради благих дел он способен был даже на некоторое лукавство. В.О. Ключевский описывает такой случай. «В 1671 г., прослышав о голоде в Вологде, Ртищев отправил туда обоз с хлебом, как будто подаренный ему некоторыми христалюбцами для раздачи нищим и убогим на помин души, а потом прислал бедствующему городу 14 тыс. рублей на наши деньги (вторая половина XIX в.), продав для этого часть своего платья и утвари» [Там же. С. 312–313].

Ф.М. Ртищев понимал жестокость и несправедливость крепостного права, на практике всегда следовал евангельской установке «вера без дела мертва», что проявлялось в его отношении к своим дворовым и крестьянам, которых он жалел, не перегружал работой и оброком, давал ссуды на развитие хозяйства.

Перед смертью он всех дворовых отпустил на волю и умолял своих наследников, дочь и зятя, только об одном – на помин его души возможно лучше обращаться с завещанными им крестьянами, «ибо, – говорил он, – они нам суть братья» [Там же. С. 313].

Сложно судить о влиянии благотворительных подвигов Ф.М. Ртищева на дальнейшее развитие сферы призрения. Возможно, некоторые его идеи и практики нашли отражение в проекте царя Федора Алексеевича, который не мог не знать о деятельности Ф.Н. Ртищева, но, как отмечал В.О. Ключевский, «тем особенно и важна деятельность тогдашних государственных людей преобразовательного направления, что их личные помыслы и частные усилия превращались в законодательные вопросы, которые разрабатывались в политические направления или в государственные учреждения» [Там же].

Действительно, в XVII в. продолжается процесс институционализации в сфере призрения, начатый в царствование Ивана IV (Стоглавый Собор 1551 г.) и прерванный Смутой и необходимостью восстановления гомеостатического равновесия в политический и социально-экономической системе российского общества. Появляются Дворцовый патриарший приказ (около 1620), который помимо своих основных функций осуществлял контроль за богадельнями и сиротскими домами. Вопросами оказания медицинской помощи занимался Аптекарский приказ (1632), основанный еще при Михаиле Романове. Эти учреждения, конечно, всех социальных бед своей эпохи решить не могли, хотя бы из-за слабого финансирования. Но они объективно отражали общественные потребности в усилении роли государства в социальной поддержке нуждающихся категорий населения. Позднее появляется проект царя Федора Алексеевича, который пусть и не был реализован, но также отражал ранние статистические тенденции в сфере призрения.

При этом следует признать, что главную роль в оказании помощи обездоленным слоям общества играло население, а личная милостыня оставалась главной формой благотворительности. Велика была и роль Русской православной церкви в кормлении населения в голодные годы и содержании богаделен и сиротских заведений. После смерти царя Федора Алексеевича (1682) наступил очередной «провал» в развитии благотворительности, связанный с борьбой за власть (1682–1689), закончившейся победой Петра Первого, который и реализовал часть проекта Федора Алексеевича и сделал процесс этизации сферы общественного призрения необратимым, несмотря на некоторые отступления от тенденции в эпоху дворцовых переворотов.

Литература

1. *Ключевский В.О.* Сочинения. Курс русской истории : в 9 т. М. : Мысль, 1988. Т. 3. 414 с.
2. *Ле Руа Ладюри Э.* История климата с 1000 года. Л. : Гидрологическое изд-во, 1971. 280 с.
3. *Хроника* смутного времени. Конрад Буссов, Арсений Елассенский, Элиас Геркман // Новый летописец. М. : Фонд Сергея Дугова, 1978. 608 с.
4. *Маржерет Ж.* Состояние Российской империи. Ж. Маржерет в документах и исследованиях. М. : Язык славянских культур, 2007. 552 с.
5. *Карамзин Н.М.* История государства российского. М. : Книга, 1989. Кн. III, т. XI.
6. *Корецкий В.И.* Формирование крепостного права и первая крестьянская война в России. М. : Наука, 1975. 390 с.
7. *Максимов Е.* Очерк исторического развития и современного положения общественного призрения в России // Общественное и частное призрение в России. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1907. 296 с.
8. *Соколовский М.К.* К вопросу о древнерусской благотворительности // Христианское чтение. 1902. № 6.
9. *Соколовский М.К.* Черты благотворительности по некоторым древнерусским памятникам литературы и миниатюры // Христианское чтение. 1902. № 10. С. 564–580.
10. *Воробьев Г.А.* О Московском соборе 1681–1682 года : опыт исторического исследования Григория Воробьева. СПб. : Изд. книгопродавца И.Л. Тузова, 1885. 158 с.
11. *Виноградский Н.* Церковный собор 1682 года : опыт историко-критического исследования Николая Виноградского. Смоленск : Паровая тип. Я.Н. Подземского, 1899. 268 с.
12. *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен : в 15 кн. М. : Соцэкгиз, 1962. Кн. 7, т. 13–14. 670 с.
13. *Заведеев П.* История русского проповедничества. Тула : Тип. Н.И. Соколова, 1879. 261 с.
14. *Памятники литературы Древней Руси: XVII век.* М. : Худ. лит., 1988. 704 с.

Alexander A. Bykov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: aab56@sibmail.com

Nikolay I. Zeile, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: aab56@sibmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 59–69.

DOI: 10.17223/1998863X/55/7

CHARITY AND STATE SUPPORT IN RUSSIA IN THE “REBELLIOUS” 17TH CENTURY AS AN EXISTENTIAL PROBLEM

Keywords: charity; state support; poorhouses; alms; begging.

The authors analyze the phenomenon of charity and state support in Russia in a very difficult 17th century. The beginning of the century was tragic for the country. Three years of famine put the population on the verge of extinction, which was described in detail by foreigners in the Russian service – J. Margeret, K. Bussov, and others. The article examines the measures taken by Tsar Boris Godunov to save the population: from selling cheap bread and distributing money to fighting speculation and confiscating food supplies. These measures saved many ordinary people, but did not keep Russia

away from social and political chaos: turmoil, foreign intervention, and a change of dynasty. These events activated the potential of church and private charity, which acted as a kind of social shock absorbers in the conditions of political turbulence. With the restoration of a homeostatic balance in the socio-political system of Russia, which was de jure reflected in the Council Code of Tsar Alexey Mikhailovich (1649), there was a further development of charity. Along with the traditional Christian forms of charity: alms, feeding the population, ransoming prisoners, burial of the dead, etc., state structures were also created – the Palace Patriarchal and Pharmaceutical Prikazes. This was an objective necessity due to the weakening of the role of the zemstvo and church aid to the population, at least because of the decrease in the number of free peasants. So, in the 17th century, a statist trend in charity emerged, which was reflected in the project of Tsar Fyodor Alekseevich, approved at the Church Council (1682). The project proposals were aimed at eradicating beggary and against poverty in general. This is evidenced by the project's thesis about teaching sciences and crafts to poor children and helping them in life management. The authors noted the ideas and activities of Epiphanius Slavnetsky and Fyodor Rtishchev, who were innovators of charity. However, the innovative ideas and practices were fragmentarily implemented during the reign of Peter the Great.

References

1. Klyuchevsky, V.O. (1988) *Sochineniya. Kurs russkoy istorii: v 9 t.* [Essays. The course of Russian history. In 9 vols]. Vol. 3. Moscow: Mysl'.
2. Le Roy Ladurie, E. (1971) *Istoriya klimata s 1000 goda* [History of climate since 1000]. Translated from French. Leningrad: Gidrologicheskoe izd-vo.
3. Bussow, C., Elassonsky, A. & Herckman, E. (1978) *Khronika smutnogo vremeni* [Chronicle of the time of troubles]. Moscow: Fond Sergeya Dugova.
4. Margeret, J. (2007) *Sostoyanie Rossiyskoy imperii* [The State of the Russian Empire]. Translated from French. Moscow: Yazyk slavyanskikh kul'tur.
5. Karamzin, N.M. (1989) *Istoriya gosudarstva rossiyskogo* [History of the Russian State]. Vol. 3(9). Moscow: Kniga.
6. Koretsky, V.I. (1975) *Formirovanie krepostnogo prava i pervaya krest'yanskaya voyna v Rossii* [Formation of serfdom and the first peasant war in Russia]. Moscow: Nauka.
7. Maksimov, E. (1907) Oчерк istoricheskogo razvitiya i sovremennogo polozheniya obshchestvennogo prizreniya v Rossii [An essay on the historical development and current status of public charity in Russia]. In: Maksimov, E. et al. *Obshchestvennoe i chastnoe prizrenie v Rossii* [Public and private charity in Russia]. St. Petersburg: Tipografiya impera-torskoy akademii nauk.
8. Sokolovsky, M.K. (1902) K voprosu o drevnerusskoy blagotvoritel'nosti [On ancient Russian charity]. *Khristianskoe chteniya*. 6.
9. Sokolovsky, M.K. (1902) Cherty blagotvoritel'nosti po nekotorym drevnerusskim pamyatnikam literatury i miniatyury [Charity on some ancient Russian rare books and miniatures]. *Khristianskoe chteniya*. 10.
10. Vorobyov, G.A. (1885) *O Moskovskom sobore 1681–1682 goda: opyt istoricheskogo issledovaniya Grigoriya Vorob'eva* [About the Moscow Cathedral of 1681–1682: historical research by Grigory Vorobyov]. St. Petersburg: Izd. knigoprodavtsa I.L. Tuzova.
11. Vinogradsky, N. (1899) *Tserkovnyy sobor 1682 goda. Opyt istoriko-kriticheskogo issledovaniya Nikolaya Vinogradskogo* [Church Cathedral of 1682. Historical and critical research by Nikolay Vinogradsky]. Smolensk: Parovaya tipografiya Ya.N. Podzemskogo.
12. Soloviev, S.M. (1962) *Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen: v 15 kn.* [History of Russia since ancient times: in 15 vols]. Vol. 7(13-14). Moscow: Sotsekiz.
13. Zavedeev, P. (1879) *Istoriya russkogo propovednichestva* [History of Russian Preaching]. Tula: N.I. Sokolov.
14. Likhachev, D.S. & Dmitriev, L.A. (eds) (1988) *Pamyatniki literatury Drevney Rusi: XVII vek* [Monuments of Old Rus Literature: 17th century]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

УДК 141

DOI: 10.17223/1998863X/55/8

Е.С. Гизбрехт, Н.А. Тарабанов

СОВРЕМЕННЫЙ ЭКУМЕНИЗМ И ПРОСВЕЩЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТ РАЗУМА

Рассматривается влияние просвещенческого культа разума на современный экуменизм. Посредством анализа просвещенческого культа разума и рецепции философии Просвещения в постмодернизме становится ближе одна из сторон явления – экуменизм как встреча с радикально иным.

Ключевые слова: экуменизм, Просвещение, разум, постмодернизм, сверхъестественное.

В настоящее время экуменизм является актуальной темой социально-философских исследований: в частности, предпринимаются попытки изучить его в качестве проявления диалогичности религиозного сознания [1], составляющей глобализационных процессов [2]. Интерес к данному феномену связан, вероятно, с тем, что распространение экуменистических идей начиная со второй половины XX в. является частью глубокой культурной трансформации, проникнутой влиянием постмодерна. Вместе с тем исследование более ранних истоков современного экуменизма представляется значимым, так как оно могло бы в перспективе прояснить суть данного явления.

Постмодернизм провозглашает равенство дискурсов, и вследствие этого познавательные претензии к религии больше не должны служить фактором религиозного (само)определения. Вместо этого современность преподносит требование эффективности [3], которое задает рамки для попыток осмысления и реформирования религии. Следствием изменившейся парадигмы является актуализация экуменистических идей, которые призваны способствовать миру в глобальном мире и поддерживать декларируемый постмодерном плюрализм [4]. Это представляется возможным благодаря экуменистическим проектам, которые рассматривают возможность нахождения общей платформы, объединения не только конфессий, но и религий. Такие проекты также объединяются термином «суперэкуменизм», или «радикальный религиозный плюрализм» [5]. К этой тенденции относятся работы John Caputo, John Hick, Lucien Richard, Harold Coward, Paul Francis Knitter и др.

Такой экуменизм может стремиться к размытию и даже элиминированию сверхъестественного, поскольку эта процедура необходима для приведения разных религий к общему теоретическому знаменателю. Например, J. Caputo, создавая проект внеконфессиональной религии, намеренно отказывается от понятия «сверхъестественное» и фокусируется на поиске религиозного в каждом человеке [6]. Тем не менее попытки соединения различных вероучений в общем интеллектуальном проекте могут быть полезны для философии религии, которая нуждается в возможности говорить о религии как о сущностно едином явлении. Вместе с тем попытки дистанцировать религию от

сверхъестественного выглядят контринтуитивными, и происхождение данной идеи следует, вероятно, искать в истоках экуменизма.

Поскольку протестантский теологический дискурс конца XIX в., существенно повлиявший на облик современного экуменизма [7], был определен предшествующим развитием протестантских идей, неразрывно связанных с Просвещением, целесообразным представляется исследование влияния особенностей данной эпохи на современный экуменизм. Кроме того, наиболее ранние проявления экуменизма относятся к XVII в. [8], а значит, они также могли претерпеть влияние просвещенческих идеалов.

Просвещение характеризуется культом разума, который, как полагали просветители, способен и должен принести позитивные социальные изменения, обеспечить счастье как можно большему числу индивидов. Это диктовало необходимость оценки и трансформации такого влиятельного социального института, как религия, с позиции разума. Современный экуменизм вполне соответствует данной стратегии, поскольку он существует (точнее, воспроизводится) в форме скорее сознательно осуществляемого социального изменения, чем внутренне присущего религиям и религиозности импульса. Просветители могли рассматривать экуменизм как один из способов сделать религию инструментом миропреобразования.

Проследить эту тенденцию можно путем анализа проблемы соотношения языка и религии в работах просветителей, так как культ разума являлся частью в том числе и эпистемологической программы Просвещения, а познание представляет собой деятельность, которая неизбежно связана с оперированием знаками, т.е. с использованием языка.

Язык и социальный критицизм. Критика религии в философии Просвещения

Рассмотрение философии Просвещения в контексте проблемы соотношения языка и религии требует анализа воззрений просветителей на роль языка в функционировании социума, так как во многом религия рассматривается представителями данной интеллектуальной традиции в фокусе ее общественных задач.

Ж. Старобинский высказывается о связи языка и общества у Руссо следующим образом: «Руссо утверждает, что язык не развивается изолированно. Он изменяется вместе с человеком и обществом» [9. С. 297]. Впрочем, эта цитата могла бы быть применена к описанию не только творчества Руссо, но и работ философов-просветителей в целом: в рамках данной традиции анализ языка выступает необходимым элементом анализа социальной реальности, так как возникновение языка связано с потребностью в коммуникации, т.е. с социальной потребностью.

Однако процесс объединения людей в общество, осуществляемый одновременно (или отождествляемый) с развитием человеческого языка (языка, обладающего иным функционалом и иными характеристиками, чем язык нечеловеческих животных), не является гомогенизацией. Напротив, лингвистически формируемая социальность оборачивается конструированием (или обострением) неравенства. Кроме того, сама история языка демонстрирует, что язык использовался как средство доминирования. Изначальная ситуация безмолвия (естественное состояние, описанное Руссо) сменяется политическим язы-

ком (языком, который служит убеждению), а далее язык становится орудием насилия, потому что вместо действительного убеждения он обращается на службу трансформирующейся социальности, которая отмечена несправедливостью, неравенством.

В работе Руссо «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» цивилизованное, т.е. социальное, состояние немислимо без неравенства. Так, «гражданское состояние» связано с ослаблением естественного чувства сострадания, и на место этой природной добродетели приходит закон – добродетель социальная. Закон представляет собой результат соглашения, он фиксирует состояние взаимозависимости людей, которое принесла с собой цивилизация, закрепляет политическое неравенство (т.е. условное неравенство, которое, в отличие от естественного или физического неравенства, зависит от соглашения или утверждается с его помощью). Язык является средством установления закона, потому что он является посредником в коммуникации [10].

Помимо социально-политического и этического смысла, антитеза природного и культурного (естественного и цивилизованного состояния) в творчестве Руссо имеет познавательное измерение. Так, предполагается, что доязыковое состояние (состояние, в котором подлинно человеческий язык еще не развился) является эпистемически более ценным, так как создает верное соотношение между субъектом и реальностью, формируя у первого действительные ощущения (т.е. ощущения, которые продиктованы тем, на что в самом деле направлен интерес человека). Также в таком состоянии не приходится оперировать абстрактными понятиями, которые нередко очень далеки от породивших их ощущений.

У Гельвеция же возникновение языка в первом приближении рассматривается как позитивное явление: язык позволяет перейти от состояния всеобщей вражды к объединению людей в общество, возможное благодаря принятию законов, соглашений, которые служат установлению справедливости, т.е. состояния, выгодного для как можно большего числа людей. Однако сама по себе справедливость (и добродетель в целом) не являются тем, что влечет к себе людей: напротив, для соблюдения соответствующих моральных требований необходима либо надежда на вознаграждение, либо страх неприятностей, которые последуют за несоблюдением этих требований [11].

Таким образом, в работах просветителей социальный критицизм сопряжен с языковым анализом. Для просветителей язык выступает инструментом доминирования: его возникновение связано с конструированием неравенства.

Далее, осмысление религии в философии Просвещения во многом осуществляется в рамках стратегий социального критицизма. Особенно это заметно в трактате Гельвеция «О человеке», где отмечается, что, несмотря на необходимость добродетели как ценности, которая приносит пользу обществу, в рамках христианского мировосприятия добродетель понимается как приверженность самоистязанию, ведущая человека к индивидуальному, а не коллективному благу. По мнению Гельвеция, причиной такого положения вещей является неопределенность значения слов (не только слова «добродетель», но и слов «хороший», «интерес» и т.д.), т.е. несовершенство языка [11].

Можно отметить, что в рамках данного рассуждения религия понимается как то, что должно быть оправдано социальным благом, т.е. утилитаристски.

Подобная мысль встречается и у Руссо в «Рассуждении о происхождении... неравенства...», где религия описана как то, что закрепило и установило священный характер верховной власти при переходе от естественного к цивилизованному состоянию человека (так, П. де Ман обращает внимание на тесную взаимосвязь религиозного и политического в текстах Руссо [12]).

Ответом на недостатки религии может быть ее реформирование в соответствии с принципами разума. Осуществляя данную стратегию, Гельвеций приходит к проекту «универсальной религии»: «Универсальная религия может основываться на принципах вечных, универсальных и таких, которые, будучи, подобно теоремам в геометрии, доступны самым строгим доказательствам, заимствуются из самой природы человека и вещей» [11. С. 45]. Вместе с тем такая религия понимается как реализация смысла человека, потому что она выступает средством приобщения к нравственности. Предполагается, что человек, которому дана способность к чувственному познанию, а также память (следовательно, и разум), должен при помощи деятельности своего познавательного аппарата прийти к морали. Универсальная религия является звеном этого пути, так как ее сутью является нравственность.

Вместе с тем религия в ее стихийной форме (т.е. в том виде, в котором она сформирована к данному моменту) далека от требований разума, она является набором предрассудков. Предрассудки – это, собственно, то, что относится к сверхъестественному. Далекие от разумного понятия добродетели, религиозные предписания, равно как и обряды, являются только средством от скуки. Таким образом, налицо двойственность актуальной (негативно оцениваемой) и потенциальной (основанной на началах разума и служащей добродетели) религии.

Итак, осуждение сущности и установлений современного просветителям общества связано в их работах с анализом языка, возникновение которого закрепляет отношение господства-подчинения, неравенства. В рамках социального анализа просветителей религия тоже выступает объектом пересмотра. Предполагается, что данный социальный институт не соответствует своей функции (обеспечивать общее благо), а выполняет случайные или негативно оцениваемые задачи. Критика религии также может быть связана с анализом языка (как это демонстрируется Гельвецием).

Рецепция философии языка эпохи Просвещения (в контексте проблемы языка и религии) в постмодернизме

Отношение философии постмодернизма к философии Просвещения может быть рассмотрено на примере работ де Мана («Аллегории чтения: фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста») и Старобинского («Руссо и истоки языка»). Специфика постмодернистского прочтения в этих текстах заключается в реализации стратегии деконструкции. План содержания сопоставляется с планом выражения таким образом, что это сопоставление позволяет выявить периферийные моменты текста, которые могут быть восприняты классическими толкователями как внутренние противоречия, отклонения от основной линии повествования и т.д. Таким образом, предлагаемое постмодернистами прочтение осуществляется с использованием эстетических категорий, текст сначала «разбирается», затем «собирается».

Применение данной стратегии оборачивается переосмыслением проблемы возникновения языка у Руссо. Если при прочтении «Опыта о происхождении языков...» создается впечатление, что язык (изначально жестовый) возник как средство коммуникации с себе подобными (генеалогический аспект) [13], то в «Рассуждении о происхождении... неравенства...» ситуация возникновения языка (метафорического) представлена, скорее, как миф. Руссо пишет, что человек, впервые заметив другого человека, назвал его гигантом, так как ему показалось, что визави огромен. Де Ман отмечает, что такое искажение – следствие страха, который был первым впечатлением человека, увидевшего другого, подобного себе [12]. Страх отражает недоверие (что, если это существо только обманывает своим сходством со мной, а на самом деле оно опасно для меня?), а его метафорическая фиксация в акте именовании превращает это внутреннее чувство в факт [9].

Таким образом, постмодернистский анализ текста Руссо позволяет выявить присутствие не просто другого, но Другого в философии языка просветителей. Это означает, что язык следует понимать не просто как средство коммуникации (данный взгляд был отражен выше в обсуждении социального критицизма просветителей), а как попытку фиксации опыта столкновения с радикально иным. Переход от именовании другого человека «гигантом» к именованию его «человеком» является способом разрешить страх, вызываемый чуждостью Другого, и в этом переходе Другой становится другим, т.е. категоризируется в соответствии с принципом сходства, а не с принципом различия с субъектом, теряет свою радикальную инаковость.

Здесь возможна аналогия с ситуацией встречи с религией, которая осуществляется в мышлении просветителей и отчасти актуальна для современности. Изначальный анализ стихийной религии просветителями сопряжен с поиском в ней привычного порядка, т.е. социальных функций. Например, Гельвеций называет религию лекарством от скуки, Руссо видит в ней закрепление властных отношений и т.д. Но вместе с тем просветителям, сторонникам рационального устройства общества, дискурс, построенный на идее сверхъестественного, абсолютно чужд: их собственная теория имеет дело исключительно с естественным в различных его проявлениях. Это ощущение чуждости, инаковости диктует потребность преобразования религии. Проявлением этой потребности и является создание экуменистических проектов.

Вероятно, специфика философского осмысления религии в философии эпохи Просвещения продиктована именно этим ощущением чуждости, радикальной инаковости предмета исследования. Подобно тому как это происходило в ситуации встречи человека с человеком, первая реакция на религию (в ее неразрывной связи со сверхъестественным) – страх. На первый взгляд кажется, что проявлением просвещенческого страха перед религией является встречающееся в работах философов этой эпохи понимание религии как угрозы, проводника или фиксации опасных или ненужных тенденций (у Руссо, например, верховной власти). Вместе с тем такое понимание религии похоже, скорее, на вытеснение подлинной причины страха: сверхъестественное как будто обходится стороной в работах просветителей, должного внимания ему не уделяется.

Но предпринимается и попытка освободиться от страха, вызванного переживанием инаковости, и этой попыткой является идея универсальной рели-

гии, в которой сверхъестественное элиминировано (потому что формы представления сверхъестественного составляют специфику каждой отдельной религии), но зато гипостазирован этический аспект (причем этика является продуктом познавательной деятельности) и прослеживается политическая причина для существования такой религии. (Примечательно, что конструирование универсальной религии камуфлируется утверждением естественности такой формы религиозности.) В целом любая просвещенческая попытка основанного на принципах разума реформирования религии может быть истолкована как служащая данной цели.

Итак, постмодернистское прочтение текстов Руссо позволяет понять язык как переход от опыта встречи с радикально иным до его присвоения, т.е. реформирования. Эта стратегия присвоения, как представляется, и осуществляется в экуменистическом проекте эпохи Просвещения.

Итоги

Исследование просвещенческих истоков современного экуменизма может быть сфокусировано на особенностях философии языка Просвещения в контексте проблемы соотношения языка и религии. В соответствии с вышесказанным философия языка эпохи Просвещения тесно связана с социальным критицизмом. В рамках социального анализа осмысливается и религия, которая, по мнению просветителей, не обеспечивает общего блага, но может быть соответствующим образом реформирована. Так рождается экуменистический по существу проект универсальной религии.

Просвещенческая философия религии повлияла на образование некоторых специфических черт современного экуменизма. В частности, понимание религии как того, что должно служить общему благу, справедливости, и идея реформирования религии в соответствии с требованиями разума оказались актуальными и в настоящий момент [4]. Полное элиминирование сверхъестественного не всегда характерно для работ современных экуменистов, однако задача универсализации религий диктует необходимость размывания сверхъестественного, так как представление о нем составляет своеобразие религий. Выделенные особенности, как представляется, берут свое начало в просвещенческом культе разума.

Также анализ постмодернистской рецепции философии языка просветителей позволяет увидеть некоторые экуменистические проекты как встречу просвещенческого дискурса с радикально иным, т.е. со сверхъестественным. Реформы религии (в том числе и экуменизм) призваны противостоять страху сверхъестественного, присвоив религию, т.е. сделав ее не вполне соответствующей собственной сущности.

Литература

1. Излученко Т.В. Социально-философский анализ диалогичности религиозного сознания : дис. ... канд. филос. наук. Красноярск, 2014. 157 с.
2. Алескерова С.Э. Роль экуменизма в процессах глобализации: на примере современной России : дис. ... канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2009. 151 с. URL: <https://www.dissertat.com/content/rol-ekumenizma-v-protsessakh-globalizatsii-na-primere-sovremennoi-rossii> (дата обращения: 15.05.20)
3. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М. : Ин-т эксперим. социологии, 1998. 160 с.

4. *Charlesworth M.* Ecumenism between the world religions // *Sophia*. 1995. Vol. 34, № 1. P. 140–160.
5. *Шохин В.К.* Теология: введение в богословские дисциплины. М. : ИФ РАН, 2002. 120 с.
6. *Caruto J.* On Religion. London : Thinking in action, 2001. 147 p.
7. *Irvin D.T.* Specters of a New Ecumenism: In Search of a Church “Out of Joint” // *Religion, Authority, and the State. Pathways for Ecumenical and Interreligious Dialogue*. New York : Palgrave Macmillan, 2016. P. 3–32.
8. *Манзюк В.И.* Генезис католической модели экуменизма // *Научные ведомости Белгородского государственного университета. Философия. Социология. Право*. 2010. Вып. 13, № 14 (85). С. 253–256.
9. *Старобинский Ж.* Руссо и истоки языка // *Поэзия и знание: история литературы и культуры*. М. : Языки славянской культуры. 2002. Т. 1. С. 289–313.
10. *Руссо Ж.-Ж.* Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // *Об общественном договоре. Трактаты*. М. : КАНОН-Пресс, 1998. С. 51–150.
11. *Гельвеций К.А.* О человеке // *Сочинения* : в 2 т. М. : Мысль, 1974. Т. 2. С. 5–568.
12. *Ман де П.* Аллегория чтения: фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1999. 368 с.
13. *Руссо Ж.-Ж.* Опыт о происхождении языков, а также о мелодии и музыкальном подражании // *Избранные сочинения* : в 3 т. М. : Педагогика. 1981. Т. 1. С. 221–267.

Evgeniya S. Gizbrekht, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: ev.gizbrekht@gmail.com

Nikolay A. Tarabanov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: nikotar@mail.tsu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 70–77.

DOI: 10.17223/1998863X/55/8

MODERN ECUMENISM AND THE CULT OF REASON OF THE ENLIGHTENMENT PERIOD

Keywords: ecumenism; Enlightenment; reason; postmodernism; supernatural.

The interest in ecumenism in socio-philosophical research is probably associated with the fact that the spread of ecumenical ideas since the second half of the 20th century is a part of a postmodern cultural transformation. Modern ecumenism, including projects of unification of religions, may try to erode or eliminate the supernatural, since it defines the particularity of a religion and, therefore, prevents the unification of religions. The complex attitude to the supernatural, demonstrated by modern ecumenist projects, seems to be connected with the Enlightenment cult of reason, which not only dictated the need for social reform on a rational basis, but was also imbued with the fear of the irrational (including the supernatural). Thus, the origins of modern ecumenism can be seen in the cult of reason of the Enlightenment period. The study of the Enlightenment origins of modern ecumenism can be focused on the peculiarities of the philosophy of language, especially on the problem of the relation between language and religion. The philosophy of language of the Enlightenment is associated with social criticism. Within the framework of social analysis, religion is also comprehended: according to the Enlighteners, it does not provide for the common good, but can be transformed. This is the description of the ecumenical project of a universal religion of the Enlightenment. The philosophy of the Enlightenment gave modern ecumenism a few features: (1) the idea of morality as a result of cognitive activity, i.e., a link between ethics and epistemology; (2) the recognition of the need to reform religion on a rational basis; (3) the understanding of religion as justice; (4) the erosion or elimination of the supernatural. The analysis of the postmodern formulation of the philosophy of language also allows seeing some ecumenical projects as a “meeting” of the Enlightenment discourse with the radically different, i.e., the supernatural. The reforms of religion (including ecumenism) commit to resist the fear of the supernatural by appropriating religion, making it quite inconsistent with its essence.

References

1. Izluchenko, T.V. (2014) *Sotsial'no-filosofskiy analiz dialogichnosti religioznogo soznaniya* [Socio-philosophical analysis of the dialogism of religious consciousness]. Philosophy Cand. Diss. Krasnoyarsk.

2. Aleskerova, S.E. (2009) *Rol' ekumenizma v protsessakh globalizatsii: na primere sovremennoy Rossii* [The role of ecumenism in globalization: a case study of modern Russia]. Philosophy Cand. Diss. Rostov-on-the-Don. [Online] Available from: <https://www.dissertation-cat.com/content/rol-ekumenizma-v-protsessakh-globalizatsii-na-primere-sovremennoi-rossii> (Accessed: 15th May 2020).
3. Lyotard, J.-F. (1998) *Sostoyaniye postmoderna* [The state of postmodernism]. Moscow: Institute of Experimental Sociology.
4. Charlesworth, M. (1995) Ecumenism between the world religions. *Sophia*. 34(1). pp. 140–160. DOI: 10.1007/BF02772453
5. Shokhin, V.K. (2002) *Teologiya: vvedenie v bogoslovskie distsipliny* [Theology: an introduction to theological disciplines]. Moscow: RAS
6. Caputo, J. (2001) *On Religion*. London: Thinking in action.
7. Irvin, D.T. (2016) Specters of a New Ecumenism: In Search of a Church “Out of Joint”. In: Lefebure, L.D. (ed.) *Religion, Authority, and the State. Pathways for Ecumenical and Interreligious Dialogue*. New York: Palgrave Macmillan. pp. 3–32.
8. Manzyuk, V.I. (2010) Genesis of catholic model of ecumenism. *Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo – Belgorod State University Scientific Bulletin. Philosophy. Sociology. Law*. 14(85). pp. 253–256.
9. Starobinski, J. (2002) *Poeziya i znanie: Istoriya literatury i kul'tury* [Poetry and knowledge: History of literature and culture]. Vol. 1. Translated from French. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury. pp. 289–313.
10. Rousseau, J. J. (1998) *Ob obshchestvennom dogovore. Traktaty* [On the Social Contract. Treatises]. Translated from French. Moscow: KANON-Press. pp. 51–150.
11. Helvetius, C.A. (1974) *Sochineniya: v 2 t.* [Writings: in 2 vols]. Vol. 2. Translated from French. Moscow: Mysl'. pp. 5–568.
12. Man, P. de (1999) *Allegorii chteniya: Figural'nyy yazyk Russo, Nitsshe, Ril'ke i Prusta* [Allegories of reading: Figurative language of Rousseau, Nietzsche, Rilke and Proust]. Translated from French by S. Nikitin. Ekaterinburg: Ural State University.
13. Rousseau, J.J. (1981) *Izbrannye sochineniya: v 3 t.* [Selected Works: in 3 vols]. Vol. 1. Translated from French. Moscow: Pedagogika. 1981. pp. 221–267.

УДК 304.9

DOI: 10.17223/1998863X/55/9

А.В. Голдовская

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СОЦИУМ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Проблема интеграции людей с интеллектуальной патологией обусловлена философскими теориями, преобладающими в обществе длительное время. Модель человеческого разнообразия позволяет включать людей с умственными ограничениями в общественные процессы. На основании исследования, проведенного совместно со специалистами детских домов-интернатов для умственно отсталых, предлагается использовать концепцию социальной эксклюзии для выделения индикаторов исключения и механизмов включения.

Ключевые слова: инвалидность, умственная отсталость, социальная эксклюзия, философия инвалидности.

Проблема инвалидности является одним из наиболее актуальных вопросов современности. На сегодняшний день проводится политика, направленная на борьбу с последствиями длительного процесса изоляции инвалидов, выраженного в их дискриминации и стигматизации. Для нашей страны это приобрело наибольшую значимость в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов в 2012 г. [1]. В соответствии с нормами данного международного соглашения инвалиды не должны ущемляться в правах, а ориентиром политики государства должно стать их активное включение в общественные процессы. Одним из основных направлений социальной политики в рамках реализации норм Конвенции о правах инвалидов является создание доступной среды. Согласно государственной программе РФ «Доступная среда на 2011–2020 гг.» и соответствующим региональным программам, создаются условия для безбарьерного передвижения людей с инвалидностью. Однако зачастую объекты, документально обозначенные как доступные, по факту не всегда удовлетворяют потребностям маломобильных граждан, нередко становясь дополнительным препятствием для людей как с физическими ограничениями, так и без них. Так, например, в г. Томске создание безбарьерной среды осуществляется с 2014 г., однако активисты по результатам проведенной ими независимой оценки городской среды неоднократно доказывали, что некоторые здания, улицы, транспорт все так же не соответствуют нормативам и остаются недоступными для людей с инвалидностью [2].

Важно отметить: несмотря на присутствие проблемы инвалидности в общественно-политическом дискурсе, внесение ряда изменений в нормативно-правовые акты РФ, принятие мер по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями, разработку механизмов их интеграции, некоторые категории все же остаются в сложном положении, в частности проблемы людей с умственной отсталостью находятся вне поля зрения. Иными словами, способы включения в общественную жизнь людей с ДЦП в целом достаточно понятны (например, создание безбарьерной среды), механизмы же интегра-

ции людей с ограниченными интеллектуальными возможностями на сегодняшний день остаются непроработанными. Более того, вопрос включения данной категории инвалидов выступает одним из наиболее дискуссионных ввиду его сложности и неоднозначного восприятия в обществе. Объяснение сложившейся ситуации скрывается в теориях инвалидности, длительный период времени преобладавших в обществе. Инвалидность в случае ее визуальной выраженности (например, нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, интеллектуальные патологии) на протяжении веков рассматривалась как нечто иное, чужое, отклоняющееся от нормы. Соответственно, своеобразная «инаковость» человека с такой патологией являлась причиной стремления условно здоровой части человечества отгородиться от условно больной. При обращении к истории данного вопроса наглядным примером вышесказанного выступает традиция умерщвления детей-инвалидов в ряде античных государств, а в более позднее периоды – помещение людей с отклонениями в специальные учреждения.

Основной тезис работы заключается в том, что для продуктивного изучения и практического решения проблемы включения людей с умственной отсталостью в общественные процессы необходимо не только использование медицинских, социологических, психологических и педагогических теорий, но и поиск социально-философских оснований изучения темы, что позволит определить направление поиска эффективных теорий, а также пути выработки соответствующих технологий. В целом социально-философская рефлексия предоставит возможность обобщить опыт изучения проблемы и откроет перспективы на пути создания новых подходов в рамках «формирующегося дискурса инвалидности».

Прежде всего, существует потребность в обозначении философских подходов к определению и пониманию инвалидности в исторической ретроспективе. Проблема инвалидности рассматривалась как с объективистских (позитивистский подход, структурный функционализм, теория маргинальности), так и с субъективистских позиций (феноменологический, экзистенциальный, постмодернистский подходы, социальный конструктивизм и пр.).

Ведущим подходом к познанию проблемы инвалидности на Западе долгое время оставался позитивизм [3. Р. 19], легший в основу медицинского подхода, длительный период доминировавшего в нашей стране, а в сфере здравоохранения преобладающего и сегодня. С точки зрения позитивизма человек с инвалидностью рассматривается в качестве «больного», «неполноценного». Медицинский подход определяет группы и отдельных лиц исключительно на основе их нарушений [4]. То есть в первую очередь обозначается его принадлежность к категории «инвалид», а потом уже к другим социальным группам. Соответственно, главным направлением деятельности является его излечение или же стремление «подтянуть» под общественные нормы. В противном случае человек, не поддающийся излечению, считается бесполезным, что в последующем приводит к его направлению в специализированные учреждения. Упоминая вскользь о деятельности учреждений для умственно отсталых, можно отметить, что ориентир был направлен на медикаментозную терапию.

Медицинский подход к инвалидности также объясняется Т. Парсонсом в рамках структурного функционализма, в русле которого была разработана

концепция «роли больного», представленная в работе «О социальных системах» [5]. «Роль больного» закрепляется за человеком с инвалидностью, и преодолеть или изменить эту позицию по объективным причинам нельзя. «Роль больного» способствует воспроизведению роли врача, а это создает необходимость существования здравоохранения в целом. Подобная ситуация возникает в связи с помещением людей с интеллектуальными ограничениями в специализированные учреждения. По мнению М. Фуко, «медицина, занимающаяся душевными болезнями, видит в этой возможности первый залог своего бессмертия» [6. С. 143], т.е. «роль больного» в некотором смысле является залогом нормального функционирования системы.

Главным недостатком объективистских концепций является игнорирование субъектности индивида и его возможности влиять на принятие решений. По этой причине медицинский подход неоднократно подвергался критике в связи с его ограниченностью и замкнутостью на биологических недостатках человека. Уже к 1970-м гг. на смену ему пришла социальная модель инвалидности, рассматривающая проблему инвалидности не с точки зрения неполноценности и ограниченности человека, а с точки зрения ограничений, накладываемых самим обществом на такого человека. Основные аргументы в пользу социальной модели были представлены британскими исследователями В. Финкельштейном [7] и М. Оливером [8]. По их мнению, проблема заключается не только в самих инвалидах, но и в обществе, «выталкивающим» людей, не похожих на остальных. Социальная модель выступила источником создания условий для полноценной жизни инвалидов, в том числе людей с умственной отсталостью. Так, например, в домах-интернатах для умственно отсталых детей цель с излечения переместилась на их социализацию.

Также среди субъективистских концепций выделяют экзистенциальный анализ, который в первую очередь сосредоточивается на индивидуальном и социальном бытии, вынося на первое место вопрос выбора. Яркими представителями философии экзистенциализма являются С. Кьеркегор [9], Х.М. Хайдеггер [10], Ж.-П. Сартр [11]. Философия экзистенциализма релевантна концепции независимой жизни, относящейся к социальным моделям и являющейся не только теорией, но и отчасти практикой, даже в некотором смысле руководством к действию. Данная концепция подразумевает участие инвалидов в общественных процессах и возможность самостоятельного свободного выбора, т.е. происходит создание условий, в которых человек не будет зависим от различных социальных служб, окружающих его людей и общества в целом. Философия независимой жизни направлена на преодоление барьеров и полную интеграцию инвалидов в общественные процессы. Однако существенным ограничением в процессе интеграции людей с особенностями интеллектуального развития является невозможность совершения ими осознанного выбора, в первую очередь это касается формы глубокой умственной отсталости.

С точки зрения социального конструктивизма социальные проблемы являются результатом процесса коллективного определения [12. С. 16]. В рамках конструктивистской философии ключевой является смена акцента с ограничений человека на равновесное отношение между инвалидом и окружающей его средой. Среди представителей данного подхода выделим М. Спектора, Дж. Китсьюза [13], использовавших идею социального конструктивизма для подчеркивания субъективного характера социальных про-

блем. Также стоит упомянуть и Е.Р. Ярскую-Смирнову, по мнению которой, отношение к людям с инвалидностью зависит от контекста: «ярлык – знание об инвалидности – может приклеить человеку какая-то конкретная социальная система, в которой данное состояние принято считать отклонением от нормы» [14. С. 39]. В связи с этим возникает резонный вопрос: что является этой нормой? Так, например, в XIX в. в США на острове Мартас-Виньярд основным инструментом коммуникации между населением выступал язык жестов, что позволяло людям с нарушениями слуха принимать активное участие в общественной жизни [15]. Этот пример демонстрирует изменчивость и произвольность отношений между инвалидами и условно здоровыми людьми. Не существует абсолютного и неизбежного способа организации мира.

Вместе с тем вышерассмотренные модели инвалидности имеют и негативные стороны. Своеобразный маятник защиты прав инвалидов все больше раскачивается от ущемления прав инвалидов к их предвосхищению, от негативной дискриминации к «позитивной». Это нередко приводит к тому, что права и интересы инвалидов защищаются за счет интересов условно здоровых людей. Например, создавая безбарьерную среду для инвалидов, не учитываются потребности условно здоровых. Современную социальную модель критикуют за обесценивание объективной реальности, т.е. инвалидности словно нет. Чувствуется явное раздражение в последних трудах М. Оливера, полагающего, что нарушения являются реальными и важными как для самого инвалида, так и для общества в целом [16].

Сторонники социальной модели стремятся интегрировать всех без исключения, несмотря на какие-либо отклонения и ограничения. Но как же быть в отношении людей, например, с глубокой умственной отсталостью, которые никогда не смогут стать полноценными членами общества в силу своих непреодолимых интеллектуальных ограничений? В первую очередь необходимо изменение отношения общества, которое возможно в случае смены философских представлений о человеке и мире. Здесь, на наш взгляд, более уместна модель человеческого разнообразия, предполагающая нормальное сосуществование всех категорий населения. Данная модель релевантна идеям постмодернизма, изложенным в работах М. Фуко [17], в которых речь шла о влиянии медиализации, обеспечивающей ориентиры нормальности и приемлемости в обществе и порождающей культурные практики, которые признают нормативность и отвергают и / или презируют ненормального другого. В трудах других представителей данного подхода, например Т. Шекспира, Н. Уотсона [18], М. Коркера [19], отвергается материалистический фокус на социоструктурных детерминантах инвалидности и вместо этого идет обращение к культурному и лингвистическому аспекту. Дополняет данную картину и феминистская теория интеллектуальных ограничений, представленная в работах, например, Л. Карлсон [20], которая, в частности, исследовала взаимосвязи когнитивной инвалидности и угнетения женщин.

В рамках обозначенной модели инвалидность рассматривается не как патология, а как вариант человеческого разнообразия, как некоторый источник культуры. Признание человеческого разнообразия позволит выработать стратегии интеграции людей с инвалидностью, которые будут рассматривать нетипичность человека не как отклонение от нормы, а как его индивидуальную особенность при всем его многообразии.

Возникает вопрос о создании условий для принятия обществом этого человеческого разнообразия. Как сделать так, чтобы общество сумело преодолеть выработанную столетиями стереотипность мышления по отношению к людям с умственной отсталостью и стало готовым включить таких людей? На наш взгляд, целесообразным представляется определение механизмов включения инвалидов в общество, в том числе детей с умственной отсталостью, посредством анализа причин их исключения, опираясь на теорию социальной эксклюзии. Социальная эксклюзия в современном социально-философском знании является одним из наиболее актуальных дискурсов. Суть социально-философского подхода в рамках данной темы заключается в обнаружении места исключенных с интеллектуальной патологией в системе социальной деятельности и включение (возвращение) их в общественные процессы.

Непосредственно проблему социальной эксклюзии в своих работах освещали зарубежные и отечественные исследователи: П. Абрахамсон [21], М. Вольф [22], Ф.М. Бородин [23], Н.Е. Тихонова [24], Е.Р. Ярская-Смирнова [25], М.С. Астоянц [26] и др. Нередко исследователи рассматривают социальную эксклюзию в экономическом аспекте, однако данная концепция отражает и социокультурные проблемы общества, что обозначил видный социолог Э. Гидденс: «Социальная эксклюзия – это механизм, отделяющий группы людей от главного социального потока» [27]. Теория социальной эксклюзии включает в себя и объективистские, и субъективистские философские подходы. Так, с одной стороны, в процессе исключения акцент делается на объективные, физические ограничения человека с инвалидностью (сложная форма ДЦП), что соотносится с идеями позитивизма. С другой стороны, социальную эксклюзию можно рассматривать с точки зрения субъективистского подхода, когда человек ставит на себе «клеймо» и сам условно ограждает себя от общества.

Концепция социальной эксклюзии позволяет выделить причины исключения воспитанников домов-интернатов для умственно отсталых детей. Научной новизной данного исследования является формулировка индикаторов социального исключения, которые выступают в качестве результата проведенного теоретического анализа и социологического исследования (интервью со специалистами), проведенного в специализированных учреждениях для детей с умственной отсталостью в СФО в 2016–2018 гг. на базе трех учреждений: «Тунгусовского детского дома-интерната» (Томская область), «Ояшинского детского дома-интерната» (Новосибирская область), «Юргинского детского дома-интерната» (Кемеровская область).

Первым и наиболее важным социальным институтом в социализации любого ребенка является семья. Научно доказано, что тесный эмоциональный контакт взрослого с ребенком в первые годы жизни благоприятно влияет на его полноценное развитие и психическое здоровье. В детские дома для умственно отсталых попадают дети из разных семей: из неблагополучных, в которых родителей лишили родительских прав, из условно благополучных, где родители не готовы взять на себя ответственность по воспитанию таких детей или нуждаются в передышке (временное размещение ребенка), а также дети, от которых родители отказались еще в роддоме. В данных учреждениях в основном проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, в возрасте от 4 лет с самыми сложными заболеваниями (преимущественно – с тяжелой и глубокой умственной отсталостью). В связи с этим можно выделить первый индикатор – *исключение из семейного воспитания*.

Момент прибытия в детский дом, безусловно, является для каждого ребенка стрессом. Исследователи оценивают ситуацию развития в условиях интерната как негативно сказывающуюся материнскую депривацию. В свою очередь, в условиях детского дома не может быть предоставлен индивидуальный подход, который мог бы заменить семейные отношения, так как в группе обычно приходится 10–14 воспитанников на двух сотрудников. Соответственно, такое состояние приводит к еще большему усугублению заболевания ребенка, что может выражаться в самостимуляциях, т.е. в поведении, когда организм сам является источником стимулов для каких-либо своих реакций [28]. Так, у воспитанников домов-интернатов для умственно отсталых детей это проявляется в повторяющихся, раскачивающихся движениях, размахиваниях руками, вокализациях.

С другой стороны, несмотря на общую тенденцию увеличения количества передач детей в семью (например, в Москве в период 2013–2016 гг. число детей с особенностями развития, устроенных в семью, возросло с 58 до 211 человек [29]), все же не каждый потенциальный родитель готов взять на себя ответственность по воспитанию ребенка с умственной отсталостью.

Индикатор исключения из семейных отношений подкрепляется индикатором *однообразия социального окружения*. Интернатное учреждение – это своего рода тотальный институт, который, по мнению Э. Гофмана, «...обозначает социальную организацию, где люди оторваны от остального общества и попадают под почти тотальный контроль должностных лиц, которые ею управляют» [30]. Характерной особенностью тотального института является полное подчинение существования индивида внутренней логике функционирования учреждения. Гофман выделяет пять групп тотальных институций. Наиболее подходящей для рассматриваемой категории является первая группа, предназначенная для попечения над людьми, которые не могут позаботиться о себе сами, но при этом не представляют опасности для окружающих (приюты для слепых, стариков, сирот и нищих) [31. С. 39]. В нашем случае к этому списку уместно добавить детские дома-интернаты для умственно отсталых детей.

Тотальный институт подразумевает под собой некоторую власть, закрытость, изоляцию, т.е. определенную оторванность от общества. Это приводит к тому, что дети постоянно находятся в одном окружении. Данный индикатор может компенсироваться посещением подобных учреждений сторонними людьми (например, представителями общественных и религиозных организаций, волонтерами и т.д.). Однако посещения людей извне носят кратковременный характер и не всегда влияют на уже устоявшуюся ситуацию закрытости. К тому же обществу нередко неизвестно о существовании таких детей, так как оно не сталкивается с ними в повседневной жизни. В 2016 г. Высшей школой экономики было проведено исследование по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Методом анкетирования было опрошено 1 618 граждан России в возрасте старше 18 лет. Результаты показали, что большая часть респондентов, принявших участие в

исследовании (59,5%), не сталкивается в своей обыденной жизни с людьми, имеющими инвалидность [32].

В нашей стране еще большей изоляции таких детей способствует *пространственный индикатор, территориальная отдаленность*. Большинство домов-интернатов для умственно отсталых детей строились в советское время в отдалении от крупных городов. Так, на сегодняшний день из 17 домов-интернатов в СФО только 5 располагаются в крупных городах: один – в Омске, по два – в Иркутске и Красноярске. Это весьма важно, так как территория в значительной мере определяет ресурсы, которые могут помочь индивидам преодолеть социальное исключение.

Соответственно, можно выделить следующий индикатор, который плавно вытекает из предыдущего, – *исключение из образования*. До недавнего времени в российской практике не все дети с умственной отсталостью являлись обучаемыми. Однако в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов и принятием отечественных законов всех детей активно включают в образовательный процесс, независимо от степени их заболевания. Несмотря на разнообразие нормативно-правовых актов, регламентирующих образование детей с инвалидностью, зачастую на практике данная категория населения сталкивается с многочисленными затруднениями и несоответствиями между законодательными положениями и реальными практиками. В связи с этим выделяется ряд недостатков: недоступность среды, неподготовленность кадров, непродуманность законов. Возможность организации инклюзивного образования остается под вопросом. Затруднение решения данного вопроса сопровождается настроением общества. Так, в рамках уже упомянутого социологического исследования ВШЭ было выявлено, что российские граждане считают: дети с интеллектуальными нарушениями должны учиться в специализированных школах (73%) или в специализированных классах при обычных школах (19%) [32].

Недоступность среды сказывается на проявлении еще одного индикатора – *исключения из общественной и культурной жизни*, что проявляется, во-первых, в том, что не каждый ребенок в соответствии с физическими возможностями может посещать учреждения культуры. Даже несмотря на множественные изменения по созданию безбарьерной среды в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 гг., многие объекты все же остаются недоступными [33]. К тому же одной из категорий воспитанников, проживающих в домах-интернатах, являются лежачие дети, которые не могут себя обслуживать, а зачастую вовсе не могут двигаться. Во-вторых, недоступность проявляется в неприятии обществом таких детей. Чаще всего это может проявляться в косых взглядах, насмешках, желании избежать контакта с особенным ребенком. В данном случае дети с умственной отсталостью не по собственной воле исключаются из общественной и культурной жизни.

Следует выделить индикатор, который является уникальным для данной категории – это *предопределенность жизненного пути*. После достижения 18-летнего возраста дети с умственной отсталостью в большинстве лишаются дееспособности, отправляются в следующий тотальный институт, закрытое учреждение – психоневрологический интернат, где остаются до конца жизни. По данным департамента социальной защиты г. Москвы и Минтруда РФ,

в 35% случаев они поступают туда из детских домов-интернатов для детей с умственными дефектами развития, в 20% случаев – из семей, в 40,7% случаев – из психиатрических больниц [34].

Таким образом, несмотря на существующие многочисленные теории и походы к определению инвалидности, нет единого подхода, который бы позволил включить инвалидов в общественные процессы. Большинство моделей все же носит исключаяющий характер. Так, социальная модель, на которую возлагались большие надежды, не дала ожидаемого результата, напротив, нередко вызывает негативную реакцию у общественности. Несмотря на стремление современной социальной политики включить инвалидов в общественные процессы, общество остается не готовым к этому.

Следует уточнить, что механизмы включения людей с физическими ограничениями не всегда подходят людям с интеллектуальными нарушениями. В связи с этим необходим подход, учитывающий интересы как людей, например, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так и людей с умственной отсталостью. На сегодняшний день наиболее подходящей представляется модель человеческого разнообразия. Однако и она имеет риск неточного понимания и неправильной трактовки. В свою очередь концепция социальной эксклюзии позволяет подобрать подходящие механизмы включения людей с умственной отсталостью от обратного, т.е. в зависимости от факторов их исключения. Выделенные индикаторы предполагают детальный анализ проблемы социальной эксклюзии, что позволит найти конкретное решение по каждому из них и в перспективе определить наиболее успешные направления включения детей с умственной отсталостью в общественные процессы.

Литература

1. *О ратификации* Конвенции о правах инвалидов : федер. закон от 03.05.2012. № 46 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/ (дата обращения: 01.06.2019).
2. *На создание* доступной среды Томску необходимо 111 млн рублей // Агентство новостей ТВ2. URL: <http://tv2.today/News/Na-sozдание-dostupnoy-sredy-tomsku-neobhodimo-111-mln-rublej> (дата обращения: 29.09.2019).
3. *Goulden A.* The integration of self-determination theory: Supplementing preceding and future models of disability // *Perspectives on social work*. 2019. Vol. 14 (2). P. 17–29.
4. *Longmore P.K.* Uncovering the hidden history of disabled people // *Reviews in American History*. 1987. Vol. 15. P. 355–364.
5. *Парсонс Т.* О социальных системах / под ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. Белановского. М. : Академический проект, 2002. 832 с.
6. *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху / пер. И.К. Страф. М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2010. 698 с.
7. *Finkelstein V.* The ‘social model of disability’ and the disability movement. URL: <https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/finkelstein-The-Social-Model-of-Disability-and-the-Disability-Movement.pdf> (accessed: 01.05.2019).
8. *Oliver M.* The Politics of Disablement. London : Macmillan Ed., 1990. 152 p.
9. *Кьеркегор С.* Страх и трепет / пер. Н.В. Исаевой и С.А. Исаева. М. : Республика, 1993. 109 с.
10. *Хайдеггер М.* Время и бытие: статьи и выступления : пер с нем. М. : Республика, 1993. 447 с.
11. *Сартр Ж.П.* Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. М. : Терра, 2002. 260 с. (Библиотека философской мысли).
12. *Блумер Г.* Социальные проблемы как коллективное поведение // Социальные проблемы: конструкционистское прочтение / сост. И.Г. Ясавеев. Казань : Изд-во Казанск. ун-та, 2007. 276 с.

13. *Спектор М., Китсьюз Дж.* Конструирование социальных проблем // Контексты современности II : хрестоматия / сост. и ред. С.А. Ерофеев. Казань : Изд-во Казанск. ун-та, 2001. С. 160–163.

14. *Ярская-Смирнова Е.Р.* Социальное конструирование инвалидности // Социологические исследования. 1999. № 4. С. 38–45.

15. *Groce N.* Everyone here spoke sign language: Hereditary deafness on martha's Vineyard. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1985. 169 p.

16. *Oliver M.* The social model of disability: Thirty years on // *Disability & Society*. 2013. Vol. 28, № 7. P. 1024–1026.

17. *Фуко М.* Рождение клиники. М. : Академический проект, 2010. 256 с. (Психологические технологии).

18. *Shakespeare T., Watson N.* The social model of disability: an outdated ideology? // *Exploring Theories and Expanding Methodologies: Where We Are and Where We Need to Go. Series: Research in social science and disability*. 2001. Vol. 2. P. 9–28.

19. *Corker M.* Disability Discourse in a Postmodern World // *The Disability Reader: Social Science Perspectives* / ed. by T. Shakespeare. London : Continuum, 1998. P. 221–232.

20. *Carlson L.* Cognitive Ableism and Disability Studies: Feminist Reflections on the History of Mental Retardation // *Hypatia*. 2001. Vol. 16, № 4. P. 124–146.

21. *Абрахамсон П.* Социальная эксклюзия и бедность // *Общественные науки и современность*. 2001. № 2. С. 158–166.

22. *Wolf M.* Globalization and social exclusion: Some paradoxes // *Social Exclusion: Rhetoric Reality Responses*. Geneva : International Institute for labour studies, 1994. P. 81–102.

23. *Бородкин Ф.М.* Преодоление социальной эксклюзии: новые подходы // *Социологический журнал*. 2000. № 3/4. С. 5–17.

24. *Тихонова Н.Е.* Социальная эксклюзия в российском обществе // *Общественные науки и современность*. 2002. № 6. С. 5–17.

25. *Ярская-Смирнова Е.Р.* Социокультурный анализ нетипичности. Саратов : СГТУ, 1997. 272 с.

26. *Астоянц М.С.* Социальное сиротство: условия, механизмы и динамика эксклюзии (социокультурная интерпретация) : дис. ... д-ра соц. наук. Ростов н/Д, 2007. 381 с.

27. *Giddens A.* The Third Way. The Renewal of Social Democracy. Cambridge : Polity Press, 1998. 176 p.

28. *Жмуров В.А.* Большая энциклопедия по психиатрии // *Национальная психологическая энциклопедия*. URL: <https://vocabulary.ru/slovari/bolshaja-enciklopedija-po-psihiatrii-2-e-izd-.html> (дата обращения: 20.03.2018).

29. *Сирот* в России стало втрое меньше // *Известия*. URL: <https://iz.ru/655401/nataliia-berishvili/za-god-detdoma-opusteli-na-42> (дата обращения: 20.03.2019).

30. *Волков Ю.Г., Добренков В.И.* Социология. словарь специальных терминов // *Полка букиниста : электронная библиотека*. URL: http://society.polbu.ru/volkov_sociology/ch161_xi.html (дата обращения: 20.03.2019).

31. *Гофман Э.* Об особенностях тотальных институций / пер. с англ. О.А. Власовой // *Личность. Культура. Общество*. 2008. Т. X, вып. 3–4. С. 38–50.

32. *Отношение общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам* // *Высшая школа экономики : официальный сайт*. URL: <https://economics.hse.ru/dest/news/204162879.html> (дата обращения: 20.03.2019).

33. *Голдовская А.В.* Роль представительных органов власти в процессе реализации государственной программы «Доступная среда» (на примере Томской области) // *Парламентаризм: региональное измерение / под общ. ред. А.И. Щербинина*. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2019. С. 44–47.

34. *Как устроены российские психоневрологические интернаты* // *Лента.ру*. URL: <https://lenta.ru/articles/2013/10/29/psycho/> (дата обращения: 31.05.2019).

Alyona V. Goldovskaya, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: Alyona170494@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 78–88.

DOI: 10.17223/1998863X/55/9

THE PROBLEM OF INTEGRATING PEOPLE WITH INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL NEEDS INTO SOCIETY: A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Keywords: disability; mental retardation; social exclusion; philosophy of disability.

Nowadays, special attention is paid to the problem of integrating people with disabilities into society due to the fact that the Russian Federation has ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and adopted associated regulations. The article examines the socio-philosophical approaches to the problem of disability and identifies the most productive grounds for the integration of people with intellectual developmental needs. Despite the active creation of conditions for inclusion of people with disabilities, in practice there is a frequent unsuitability of these innovations, as well as the lack of successful mechanisms for integrating people with intellectual limitations. This situation is connected with the theoretical approaches underlying the consideration of the problem, such as positivism, the ideas of which are relevant to the medical model of disability. A person with a disability is considered as a patient, an inferior, who must either be cured or excluded from society, which leads to discrimination. However, social models which shift the focus of the problem from the disabled person to society are also criticized for creating an opposite, positive discrimination of the disabled, which generates public dissatisfaction. The article makes a conclusion that the most acceptable is the concept of human diversity, which assumes the normal coexistence of all categories of people, regardless of their characteristics. In turn, the development of inclusion mechanisms uses the theory of social exclusion, with the help of which exclusion indicators are identified. The highlighted indicators are the result of theoretical analysis and sociological research through interviews with specialists from boarding houses for mentally retarded children conducted in 2016–2018 in Siberia. As a result of the study, the following indicators were identified: exclusion from family upbringing; monotony of social environment; territorial remoteness; exclusion from educational, social and cultural life; predetermined life path. Indicators allow noting not only the existing limitations of integration, but also marking its most effective mechanisms. In conclusion, it is stated that the analysis of socio-philosophical foundations allows determining the most productive theories that underlie technologies. In the future, the model of human diversity and the theory of social exclusion could become fundamental in relation to the integration of people with cognitive disabilities.

References

1. The Russian Federation. (2012) *O ratifikatsii Konventsii o pravakh invalidov: feder. zakon ot 3 maya 2012 g. № 46* [On the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Federal Law No. 46 of May 3, 2012]. [Online] Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/ (Accessed: 1st June 2019).
2. TV-2 News Agency. (2017) *Na sozдание dostupnoy sredy Tomsku neobkhodimo 111 mln rubley* [Tomsk needs 111 million rubles to create an accessible environment]. [Online] Available from: <http://tv2.today/News/Na-sozдание-dostupnoy-sredy-tomsku-neobkhodimo-111-mln-rubley> (Accessed: 29th September 2019).
3. Goulden, A. (2018) The integration of self-determination theory: Supplementing preceding and future models of disability. *Perspectives on Social Work*. Winter.
4. Longmore, P.K. (1987) Uncovering the hidden history of disabled people. *Reviews in American History*. 15. pp. 355–364. DOI: 10.2307/2702029
5. Parsons, T. (2002) *O sotsial'nykh sistemakh* [The Social Systems]. Translated from English. Moscow: Akademicheskii projekt.
6. Foucault, M. (2010) *Istoriya bezumiya v klassicheskuyu epokhu* [The history of madness in the classical era]. Translated from French by per. I.K. Staf. Moscow: AST: AST MOSKVA.
7. Finkelstein, V. (n.d.) *The 'social model of disability' and the disability movement*. [Online] Available from: <https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/finkelstein-The-Social-Model-of-Disability-and-the-Disability-Movement.pdf> (Accessed: 1st May 2019).
8. Oliver, M. (1990) *The Politics of Disablement*. London: Macmillan Ed.
9. Kierkegaard, S. (1993) *Strakh i trepet* [Fear and awe]. Translated from Danish by N.V. Isaeva, S.A. Isaev. Moscow: Respublika.
10. Heidegger, M. (1993) *Vremya i bytie: stat'i i vystupleniya* [Time and Being: Articles and Speeches]. Translated from German. Moscow: Respublika.
11. Sartre, J.P. (2002) *Bytie i nichto: opyt fenomenologicheskoy ontologii* [Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology]. Translated from French by V.I. Kolyadko. Moscow: Respublika.
12. Blumer, G. (2007) Sotsial'nye problemy kak kollektivnoe povedenie [Social problems as a collective behavior]. In: Yasaveev, I.G. (ed.) *Sotsial'nye problemy: konstruksionistskoe prochtenie* [Social problems: constructionist reading]. Kazan: Kazan State University.
13. Spector, M. & Kitsyuz, J. (2001) Konstruirovaniye sotsial'nykh problem [Construction of social problems]. In: Erofeev, S.A. (ed.) *Konteksty sovremennosti II* [Contexts of Modernity II]. Kazan: Kazan State University. pp. 160–163.

14. Yarskaya-Smirnova, E.R. (1999) Sotsial'noe konstruirovaniye invalidnosti [Social design of disability]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 4. pp. 38–45.
15. Groce, N. (1985) *Everyone Here Spoke Sign Language: Hereditary Deafness on Martha's Vineyard*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
16. Oliver, M. (2013) The social model of disability: Thirty years on. *Disability & Society*. 28(7). pp. 1024–1026.
17. Foucault, M. (2010) *Rozhdenie kliniki* [Birth of the clinic]. Translated from French. Moscow: Akademicheskiiy proekt.
18. Shakespeare, T. & Watson, N. (2001) The social model of disability: an outdated ideology? In: Barnatt, S.N. & Altman, B.M. (eds) *Exploring Theories and Expanding Methodologies: Where We Are and Where We Need to Go*. Vol. 2. Emerald Group Publishing Limited. pp. 9–28.
19. Corker, M. (1998) Disability Discourse in a Postmodern World. In: Shakespeare, T. (ed.) *The Disability Reader: Social Science Perspectives*. London: Continuum. pp. 221–232.
20. Carlson, L. (2001) Cognitive Ableism and Disability Studies: Feminist Reflections on the History of Mental Retardation. *Hypatia*. 16(4). pp. 124–146. DOI: 10.1111/j.1527-2001.2001.tb00756.x
21. Abrahamson, P. (2001) Sotsial'naya eksklyuziya i bednost' [Social exclusion and poverty]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost' – Social Sciences and Contemporary World*. 2. pp. 158–166.
22. Wolf, M. (1994) Globalization and social exclusion: Some paradoxes. In: Rodgers, J., Gore, C.G. & Figueiredo, J.B. (eds) *Social Exclusion: Rhetoric Reality Responses*. Geneva: International Institute for Labour Studies. pp. 81–102.
23. Borodkin, F.M. (2000) Preodolenie sotsial'noy eksklyuzii: novye podkhody [Overcoming Social Exclusion: New Approaches]. *Sotsiologicheskiiy zhurnal – Sociological Journal*. 3/4. pp. 5–17.
24. Tikhonova, N.E. (2002) Sotsial'naya eksklyuziya v rossiyskom obshchestve [Social exclusion in Russian society]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost' – Social Sciences and Contemporary World*. 6. pp. 5–17.
25. Yarskaya-Smirnova, E.R. (1997) *Sotsiokul'turnyy analiz netipichnosti* [Sociocultural analysis of atypicality]. Saratov: Yuri Gagarin State Technical University of Saratov.
26. Astoyants, M.S. (2007) *Sotsial'noe sirotstvo: usloviya, mekhanizmy i dinamika eksklyuzii (sotsiokul'turnaya interpretatsiya)* [Social orphanhood: conditions, mechanisms and dynamics of exclusion (sociocultural interpretation)]. Sociology Dr. diss. Rostov-on-the Don.
27. Giddens, A. (1998) *The Third Way. The Renewal of Social Democracy*. Cambridge: Polity Press.
28. Zhmurov, V.A. (n.d.) *Bol'shaya entsiklopediya po psikiatrii* [Big Encyclopedia of Psychiatry]. [Online] Available from: <https://vocabulary.ru/slo-vari/bolshaja-enciklopediya-po-psikiatrii-2-e-izd.html> (Accessed: 20th March 2018).
29. Berishvili, N. (2017) *Sirot v Rossii stalo vtroe men'she* [The number of orphans in Russia decreased by three times]. [Online] Available from: <https://iz.ru/655401/natalia-berishvili/za-god-dedoma-opusteli-na-42> (Accessed: 20.03.2019).
30. Volkov, Yu.G. & Dobrenkov, V.I. (n.d.) *Sotsiologiya. Slovar' spetsial'nykh terminov* [Sociology. Dictionary of Special Terms]. [Online] Available from: http://society.polbu.ru/volkov_sociology/ch161_xi.html (Accessed: 20th March 2019).
31. Hoffman, E. (2008) Ob osobennostyakh total'nykh institutsiy [On total institutions]. Translated from English by O.A. Vlasova. *Lichnost'. Kul'tura. Obshchestvo*. 10(3–4). pp. 38–50.
32. HSE. (n.d.) *Otnoshenie obshchestva k detyam s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya i detyam-invalidam* [The attitude of society towards children with disabilities]. [Online] Available from: <https://economics.hse.ru/dest/news/204162879.html> (Accessed: 20th March 2019).
33. Goldovskaya, A.V. (2019) Rol' predstavitel'nykh organov vlasti v protsesse realizatsii gosudarstvennoy programmy “Dostupnaya sreda” (na primere Tomskoy oblasti) [The role of representative authorities in the implementation of the Accessible Environment State Program (a case study of Tomsk Region)]. In: Shcherbinin, A.I. (ed.) *Parlamentarizm: regional'noe izmerenie* [Parliamentarism: Regional Dimension]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 44–47.
34. Reiter, S. (2013) *Kak ustroeny rossiyskie psikhonevrologicheskie internaty* [On Russian psychoneurological boarding schools]. [Online] Available from: <https://lenta.ru/articles/2013/10/29/psycho/> (Accessed: 31st May 2019).

УДК 165.17

DOI: 10.17223/1998863X/55/10

Д.В. Львов

АРХЕТИПЫ В КОНТЕКСТЕ АПРИОРНОГО ЗНАНИЯ И ЭПИСТЕМЫ

Поднимается вопрос о роли не вполне осознаваемых оснований познания в процессе разворачивания массового сознания и коллективного поведения. Для анализа социальных феноменов предлагается использовать концепции априорного знания, эпистемы и архетипов. Выделяются сходства и отличия концепций кантианского априорного знания, фукодианской эпистемы и юнгианских архетипов.

Ключевые слова: априорное знание, архетип, эпистема.

Процесс познания формирует мировоззрение человека и через это влияет на его поведение. Такая цепочка справедлива не только в отношении индивида, но и таких социальных феноменов, как массовое сознание и коллективное поведение.

При этом познание не является тем, что в полной мере осознается субъектом. На важную роль нерелексируемых предпосылок, влияющих на сам процесс сознания, указывали многие философы. Даже в такой стремящейся к предельному рационализаторству науке, как экономика, в последние десятилетия обратили внимание на иррациональные основания в поведении людей. Ното есопотісис уже не представляется столь же рациональным и последовательным, как во времена А. Смита.

Оказывается необходимым обнаружить некие общие основания индивидуальных действий, которые совместно формируют социальный порядок и коллективное поведение в нем. Но как бы то ни было, это невозможно без обращения к проблематике формирования общественного мировоззрения, что, в свою очередь, пробуждает интерес к процессам познания как таковым.

Важнейшими мыслителями, повлиявшими на изучение познания, были И. Кант и М. Фуко. Как пишет Н.С. Автономова, «порой роль „Слов и вещей“ в обосновании современного гуманитарного знания даже прямо сопоставлялась с ролью кантовской „Критики чистого разума“ в обосновании естественных наук» [1. С. 20]. Сравнение кантианского и фукодианского понимания а priori нередко (см., напр.: [2]). В контексте исследования социальных явлений интересным представляется вспомнить также и о наследии К.Г. Юнга. Его концепцию архетипов коллективного бессознательного применяют при исследовании оснований самых разных социальных феноменов (см., напр.: [3–7]). Далее предлагается краткий анализ взаимосвязи идей этих трех ученых.

И. Кант писал об априорном знании – т.е. таких константах человеческого разума, которые даются от рождения и оформляют любые содержания мышления. Характеризуя априорный тип знаний, немецкий философ писал: «Такие общие знания, имеющие вместе с тем характер внутренней необходи-

мости, должны быть ясными и достоверными независимо от опыта, сами по себе; поэтому их называют априорными знаниями, между тем как то, что почерпнуто исключительно из опыта, познается, как принято говорить, только *a posteriori*, или эмпирически» [8. С. 52]. Так, без представлений о пространстве и времени человек не может помыслить вообще ничего. Всякий предмет человеческой мысли оказывается размещенным во временных и пространственных координатах.

В этом смысле априорное знание является организующей основой всякого человеческого познания. Именно благодаря априорно заложенным в нас понятиям мы не тонем в океане ежесекундно атакующих нас ощущений. Благодаря априорному знанию человек способен упорядочить поставляемые ему органами чувств сигналы и синтезировать их сначала в представления, а затем и в понятия – в соответствии с априорно заданными схемами, которые И. Кант определяет как «формальные условия чувственности (именно внутреннего чувства), [a priori] заключающие в себе общее условие, при котором единственно категория может быть применена к какому-либо предмету» [Там же. С. 177].

Таким образом, априорное знание оказывается предварительным условием для всякого опыта и познания. При этом доопытность такого рода знания по определению предполагает его данность всякому человеку еще до первого акта познания. В пределе – еще до первого опыта. А первый же опыт человек, как и всякое другое существо, получает уже с самого первого момента рождения в этот мир. Значит, человек уже рождается с неким минимальным набором априорного знания.

Следовательно, можно выделить два важных аспекта априорного знания: досознательность (ведь сознание не может быть до опыта) и наследуемость (ведь рождение с минимумом априорного знания означает неприобретенный характер последнего). В этом смысле такое априорное знание оказывается бессознательным. Оно тесно связано с биологическими, естественно-природными характеристиками людей как вида. То есть оно как свойство приписывается всем людям вне зависимости от их географического, временного или культурного положения.

Значительно позже, спустя без малого два столетия, М. Фуко предложил рассматривать мышление отдельных людей и масс в целом как продукт воздействия эпистем – совокупности теоретических положений, разделяемых в обществе на определенном этапе его исторического развития.

Интересно при этом, что французский философ при описании центрального для его теории познания понятия обращается к тому же латинскому обороту (*a priori*), что и его немецкий предшественник. Разъясняя цель своей работы, М. Фуко написал: «Ясно, что такой анализ не есть история идей или наук; это, скорее, исследование, цель которого – выяснить, исходя из чего стали возможными познания и теории, в соответствии с каким пространством порядка конструировалось знание; на основе какого исторического *a priori* и в стихии какой позитивности идеи могли появиться, науки – сложиться, опыт – получить отражение в философских системах, рациональности – сформироваться, а затем, возможно, вскоре распасться и исчезнуть» [9. С. 34].

В этом смысле содержание мышления людей как по отдельности, так и в их совокупности оказывается помещенным в некие предзаданные схемы,

причем наследуемые нами от предшествующего развития общества, и далеко не всегда нами осознаваемые.

Здесь важно обратить внимание на то, что М. Фуко приписывает эпистеме историчность. Он говорит об историческом а priori. Таким образом, он выводит исследуемые им предпосылки человеческого мышления за пределы всеобщего, в сферу более частных случаев. В отличие от И. Канта, один из виднейших философов XX в. рассуждает уже о социокультурной принадлежности разделяемых определенными социальными общностями предзаданных мышлению схем, но не о схемах, присущих всем представителям вида *homo sapiens*. Да, эпистемы характеризуют очень большие группы людей (живущих в эпоху Ренессанса, или классического Нового времени, или современности). Но это черты не общие для всех людей, а характерные лишь для их ограниченных множеств.

Внимание М. Фуко к отличиям культур мышления одной исторической эпохи от другой ведет его к анализу схем более высокого рефлексивного уровня, чем неосознаваемое всеми людьми априорное знание, исследованное И. Кантом. Эпистемы также не вполне осознаются живущими в них людьми, но они по природе своей уже символичны и в этом смысле являются структурами сознания (пусть и коллективного в некотором роде), а не биологии. Следовательно, индивидом эпистемы приобретаются в процессе социализации, интериоризируются и далее служат принимаемыми по умолчанию каналами мышления.

Если еще раз перечитать приведенные выше цитаты, то можно заметить, что И. Кант акцентирует внимание на «формальных условиях чувственности», в то время как М. Фуко – на том, «исходя из чего стали возможными познания и теории». То есть кантианский анализ имеет своим предметом более базовый уровень познания, нежели фукодианский. Чувственность предшествует теории.

Тем не менее в обоих случаях исследование стремится выявить основания мышления, некие схемы, обуславливающие человеческое миропонимание. В этом смысле и кантианское априорное знание, и фукодианские эпистемы доопытны по своей природе. И то и другое задает саму систему координат, в которой далее разворачивается мышление людей, в том числе и ученых.

Таким образом, можно выделить следующие сходные пункты в концепциях априорного знания И. Канта и эпистемы М. Фуко:

1. Досознательность. И. Кант исследует условия миропонимания, врожденные человеку как биологическому существу, помещенному в этот мир. М. Фуко анализирует условия миропонимания, заданные человеку как социальному существу, помещенному в тот или иной социокультурный контекст.

2. Наследуемость. Необходимо проистекает из предыдущего пункта. Можно говорить, что кантианское априорное знание по природе своей имеет врожденный характер. Фукодианские эпистемы, имея историческую специфику, все же могут на определенном этапе своего развития передаваться от поколения к поколению.

3. И то и другое оформляет содержание мышления. Априорное знание обуславливает саму чувственную основу познания. Эпистемы задают рамки теоретизирования.

4. И то и другое характеризует как отдельных людей, так и целые их совокупности.

В то же время стоит обратить внимание на ряд отличий в концепциях двух философов.

1. Уже в последнем пункте сходства прослеживается, что априорное знание присуще всем людям, тогда как эпистема имеет более частную природу, ограничиваясь распространением среди той или иной исторической и географической общности. То есть можно сказать, что эпистема культуроспецифична, тогда как априорное знание в биологическом смысле видоспецифично.

2. Еще одно существенное различие состоит в том, что И. Кант понимал априорное знание как врожденную характеристику. Эпистема же, по М. Фуко, является продуктом развития общества. В этом смысле она принципиально не врождена в индивида и навязывается ему социокультурными, а не биологическими механизмами. То есть указанную во втором пункте сходств наследуемость следует понимать как социокультурную и в этом смысле значительно более осознаваемую передачу опыта.

3. Фукодианские эпистемы значительно более пластичны, чем кантианское априорное знание. Если последнее, по всей видимости, неизменно или крайне тяжело меняется в течение всей истории человечества, то первые относительно легко изменяются в течение каких-то столетий. Причем изменяются фундаментально. Неудивительно, что И. Кант писал о единственном априорном знании, тогда как М. Фуко – о нескольких эпистемах.

4. Схемы кантианского априорного знания обуславливают саму чувственную основу познания. Фукодианские эпистемы служат основой для теоретического уровня. Отсюда можно заключить, что априорное знание, по И. Канту, стремясь схватить саму природу вещей, предшествует всяким символам. В то время как эпистемы по М. Фуко уже изначально символичны, оформляя лишь более сложные, составные конstellации символов. И. Кант и М. Фуко занимались различными уровнями познания.

Тем не менее оба концепта могут быть полезными для исследования формирования представлений людей о себе, о мире и о себе в этом мире. Они указывают на два аспекта формирования таких мировоззренческих установок – естественный со стороны априорного знания и социокультурный со стороны эпистемы. Но оба эти аспекта в конечном счете оформляют мышление людей.

Здесь представляется интересным вспомнить о наследии еще одного известного ученого. Речь пойдет о швейцарском психоаналитике К.Г. Юнге. И хотя он не был философом в профессиональном смысле невозможно отрицать значительное влияние его трудов на последующее развитие философии.

К.Г. Юнг известен прежде всего своей концепцией архетипов, которые он предложил понимать как структуры коллективного бессознательного. На последнем базируется личное бессознательное каждого индивида. Архетипы воздействуют на восприятие человека и, как следствие, на его понимание мира и поведение в нем.

Для понимания юнгианского концепта архетипов очень показательна следующая цитата: «There are as many archetypes as there are typical situations in life. Endless repetition has engraved these experiences into our psychic constitu-

tion, not in the form of images filled with content, but at first only as forms without content, representing merely the possibility of a certain type of perception and action. When a situation occurs which corresponds to a given archetype, that archetype becomes activated and a compulsiveness appears, which, like an instinctual drive, gains its way against all reason and will, or else produces a conflict of pathological dimensions, that is to say, a neurosis» [10. P. 48].

Таким образом, юнгианское понимание архетипов очень хорошо коррелирует с кантианским априорным знанием. В этом смысле архетипы являются условиями восприятия (первой ступени познания) типических жизненных ситуаций. На основании соответствующего восприятия ситуации индивид предпринимает в ней конкретные действия.

Архетипы являются лишь бессознательными формами, которым еще только требуется наполнение сознательным (а значит, символическим) содержанием. В этом они также сходны с кантианским априорным знанием, которое «имеет перед собой априорное многообразие чувственности, доставляемое ей трансцендентальной эстетикой как материал для чистых понятий рассудка, без которого они не имели бы никакого содержания, следовательно, были бы совершенно пусты» [8. С. 117].

Архетипы также имеют коллективную природу. Исходя из процитированного выше текста получается, что они являются отражением опыта не одного человека, а целых коллективов людей. В пределе – всего человечества. Совокупность архетипов составляет коллективное бессознательное, которое «содержит в себе все духовное наследие человечества, возрождаемое в структуре мозга каждого индивида» [11. С. 183].

Как видно из приведенной цитаты, по мысли К.Г. Юнга архетипы обладают свойством наследования. То есть они укоренены в биологическом субстрате человека. Именно благодаря этому они и служат общей для индивидов основой индивидуальных психик.

Таким образом, юнгианские архетипы соответствуют всем четырем описанным ранее пунктам сходства кантианского априорного знания с фукодианской эпистемой.

При этом К.Г. Юнг настаивал на необходимости различать понятия архетипа и архетипического образа: «Архетипические представления (образы и идеи), выступающие посредниками между нами и бессознательным, нельзя смешивать с архетипами как таковыми» [Там же. С. 236].

Для прояснения предлагаемого разграничения между понятиями архетипа и архетипического образа удобно вспомнить следующую данную самим К.Г. Юнгом трактовку: «Термин „архетип“ часто понимают неправильно – как означающий некоторые вполне определенные мифологические образы или сюжеты. Таковые, однако, суть лишь осознанные представления, и было бы нелепо полагать, что они с их изменчивостью могут передаваться по наследству» [12. С. 68].

Как раз эти самые конкретные и изменчивые в духовной жизни людей мифологические образы и сюжеты в первую очередь и являются архетипическими образами, не являясь неуловимыми бессознательными схемами: «То, что мы подразумеваем под „архетипом“, по сути своей непредставимо, но некоторые его проявления делают возможным его визуализацию, а именно – архетипические образы и идеи» [11. С. 237].

В этом проявляется диалектика коллективного бессознательного и индивидуальных сознаний отдельных людей. Актуализированные в типической ситуации бессознательные схемы коллективных архетипов для индивидуального сознания требуют символического наполнения. Такое содержание, влитое в предзаданные формы, может быть взято лишь из психосоциального опыта.

Он же, в свою очередь, коллективен, как минимум отчасти. Вполне естественно, что проживаемые отдельными индивидами типические ситуации в силу своей повторяемости вызывают сходные, если не одинаковые, типические реакции, которые осмысляются массовым сознанием. Результаты такого освоенного коллективного опыта закрепляются в культуре уже в символическом виде: «Все самые мощные идеи и представления человечества сводимы к архетипам. Особенно это касается религиозных представлений. Но центральные научные, философские и моральные понятия тоже не являются исключениями» [11. С. 183].

С другой стороны, разными культурами в силу тех или иных исторических, экономических, географических и прочих особенностей архетипы наполняются по-разному. Соответственно, и архетипические образы могут в известной степени варьировать в разных сообществах. В то же время такие формы культурного освоения в силу своей архетипической природы имеют тенденцию к безусловному принятию если не всеми, то подавляющим большинством представителей соответствующей культуры.

Такие различия из-за сильной эмоциональной заряженности архетипических образов будут крайне болезненно восприниматься как на уровне массового сознания, так зачастую и на уровне отдельных индивидов. И вполне можно ожидать, что это, с одной стороны, приведет к негативизму, в пределе – даже враждебности в отношении представителей иных культур, а с другой – к сплочению внутри однородного сообщества.

Таким образом, если архетипы представляются видоспецифическими для человечества, то архетипические образы, скорее, обладают характеристикой культуроспецифичности. В этом они коррелируют с фукодианскими эпистемами.

В целом проведенный анализ показывает, что характеристики юнгианских архетипов совпадают с обозначенными выше сходствами кантианского априорного знания и фукодианских эпистем. Юнгианское же различие архетипов и архетипических образов также по всем пунктам сходно с отличиями кантианского априорного знания от фукодианских эпистем:

1. Так же как априорное знание, архетипы присущи всем людям, тогда как эпистема и архетипические образы имеют более частную природу, ограничиваясь распространением среди представителей той или иной культуры.

2. Априорное знание и архетипы врождены и передаются по наследству. Эпистема же наряду с архетипическими образами является социокультурным продуктом развития сообщества.

3. Эпистемы вместе с архетипическими образами значительно изменчивее априорного знания и архетипов.

4. Априорное знание и архетипы обуславливают познание уже на уровне восприятия. Фукодианские эпистемы и архетипические образы по природе своей символичны и являются намного более осознаваемыми продуктами.

В то же время архетипы и архетипические образы неразрывно связаны. Архетипы в определенной степени проявляются и становятся доступными

сознанию (а значит, и для изучения) именно в архетипических образах. Они не противостоят, а, напротив, взаимно дополняют друг друга.

Все это позволяет говорить об удобстве использования идей К.Г. Юнга для изучения вопросов, освещаемых в эпистемологии и социальной философии. Понятия архетипа и архетипического образа в качестве эвристических инструментов отлично подходят для анализа глубинных оснований социальных взаимодействий.

Литература

1. Автономова Н.С. Мишель Фуко и его книга «Слова и вещи» // Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. : А-сэд, 1994. С. 7–27.
2. Bishop J.P. Foucauldian Diagnostics: Space, Time, and the Metaphysics of Medicine // Journal of Medicine and Philosophy. 2009. Vol. 34, is. 4. P. 328–349.
3. Ананченко М.Ю. Влияние архетипов на представление о лидере и лидерстве // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. № 107. С. 68–75.
4. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. СПб. : Лань, 1999. 480 с.
5. Грицков Ю.В. Образы страдания в страдающем сознании. Красноярск : Красноярск. гос. ун-т, 2004. 120 с.
6. Загородная И.В. Роль архетипов и ментальности в формировании педагогических систем // Интеграция образования. 2003. № 2. С. 151–154.
7. Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов / пер. с англ. В. Домнина, А. Сухенко. СПб. : Питер, 2005. 336 с.
8. Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н.О. Лосского. М. : Наука, 1999. 655 с.
9. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. с фр. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. СПб. : А-сэд, 1994. 407 с.
10. Jung C.G. The Archetypes and the Collective Unconscious / transl. by R.F.C. Hull. Princeton : Princeton University Press, 1981. 451 p.
11. Юнг К.Г. Структура и динамика психического / пер. с англ. В.В. Зеленского, К.М. Бутырина, Д.А. Узланера. М. : Когито-центр, 2008. 480 с.
12. Юнг К.Г. К вопросу о подсознании. // Юнг К.Г., фон Франц М.-Л., Хендерсон Дж. Л., Якоби И., Яффе А. Человек и его символы / пер. И.Н. Сиренко, С.Н. Сиренко, Н.А. Сиренко. М. : Медков С.Б. ; Серебряные нити, 2006. С. 14–104.

Denis V. Lvov, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation).

E-mail: devlal86@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 89–96.

DOI: 10.17223/1998863X/55/10

ARCHETYPES IN THE CONTEXT OF A PRIORI KNOWLEDGE AND EPISTEME

Keywords: a priori knowledge; archetype; episteme.

(1) As well as a priori knowledge, archetypes are inherent in all people, while episteme and archetypal images have a more private nature, limited to the spread among the representatives of a particular culture. (2) A priori knowledge and archetypes are innate and hereditary. Episteme, along with archetypal images, is a sociocultural product of community development. (3) Episteme, along with archetypal images, is much more changeable than a priori knowledge and archetypes. (4) A priori knowledge and archetypes determine cognition already at the level of perception. Foucauldian epistememes and archetypal images are inherently symbolic, and are much more conscious products. At the same time, archetypes and archetypal images are inextricably linked. To a certain extent, archetypes appear and become available to consciousness (and hence for study) in archetypal images. They do not oppose, but rather complement each other. Based on the archetypal approach, it becomes possible to analyze the process and results of cognition simultaneously at different levels: unconscious and consciously symbolic. In addition, the concept of the collective unconscious underlying the Jungian paradigm reveals the sphere of the complex dynamic social nature of the self-organization of knowledge. All this allows us to speak about the convenience of using Jung's ideas to study the issues covered in epistemology and social philosophy. The concepts of archetype and archetypal image as heuristic tools

are perfect for analyzing the deep foundations of social interactions. The explanation of social reality is definitely not limited to the archetypal influence of the collective unconscious. Here it is necessary to consider well-realized, targeted economic and political actions of social agents. Nevertheless, through the prism of the concept of archetypes, it is quite convenient to show the conditions of social processes that are at the unconscious level of the human psyche and at the same time to try to identify those general schemas that are invariants for individuals.

References

1. Avtonomova, N.S. (1994) Mishel' Fuko i ego kniga "Slova i veshchi" [Michel Foucault and his book "Words and Things"]. In: Foucault, M. *Slova i veshchi. Arkheologiya gumanitarnykh nauk* [Words and Things. Archeology of the Humanities]. St. Petersburg: A-cad. pp. 7–27.
2. Bishop, J.P. (2009) Foucauldian Diagnostics: Space, Time, and the Metaphysics of Medicine. *Journal of Medicine and Philosophy*. 34(4). pp. 328–349. DOI: 10.1093/jmp/jhp027
3. Ananchenko, M.Yu. (2009) Influence of archetypes on ideas about a leader and leadership. *Izvestiya RGPU – Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences*. 107. pp. 68–75. (In Russian).
4. Vasilkova, V.V. (1999) *Poryadok i khaos v razviti sotsial'nykh system* [Order and chaos in the development of social systems]. St. Petersburg: Lan'.
5. Gritskov, Yu.V. (2004) *Obrazy stradaniya v stradayushchem soznanii* [Images of suffering in a suffering consciousness]. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State University.
6. Zagorodnaya, I.V. (2003) Rol' arkhetyfov i mental'nosti v formirovani pedagogicheskikh sistem [The role of archetypes and mentality in the formation of pedagogical systems]. *Integratsiya obrazovaniya – Integration of Education*. 2. pp. 151–154.
7. Mark, M. & Pirson, K. (2005) *Geroy i buntar'*. *Sozdanie brenda s pomoshch'yu arkhetyfov* [Hero and Rebel. Creating a Brand Using Archetypes]. Translated from English by V. Domnin, A. Sukhenko. St. Petersburg: Piter.
8. Kant, I. (1999) *Kritika chistogo razuma* [The Critique of Pure Reason]. Translated from German by N.O. Lossky. Moscow: Nauka.
9. Foucault, M. (1994) *Slova i veshchi. Arkheologiya gumanitarnykh nauk* [The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences]. Translated from French by V.P. Vizgin, N.S. Avtonomova. St. Petersburg: A-cad.
10. Jung, C.G. (1981) *The Archetypes and the Collective Unconscious*. Princeton: Princeton University Press.
11. Jung, C.G. (2008) *Struktura i dinamika psikhicheskogo* [The Structure and Dynamics of the Psyche]. Translated from English by V.V. Zelensky, K.M. Butyrin, D.A. Uzmaner. Moscow: Kogito-sentr.
12. Jung, C.G. (2006) K voprosu o podsoznanii [On the subconscious]. In: Jung, C.G., von Franz, M.-JL, Henderson, L.J., Jacobi, I. & Jaffe, A. *Chelovek i ego simvoly* [Man and his symbols]. Translated by I.N. Sirenko, S.N. Sirenko, N.A. Sirenko. Moscow: Medkov S.B., Serebryanye niti. pp. 14–104.

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

УДК: 1(091)

DOI: 10.17223/1998863X/55/11

Ю.А. Головина

А.Ф. КИСТЯКОВСКИЙ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ И НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВАНИЯХ ГОСУДАРСТВА

Рассматриваются взгляды представителя русской школы философии права А.Ф. Кистяковского на природу смертной казни. Исследуется его идея, что смертная казнь со временем будет полностью отменена государствами в связи с самим «развитием человечества». Выделены спорные моменты такой позиции, позволяющие объяснить причину расхождения общественного сознания и решений государства по вопросу о смертной казни.

Ключевые слова: смертная казнь, наказание, ответственность, государство, нравственность, А.Ф. Кистяковский.

В Российской Федерации в 2009 г. Конституционный Суд закрепил запрет на применение смертной казни. Правовые нормы о смертной казни содержатся в федеральных законах и имеют конституционную основу. Статья 20 Конституции РФ (ч. 2) хотя и представляет собой довольно сложную и не вполне однозначную конструкцию, тем не менее предусматривает смертную казнь в качестве исключительной меры наказания при определенных условиях. В собственно правовой сфере проблема очевидна: правовые нормы, не будучи признанными установленным образом неконституционными, сохраняются в нормах права, но по решению Конституционного Суда пока не применяются. Жизнь и смерть – это правовые вопросы, но они неотделимы от нравственной оценки, которая лежит в основании любой формы правоприменения. Защита жизни есть одна из конституционных обязанностей государства, а смертная казнь – это, как считается, «исключительная мера наказания» и находится в «исключительном» ведении государства. Наказание, в свою очередь, с точки зрения правовой науки есть форма юридической ответственности. Однако понятия ответственности и наказания являются не только правовыми, но и нравственными категориями. Мотивировка решения Конституционного Суда РФ, закрепившего запрет на применение смертной казни, главным образом сосредоточена в сфере позитивного права. Сомнительно, однако, чтобы представления о жизни и смерти составлялись, исходя из решений, принятых государственной властью. Подтверждается это предположение по меньшей мере тем, что мнение большинства населения страны, по данным социологов, не совпадает с решением государственной власти: свыше двух третей населения считает, что смертная казнь должна иметь место в законе и в жизни [1–3].

В этом отношении крайний интерес вызывают идеи одного из представителей русской школы философии права второй половины XIX в.

А.Ф. Кистяковского. В 1867 г. им была защищена магистерская диссертация «Исследование о смертной казни», где он выдвигает и обосновывает идею о том, что рано или поздно смертная казнь будет отменена государственной властью в силу развития самого человечества, основываясь при этом на истории применения смертной казни и его нормативного обоснования. В своей работе он приводит обширный и подробный обзор трудов и мнений авторов разных стран и разных периодов, включая современных ему юристов и философов. Упоминаются, в частности: Кант и Гегель, которые защищали смертную казнь во имя справедливости возмездия, Беккариа, трактат которого «О преступлениях и наказаниях» 1764 г. повлек разработку вопроса о смертной казни, а также Мабли, Филанджиери, Люкас, Ливингстон, Румье, Селлон, Силвела, Комперио, Титман, Громан, Абегг, Дауб, Меринг, Глюнек, Рихтер, Цум-Бах, Геффтер, Бернер и многие другие.

Несмотря на значительное количество авторов и работ, посвященных смертной казни, А.Ф. Кистяковский выдвигает собственный тезис, формулируя его следующим образом: «Обилие сочинений и общеизвестность этого предмета, вследствие которой даже неспециалист считает себя вправе иметь докторальное о нем мнение, дают иногда повод думать, что смертная казнь – вопрос избитый и несостоящий дальнейшей работы специалиста. Когда я принимался за мой труд, я не разделял этого мнения; теперь, по окончании его, я вдвойне не разделяю его... с отвлеченно-схоластической точки зрения нельзя сказать о смертной казни ничего нового, о чем бы в сотнях сочинений и статей не было прежде говорено и переговорено. Но зато с философско-исторической стороны смертная казнь есть мало разработанный и потому богатейший материал исследования» [4. С. 7].

Историю изучения вопроса о смертной казни А.Ф. Кистяковский делит на два условных этапа. На первом этапе авторы пытались исходить из каких-либо общих соображений, предпосылок (о естественном праве, об общественном договоре, о справедливости и т.п.), которые он называет «метафизическими» и которые, по его мнению, не давали и не могли дать убедительных доводов и привести к обоснованным решениям. Смена этапов связывается с работой представительных органов власти во Франции и Англии и, соответственно, с именами Дюпора и Ромильи. Дюпор, противник смертной казни, отказался от решения «метафизического» вопроса о том, имеет ли общество «право жизни и смерти» над своими членами, и «занялся защитой двух положений: а) смертная казнь не способна подавить преступления, за которые она назначается; б) будучи далека от того, чтобы подавить, она, напротив, способствует их увеличению» [Там же. С. 16]. Ромильи, один из знаменитых адвокатов своего времени в Англии, в период с 1807 по 1812 г. внес в Палату депутатов несколько биллей об отмене смертной казни за разные виды воровства и обосновал их данными статистики и других наблюдений. В 1819 г. в Англии была учреждена комиссия с целью изучить все постановления о «смертных» преступлениях и определить соответствие данного вида наказания преступлению. Подобные комиссии создавались впоследствии еще несколько раз. В своей работе они применяли то, что А.Ф. Кистяковский назвал «позитивным методом», «опытным исследованием» или «философско-позитивным направлением»: систематизировали законодательство, заслушивали мнения экспертов, специалистов и просто гражд-

дан из разных слоев общества, собирали и анализировали статистические данные. На результатах этой работы и были основаны законы, которыми смертная казнь поэтапно отменялась. Данный подход оказал заметное влияние на последующие труды французских и немецких ученых. В их числе А.Ф. Кистяковский называет Люкаса, Дюкпетье, Гизо и в особенности Миттермайера, который в процессе научной деятельности издал значительное количество работ и изменил свою позицию в отношении смертной казни, превратившись из ее защитника в ее противника.

Вряд ли можно сказать, что А.Ф. Кистяковский явно высказывается за отмену смертной казни в ближайшей перспективе. Скорее, его отношение к этому вопросу можно увидеть в следующих словах: «Потомство, как всегда более беспристрастное, отдавая честь некоторым умам за их особенно по этой части почтенные труды и благородные усилия, по всей вероятности, посмотрит на дело несколько иначе и найдет, что: а) главная заслуга отмены смертной казни должна быть приписана коренным переменам, совершившимся в умственной, общественной и экономической жизни народов, переменам, в осуществлении которых принимали участие не единицы, а миллионы, и что этому, а не другому фактору, обязаны своим появлением даже блестящие философские умы, защищавшие святость жизни человеческой; б) если кому, в частности, и следует приписать заслугу постепенной отмены смертной казни, то уже никак не одной какой-либо личности, а совокупным усилиям тех писателей и государственных людей, которые словом и делом способствовали уменьшению смертных казней и веры в необходимость и полезность этого наказания» [4. С. 25].

Другим ключевым положением следует признать то, что смертную казнь автор приравнивает к убийству. Историю смертной казни А.Ф. Кистяковский рассматривает как «общечеловеческую», не разделяя исследование по странам, хотя значительная часть приводимых им примеров относится к Европе. При этом институт смертной казни был сформирован еще до появления государственной власти: «Общегосударственная власть застала уже смертную казнь как готовое и вполне выработанное учреждение, в виде кровавой мести или, точнее, в виде убийства в отмщение. Будучи различны по способу назначения и по объему, убийство в виде мести и смертная казнь в виде наказания в сущности есть одно и то же: и то и другое состоит в лишении жизни; и то и другое обрушивается на голову виновного или по крайней мере того, которого считают виновным; если смертная казнь основывается на установленном властью законом, то убийство в виде мщения освящается неизменно соблюдаемым обычаем и считается не только правом, но и обязанностью» [Там же. С. 55].

Истоком становления смертной казни как вида уголовного наказания принято считать обычай кровной мести как реакции на нарушение прав («на обиду»). Важно, что месть была не правом, а обязанностью обиженного, переходила по наследству из поколения в поколение, была связана с участием в наследовании имущества. Подтверждения существования обычая убийства в отмщение имеются в истории большинства народов (евреев, греков, римлян, хотя не все исследователи согласны с этим, народов германского, романского, славянского происхождения с древнейших времен и вплоть до XVI–XVII вв., в частности в Шотландии, Ирландии, Швеции, Швейцарии). Примечательным является следующее утверждение А.Ф. Кистяковского:

«Смертная казнь в виде убийства в отмщение есть общечеловеческое учреждение не только потому, что практикуется всеми народами, но и потому, что она глубоко коренится в известной организации племен, в их нравах и обычаях» [4. С. 56]. Очевидно, что здесь он обращает внимание на глубокие (во времени, в природе человека и общества, в праве) корни убийства в рамках кровной мести.

Постепенно обычай мести получил религиозную окраску. Данный аспект представляется весьма важным для понимания истории смертной казни. Не только потому, что религиозные соображения укрепили в свое время обычай убийства в отмщение. И даже не столько потому, что в странах Европы именно религиозные преступления были едва ли не самым «объемным» источником смертных казней. Не менее показательной и значимой является дальнейшая роль церкви в судопроизводстве. Прежде всего духовенство весьма быстро стало наиболее «привилегированным» слоем общества в отношении смертной казни: особые суды, как правило, «выводили» из-под смертной казни «своих», даже если это были просто переодетые в одежду священников преступники. В дальнейшем духовная власть стала перекладывать исполнение смертных приговоров на власть светскую: «...уже в то время, когда католическое духовенство сделало смертную казнь обыкновенным наказанием за преступления против религии и нравственности, оно не переставало все-таки твердить: „Церковь чуждается крови“... Чтобы придать хотя наружный вид тому, что оно остается верным этому преданию, церковные суды, во-первых, постановивши приговор о виновности, сами не приводили его в исполнение, а предоставляли это дело светской власти; во-вторых, к каждому приговору присоединяли ходатайство, имевшее теперь значение одной пустой формальности, о сохранении обвиняемому жизни и целости тела» [Там же. С. 127].

Ограничение применения смертной казни в отмщение совпадает с началом становления и укрепления государственной власти. Появляется минимальная защита от кровной мести за ненамеренное убийство. Со временем, когда формируется реальная альтернатива отнятию жизни в виде возможности забрать имущество или способность трудиться, экономические соображения приводят к появлению выкупов («композиций»), которые также заменяют часть смертных приговоров. А.Ф. Кистяковский пишет: «Первым деятелем в деле уменьшения смертных казней является экономический интерес, который убеждает человека, что для него выгоднее получить за свою обиду и за свои потери материальное вознаграждение, чем успокоить себя убийством врага» [Там же. С. 75]. В дальнейшем государство обращает внимание на невменяемость как обстоятельство для ограничения вынесения смертных приговоров. С особою жестокостью, т.е. без различия важности и меры вины, в период государственной карались три вида преступлений: против государства, против религии и против нравственности [Там же. С. 116].

XVIII в. А.Ф. Кистяковский называет «веком гуманной философии» [Там же. С. 135]. Это период общего смягчения нравов, распространения убеждений о равенстве людей, заявления протеста против жестоких и кровавых обычаев. Под влиянием этих факторов в некоторых странах предпринимаются попытки полного отказа от смертной казни. Интересно, что автор «Исследования...» не соглашается с распространенной оценкой сочинения Беккариа

как первого протеста против смертной казни, утверждая, что «при более внимательном исследовании истории уголовных законодательств открываются такие факты, которые доказывают, что убеждение в несправедливости и ненужности этого наказания обнаружилось в роде человеческого гораздо раньше этого события» [4. С. 126].

Первым таким событием (фактом) сам А.Ф. Кистяковский называет появление христианства. Далее главным образом действуют исключительно рациональные соображения пользы, выгоды: Англия усилиями преступников осваивала колонии, Франция обеспечивала гребцами галеры, Россия завоевывала Сибирь и строила флот. «Нет сомнения, что завоевание Сибири, заведение флота и предприятие правительственных построек, к примеру крепостей и т.п., способствовали уменьшению и почти полной отмене смертной казни в России. Указами 19 ноября 1703 г., 19 января 1704 г. и 5 февраля 1705 г. Петр I предписал: кроме убийц и мятежников, остальных преступников за смертные преступления не приговаривать к смертной казни, а, наказавши кнутом и заклеивши, ссылатъ в каторжную работу навсегда или на известное число лет» [Там же. С. 130]. Данные предписания были отменены в 1714 г., однако спустя 30 лет исполнение смертных казней было приостановлено. А.Ф. Кистяковский высказывает уверенность, что именно и только колонизация и приобретение Сибири дали возможность превратить изначально временную меру отказа от смертной казни в «постоянный закон империи».

В XVIII в. были сделаны попытки полной отмены смертной казни, если под отменой понимать соответствующее законодательное закрепление. Исторически первым осуществил такое закрепление великий герцог Леопольд в Тоскане после длительного «опытного» периода: вступив на престол, не меняя законов, герцог с 1765 г. приостановил исполнение смертных казней, а в 1786 г. издал закон о полной отмене казни. С января 1776 г. Мария-Терезия (Австрия) поручила исследовать вопрос о возможности отмены смертной казни за большую часть преступлений. При ней казнь заменялась пожизненным заключением в ямы крепости Шпильберг. А.Ф. Кистяковский отмечает, что такую замену можно считать особым способом исполнения смертной казни, поскольку дольше нескольких месяцев никто из заключенных не выживал [Там же. С. 137]. В дальнейшем вступивший на престол Иосиф II в 1781 г. тайно повелел всем судам не приводить постановленные смертные приговоры в исполнение вплоть до решения императора, а с 1783 г. и не выносить смертных приговоров; изданным в 1788 г. уголовным кодексом смертная казнь отменялась. Во Франции Учредительное собрание в январе 1790 г. издало декрет, провозглашавший равенство наказаний для всех граждан. В 1791 г. Собранию был представлен доклад, в котором предлагались основные начала реформы уголовного законодательства, включая уничтожение смертной казни за все преступления, кроме политических, однако Собрание решило сохранить смертную казнь в виде простого лишения жизни. Та же судьба постигла аналогичное предложение 1793 г. В начале 1792 г. была принята гильотина как средство исполнения смертной казни. Далее в одном из декретов Конвента указывалось, что смертная казнь будет отменена после объявления всеобщего мира.

Периоды этих отмен (неприменения) смертной казни оказались довольно короткими. А.Ф. Кистяковский оценивает и объясняет это следующим обра-

зом: «Сама отмена смертной казни в некоторых государствах совершилась благодаря абсолютизму, и затем достаточно было напора иных обстоятельств, чтобы сами реформаторы вроде Леопольда поспешили восстановить смертную казнь, или вроде Робеспьера, чтобы с таким усердием пользоваться тем самым орудием, которое они незадолго перед тем считали негодным. Словом, состояние общества XVIII в., хотя и породившее учение о бесполезности и несправедливости смертной казни, было, с другой стороны, таково, что реакция становилась неизбежною» [4. С. 139].

В конце XVIII и в течение XIX столетия проходят реформы уголовных законодательств во многих европейских странах. Смертная казнь сохраняется и / или возвращается там, где она была отменена, однако постепенно исключаются отдельные виды «смертных» преступлений. Например, перечень преступлений, за которые назначалась смертная казнь, по таким «представительным» уголовным законам Европы, как прусский, австрийский и французский кодексы, позволяет говорить, что в конце XVIII – начале XIX в. смертная казнь отменена за преступления против религии и против нравственности [Там же. С. 143]. Именно в XVIII в. как результат произошедших в обществе перемен появилось учение о «постепенной важности» преступлений и необходимости соразмерности с нею тяжести наказаний. Особо это отмечали Монтескьё, Беккариа, Филанджиери, Бриссо де Варвиль, Соден и др., благодаря которым впоследствии утвердилось положение, что если смертную казнь и применять, то только за самые тяжкие преступления.

XIX век характеризуется более пристальным рассмотрением вопросов, связанных со смертной казнью за политические преступления и убийство. Убеждение, что нельзя допускать смертную казнь за политические преступления, возникает в первой четверти XIX в. Эту точку зрения первым высказывает Гизо, обосновывая ее тем, что изменилась природа политических опасностей: они в меньшей степени связаны с личностями и в большей – с политическими партиями и правительственными системами. В такой ситуации, очевидно, смертная казнь становится бесполезной, ее действие в «материальном» смысле ничтожно. А.Ф. Кистяковский добавляет соображения о том, что и в нравственном своем действии смертная казнь становится бессильной: «Законы почерпают силу более в совести людской, чем в людском страхе... Относительно обыкновенных преступлений достоверны два факта: один – что действие, преступное по закону, действительно совершилось; другой – что оно действительно преступно; все согласны в этом; отвращение к этим преступлениям находится в сердцах всех. Оттого наказания за эти преступления сопровождаются нравственным действием. В преступлениях политических, напротив, два вышеприведенных факта или неизвестны, или сомнительны... Преступники обыкновенные – убийцы, грабители – стоят в обществе особняком: они не имеют между честными людьми ни друзей, ни покровителей; они в войне с обществом... Совсем иначе поставлены противники правительства: они принадлежат обществу; они находят или надеются найти поддержку... Если даже противники признают, что власть, определяя казни, действовала в своем праве, правительство теряет нравственное положение, потому что они считают себя стоящими в состоянии войны с нею» [Там же. С. 154].

В XIX в. явно и однозначно были высказаны сомнения в отношении помилования властью (главой государства) преступника, приговоренного судом

к смертной казни. Миттермайер называл целый ряд недостатков помилования, включая подрыв веры в незыблемость правосудия и влияние партий на принятие решений о помиловании. Альфред Дюмонд (1865) доказывал, что помилование лишено прочных правомерных оснований. Само преступление в XIX столетии перестает быть для мыслителей беспричинным злом и делом одной только личности преступника, а представляется также продуктом других факторов, которые от воли преступника не зависят (среда, стечение обстоятельств и т.п.). Отсюда берет свое начало новое учение о смягчающих вину обстоятельствах – не столь однозначное, как прежнее, которое заключалось в перечне причин смягчения, однако более соответствующее реальности [4. С. 155]. Длительный период постепенного сокращения применения смертной казни по решению государственной власти в разных странах представляется А.Ф. Кистяковским как объективная тенденция к полной отмене казни в силу самого «развития человечества».

Представления А.Ф. Кистяковского об истории смертной казни, на которых он основывает свою концепцию, нравственного изменения отношения государства к этому типу наказания представлялись спорными уже тогда, когда автор писал свою работу. Кроме того, небесспорными они являются и в настоящее время, когда его предположение об отмене смертной казни фактически реализовано. Прежде всего, сомнительным кажется подход к некоей «общечеловеческой» истории смертной казни. Возможно, в каких-то моментах это так и есть. Однако между законодательствами европейских стран и России в XIX в. в части «смертных» преступлений была существенная разница. В Великобритании из 11 «смертных» составов 7 имели объектом посягательства человека, его жизнь и здоровье (1841). Аналогично: Пруссия – 23 состава из 41 (1794), не считая двух составов, связанных с ложным свидетельством и ложным обвинением, которые повлекли казнь невиновного; Австрия – 6 из 13 (1803); Франция – 6 из 38 (1810), также без учета составов, связанных с ложным свидетельством и ложным обвинением, повлекшими смертную казнь [Там же. С. 140]. В Российской Империи в 1885 г. смертная казнь предусматривалась за государственные преступления, включая измену с весьма сложной формулировкой состава этого преступления, за нарушение режима карантинных мероприятий, а также по особому законодательству при объявлении чрезвычайного положения [5]. Таким образом, исходя из набора «смертных» составов преступлений, для России спор о смертной казни был вопросом, скорее, политическим. Для европейских стран этот спор в немалой степени следует отнести к «ценностным», «гуманистическим». А.Ф. Кистяковский отдельно рассматривает период рабовладения и схожий с ним период полной собственности господина над подвластным в России как особый фактор становления отношения человека и человеческого общества к смертной казни. Хотелось бы отметить в связи с этим следующее: в указанный период один человек имел право собственности в отношении другого, т.е. они были заведомо не равны в любом возможном аспекте отношений. Смертная казнь в нынешнем ее понимании – это уголовное наказание для свободного человека, совершившего деяние, признаваемое тяжким преступлением по закону. Исходя из этого, любое наказание в период рабовладения, а тем более убийство раба, представляется, скорее, расправой и реализацией права силы и собственности, что существенным образом отличается от смертной казни как

вида уголовного наказания в изложенном понимании. Хотя, вероятно, стоит согласиться с А.Ф. Кистяковским в том, что сама возможность и право решать вопрос жизни и смерти одного человека другим могли и должны были оказать влияние на формирование нравов.

А.Ф. Кистяковский считает появление христианства первым шагом на пути ограничения и отмены смертной казни. Обращаясь к теме христианства, он отмечает, что в Евангелиях не высказано общего взгляда на смертную казнь, поэтому важно понять дух тех учений, которые изложены в них, уяснить отношение первых христиан собственно к казни, а также к суду. В трактовке А.Ф. Кистяковского христианское учение «проникнуто духом любви и снисхождения к человеку; Бог христианский есть Бог любви и милости, желающий не мести и кары, а исправления падшего человека, в противоположность ветхозаветному Богу, который есть Бог гнева и мести» [4. С. 127]. Исходя из такого понимания, первые христиане не присутствовали на казнях и считали, что обязанность судить преступников и выносить им смертные приговоры несовместима с учением Христа. В подтверждение он напоминает известную библейскую историю об обвинении женщины в прелюбодеянии и ответе Иисуса: «Когда книжники и фарисеи привели к нему эту женщину и спросили его: следует ли побить ее камнями, как велит закон Моисеев, он ответил: пусть бросит первый камень тот, кто чувствует себя безгрешным» [Там же]. Изначально отцы христианской церкви высказывались против смертной казни; впоследствии епископы ходатайствовали об освобождении преступников от смертной казни (сначала добровольно, позже это им вменялось в обязанность первыми Соборами христианской церкви). Подобное толкование, как представляется, вызывает немало сложностей при попытке приложить его к реальной жизни, включая простой вопрос: как же тогда вообще осуществлять правосудие? Или, быть может, не судить вовсе? Однако эта тема слишком обширна, и здесь она не будет затрагиваться. Стоит заметить лишь, что Библия в русском переводе содержит все же несколько иную фразу, чем та, что приводит А.Ф. Кистяковский, а именно, там нет слова «чувствует». В Евангелии от Иоанна (гл. 8, ст. 7) сказано: «Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень» [6. С. 325]. Если это не техническая ошибка, то такую «оговорку» можно трактовать как своего рода признание особой значимости чувств человека.

Конечно, Кистяковский особо не рассматривает вопросы, связанные с судебной практикой. В то же время он по ходу текста в ряде случаев акцентирует внимание на важности и значимости судов в развитии и формировании как отношения к смертной казни, так и, по сути, формирования права в этой сфере. «Смертная казнь за многие преступления была введена судьями и уже гораздо позднее утверждена законом. К этим преступлениям принадлежит большая часть преступлений против религии и нравственности... Даже в XVIII столетии и законоведы, и практики отстаивали право судьи назначать смертную казнь и даже изобретать новые казни по своему усмотрению в тех случаях, в которых закон этого не предписывает, хотя это учение и не было принимаемо единогласно» [4. С. 124]. Примерами подобной ситуации могут служить Россия (смертная казнь за содомский грех применялась до появления ее в законе – Воинском уставе) и Германия (ст. 104 Каролины прямо запрещала судьям назначать смертную казнь, если это наказание не определено

в законе, однако в той же Каролине существовали пробелы, которые использовались для назначения смертной казни за кровосмешение). В другие периоды наблюдалось прямо противоположное явление: «Практика при определении смертной казни была мягче закона, который часто остается без действия или действует в слабой степени» [4. С. 143]. Здесь речь идет о Пруссии и Франции XIX в. после реформ уголовного законодательства. Наиболее же ярко такое «расхождение» закона и практики в отношении смертной казни проявлялось в Англии. Уголовное законодательство этой страны оставалось без изменений до начала XIX в. и предусматривало 200 смертных преступлений, включая воровство пяти шиллингов в лавке и сорока шиллингов в доме. Противодействие столь суровому наказанию, неадекватному тяжести преступления, осуществлялось судами, присяжными, обществом в целом и приводило к фактическому освобождению от наказания вообще даже в явных случаях, в результате чего преступники стали рассчитывать на безнаказанность данных преступлений. Именно опыт Англии в деле постепенной отмены смертной казни за большую часть преступлений А.Ф. Кистяковский считает наиболее удачным. Как известно, именно Англия за длительный период сформировала так называемое «прецедентное право», в котором главенствующую роль играли и играют суды. И именно в Англии в 1868 г. была представлена «Речь в защиту смертной казни», в которой автор, Дж.Ст. Милль, оспаривает мнение о том, что замена смертной казни на пожизненное заключение и тяжкий труд соответствуют соображениям гуманности, и предлагает иной, возможно более эмоциональный, но оттого, возможно, и более верный, более близкий природе человека взгляд на оценку эффективности наказания: «Эффективность наказания, которое действует главным образом через воображение, должна быть измерена прежде всего тем впечатлением, которое оно производит на еще невинных – тем ужасом, которым оно окружает первые порывы к проступку... а также той сдерживающей силой, которую наказание прилагает к постепенному, никогда не случающемуся вдруг, соскальзыванию в состояние, в котором преступление больше не вызывает отвращения и наказание больше не ужасает» [7. С. 187].

Одним из самых сложных аспектов в рассматриваемой теме, конечно, является справедливость. По сути дела, все начинается с вопроса о том, что споры о смертной казни с использованием справедливости в качестве аргумента являются отправной точкой рассуждений и приводят разных исследователей к прямо противоположным выводам: «Криминалисты и философы, решавшие рассматриваемый нами вопрос с точки зрения справедливости, совершенно выпустили из виду действительную, человеческую справедливость, изменяющуюся и усовершенствующуюся, а соображались с субъективной, составленной каждым из них на основании логических соображений; оттого справедливость, по понятию одних, говорила в пользу смертной казни, справедливость, по понятию других, – против» [4. С. 13]. Говоря о справедливости, А.Ф. Кистяковский выражает свою позицию не вполне однозначно: «У человечества нет другой справедливости, кроме той, которая выразилась в его законах; а эта справедливость не есть нечто целиком данное и неизменное, а есть явление постоянно, хотя и крайне медленно, развивающееся и усовершенствующееся тысячелетнюю жизнь народов» [Там же. С. 12]. В дальнейшем в ходе исследования он снова обращается к значимости

этого понятия при рассмотрении вопроса о наказании за убийство: «Наука не преминула обратить внимание на то обстоятельство, что как законодательство, так и практика, определяя за некоторые виды и некоторые случаи убийства вместо смертной казни другие, более мягкие наказания, не всегда поступают основательно и справедливо... Вследствие этого происходит то, что хороший закон в идее не может быть применяем на практике согласно со строгою справедливостью» [4. С. 156]. В таком случае А.Ф. Кистяковским справедливость признается в качестве критерия для принятия решения как в правотворчестве, так и в правоприменении. На этом фоне кажется удивительным, что А.Ф. Кистяковский, исследуя разные варианты подходов к пониманию справедливости применительно к смертной казни, тем не менее будто не замечает те из них, которые, как представляется, вполне соответствуют тому, что он сам и рассматривает. Первый из них предложен Абегом и в изложении А.Ф. Кистяковского выглядит следующим образом: «Смертная казнь не может быть оправдываема особенными целями; скорее значение ее состоит в том, что она есть уничтожение земного бытия, спасение духовного посредством гибели телесного; она поражает не жизнь как жизнь, но временное, преходящее тело в чувственном мире». Если это так, то в вопросе о смертной казни дело касается не цели и средств, а существования необходимости, вследствие которой высшему должно быть принесено низшее, временному – преходящее, идее, которая есть жизнь справедливости, – то, что уже умерло и без дальнейшего правомочия не может существовать. Это не месть, не внешнее возмездие, не несправедливость за несправедливость, не насилие за преступление, – нет, это есть уничтожение несправедливости, которая олицетворялась в своей высшей потенции, так что без противоречия не может далее существовать» [Там же. С. 11]. Второй вариант принадлежит Миттермайеру: смертная казнь оправдывается «тою справедливостью, которая одобряет только то наказание, которое, соответствуя величине вины, представляется необходимым и посредством других наказаний незаменимым» [Там же. С. 21].

Напомним уже приводившиеся слова А.Ф. Кистяковского: «Относительно обыкновенных преступлений достоверны два факта: один – что действие, преступное по закону, действительно совершилось; другой – что оно действительно преступно; все согласны в этом; отвращение к этим преступлениям находится в сердцах всех. Оттого наказания за эти преступления сопровождаются нравственным действием» [Там же. С. 154]. Как видим, при всем желании избежать «метафизики», заявленного в качестве отправной позиции, оперировать лишь рациональными понятиями (польза, выгода, экономический интерес, целесообразность и т.п.) не удастся: преступное по закону (т.е. по позитивному праву) у А.Ф. Кистяковского, по сути, требует согласованности с однозначно негативной оценкой содеянного «в сердцах всех», как, собственно, и сам закон. И это, на самом деле, согласуется с мыслью Милля о том, что необходим фактор, сдерживающий переход в состояние, когда преступление уже не вызывает отвращения.

Проблемным в позиции А.Ф. Кистяковского представляется, вероятно, не сознательное, не задуманное игнорирование собственно человека, его природы, его внутреннего стремления к справедливости, к воздаянию за обиду, за нарушение своих прав. Само убеждение и убежденность человека в его

личном, естественном праве на воздаяние и тем более убежденность в наличии такой обязанности как некие моральные ценности и регуляторы в итоге как будто исчезают, и «очень личный» для всех и каждого вопрос решается государством, исходя, по большому счету, из соображений целесообразности. Но разве не является такая убежденность оборотной стороной понимания пределов дозволенного? Поэтому, наверное, наказание и является отражением морали. Предположение о том, что государство отменит смертную казнь, в этом смысле не согласуется с его же утверждением о том, что сила закона черпается в совести людской. Возможно, поэтому запрет на смертную казнь, основанный на неких международных обязательствах, когда-то принятых от лица России представителями ее верховной государственной власти, хотя и подтверждает его предположение, но для большей части населения страны не является убедительным.

Литература

1. Анисин А.Л. Проблема смертной казни: криминологический, социальный и нравственный аспекты // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2012. № 2 (12). С. 34–41.
2. Борисова А.Ю. Проблемы применения и отмены смертной казни в России // Концепт. 2017. № 4 (апрель). URL: <http://e-koncept.ru/2017/170085.htm> (дата обращения: 05.04.2018).
3. Сибиряков С.Л., Куликов Я.И., Качурин А.В. Проблема смертной казни: «за» и «против» (информационно-аналитический обзор выборочного опроса студенческой молодежи) // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2010. № 1 (8). С. 127–135.
4. Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. Тула : Автограф, 2000. 272 с.
5. Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года : 5-е изд., дополн. СПб. : тип. М.М. Стасюлевича, 1886.
6. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Оптина Пустынь : Изд-во Введенского ставропигиального мужского монастыря, 2013.
7. Милль Дж.Ст. Речь в защиту смертной казни // Этическая мысль. 2009. Вып. 9. С. 183–192.

Yulia A. Golovina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: jagolovina@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 97–108.

DOI: 10.17223/1998863X/55/11

ALEXANDER KISTIAKOVSKI ON THE DEATH PENALTY AND ON THE MORAL FOUNDATIONS OF A POLITY

Keywords: death penalty; punishment; liability; polity; morality; Alexander Kistiakovski.

The article deals with the views of Alexander Kistiakovski, a representative of the Russian school of the philosophy of law, on the nature of the death penalty. His idea that the polity will abolish the death penalty because of the “development of humankind” is analyzed. It is demonstrated that some aspects of his theory are disputable.

References

1. Anisin, A.L. (2012) Problema smertnoy kazni: kriminologicheskii, sotsial'nyi i нравstvennyi aspekty [The problem of the death penalty: criminological, social and moral aspects]. *Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel'naya praktika – Legal Science and Law Enforcement Practice*. 2(12). pp. 34–41.
2. Borisova, A.Yu. (2017) Problemy primeneniya i otmeny smertnoy kazni v Rossii [Death penalty application and abolition in Russia]. *Kontsept*. 4. [Online] Available from: <http://e-koncept.ru/2017/170085.htm>. (Accessed: 5th April 2018).
3. Kistyakovskiy, A.F. (2000) *Issledovanie o smertnoy kazni* [The Study on the Death Penalty]. Tula : Avtograf.

4. Mill, J.St. (2009) Speech in Favour of Capital Punishment. *Eticheskaya mysl' – Ethical Thought*. 9. pp. 183–192. (In Russian).
5. The Bible. (2013) *Novyy Zavet Gospoda nashego Iisusa Khrista* [New Testament of Our Lord Jesus Christ]. Kozelsk: Vvedensky Stavropegic Male Monastery Optina Pustyn.
6. The Bible. (n.d.) *Novyy Zavet Gospoda nashego Iisusa Khrista* [New Testament of Our Lord Jesus Christ]. Recommended for publication by the review commission of the Ukrainian Orthodox Church BB 01-13-02-25. Holy Assumption Pochoev Lavra.
7. Sibiryakov, S.L., Kulikov, Ya.I. & Kachurin, A.V. (2010) Problema smertnoy kazni: “za” i “protiv” (informatsionno-analiticheskiy obzor vyborochnogo oprosa studencheskoy molodezhi) [The Death penalty: pros and cons (informational and analytical review of a sample survey among students)]. *Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra*. 1(18). pp. 127–135.
8. Tagantsev, N.S. (1886) *Ulozhenie o nakazaniyakh ugovolnykh i ispravitel'nykh 1885 goda* [Criminal and Correctional Penalties Code of 1885]. 5th ed. St. Petersburg: M.M. Stasyulevich.

УДК 165.12

DOI: 10.17223/1998863X/55/12

М.В. Гончаренко

КОНСТЕЛЛЯЦИЯ ФАКТА В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ Л. ВИТГЕНШТЕЙНА И К. ПОППЕРА

Осуществлен сравнительный анализ теории фальсификации К. Поппера и теории значения Л. Витгенштейна в контексте историко-философского подхода к проблеме формирования нового знания и его обоснования. Представлена аргументация того, что появление какого-либо эпистемологического поля определено констелляцией факта. Используются аргументы, касающиеся обоих философских периодов Л. Витгенштейна.

Ключевые слова: факт, эпистемологическое поле, Л. Витгенштейн, К. Поппер, теория значения, теория фальсификации.

В широком смысле рассмотрение проблемы факта – это рассмотрение проблемы констелляции факта. Под констелляцией факта мы понимаем эпистемологическую организацию взаимодействия различных факторов, элементов, образующую новые аспекты видения ранее известных положений вещей. Именно взаимосвязь этих различных факторов в едином континууме факта и вызывает вопросы, связанные с обоснованием возможности данной взаимосвязи. Другими словами, каждая единичная констелляция факта обусловлена определенной возможностью, достоверность которой зависит от принятых допущений. Так в общих чертах выглядит позиция, в соответствии с которой происходит формирование представления о чем-то. Но проблема факта, его констелляции осложняется еще и тем, что вышеуказанные представления бывают различными: научными, религиозными, бытовыми и т.д. Даже собственно научность факта является объектом бесчисленных споров в силу известной дискуссии первой половины XX в., согласно с которой научность обусловлена эмпирическим соответствием высказыванию. Что касается остальных фактов, то все упирается в принятый исходный базис, в соответствии с которым нечто считается достоверным. Таким образом, каждое из этих направлений обладает особыми специфическими критериями достоверности, актуальными только для них. И хотя с точки зрения логического позитивизма наука отличается от метафизики (под которой подразумевается все, что не-научно) научностью [1], возникает вопрос о достоверности именно научности [2]. Дело в том, что, как неоднократно отмечал К. Поппер, обнуление метафизических оснований приводит и к одновременному обнулению научных оснований [3. Р. 64–65]. Однако утверждения Л. Витгенштейна относительно метафизических истин, не подлежащих логическому анализу [4], получили дополнительное осмысление, что привело к развитию теории значения.

В контексте нашего исследования мы ограничимся рассмотрением преимущественно научных и ненаучных представлений / фактов с точки зрения возможности и правомерности утверждения и отрицания одного и того же.

К примеру, Дж. Уоткинс неоднократно задавался вопросом относительно того, каковы критерии прогресса, применяемые К. Поппером к научному знанию [5]. Предполагаемый анализ будет осуществляться в рамках сопоставления концепции значения Л. Витгенштейна и концепции фальсификации К. Поппера.

Одна из целей данного исследования заключается в том, чтобы выяснить, почему в пределах разного типа дискурсов допустимо использование различных оснований достоверности. И почему эти *различные* критерии достоверности в конечном итоге сводятся к лингвистическому фактору, в соответствии с которым принимается решение о правомерности / неправомерности того или иного типа дискурса, того или иного факта.

Также следует отметить вторую цель данного исследования – анализ процессов формирования нового знания как одного из главных результатов многофункциональной деятельности субъекта познания, из-за чего ни одна из анализируемых в этом контексте концепций не может быть приоритетной. Теория фальсификации и теория значения – это различные исследовательские методологии, сравнение которых, по-нашему мнению, может приблизить к более точному пониманию указанных проблем.

Для реализации заявленных целей исследования необходимо решение следующих задач: во-первых, анализ факторов, использованных К. Поппером, для объяснения того, почему с точки зрения логических позитивистов, в частности Р. Карнапа, наряду с метафизикой наука также не имеет никаких достоверных оснований; во-вторых, выявление общего в принципах анализа бессмысленности высказываний / фактов в подходах ранней и поздней философии Л. Витгенштейна; в-третьих, сопоставление эмпирических и логических фактов¹, показывающее, что условиями актуализации выбора смысла противоречивых высказываний являются случайность и необходимость; в-четвертых, определение, как и почему лингвистический фактор является единственным инструментом, обеспечивающим реальное взаимодействие логически возможного мира (факта) и эмпирического мира (факта) для индивидуального сознания и именно так данное взаимодействие становится интересубъективным.

Рабочая гипотеза заключается в том, что сравнительный анализ концепции значения Л. Витгенштейна и концепции фальсификации К. Поппера показывает, что ту или иную констелляцию факта обуславливает формирование новых эпистемологических полей²; фактором создания нового эпистемологического поля является лингвистический фактор, на основании которого возникает возможность корреляции реальности индивидуального сознания и Реальности.

¹ *Логически возможный факт* – это логически возможный мир (в соответствии с трактовкой С. Крипке – абстракции возможных состояний действительного мира), сконструированный тем или иным логическим порядком, одновременное наличие этого факта в эмпирическом срезе совершенно не всегда возможно.

² *Эпистемологическое поле* – это некоторая дискурсивная область (дискурс), ядром которой является факт с его логически возможным множеством интерпретаций. Каждая следующая интерпретация становится возможной в результате появления или конституирования нового знания, нового определения того или иного элемента этого дискурса и пр. Совокупность всех этих интерпретаций и пр. создает единую дискурсивную область / область дискурса, относящуюся к конкретному факту.

Невзирая на то, что теория фальсификации К. Поппера приобрела известность начиная с 1935 г., ее автор испытывал необходимость в дальнейшем уточнении и подтверждении данной теории, поэтому он находился в непрерывном процессе дискуссии по этому поводу с различными представителями направления логического анализа. В 1955 г. для книги «Философия Р. Карнапа» К. Поппер написал статью о проблемах демаркации между наукой и метафизикой, в которой попытался объяснить, почему размежевание науки и метафизики не может проходить по линии осмысленности первой и бессмысленности второй [6. Р. 344]. Данное объяснение К. Поппера представляется крайне важным по нескольким причинам. Во-первых, в этой работе К. Поппер, подвергая анализу свой критерий фальсификации, апеллирует не только к аргументам Р. Карнапа относительно бессмысленности метафизики, но и к логике Реальности, которая, по его мысли, подлежит / может подлежать объективации с точки зрения эмпирических фактов на основании опыта, ими представляемого. Во-вторых, К. Поппер полагает, что актуальность эмпирических фактов не является основанием преодоления метафизической проблематики, так как рано или поздно обусловленные чем-то опытные данные приводят нас к совершенно изолированным данным, т.е. к таким данным, которые мы не можем вывести из чего бы то ни было.

Пытаясь использовать принцип объективирования не только по отношению к внешнему миру как объекту, данному в опыте (мир 1), но и по отношению к собственной теории, которая принадлежит миру, данному в мире 3 (мир 3 представлен теориями, искусством, наукой и пр.) [7], К. Поппер настаивает на том, что критерий фальсификации не может быть совершенно четким, так как он имеет различные степени, поэтому есть теории, хорошо или плохо проверяемые, и теории, непроверяемые вовсе [Ibid. Р. 346]. С одной стороны, К. Поппер учитывает фактор изменчивости критерия фальсификации и связывает это с изменчивостью самих теорий. С другой стороны, если теории изменяются, то в конечном итоге может наступить такое положение дел, при котором непроверяемые (так называемые метафизические) теории тоже смогут получить свой критерий фальсификации. Не следует ли из этого, что метафизичность теории может зависеть от уровня роста проверяемости? Исходя из возможных степеней критерия демаркации, следует. Однако у К. Поппера такого вывода нет. Скорее всего, это можно объяснить теми невероятно сложными отношениями, которые возникли у К. Поппера между миром 1 и миром 3, т.е. отношениями между чувственностью и высказыванием.

Невзирая на хорошо известные аргументы К. Поппера относительно мира 3 (его автономность и независимость от индивидуального сознания), стоит обратить внимание на то, что методология науки всегда устанавливает связь между какой-то концепцией / идеей (мир 2) и собственно миром 3. Именно на этот механизм указывает Т. Кун, приводя пример отношений между идеями Галилея и современными ему научными положениями [8]. Действительно, наука, современная для Галилея (как элемент, принадлежащий миру 3), и воззрения самого Галилея (как элемент мира 2), если принимать во внимание аргумент автономности мира 3, – это параллельные прочтения реальности (мир 1). Однако правила, используемые при интерпретации – это правила, принимаемые как сообществом в качестве приемлемой социальной практики,

так и отдельным субъектом, поэтому Галилей одновременно и участник социальной практики, и ее трансформатор.

Другими словами, трансформация происходит только тогда, когда уже есть нечто, ей подлежащее. В примере Т. Куна – это галилеевская трансформация принятых правил относительного движения. Новый язык наблюдения Галилея – результат трансформации понимания реальности [9]. В итоге бесконечный ряд концепций и идей (мир 2) – это то, что обуславливается реальностью (мир 1), аспектом ее видения. Однако проблема взаимосвязи мира 1 и мира 3 у К. Поппера, на наш взгляд, может быть сведена к тому, что применимость методов и оправдание утверждений целиком зависит от исторической ситуации и собственного опыта ученого [10]. Следовательно, появление новой идеи – это создание нового языка (мир 2) как инструмента нового прочтения реальности (мир 1), что в дальнейшем обеспечивает появление новых социальных практик: абсолютно новых направлений в науке, культуре (мир 3).

Если граница эмпирии – это образование понятий [11], то совершенно очевидно, что мир 3 и мир 1, пребывая в состоянии перманентного взаимодействия, в качестве границы имеют нечто весьма неопределенное. Безусловно, такое положение вещей напоминает подход А. Шютца к интерсубъективности конструкции социального мира [12]: мир 3 у К. Поппера – постоянно обновляющаяся конвенция, которая оказывает и обратное действие на мир 1, создавая все новые социальные практики.

Одним из возможных инструментов разрешения подобного рода противоречия является предложенный самим К. Поппером интерсубъективный подход, не только формирующий область интерпретационных множеств, но и вырабатывающий единственно актуальное истолкование того или иного феномена. Естественно, такое положение вещей сближает теорию фальсификации К. Поппера и теорию значения Л. Витгенштейна¹, так как и интерсубъективный подход, и семейные подобия обусловлены актуальными в данный момент социальными практиками.

Организация мира, как и организация опыта, во многом обусловлена способностью субъекта познания понимать интересующий его объект, т.е. опыт должен показывать, что уже стало объектом изучения до него [13]. Действительно, гравитационные волны как некое возмущение пространства-времени, предсказанные общей теорией относительности, были впервые зафиксированы в сентябре 2015 г. датчиками LIGO в США. Таким образом, гравитационные волны как объект опытного наблюдения стали реальностью (мир 1) в результате успешной социальной практики по возведению четырехкилометровых тоннелей с поддержанием в них вакуума, созданию особых устройств зеркал с уникальными технологиями их напыления и закрепления и пр. Технологический уровень данного эксперимента позволил фиксировать ранее недоступный опыт, что свидетельствует о появлении новой техники чтения как новой социальной практики, которая, одновременно являясь элементом мира 3, организует новое видение мира 1, предвосхищение которого появилось в мире 2 задолго до этого.

¹ Здесь имеет смысл обратить внимание на то, что К. Поппер отдельно анализировал подход Л. Витгенштейна, предложенный в ЛФТ, с которым он не совсем был согласен [3. Р. 13].

Очень важно также отметить, что К. Поппер, наряду с вышеизложенным, допускает возможность того, что какие-то утверждения могут принадлежать науке, поскольку они проверяемы, притом что их отрицания не являются проверяемыми. Это свидетельствует, что отрицание научной теории по своей сути является метафизическим, так как не подлежит проверке (не может быть проверено, потому что не может быть фальсифицировано). Поэтому в силу выше сформулированного предположения естественно допустить, что при определенном уровне роста проверяемости такое отрицание тоже будет проверяемым¹, т.е. научным. Но пока этого не произошло, как же быть с научностью теории и метафизичностью ее отрицания одновременно?

Критика К. Поппера теории значения Л. Витгенштейна, которую он представил в примечаниях во II томе Открытого общества [14], является еще одним подтверждением того, что для К. Поппера и Л. Витгенштейна язык и его роль представляются не одним и тем же.

Далее К. Поппер говорит: поскольку витгенштейновская теория (ЛФТ) утверждает, что наука исследует реальность, а философия проясняет термины, устраняя головоломки и очищая язык, постольку такая теория не только схоластична и метафизична (она не может быть опровергнута), но и в высшей степени противоречива. К. Поппер приводит множество цитат из Трактата, которые, по его мнению, являются доказательством противоречивости теории Л. Витгенштейна².

Однако приведенные аргументы К. Поппера позволяют сделать вывод о том, что понимание языка у двух философов существенно различно.

Для Л. Витгенштейна в Трактате язык – это сфера деятельности, прояснением которой занимается философия, но это представление о языке было трансформировано, поэтому позже язык понимается как социокультурный феномен, обуславливающий возможность абсолютно всех социокультурных практик (в том числе и науку), т.е. это инструмент формирования наших представлений о мире в самом широком смысле.

Для К. Поппера наука – это феномен, не связанный, по крайней мере напрямую, с языком, поэтому он, неоднократно возвращаясь к проблеме значения и смысла, игнорирует (как бы это парадоксально ни звучало) проблему невозможности внеязыковой теории (теории вне языка).

Таким образом, мы видим анализ взаимоотношения языка и Реальности, с одной стороны, и анализ взаимоотношения науки и Реальности, с другой стороны. Конечно же, у Л. Витгенштейна наука имеет важное значение, и, конечно же, у К. Поппера язык играет важную роль. Однако в первом случае речь идет о том, что язык – это инструмент интеллектуальной деятельности, результатом действия которого становятся определенные теории (научные, метафизические и пр.), а во втором случае утверждается, что наука / научная теория – инструмент появления нового знания. Это – разное видение лингвистического фактора в процессе формирования нового знания.

¹ Помимо этого, исходя из идеи роста проверяемости, можно также предположить, что некоторые экзистенциальные утверждения имеют высокие шансы перейти в разряд неизоллированных, т.е. в разряд выводимых утверждений.

² Например: «4.11. The totality of true propositions is the total natural science (or the totality of the natural sciences). 4.113. Philosophy limits the disputable sphere of natural sciences» [15].

Возвращаясь к анализу позиции К. Поппера по научности и метафизичности теорий, следует отметить, что философ сталкивается с проблемой соотношения правил вывода, относящихся к утверждениям о фактах, вещах и т.д., и, собственно, утверждений, описывающих эти факты, вещи и т.д. В самом деле, правила вывода утверждений и сами утверждения – это разные лингвистические уровни. Более того, различные правила вывода формируют возможности различных интерпретаций, каждая из которых репрезентирует тот или иной вариант факта¹. Иными словами, констелляция факта – это применение тех или иных правил вывода.

Ввиду вышеизложенного подход К. Поппера к языковому фактору представляется необоснованным и противоречивым даже в контексте его собственной теории фальсификации. Логико-эмпирические структуры – это схемы реальности, актуальные для индивидуального сознания, о чем неоднократно говорил К. Поппер в работе «Гипотезы и опровержения: рост научного знания» [6], поэтому исключение роли лингвистического фактора в этой связи не представляется возможным².

Следуя логике рассуждения К. Поппера о том, что мерило реальности научной теории есть признание ее опровержения, возникает вопрос: является ли, собственно, утверждение о реальности частью самой реальности, и если нет, то частью чего это утверждение является? Последний вопрос отсылает нас к проблеме логических и эмпирических фактов (фактов в логическом и эмпирическом мире)³. По нашему мнению, в контексте вышеприведенных тезисов К. Поппера правила следования, как и сами утверждения (факты), далеко не всегда являются элементом реальности, так как их опровержение иногда невозможно. Хотя это противоречиво с точки зрения эмпирического подтверждения (с точки зрения того, что каждый новый день начинается с восхода солнца, а каждый новый прыжок с башни завершается падением тела вниз).

У Л. Витгенштейна, хотя этот вопрос и остается открытым, тем не менее сформулирован принцип мер реальности, который определяет реальность парадигмально (к примеру, использование того или иного исчисления). Соответственно, если тот или иной факт (математический, логический, эмпирический) соответствует мере реальности, его определяющей, то эта мера реальности является неотъемлемой частью реальности. Дело в том, что, скорее всего, оппозиционность подходов Л. Витгенштейна и К. Поппера к реально-

¹ Естественно, данный процесс приводит к дальнейшей трансформации эпистемологического поля.

² Здесь очень кстати утверждение Л. Витгенштейна относительно того, что эпистемологические проблемы остаются прежними во все времена по причине языка, который продолжает формулировать все те же вопросы [16].

³ В качестве иллюстрации не-тождества логического и эмпирического здесь можно привести пример самого К. Поппера, который связан с рассмотрением феномена индукции [6]. Невзирая на известное положение Д. Юма по поводу того, что мы не знаем *взойдет ли* завтра солнце, несмотря на то, что тысячелетиями оно *входило*, К. Поппер считал, что в соответствии с индуктивным принципом мы не можем быть уверены в том, что в каждом *следующем* случае прыжок с башни закончится трагично для прыгуна. Таким образом, логический факт здесь *сводится* к тому положению дел, которое описано законом тяготения, а эмпирический факт – это собственно прыжок / падение тела. С точки зрения индукции нет и не может быть закономерности, которая бы *гарантировала* возможность повторения чего бы то ни было. Следовательно, логический факт (как процедура / правила вывода) и эмпирический факт (как применение / использование вывода) взаимодействуют не всегда, по К. Попперу.

сти обусловлена различным видением и пониманием задач и возможностей философии. Для К. Поппера контекстуальная обусловленность (парадигмальная заданность) мер реальности – нонсенс, так как поглощенность проблемами языка, характерная и для раннего, и для позднего Л. Витгенштейна, совершенно неприемлема для К. Поппера в силу того, что задача философии сводится не к выдвиганию некоторых предложений, а к прояснению и уточнению этих уже существующих предложений [16]. Однако Л. Витгенштейн убежден, что смысл высказывания (предложения) определяется тем доказательством, в результате которого и появилось само это высказывание [11]. Когда Л. Витгенштейн утверждает, что доказательство изменяет грамматику языка и меняет наши понятия, формируя новые взаимосвязи, он уверен, что данные взаимосвязи, как и понятия, не существуют, пока они не созданы доказательством [Ibid.]; в этом случае эпистемологическое поле, основополагающим элементом которого является факт, остается без изменений. Определение смысла и использование смысла – разные вещи [Ibid.], но это неразделимые вещи, они не существуют порознь. Реальность, описанная математическим предложением (как и естественным языком), не заключена в этом предложении, но без этого предложения / утверждения была бы для нас недоступной. Кстати, именно такой неявный (витгенштейновский) вывод содержится в рассуждении К. Поппера относительно шахматной игры и правил вывода этой игры: игра была бы невозможной вне контекста этих правил. Если Г. Бейкер на основании теории значения Л. Витгенштейна приходит к выводу о том, что актуальность какого-то положения дел реальности для нас наступает в результате применения правила [2], то К. Поппер настаивает на параллелизме мира 1 и мира 2, оспаривая в главе 9 работы «Гипотезы и опровержения: рост научного знания» раннего Л. Витгенштейна относительно того, что предложения – проекции фактов [6], и снова приходит к противоречию с собственной теорией фальсификации, так как в этом случае новые виды фактов, как и новые эпистемологические поля или их трансформация, были бы невозможными. Пренебрежение ролью лингвистического фактора в процессе познания в каком-то смысле позволило К. Попперу разъединить логический и эмпирический аспекты реальности.

Литература

1. Smit H. Popper and Wittgenstein on the metaphysics of experience // J Gen Philos Sci. 2015. Vol. 46, is. 2. P. 319–336.
2. Baker G.P., Hacker P.M.S. Wittgenstein: meaning and understanding. Oxford : Basil Blackwell, 2005.
3. Popper K. The logic of scientific discovery. London and New York : Routledge, 2002.
4. Saulius T. Philosophical method and science // Filosofija, Sociologija. 2016. Vol. 27, № 1. P. 31–39.
5. Watkins J. Science and scepticism. London : Hutchinson, 1984.
6. Popper K. Conjectures and refutations: the growth of scientific knowledge. London and New York : Routledge, 2002.
7. Popper K. Knowledge and the body-mind problem. London and New York : Routledge, 1994.
8. Kuhn T. The structure of scientific revolutions. Chicago and London : University of Chicago Press, 1962.
9. Feyerabend P. Against method. London : New Left Books, 1975.
10. Hubner K. Kritik der wissenschaftlichen Vernunft. Freiburg and München : Verlag Karl Alber, 1978.
11. Wittgenstein L. Remarks on the foundations of mathematics. Oxford : Basil Blackwell, 1978.

12. Schütz A. The phenomenology of the social world. Evanston : Northwestern University Press, 1967.
13. Galvan M. Critical rationalism and interpretation. Ideal y valores, 2016.
14. Popper K. The open society and its enemies. Rev. edn. London : George Routledge & Sons, Ltd., 1966. Vol. II: The high tide of prophecy: Hegel, Marx, and the Aftermath.
15. Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus: German and English Edition / transl. by C.K. Ogden. London : Routledge, 1981.
16. Edmonds D., Eidinow J. Wittgenstein's poker: the story of a ten-minute argument between two great philosophers. New York : Harper Collins Publishers, 2001.

Mark V. Goncharenko, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: markgon73@rambler.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 109–117.

DOI: 10.17223/1998863X/55/12

A CONSTELLATION OF FACT IN THE CONTEXT OF THE PHILOSOPHICAL CONCEPTS OF LUDWIG WITTGENSTEIN AND KARL POPPER

Keywords: fact; epistemological field; Ludwig Wittgenstein; Karl Popper; value theory; falsifiability theory.

The article compares Popper's falsifiability theory and Wittgenstein's theory of meaning in the context of the historical and philosophical approach to the problem of the formation of new knowledge and its justification. The argument is presented that the formation of any epistemological field is determined by a constellation of fact. The article uses arguments relating to Wittgenstein's both philosophical periods. The main object of study in this article is the significance of the linguistic factor in the formation of new aspects of vision (in scientific, metaphysical systems, etc.). The working hypothesis is as follows: a comparative analysis of the concept of Wittgenstein's meaning and the concept of Popper's falsifiability shows that new epistemological fields are formed as a result of one or another constellation of fact; one of the main reasons for this state of affairs is the linguistic factor that determines the correlations between the reality of individual consciousness and reality. The aim of this study is to justify the thesis, according to which different types of discourses provide for the possibility of using various bases of reliability. In addition, for a detailed analysis of the problem, it is extremely important to consider the formation of new knowledge as one of the results of the multifunctional activity of the cognizing subject of knowledge in the context of Wittgenstein's theory of meaning and Popper's theory of falsifiability. The following research methods were used in the study: the method of rational reconstruction was used to compare Wittgenstein's theory of meaning and Popper's theory of falsifiability within the boundaries of the historical and philosophical approach; in order to establish the possible principles for the formation of new knowledge, an analytical method was used to analyze the structural elements of complex structures; to analyze the role of the linguistic factor in the formation of intersubjective reality, an explication method was used, which made it possible to consider the interaction of a logically possible world and the empirical world.

References

1. Smit, H. (2015) Popper and Wittgenstein on the metaphysics of experience. *Journal for General Philosophy of Science*. 46(2). pp. 319–336. DOI: 10.1007/s10838-015-9296-6
2. Baker, G.P. & Hacker, P.M.S. (2005) *Wittgenstein: meaning and understanding*. Oxford: Basil Blackwell.
3. Popper, K. (2002) *The Logic of Scientific Discovery*. London; New York: Routledge.
4. Saulius, T. (2016) Philosophical method and science. *Filosofija, Sociologija*. 27(1). pp. 31–39.
5. Watkins, J. (1984) *Science and Scepticism*. London: Hutchinson.
6. Popper, K. (2002) *Conjectures and refutations: the growth of scientific knowledge*. London; New York: Routledge.
7. Popper, K. (1994) *Knowledge and the body-mind problem*. London; New York: Routledge.
8. Kuhn, T. (1962) *The structure of scientific revolutions*. Chicago; London: University of Chicago Press.
9. Feyerabend, P. (1975) *Against method*. London: New Left Books.
10. Hubner, K. (1978) *Kritik der wissenschaftlichen Vernunft*. Freiburg, Munich: Verlag Karl Alber.
11. Wittgenstein, L. (1978) *Remarks on the foundations of mathematics*. Oxford: Basil Blackwell.

12. Schütz, A. (1967) *The Phenomenology of the Social World*. Evanston: Northwestern University Press.

13. Galvan, M (2016) Critical rationalism and interpretation. *Ideal y valores*. 65(160). DOI: 10.15446/ideasyvalores.v65n160.44191

14. Popper, K (1966) *The Open Society and its Enemies*. Vol. 2. London: George Routledge & Sons, Ltd.

15. Wittgenstein, L. (1981) *Tractatus Logico-Philosophicus: German and English Edition*. Translated by C.K. Ogden. London: Routledge.

16. Edmonds, D. & Eidinow, J. (2001) *Wittgenstein's poker: the story of a ten-minute argument between two great philosophers*. New York: HarperCollins Publishers.

УДК 1 (091)

DOI: 10.17223/1998863X/55/13

А.В. Косарев

ВТОРОЙ ЭТАП ТВОРЧЕСТВА Р. БЕРНСТАЙНА КАК КРИТИЧЕСКИЙ НЕОПРАГМАТИЗМ¹

Рассматриваются этапы творчества одного из основоположников неопрагматизма, Р. Бернстайна, эволюция его взглядов, существенных для понимания современниками содержания «нового» прагматизма и оформления его в качестве философского направления. Исследование воззрений Р. Бернстайна позволяет утверждать, что основополагающие базовые элементы неопрагматизма, такие как антифундаментализм, плюрализм и коммуницирующее сообщество, формируются Бернстайном в продуктивных дискуссиях с континентальной философией, а сам XX век, по мнению известного ученого, необходимо характеризовать как «век прагматизма».

Ключевые слова: неопрагматизм, Р. Бернстайн, объективизм, релятивизм, антифундаментализм.

Современная американская философия немислима без прагматистских тенденций и в существенной степени определяется ими. Новый период расцвета прагматизма во 2-й половине XX в., после почти 20-летнего упадка, связывают с именем Ричарда Рорти. За интерес к континентальной философии и ее популяризацию в США, за нежелание считать науку привилегированной формой исследования, а также за отказ от истины как точного отражения мира американские коллеги стали считать взгляды Р. Рорти циничными, нигилистическими и безответственными, а его самого – предателем и провокатором [1]. Как отмечает В.В. Целищев, «граница между двумя типами философствования (аналитической и континентальной философией. – А.К.) почти непреодолима», однако Р. Рорти удалось обозначить пути решения этой задачи так, что он «с позиции „бывшего“ аналитического философа объяснил, как соединить несоединимое» [2]. Нередко в литературе можно встретить точку зрения, что философия Рорти – это тупиковая для американской философии ветвь, но именно попытки соединения двух радикально различных философских традиций обусловили возрождение прагматизма в те годы, когда аналитическая философия была еще крайне влиятельной, и Рорти был одним из тех, кто заложил и определил его преимущества в современной форме [3. Р. 5]. Нет сомнений, что представители современного неопрагматизма являются прямыми наследниками Р. Рорти. Оценка «нового» неопрагматизма Дж. Марголиса и Р. Бернстайна позволяет понять механизм трансформации концептуальных схем на стыке двух противоречивых дискурсов, а моделью их совмещения могут считаться методы риторического поворота.

Р. Бернстайн стремится развенчать миф о доминирующем статусе аналитической философии в американском интеллектуальном пространстве, но, по его мнению, именно она способствовала возрождению прагматизма в новом

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 19-011-00437 «Неопрагматизм в философии науки: релятивизм и риторический поворот»).

облике [4. С. 154]. Если Р. Рорти обозначает философскую ситуацию в XX в. через смену трех поворотов – лингвистического, интерпретативного и риторического, то для Р. Бернштейна весь XX в. фактически является «веком прагматизма» [5]. Нет смысла, считает он, выделять аналитическое или континентальное направление в философии, а также отдельно говорить о прагматизме, поскольку все три имеют дело с общими прагматистскими темами, характеризующими «прагматистский поворот» [6. Р. 22.]¹. Однако к этой позиции Бернштейн пришел только к третьему периоду своего творчества, в 90-е гг. XX в., обратившись к актуальным прагматистским дискуссиям. К этому времени он прошел долгий творческий путь от строгих историко-философских исследований классического прагматизма в 60-е гг. через глубокую приверженность концепциям континентальной философии и их критическую оценку в 70–80-е гг. XX в. в стремлении понять место и роль прагматизма среди других, по преимуществу европейских, философских направлений.

Ричард Джейкоб Бернштейн (род. в 1932) наряду с Р. Рорти является наиболее влиятельным популяризатором прагматизма. Свои шаги на научном поприще он начал с серьезного изучения трудов Дж. Дьюи в Йельском университете. В Йеле продолжилась его дружба с Р. Рорти, с которым Бернштейн познакомился еще в Чикагском университете, где получал степень бакалавра. В годы учебы в Йеле Бернштейн увлекся Гегелем, что оказало значительное влияние на его дальнейшее творчество. Там же он познакомился с Уилфридом Селларсом, привившим ему не просто культуру историко-философской работы (Йельский университет во 2-й половине 1950-х гг. все еще придерживался классических историко-философских тем в исследованиях, слабо реагируя на крайне модные в то время тренды логического эмпирицизма), но и умение прилагать к ней инструментарий аналитической философии².

Первый период творчества Бернштейна приходится на 60-е гг. прошлого столетия и посвящен изучению классического прагматизма. Его книга «Джон Дьюи» (1966), выдержанная в классическом историко-философском ключе, неоднократно переиздавалась в США и до сих пор является хрестоматийной, служа классическим обзором воззрений Дьюи [8]. В книге «Perspectives on Peirce» (1965), где он выступает как редактор, в главе «Action, Conduct, and Self-Control» Бернштейн анализирует концепцию индивидуального у Ч.С. Пирса и настаивает на некорректности ее привычной интерпретации. Согласно Пирсу, ошибки и незнание не являются исключительными следствиями индивидуального, поскольку оно не существует в чистом виде, а должно рассматриваться в контексте совместного характера (со)общества и индивида [7. Р. 219]. Понятия действия и поведения, вынесенные в заглавие, в следующий период станут для Бернштейна ключевыми, как и внимание к социальному.

Второй этап творчества Бернштейна более значим для понимания климата, в котором возникал и развивался неопрагматизм. В течение этого периода актуализируются вопросы понимания роли и места прагматизма в философии, и эти взгляды окажут существенное влияние на последующее развитие направления. Данный этап приходится на 70–80-е гг. прошлого столетия. Большинство написанных в этот период работ носит не столько историко-

¹ Подробно о темах мы писали в: [4. С. 157–159].

² Биографические сведения о Р. Бернштейне излагаются по: [7. Р. 217–223].

философский, сколько критический характер. В первой работе данного периода, «Праксис и действие» (1971) [9], Бернстайн разворачивает свое понимание концепции действия. Название работы несколько тавтологично, и сам Бернстайн осознает этот факт, однако говорит, что даже если название кому-то покажется избыточным или дублирующим, это дублирование преднамеренно. Во введении к книге он разъясняет значение термина «праксис» в аристотелевском смысле, понимая его как стиль жизни свободного человека и осуществление им определенной деятельности в этической и политической жизни [Ibid. P. xiv]. Бернстайн напоминает, что различия между *теоретическим* и *практическим* в античности имели несколько иное значение, чем сегодня. Понятие *теория* означало созерцательную жизнь, тогда как *праксис* – деятельную активность в политической или этической жизни полиса. Сегодня мы смешиваем два значения – практический и практичный. Бернстайн хочет вернуться назад, к старому значению «практического разума» как подлинной человеческой деятельности, которая реализуется в жизни *полиса*. Если сопоставлять понятия *праксиса* и *действия (action)*, то можно увидеть интересную зависимость: ключевым для понимания Маркса и гуманистических интерпретаций марксизма оказалось понятие *праксиса*, тогда как понятие действия приобрело те же самые значения, но в совершенно ином контексте – в аналитической философии. *Действие* в указанном контексте означает сложную сеть взаимосвязанных проблем в понимании «намерения», «мотива», «целей», «причин» и «телеологического объяснения», которые, как отмечает Бернстайн, доминировали в аналитических исследованиях двух предшествовавших десятилетий [Ibid. P. xvi]. Ирония заключается в том, что, несмотря на близость этих двух понятий в двух различных традициях, в философской литературе их связь почти не рассматривалась в силу диаметрального расхождения континентальной и аналитической философии и убежденности в их «несоизмеримости». Поэтому Бернстайн видит свою задачу в том, чтобы если не отождествить их значения, то хотя бы показать важность и полезность знания о содержании и значении этих концепций. По сути, Бернстайн осуществляет импорт европейских философских понятий в американскую философию в надежде синтезировать, примирить эти две традиции или хотя бы заставить их лучше узнать друг друга.

Значение понятия «деятельность» Бернстайн прослеживает начиная с Маркса вплоть до дискуссий, которые развиваются в экзистенциализме, прагматизме и аналитической философии, придерживаясь критического изложения материала и отмечая, что каждое из этих направлений не лишено недостатков в их понимании социальной практики и действия. Экзистенциализм Кьеркегора и Сартра, с одной стороны, инициирует широкий интерес к вопросам субъективности, но, с другой стороны, этот же аспект неизбежно ведет к солипсизму и нигилизму. Аналитическая философия в ее позитивном аспекте обращает внимание на необходимость ясности и устанавливает критерии для выявления псевдонаучных теорий и ошибочного онтологического базиса в учениях предшествующих ей периодов. Однако ее априоризм, трактовка истин логики и математики как априорных и не имеющих дела с информацией о мире претендует на окончательное решение всех возможных философских проблем, а интерес исключительно к формальным преобразованиям предложений языка науки существенно сужает область ее философ-

ского применения. Такой сциентистской ориентации аналитиков Бернштейн не разделяет. Наконец, марксизм, хотя и обеспечил прорыв в понимании социальной природы человеческой субъективности, в итоге фактически переживает в политическую риторику и тем самым входит в явное противоречие с прагматизмом. Как видно, одна из главных задач Бернштейна в этих рассуждениях заключается в том, чтобы не просто показать значимость и содержание американской и европейской философии в их сопоставлении, но и найти те стороны в них, которые сближают их с прагматизмом или, напротив, не согласуются с ним.

В работе «Перестраивание социальной и политической теории» (1976) [10] Бернштейн вновь использует критический подход. На этот раз в фокусе его интересов оказывается понимание действия в контексте учений логического эмпиризма, анализа языка, феноменологии и критической теории. Здесь круг интересов Бернштейна ограничивается интенциональностью. Он полагает, что интенциональность в описании и объяснении человеческих действий не может быть сведена к методологии естественных наук, как это стремится представить аналитическая философия. Феноменология привлекает Бернштейна тем, насколько хорошо в ней сформулированы суть и проблема интенциональности, но само это направление, по его мнению, несовместимо с другими континентальными философскими течениями. В частности, с концепциями критической теории, которая считает, что наши интенции – это продукт неких внешних по отношению к нам сил. С точки зрения Бернштейна, критическая теория также не преуспела в понимании и описании человеческих действий, в поиске надежных оснований для них, поскольку, как и аналитическая философия, уходит в своих концепциях в априоризм.

Наконец, еще одна значимая для понимания прагматистской позиции Бернштейна книга – «За пределами объективизма и релятивизма: наука, герменевтика и праксис» (1983) [11]. Она фактически является результирующей в отношении второго периода его творчества и неслучайно содержит посвящение «Четырем друзьям». Один из них – Р. Рорти, и практически каждая ее страница звучит как диалог с ним. Помимо Рорти книга посвящена Ханне Арендт, Хансу-Георгу Гадамеру и Юргену Хабермасу – дань приверженности автора континентальной философии.

Бернштейн вновь прибегает к критическому методу противопоставления разных направлений, выявляя как их позитивные, так и негативные стороны и максимально снимая противоречия. На этот раз он обращается к ключевым понятиям прагматистских учений и дискуссий – объективизму и релятивизму, рассмотренным с точки зрения понимания рациональности в вопросах истины, рациональных практик и этических предпочтений. Свой труд он начинает с формулировки своего главного тезиса: всю человеческую жизнь всегда пронизывало одно затруднение – оппозиция между объективизмом и релятивизмом, – которое выражается в самых различных формах стандартных противопоставлений, таких как рациональность и иррациональность, объективность и субъективность, реализм и антиреализм [Ibid. P. 1]. Однако существует множество признаков искусственности этого противостояния, и существует необходимость выйти за рамки объективизма и релятивизма. Своей целью Бернштейн видит установление причин возникновения указанных оппозиций и стремится показать, почему в современном мире все чаще

происходят процессы, направленные на их устранение, сопровождающиеся возникновением новых направлений в философии. Знаменательно, что аналогичные мысли, но в более резкой и прямолинейной форме манифеста неопрагматизма как антифундаментализма выразит, Р. Рорти в 1996 г., с критической позиции, как и Бернстайн, оценивая указанные базовые термины и подчеркивая их неправомерность [12].

Бернстайн полагает, что множество философских дебатов и споров, существовавших в истории философии, по сути, имеют одну цель: «определить природу и сферу человеческой рациональности» [11. Р. 2]. Современные дискуссии вывели представление о рациональности на другой уровень, одинаково важный как для теоретической, так и для практической жизни. Рациональность теперь понимается как истинный, живой «разговор», в котором всегда есть непредсказуемость и новизна, расширенный и открытый диалог, создающий основу межсубъектных соглашений [Ibid.]. Из указанного утверждения ясно, что рациональность в концепции Бернстайна мыслится как коммуникативная, что вполне соответствует как прагматистским установкам, так и принципам риторического поворота.

Бернстайн понимает концепции релятивизма и объективизма как противоположные и несовместимые, при этом сами эти термины трактуются им как неправомерные [7. Р. 220]. Он анализирует привычное определение объективизма, которое указывало на существование мира метафизической объективной реальности, существующей независимо от человека, и подразумевало метафизическое или эпистемическое различие между субъектом и объектом. Взамен он предлагает свое: «...базовое убеждение в том, что есть или должен быть некоторый постоянный исторический матрикс, к которому мы можем, безусловно, обращаться в определении природы рациональности, знания, истины, реальности, блага или правильности» [11. Р. 8, 71]. Термины, которые использует Бернстайн, как он сам отмечает, отличаются от общепринятых. В частности, определенный таким образом объективизм тесно связан с фундаментализмом. «Объективист утверждает, что если мы не можем строго сформулировать философию, знание или язык, мы не сможем избежать радикального скептицизма» [Ibid. Р. 8].

Релятивист, в определении Бернстайна, будучи антагонистом объективиста, отрицает позитивный характер объективизма. «В самой сильной форме релятивизм является базовым убеждением в том, что, когда мы обращаемся к рассмотрению тех концепций, которые философы считали наиболее фундаментальными, – будь то концепция рациональности, истины, реальности, права, добра или норм, – мы вынуждены признать, что в конечном итоге все такие понятия должны пониматься относительно конкретной концептуальной схемы, теоретического основания, парадигмы, формы жизни, общества или культуры. Поскольку релятивист верит, что существует (или может быть) нередуцируемое множество таких концептуальных схем, он или она бросает вызов утверждению, что эти концепции могут иметь определенное и однозначное значение. Для релятивиста нет существенной всеобъемлющей структуры или единого метаязыка, посредством которых мы можем рационально выносить решения или однозначно оценивать конкурирующие установки альтернативных парадигм» [Ibid.]. Вопрос о критериях, или стандартах, рациональности для релятивиста всегда является проблемным, поскольку он не

может избежать затруднений, связанных с представлениями о «наших» и «их» стандартах рациональности – они всегда радикально несоизмеримы. Эту свою интуицию Бернштейн подкрепляет глубокими и развернутыми отсылками к классикам проблемы несоизмеримости Т. Куну и П. Фейерабенду, в целом соотносит их позиции с идеями ведущих философов науки, таких как Поппер, Лакатос, Тулмин, Лаудан [11. Р. 19–24], и фактически продолжает линию так называемого аналитического прагматизма, суть которой выплывала в многолетних жарких дебатах Рорти и Патнэма. Как итог, Бернштейн заключает, что даже если нечто обозначено словами «стандарты рациональности», это еще не значит, что эти «стандарты» действительно универсальны и не изменяются со временем или в соответствии с теми требованиями, которые накладывают на них исторические эпохи или культуры. Важным разделом его труда является подробный анализ «альтернативной» оценки науки с точки зрения аналитической традиции, которая дается герменевтической философией, в частности Гадамером, и этому вопросу посвящено несколько разделов книги [Ibid. Р. 30–43].

По мнению Бернштейна, должное понимание релятивизма происходит не только в противопоставлении объективизму, но и в различении его с субъективизмом. «Релятивист не должен быть субъективистом, а субъективист не обязательно является релятивистом» [Ibid. Р. 11]. Поскольку релятивист рассуждает всегда в привязке к конкретной концептуальной схеме, социальным практикам или исторической эпохе, тем самым он настаивает на отсутствии универсальных стандартов, однако из этого еще не следует, что его концепции исключительно субъективны – они могут разделяться всеми членами данной культуры, общества, носителями концептуальной схемы, представителями одной исторической эпохи и т.д.

Бернштейн объясняет, почему из множества вариантов возможных оппозиций он выбирает только противостояние релятивизма и объективизма, а не, к примеру, абсолютизма. Здесь он руководствовался принципом актуальности концепций и критерием их использования в «живых» дискуссиях. Абсолютистские дискуссии уже ушли в историю и не принадлежат современному дискурсу. То же самое случилось с субъективизмом – он больше не является «живой» формой философского диалога [Ibid.].

Объективность, понятая согласно приведенному выше определению, исключает любые указания на человеческую субъективность, историчность или социальность. Данная ситуация является неприемлемой для Бернштейна-прагматиста, поскольку она не только невозможна, но и искажает то, каким образом мы вообще приходим к пониманию объективного. Такое понимание объективного Бернштейн называет «химическим» и считает, что оно восходит к некоторым интерпретациям Декарта, которые он называет «картезианской тревогой» (Cartesian anxiety) [Ibid. Р. 16–19]. Картезианский подход, соответствующий эпохе модерна с его строгой научной объективностью, следует подвергнуть сомнению, разоблачению и освободиться от его соблазнительной привлекательности [Ibid. Р. 19]. «Только если мы неявно примем некоторую версию картезианства, исключительная дизъюнкция объективизма или релятивизма станет понятной. Но если мы подвергаем сомнению, разоблачаем и изгоняем картезианство, то само противопоставление объективизма и релятивизма теряет свою правдоподобность» [Ibid.]. За термином

«картезианская тревога» скрывается опасение, что в случае отказа от объективизма существует только одна реальная альтернатива – релятивизм, какой бы ярлык на нее не навешивали, будь то субъективизм или даже историзм, который для истористов означает максимальную объективацию истории, приближение к ситуации того, «как оно было на самом деле», тогда как для релятивистов выражает зависимость событий от исторической эпохи и конкретного этапа развития общества в его потоке истории [11. Р. 15, 91]. Эта точка зрения согласуется с тем, что утверждал другой представитель «нового» неопрагматизма, Дж. Марголис, для которого понимание эмпирического мира как потока и представление о том, что любые концептуальные различия человеческих обществ, культур и прочего историчны, являются базовыми установками его неопрагматистской программы [13].

«Картезианская тревога» порождает ложную антиномию между объективностью, чья достоверность базируется на принципах естественных наук и подкрепляется неопозитивистской методологией науки, и методологическим релятивизмом, суть которого можно выразить афоризмом П. Фейерабенда «все возможно». Философия науки Куна или Фейерабенда исходит из понятия несоизмеримости, где оно применяется к парадигмам или научным теориям, относящимся к разным дисциплинарным областям. Бернштейн отмечает, что «тезис несоизмеримости был, наверно, воспринят как атака на объективизм», но, однако, не на объективность [11. Р. 91].

Согласно современной версии объективизма, должна существовать общедисциплинарная нейтральная эпистемическая основа, которая позволила бы рационально оценивать конкурирующие теории и парадигмы, или набор правил, которые могут стать известны философу или эпистемологу, и на их основании можно достичь разумного согласия в отношении решения проблем в точках, где исходные установки научного поиска выглядят конфликтующими. Согласно релятивистской установке, сформулированной Бернштейном, «не существует более высокой инстанции, чем данная концептуальная схема (*conceptual scheme*), языковая игра, набор социальных практик или исторических эпох... не существует независимого всеобъемлющего концептуального каркаса (*framework*), в котором радикально различные и альтернативные схемы были бы соизмеримы» [Ibid. Р. 10–11].

Однако то, что понимается под тезисом несоизмеримости, пишет Бернштейн, цитируя известный афоризм К. Поппера, «не имеет никакого отношения к релятивизму или, по крайней мере, к той форме релятивизма, который утверждает, что не может быть рационального сравнения между множеством теорий, парадигм и языковых игр, – что мы узники, запертые в наших собственных концептуальных схемах, и не можем выбраться из них» [Ibid. Р. 92]. Несοизмеримость, как она понимается в методологическом релятивизме, – это разъяснение того, что именно мы делаем, когда все-таки сравниваем парадигмы, теории, языковые игры. Более того, мы можем сравнивать их несколькими способами, оценивать потери или выгоды от отказа или признания той или иной теории и даже можем наблюдать как некоторые наши стандарты конфликтуют друг с другом.

Соответственно, предлагая такую форму релятивизма, Бернштейн выводит весь дискурс за пределы объективизма и релятивизма, настаивая, что существуют разнообразные элементы, которые следует принимать в расчет в

любом исследовании: фаллибилистские, контекстуалистские, практические или нормативные измерения научного исследования, понимающиеся как практическое осуществление теоретических требований. Кроме того, хорошо видно, что основные маркеры «нового» прагматизма – антифундаментализм как одна из форм релятивизма и пути его реабилитации, плюрализм и коммуницирующее, практически реализующее себя и оценивающее последствия своих действий сообщество – формируются Бернштейном уже 80-е гг. XX в. в продуктивных дискуссиях с континентальной философией.

Литература

1. Райерсон Дж. Поиск неопределенности: прагматическое паломничество Ричарда Рорти // Целищев В.В. Философский переписчик : переводы и размышления. Новосибирск : Омега Пресс, 2014. С. 428–446.
2. Целищев В.В. Перед тем, как Рорти я прочел... // Целищев В.В. Философский переписчик: переводы и размышления. Новосибирск : Омега Пресс, 2014. С. 447–450.
3. Margolis J. Introduction: Pragmatism, Retrospective, and Prospective // A Companion to Pragmatism / ed. by J.R. Shook, J. Margolis. Malden, Oxford, Carlton : Blackwell Publishing, 2006. P. 1–10.
4. Вольф М.Н., Косарев А.В. Концепция прагматистского поворота Р. Бернштейна // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 40. С. 153–163.
5. *The Pragmatic Century*. Conversation with Richard J. Bernstein / ed. by Sh.G. Danavey, W.G. Frisina. Albany : State University of New York Press, 2006. 240 p.
6. Bernstein R. *The Pragmatic Turn*. Cambridge : Polity Press, 2010. 263 p.
7. Hogan B. Bernstein, Richard Jacob // *The Dictionary of Modern American Philosophers* : in 4 vols. / gen. ed. J.R. Shook. Bristol : Thoemmes Continuum, 2005. P. 217–223. Vol. 1. A–C.
8. Bernstein R. *John Dewey*. New York : Washington Square Press, 1966. 213 p.
9. Bernstein R. *Praxis and Action*. Contemporary philosophies of human activity. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1999. 344 p.
10. Bernstein R. *The Restructuring of Social and Political Theory*. New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1976 ; Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1978. xxiv, 286 p.
11. Bernstein R. *Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis*. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1983. 320 p.
12. Rorty R. *Relativism: Finding and Making* // *Debating the Stage of Philosophy: Habermas, Rorty and Kolakowski* / J. Niznik, J.T. Sanders, eds. London : Praeger, 1996. P. 31–47.
13. Косарев А.В., Вольф М.Н. Неопрагматизм Джозефа Марголиса // Идеи и идеалы. 2017. № 2 (32). Т. 2. С. 3–16.

Andrey V. Kosarev, Institute of Philosophy and Law Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.

E-mail: andrkw@rambler.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 118–126.

DOI: 10.17223/1998863X/55/13

THE SECOND PERIOD OF RICHARD BERNSTEIN'S WORK AS CRITICAL NEOPRAGMATISM

Keywords: neopragmatism; Richard Bernstein; objectivism; relativism; anti-foundationalism.

Modern American philosophy is unthinkable without pragmatic tendencies, and it is definitely determined by them. The new period of the flourishing of pragmatism in the second half of the 20th century associated with the name of Richard Rorty, who managed to find a solution on how to combine continental and analytic traditions of philosophy, which led to the revival of pragmatism. Richard Bernstein belongs to contemporary neopragmatism, whose representatives are Rorty's direct successors. The assessment of Bernstein's "new" neopragmatism allows understanding the mechanism of the evolution and development of conceptual schemas of two contradictory analytic and continental discourses. According to Bernstein, it makes no sense to diverse analytic or continental traditions in

philosophy and also to speak separately about pragmatism, since all three philosophical directions deal with general pragmatist themes that characterize the “pragmatist turn”. Bernstein devoted the initial period of his philosophical career to the study of classical pragmatism. In the second period of his work, Bernstein actualizes the issues of understanding the role and place of pragmatism in philosophy, which will have a significant impact on the subsequent development of the whole direction. During this period, Bernstein addresses the key concepts of pragmatist doctrines and discussions – objectivism and relativism, considered in terms of understanding rationality in matters of truth, rational practices and ethical preferences. In all the works of this period, Bernstein uses a critical approach, borrowed from the continental critical theory. Bernstein defines rationality through communication, which is fully consistent with both pragmatist attitudes and the principles of the rhetorical turn. He concludes that even with some “standards of rationality”, they are not universal and can change over time or in accordance with the requirements imposed by historical periods or cultures. Bernstein believes that a proper understanding of relativism occurs not only in opposition to objectivism, but also in distinguishing it from subjectivism. Bernstein shows that the concepts of relativism and objectivism are meaningful only from within the Cartesian tradition of modernism, and if the so-called Cartesian anxiety as a kind of fear of relativism is eliminated, it is possible to bring the entire philosophical discourse beyond the limits of objectivism and relativism. It is concluded that Bernstein’s views in the second period of his work and the main markers of neopragmatism (anti-foundationalism, pluralism and communicate community) are formed in a critical discussion with the ideas of leading philosophers of science, with continental philosophy, and finally with Rorty. On this basis, this period of his work is qualified as critical neopragmatism.

References

1. Ryerson, J. (2014) Poisk neopredelennosti: pragmaticheskoe palomnichestvo Richarda Rorti [The Quest for Uncertainty Richard Rorty's pragmatic pilgrimage]. In: Tselishchev, V.V. *Filosofskiy perezpischik: perevody i razmyshleniya* [Philosophical scribe: translations and reflections]. Novosibirsk: Omega Press. pp. 428–446.
2. Tselishchev, V.V. (2014) *Filosofskiy perezpischik: perevody i razmyshleniya* [Philosophical scribe: translations and reflections]. Novosibirsk: Omega Press. pp. 447–450.
3. Margolis, J. (2006) Introduction: Pragmatism, Retrospective, and Prospective. In: Shook, J.R. & Margolis, J. (eds) *A Companion to Pragmatism*. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing. pp. 1–10.
4. Volf, M.N. & Kosarev, A.V. (2017) Bernstein’s Concept of The Pragmatic turn. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 40. pp. 153–163. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/40/15
5. Danavey, Sh.G. & Frisina, W.G. (eds) (2006) *The Pragmatic Century. Conversation with Richard J. Bernstein*. Albany: State University of New York Press.
6. Bernstein, R. (2010) *The Pragmatic Turn*. Cambridge: Polity Press.
7. Hogan, B. (2005) Bernstein, Richard Jacob. In: Shook, J.R. (ed.) *The Dictionary of Modern American Philosophers*. Vol. 1. Bristol: Thoemmes Continuum. pp. 217–223.
8. Bernstein, R. (1966) *John Dewey*. New York: Washington Square Press.
9. Bernstein, R. (1999) *Praxis and Action. Contemporary philosophies of human activity*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
10. Bernstein, R. (1978) *The Restructuring of Social and Political Theory*. New York: Harcourt Brace Jovanovich; Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
11. Bernstein, R. (1983) *Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
12. Rorty, R. (1996) Relativism: Finding and Making. In: Niznik, J. & Sanders, J.T. (eds) *Debating the Stage of Philosophy: Habermas, Rorty and Kolakowski*. London: Praeger. pp. 31–47.
13. Kosarev, A.V. & Volf, M.N. (2017) Joseph Margolis’s Neo-Pragmatism. *Idey i idealny – Ideas and Ideals*. 2(32). pp. 3–16. (In Russian). DOI: 10.17212/2075-0862-2017-2.2-3-16

УДК 14

DOI: 10.17223/1998863X/55/14

О.И. Целищева

ГЕРМЕНЕВТИКА ГАДАМЕРА В НЕОПРАГМАТИЗМЕ РОРТИ: ФИЛОСОФИЯ КАК «РАЗГОВОР»¹

Статья посвящена соотношению аргументации и герменевтики как стилей философствования в неопрагматизме Р. Рорти, в работах которого герменевтика Г.-Г. Гадамера использовалась как противовес аналитической традиции. Показано, что заимствование Рорти концепции философии как «разговора» приводит к устранению аргументации в пользу риторики «нового неопрагматизма» Р. Бернштейна и Дж. Марголиса. Показано, что усилия Рорти направлены на то, чтобы понять, как гадамеровское описание философской мысли может быть интегрировано с альтернативными описаниями, используемыми аналитическими философами.

Ключевые слова: Рорти, герменевтика, Гадамер, аргументация, риторика, неопрагматизм.

Неопрагматизм Ричарда Рорти испытывал влияние многих источников, от классического прагматизма Джона Дьюи до постмодернистских «постфилософских» концепций. Несмотря на суровую критику аналитической философии, его стиль несет значительный отпечаток аргументативных методов последней. Продвижение им тематики континентальной философии в Америку сопровождалось заимствованием ее методов, в частности герменевтики как альтернативы сайентизму. Выдвижение на первый план концепции языка у Рорти, таким образом, является сочетанием противоречивых процессов: с одной стороны, знаменитая антология «Лингвистический поворот» [1] под редакцией Рорти, с другой стороны, концепция философии как «разговора человечества». Хотя и разделенные временем, эти две тенденции продолжали конфликтовать в творчестве Рорти, и одним из проявлений этого конфликта является неявное противостояние в неопрагматизме методов аргументации и герменевтики. Несмотря на то, что выдвижение герменевтики на первый план было сделано Рорти уже в его главной книге «Философия и зеркало природы» [2], представляет интерес его представление о месте герменевтики, особенно в стиле Гадамера, в конфликте сайентистского прагматизма и постмодернизма континентальной философии.

В основе статьи лежит анализ рецензии Р. Рорти на книгу Г.-Г. Гадамера «Разум в век современной науки» [3]. Рецензия под названием «Being that can be understood is language – Richard Rorty on H.-G. Gadamer» помещена в London Review of Books, Vol. 22, No. 6, 16 March 2000, p. 23–25, и доступна только онлайн (URL: <https://www.lrb.co.uk/the-paper/v22/n06/richard-rorty/being-that-can-be-understood-is-language>). По этой причине все цитаты Рорти в тексте статьи не имеют точных ссылок, но читатель может легко найти их в исходном тексте. Следует заметить, что труднодоступные рецензии Рорти в различных изданиях, к сожалению, не вошедшие в собрания сочинений Рор-

¹ Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 19-011-00437).

ти, являются ценнейшим источником представлений о его философской эволюции.

Ведущая тема в неопрагматизме Ричарда Рорти – философия как «разговор человечества» – в значительной степени обязана влиянию крупнейшего герменевта того времени Ганса-Георга Гадамера. Однако не стоит, во-первых, полностью лишать своеобразия герменевтических упражнений самого Ричарда Рорти, а во-вторых, полагать влияние Гадамера на Рорти благотворным во всех отношениях. Близкий друг молодости Дика Рорти по Принстону, известный специалист по философии политики и прикладной этики Раймон Гойс рассказывает следующую историю: «Дик случайно упомянул, что он только что закончил читать книгу „Истина и метод“ Гадамера. Мое сердце екнуло от того, как он произнес эту новость... потому что все указывало на то, что впечатлен этой книгой. У меня было предчувствие, которое также оказалось верным, что я не смогу убедить его в том, что не стоит восхищаться работой человека, которого я знал довольно хорошо как своего бывшего коллегу в Гейдельберге и которого я считал реакционным, раздутым болтуном. Целые годы я пытался дать понять Дику, кто такой Гадамер, прибегнув даже к удару ниже пояса, упомянув выступление Гадамера в немецком посольстве в оккупированном Париже в 1942 г., в котором Гадамер обсуждал положительную роль, которую Гердер мог бы сыграть в уничтожении остатков таких коррумпированных и дегенеративных явлений, как индивидуализм, либерализм и демократия, в Новой Европе, возникшей при национал-социализме. Все это никак не повлияло на Дика. Его ответ на эту историю состоял в том, что Гадамер, вероятно, хотел съездить в Париж „на халяву“... и в сложившихся обстоятельствах приглашение в германское посольство было единственным способом сделать это. На все другие мои аргументы... я наткнулся на знакомое пожатие плеч Рорти, которое могло выглядеть так, как будто Дик выключил свой приемный аппарат» [4. Р. 86].

Как известно, Гадамер привлек внимание Рорти представлением философии как «разговора». Известно также, что истоки этой идеи следует искать в германской поэзии Гельдердина, которая в немалой степени оказалась инспирацией для творчества М. Хайдеггера. Немецкий поэт Фридрих Гельдерлин сочинил гимн под названием *Friedensfeier*, построчный перевод отрывка из которого звучит и загадочно, и пророчески:

Человек научился многому.

Он дал имя божественным бытиям,

И с тех пор мы стали разговором

И смогли слышать друг друга [Ibid. Р. 87].

Метафора человеческого существа как разговора увлекла Гадамера, сделав концепцию языка в существенной степени основой его герменевтики. Хайдеггер пошел дальше Гадамера, признав высшей степенью «разговора» диалог. В центре внимания обоих оказался проект именованного того, что представлено нам в языке. Для Хайдеггера – это Бытие, а для Гадамера – боги. Ясно, что при реализации такого проекта «степени свободы разговора» довольно широки.

Заимствование Рорти концепции разговора приводит к столкновению двух языковых проявлений – аргументации и риторики. Часто трудно противопоставлять жестко две эти вещи, но для так называемого «нового неопраг-

матизма» Бернштейна [5] и Марголиса [6] как наследников неопрагматизма Рорти такое противопоставление является важным. Рорти, в сочинениях которого о важности герменевтики парадоксальным образом используется аргументативная техника [2], безусловно, ответствен и за усиление риторической составляющей неопрагматизма.

Цель данной статьи заключается в демонстрации нескольких примеров трансформации аргументации в риторику с целью ослабления важности первой. Следует заметить, что после написания книг Рорти предпочел эссеистику, лучшие образцы которой представлены в пяти томах его избранных работ. Но множество интересных заметок и важных наблюдений Рорти разбросано по разным местам. В этом отношении очень интересными представляются рецензии Рорти на книги и статьи различных философов, где его остроумие сочетается с пронизательным анализом, несмотря на весьма ограниченный объем рецензий. Так, непосредственным поводом анализа стратегии введения в действие неопрагматистской риторики явилось малоизвестное обозрение Ричардом Рорти идей Г.-Г. Гадамера под общим названием *Being that can be understood is language* (Быть значит быть понятым в языке) [7. Р. 23–25]. Написанное незадолго до преждевременной смерти философа в 2007 г., это обозрение несет на себе печать пессимизма, главной особенностью которого является отчетливая стратегия трансформации философских аргументов, к которым Рорти имел вкус, в довольно простые риторические приемы, отмеченные рядом упрощений неопрагматизма.

При сопоставлении риторики и аргументации Рорти часто стоит перед сложным выбором. Дело в том, что герменевты торжественно объявляют, что наука не в силах трактовать все те вопросы, которые традиционно относятся к философии. Однако дело в том, что есть очень серьезные мыслители, которых Рорти считает своими союзниками в прагматизме, такие как У. Куайн, Х. Патнэм, Д. Дэвидсон и М. Даммит, главным делом которых является как раз аргументация, а Куайн вообще не замечает границы между философией и наукой. Будучи привлечен самой идеей герменевтики в духе Гадамера, Рорти вынужден сопоставлять герменевтику с ее откровенно религиозным уклоном с сайентистскими взглядами таких аналитических философов, как Фреге и Рассел.

В своей рецензии Рорти делает очень важный и вполне обоснованный ход, говоря, что нынешние аналитические философы типа С. Крипке и Т. Куна уже не чета отцам-основателям аналитической философии типа Б. Рассела или А. Айера, сочинениям которых свойствен откровенный сайентизм, который с жесткой научного толка аргументацией стал старомодным. Рубеж, с точки зрения Рорти, ассоциируется со временем, когда аналитические философы начали читать такие книги, как *Структура научных революций* Куна и *Философские исследования* Витгенштейна. Под влиянием этих мыслителей риторика начинает замещать аргументацию. Это заметно как в общем контексте, так и в специальных философских дискуссиях.

В качестве примера последней можно привести историю с введением очень известной концепции твердых десигнаторов виднейшим аналитическим философом С. Крипке. Эта концепция имеет четкое значение в кванторной модальной логике. Крипке применил концепцию твердых десигнаторов для возрождения метафизики определенного рода (говоря о сущностях), и многие ожидали, что подтверждением такого использования будет ряд тон-

ких технических деталей. Однако к разочарованию публики Крипке объявил свое возрождение метафизики результатом своей интуиции. Отдавая должное интуиции виднейшего логика, реакция сообщества не стала однозначной и была даже встречена некоторыми философами с негодованием. Я. Хинтикка выразил неприятие замены аргументации интуицией весьма темпераментно в статье под названием «Кто там готов убить аналитическую философию?» [8. Р. 253–269], потому что провозглашение интуиции философа частью предполагаемой аргументации означает шаг от настоящей аргументации к тому, что можно назвать риторикой.

Но такие шаги были предприняты в более общем дискурсе, начиная с того же Т. Куна, который самую аргументативную дисциплину – физику – превратил, по общему мнению, в иррациональное предприятие [9]. Вторжение историцистских и социологических реалий в историю науки со стороны таких людей, как Б. Латур [10], Я. Хакинг [11], а также неявная поддержка сходных идей со стороны Д. Дэвидсона [12. С. 144–159] и Х. Патнэма [13], размыла в значительной степени границу между собственно научными и гуманитарными дисциплинами.

Такую ситуацию с разграничением гуманитарных и естественнонаучных дисциплин разделяют отнюдь не все. Некоторые логики переносят свои логические конструкции на «алегическую» почву, приписывая реальность возможным мирам, как это делает Д. Льюис [14], или отдавая предпочтение своей метафизической «интуиции» в понимании механизма действия языка, как этой делает С. Крипке [15], предполагая при этом, что их конструкции имеют большую близость с реальностью, чем гуманитарные «фантазии». Пожалуй, наиболее интересной и спорной стороной их позиции является отождествление своей работы с антиметафизической борьбой, аналогичной борьбе Рассела с Бергсоном [16. Гл. 28] или Карнапа с Хайдеггером [17]. Более того, они полагают, что поздний Витгенштейн существенно добавил иррационализма, настаивая на устранении традиционных различий между необходимостью и контингентностью, между сущностью и случайностью и т.д. В этом же духе они полагают, что идеи Куна существенно смещают точные науки с вершины эпистемологической иерархии знания.

Столкновения историцистов (или постпозитивистов) с традиционным подходом к истории науки являются предметом многих работ. В данном контексте нам важно указать, что Р. Рорти и его последователи использовали эту полемику в своих целях. И действительно, если «герменевтика» *Зеркала* Рорти была относительно умеренной, в обсуждаемой рецензии Рорти усиливает ее за счет того, что аргументирует в пользу более «жесткой» версии Гадамера, а именно его знаменитого лозунга: «Бытие может быть понято в языке» (*Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache*⁷). Такое обострение постановки вопроса лишает дискуссию нюансов и переводит ее в плоскость обвинения Гадамера в том, что он «изобрел лингвистическую разновидность идеализма».

В такого рода обсуждениях важны детали. В данном случае речь у Гадамера идет о противопоставлении описания природы, как это делается в науке с целью получить объективную картину реальности, и понимания языка, на котором это делается. С точки зрения герменевтики Гадамера понимание не может превзойти описания. При этом нужно учесть, что «единственного правильного описания природы» быть не может, и никакие «прозрения» ученых

не могут претендовать на привилегированное описание. Другими словами, возвращаясь к упрощенной постановке, различие между идеализмом и реализмом состоит в том, что описания окружают предполагаемый «объект» таким образом, что предполагаемое различие между «нами» и «объектом» – это просто пережиток метафизики. В определенном смысле понимание может быть множественным и произвольным, в то время как описание претендует на точность. Аналогия с ситуацией противопоставления аргументации и риторики здесь напрашивается сама собой.

Описание в науке преследует цель получения все более точного и объективного представления о реальности. Мы изобретаем все новые понятия в такого рода описаниях (например, «кварк»), но для Гадамера с его лингвистическим идеализмом «понимание» выше «объяснения», а для прагматиста «понимание» есть способ «описания нашей способности связывать старые описания с новыми». То есть в любом исследовании мы не можем вырваться за пределы языка.

Как и в большинстве случаев с континентальными философами, их дискурс, посвященный естественным наукам, неясен и неинформативен. Явно, что Гадамер не готов давать адекватного объяснения роста научного знания. В этом отношении Рорти гораздо более компетентен и тем не менее, по каким-то не очень ясным причинам, тонкость аргументации в связи с его пониманием Куна внезапно уступает простоте «лингвистического идеализма» Гадамера. Используя понятие горизонта Гадамера, Рорти объясняет прогресс науки формулированием новых описаний физической Вселенной, а затем слиянием горизонтов этих новых дискурсов с горизонтами здравого смысла и старыми научными теориями. В этом отношении характерен пассаж из рецензии Рорти: «То, что метафизики называют приближением к истинной природе объекта, номиналисты называют изобретением дискурса, в котором новые предикаты приписываются вещи, ранее идентифицированной старыми предикатами, а затем делают эти новые атрибуции согласованными с более старыми способами, которые спасают явления» [18].

При неясности понятия «горизонта» Гадамера этот пассаж переходит из разряда аргументации в разряд риторики. Это один из точных моментов становления риторики как главного герменевтического инструмента неопрагматизма. Само по себе заимствование новых терминов не является чем-то удивительным, и больше того, оно ничего не решает в отдельности. Но Рорти взывает к братьям по прагматизму, в частности, обращаясь к концепции историцизма своего ученика гегельянского толка Р. Брэндома, согласно которому понять природу объекта – значит суметь пересмотреть историю понятия этого объекта. Поскольку эта история есть история использования различных слов, применяемых для описания объекта, вряд в этой запутанной лингвистической сети можно вообще обнаружить сам объект. При такой сложности возникает тот самый вопрос: а не является ли предположение о наличии самого объекта остатком устаревшей метафизики? Крайнее отрицание такой метафизики состоит в отказе от понятия «внутренней природы объекта» и замене ее «согласованностью убеждений». Радикализм подобных решений в истории философии не является новостью, но новизна «лингвистического идеализма» Гадамера состоит в том, чтобы ликвидировать вообще подобное противостояние, отбросив как тезис, так и антитезис. Именно в радикализме подобного рода Рорти усматривает интерес и новизну риторики. Риторика

тем и хороша, что использование интересных метафор «схватывает воображение», что является для Рорти одним из наиболее важных привлекательных черт философского дискурса. Так, очевидно, потворствуя в известной степени феминистской трактовке роста знания, Рорти использует внешние для философов науки метафоры, относящиеся к методам естественных наук: «...от греков до наших дней этот процесс обычно описывался с помощью фаллогенетических метафор глубины. Чем глубже и глубже проникает наше понимание чего-либо, тем дальше мы от внешнего вида и тем ближе к реальности. Эффект принятия лозунга Гадамера состоит в замене этих метафор глубины метафорами широты: чем больше доступных описаний и чем больше интеграции между этими описаниями, тем лучше наше понимание объекта, идентифицируемого любым из этих описаний» [18].

Другой пример превращения аргументации в риторику можно видеть у прагматистов при трактовке понятия «приближение к реальности», которое одинаково употребляется прагматистами в науках гуманитарных и науках точных. Фактически мы имеем дело здесь с лингвистическим трюком, осуществляемым в два приема Рорти и Гадамером последовательно.

По словам Рорти, «...в естественных науках очевидным примером такого лучшего понимания является интеграция макроскопического с микроскопическим словарем. Но различие между этими двумя наборами описаний имеет не большее онтологическое или эпистемологическое значение, чем различие между описанием согласованностью убеждений в терминах ортодоксальной католической теологии и описанием в терминах сравнительной антропологии. Ни в том, ни в другом случае нет ни большей глубины, ни более близкого приближения к реальности» [Ibid.].

Но если при этом Рорти допускает, что «...мы лучше понимаем материю после того, как корпускулы Гоббса дополняются атомами Дальтона, а затем атомами Бора, а также лучше понимаем мессу после Фрейзера и еще лучше после Фрейда» [Ibid.]. Но, согласно Гадамеру, даже сейчас у «...нас все равно нет искушения сказать, что теперь мы понимаем, что такое материя или масса на самом деле. И все по той причине, что мы не должны принимать во внимание различие масштабов объясняемого» [Ibid.].

Для понимания того, что происходит, нужно, как говорят, внимательно «следить за руками». Сравнение масштабов макромира и микромира трансформируется у Гадамера в сравнение явления и реальности, старой философской (скомпрометированной) проблемы. Аргументация в рамках традиционной проблемы явления и действительности подменяется риторикой о сравнении масштабов. *Это типичный пример подмены аргументации риторикой.* Дабы подмена была не столь нарочитой, мнимая важность различения явления и действительности для случаев гуманитарного и естественного знания доводится до абсурда. Вот типичный образец такой подмены: «Различие между видимостью и реальностью не более уместно для описания успехов, достигнутых между Пристли и Бором, чем успехи, достигнутые в нашем понимании „Илиады“. Мы гордимся тем, что сумели соединить собственные описания Гомером его стихов с описаниями Платона, Вергилия, Папы Римского, филологов XIX в. и ученых-феминисток XX в. Но мы не говорим и не должны говорить, что проникли за завесу видимостей, которая изначально отделяла нас от внутренней природы поэмы» [Ibid.].

Такое, по сути, тривиальное устранение традиционной философской аргументации принимает для убедительности несколько другой вид, а именно, проблемы соотношения человеческого и созданных им артефактов, или симулякров. В этом смысле Рорти спокойно уподобляет споры ученых и теологов спорам об интересных философских различиях между языком и нечеловеческими сущностями. Но только теперь проблема формулируется как противостояние языкового и неязыкового. Это другой пример трансформации аргументации в риторику, потому понимание неязыкового и языкового отнюдь не тождественно соотношению явления и действительности. Эта риторика полезна для прагматистов и по той причине, что сюда можно привлечь массу ассоциаций, например споры «физиков» и «лириков», ученых и теологов, сторонников и противников искусственного интеллекта, вплоть до возражений М. Хайдеггера против технологии. Такова природа риторики, которая гораздо шире аргументации.

Фактически главный прием замены аргументации риторикой в случае Рорти с помощью приемов Гадамера сводится к введению нового глоссария вместо старых философских различий, ограничивая теперь этот глоссарий «игрой в бисер» в духе Г. Гессе. Довольно интересно, что сам Рорти вполне признает, что Гадамера часто обвиняли в изобретении лингвистической разновидности идеализма. Однако такое суждение, по Рорти, равносильно тому, чтобы выплеснуть купающегося ребенка из ванночки с грязной водой. Потому что сам по себе вопрос о важности «лингвистического поворота», на который в конечном счете опирается и Гадамер, имеет и другие важные измерения. Воскрешение «метафизики» в духе Крипке с его алетическими модальностями есть шаг назад по сравнению с тем, что достигли уже старые аналитические философы. Рорти считает, что «наша способность отмахнуться от этого вопроса возросла, когда мы приняли то, что Густав Бергман назвал „лингвистическим поворотом“ – поворотом, который более или менее одновременно сделали Фреге и Пирс. Ибо этот поворот в конечном счете сделал возможным для логических позитивистов, таких как Айер, демегафизировать теорию когерентности истины. Они призывали нас перестать говорить о том, как преодолеть пропасть, отделяющую субъекта от объекта, и говорить вместо этого о том, как обосновываются утверждения предложений. Позитивисты видели, что, заменив „опыт“, „идеи“ или „сознание“ языком, мы уже не можем реконструировать утверждение Локка о том, что идеи первичных качеств имеют какое-то более близкое отношение к реальности, чем идеи вторичных качеств. Но именно это воскрешает восстание Крипке против Витгенштейна. При этом крипкеанцы провозглашали, что лингвистический поворот был плохой, идеалистической идеей» [18].

С точки зрения Рорти, спор внутри аналитической школы между сторонниками «интуиции» (С. Крипке) и аргументации (Я. Хинтикка) упирается в спор о том, какова доля истины в идеализме. С более технической точки зрения, гораздо более близкой к сути дела, речь идет о правомерности использования алетической или эпистемической интерпретации кванторной модальной логики. Этот важный спор о природе знания *de dicto* или *de re* действительно интересен, но он требует серьезнейшей аргументации, и тут Рорти вместе с Гадамером совершает новый трюк, обращая аргументацию в риторику. Потому что эта ссора может рассматриваться, с точки зрения Хайдеггера, как

идея о достижении с помощью мышления подлинного мастерства в овладении сутью Вселенной. Рорти утверждает, что «по мнению Хайдеггера, фаллоцентрические метафоры глубины и проникновения метафизиков являются выражением воли к овладению внутренней цитаделью Вселенной. Идея отождествления с объектом познания, равно как и идея представления его таким, каков он есть на самом деле, выражает желание овладеть силой этого объекта» [18].

В этом повороте разговора нельзя не увидеть резкого поворота от философской аргументации к еще более широкой риторике: идее контроля. С точки зрения Рорти, эту функцию, принадлежавшую ранее религии, теперь примерило на себя естествознание. Проблема состоит в том, дает ли лучшее (более полное) описание явления большее проникновение в сущность явления, на чем настаивают сторонники Крипке, или же дело состоит в лучшем переописании уже существующих обстоятельств, на которых настаивает Гадамер. «Преимуществом» герменевтики является то, что нет никаких ограничений на количество отношений, которые язык может захватить, контекстов, которые могут создать описательные словари. В то время как метафизик (или ученый) спросит, действительно ли существуют отношения, выраженные в новом словаре, герменевт спросит только, могут ли они быть совмещены с отношениями, схваченными предыдущими словарями, полезным образом. И этот момент, можно сказать, кульминационный в объяснении связи прагматизма и герменевтики, потому что возникает вопрос: полезный по какому критерию? И основным критерием тут оказывается практически абсолютная свобода от какой-либо «специализации» дискурса. Действительно, «те, кто следует Гадамеру, как и те, кто следует Хабермасу, отбросят этот проект ранжирования [дискурсов]. Они заменят его идеей того, что Хабермас называет „свободным от господства“ (*herrschaftsfrei*) разговором, который никогда не может закончиться и в котором барьеры между академическими дисциплинами столь же проницаемы, как и барьеры между историческими эпохами» [Ibid.].

Любопытно, что проницаемость барьеров подобного рода относится Рорти и к «альтернативным описаниям», которые свойственны аналитической философии, и эти описания могут быть интегрированы с совершенно другими описаниями (что, впрочем, постоянно и делает сам Рорти). В результате такой замены аргументации научного мы получаем два важнейших заключения, одно из которых носит характер предсказания о будущем философии, а другое – о завершении проекта всей западной метафизики. Эти два предсказания свидетельствуют о важности и целях замены аргументации риторикой в духе неопрагматизма.

Итак, коль скоро нет никаких барьеров, которые бы отделяли аргументацию от метафор и риторики, тогда, пишет Рорти: «Я подозреваю и надеюсь, однако, что по прошествии еще одного столетия различие, которое я только что использовал – различие между аналитической и неаналитической философией – поразит интеллектуальных историков как неважных философов в 2100 г., я подозреваю, что они будут читать Гадамера и Патнэма, Куна и Хайдеггера, Дэвидсона и Дерриду, Хабермаса и Ваттимо и Брандома бок о бок. Если они это сделают, то лишь потому, что они, наконец, отказались от сциентистской, разрешающей проблемы модели философской деятельности,

которой Кант обременял нашу дисциплину. Они заменят их разговорной моделью, в которой философский успех измеряется скорее сросшимися горизонтами, чем решенными проблемами или даже растворенными проблемами. В этой философской утопии историк философии не будет выбирать свой описательный словарь с целью отличить реальные и постоянные проблемы философии от преходящих псевдопроблем. Скорее, он выберет словарь, который позволит ему описать как можно больше прошлых фигур, принимая участие в одном связном разговоре» [18].

При таком обороте дела нет подлинных концептуальных конфликтов, и если и возникает соперничество, то, согласно Гадамеру, оно не воспринималось бы как спор о природе реальности и о том, кто ближе к ее пониманию. Это была бы борьба за то, чтобы захватить воображение читателя, чтобы заставить других людей использовать свой словарный запас. Рорти считает, что это и будет «...завершающим моментом разговора (*Vollzugsform des Gesprächs*), в котором выражается нечто (*eine Sache zum Ausdruck kommt*), что не является ни моей собственностью, ни собственностью автора текста, который я интерпретирую, но является общим. Заменить различие между видимостью и реальностью различием между ограниченным и более широким диапазоном описаний означало бы отказаться от идеи обсуждаемого нами текста или вещи (*Sache*) как чего-то отделенного от нас бездной, отделяющей язык от неязыка. На смену ему придет гадамеровское представление о *Sache* как о чем-то вечно готовом к захвату, вечно подлежащем переосмыслению и описанию в ходе бесконечного разговора. Эта замена означала бы конец поисков власти и завершенности, которые Хайдеггер называл „историей метафизики“» [Ibid.].

Фактически это и есть тот самый «конец философии», о котором так много заговорили с приходом постмодернизма. Так что проект замены аргументации риторикой в этом отношении представляется чуть ли не ключевым. И хотя видение этого процесса Ричардом Рорти представляется радикальным (и удивительным даже для его радикализма), оно полностью совпадает с процессом, который продолжили «новые неопрагматисты». Потому что сутью всех этих процессов является обращение к новым целям. Эти цели отнюдь не детерминируются поисками истины и объективности, свойственными традиционной метафизике.

Подтверждая эту мысль, Рорти пишет: «В этой традиционной метафизике господствовала мысль о том, что есть нечто нечеловеческое, чему люди должны стараться соответствовать, – мысль, которая сегодня находит свое наиболее правдоподобное выражение в научной концепции культуры. В будущей гадамеровской культуре люди хотели бы жить только друг с другом, в том смысле, в каком Галилей жил с Аристотелем, Блейк с Мильтоном, Дальтон с Лукрецием и Ницше с Сократом. Отношения между предшественником и преемником будут пониматься, как подчеркивал Джанни Ваттимо, не как обремененное властью отношение „преодоления“ (*Überwindung*), а как более мягкое отношение обращения к новым „целям“ (*Verwindung*). В такой культуре Гадамер будет рассматриваться как одна из фигур, которая помогла придать новый, более буквальный смысл линии Гельдерлина („Seit wir ein Gespräch sind“) (Мы стали разговором и смогли слышать друг друга)» [Ibid.].

Быть может, самым важным обстоятельством для понимания процессов, происходящих на нынешнем этапе в неопрагматизме (замена аргументации риторикой), выступает то, что мысли Рорти не являются, по его собственному признанию, объяснением подлинной сущности идей Гадамера. Скорее, они являются, по его же ироническому замечанию, «проповедью» под лозунгом: «Существовать – значит быть понятым в языке» (*Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache*). И, опять же, стоит напомнить торжествующим герменевтам и прагматистам, готовым сменить аргументацию на риторику, что Рорти, вновь по его собственному признанию, делает это для того, чтобы поразмыслить, как гадамеровское описание недавней философской мысли может быть интегрировано с альтернативными описаниями, используемыми аналитическими философами.

Литература

1. *The Linguistic Turn* / ed. R. Rorty. Chicago : University of Chicago Press, 1967.
2. *Рорти Р.* Философия и зеркало природы / пер. с англ. В.В. Целищев. Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 1997.
3. *Gadamer H.-G.* Reason in the Age of Modern Science. Cambridge : The MIT Press, 1986.
4. *Geuss R.* Richard Rorty at Princeton: Personal Recollections // *Arion*. 2008. Vol. 15 (3), winter.
5. *Bernstein R.* The Pragmatic Turn. New York : Polity, 2010.
6. *Margolis J.* Pragmatism without Foundations: Reconciling Realism and Relativism. New York : Continuum, 2007.
7. *Rorty R.* Being that can be understood is language // *London Review of Books*. 2000. Vol. 22, № 6.
8. *Hintikka J.* Who is about to Kill Analytic Philosophy // *The Story of Analytic Philosophy* / ed. A. Biletzki, A. Matar. London : Routledge, 1998.
9. *Кун Т.* Структура научных революций. М. : АСТ, 2003.
10. *Латур Б.* Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри сообщества. СПб. : Изд-во Европейского ун-та, 2013.
11. *Hacking I.* Historical Ontology. Cambridge : Harvard University Press, 2004.
12. *Дэвидсон Д.* Об идее концептуальной схемы // Грязнов А.Ф. Аналитическая философия : избранные тексты. М. : Изд-во МГУ, 1993.
13. *Патнэм Х.* Разум, истина и история. М. : Праксис, 2002.
14. *Lewis D.* Counterfactuals. Cambridge : Harvard University Press, 1973.
15. *Kripke S.* Naming and Necessity. Cambridge : Harvard University Press, 1970.
16. *Рассел Б.* История западной философии / подгот. текста В.В. Целищев. Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2003.
17. *Moran D.* Analytic philosophy and continental philosophy: four confrontations // *The History of Continental Philosophy*. Durham : Acumen Publishing Limited, 2010.
18. *Firth M.* Being that can be understood is language Richard Rorty on H.-G. Gadamer // *London review on books*. Vol. 22, № 6, 16 March 2000. URL: <https://www.lrb.co.uk/the-paper/v22/n06/richard-rorty/being-that-can-be-understood-is-language> (accessed: 18.02.2020).

Oksana I. Tselishcheva, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: oxanatse@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 127–137.

DOI: 10.17223/1998863X/55/14

GADAMER'S HERMENEUTICS IN RORTY'S NEOPRAGMATISM: PHILOSOPHY AS "CONVERSATION"

Keywords: Rorty; hermeneutics; Gadamer; argumentation; rhetoric; neopragmatism.

Richard Rorty's neopragmatism was influenced by many sources, from John Dewey's classical pragmatism to postmodern "postphilosophical" concepts. Despite the harsh criticism of analytic philosophy, his style bears a significant imprint of the latter's argumentative methods. His promotion of

the subject of continental philosophy in America was accompanied by the adoption of its methods, in particular, hermeneutics as an alternative to scientism. Bringing Rorty's concept of language to the fore is thus a combination of contradictory processes: on the one hand, the revision of the famous *Linguistic Turn* and, on the other hand, the concept of philosophy as "the conversation of mankind". Although separated by time, these two tendencies nevertheless continued to conflict in Rorty's works, and one of the manifestations of this conflict is the implicit opposition of the methods of argumentation and hermeneutics in non-pragmatism. The article analyzes Rorty's idea of the place of hermeneutics, especially in the Gadamer style, in the conflict of scientist pragmatism and continental philosophy's postmodernism. Rorty's borrowing of the concept of conversation leads to a collision of two linguistic manifestations—argumentation and rhetoric. The tendency of preference for rhetoric in this situation is one of the important doctrines of the so-called "new neopragmatism" of Richard Bernstein and Joseph Margolis. Rorty's position is controversial: in his writings, the argumentative technique of the scientist type is gradually replaced by a hermeneutic interpretation. The aim of this article is to demonstrate several examples of the transformation of argumentation into rhetoric as a philosophical method. According to Gadamer's hermeneutics, understanding cannot surpass description, and, besides, there can be no single correct description of nature. Based on this, Rorty concludes that no "insights" of scientists can claim a privileged description if it is based on argument. This is a justification for the fact that rhetoric should be the main tool in the methodology of new neopragmatism. It is shown that Rorty's efforts are aimed at understanding how Gadamer's description of philosophical thought can be integrated with alternative descriptions used by analytic philosophers.

References

1. Rorty, R. (ed.) (1967) *The Linguistic Turn*. Chicago: University of Chicago Press.
2. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and the Mirror of Nature]. Translated from English by V. Tselishchev. Novosibirsk: Sibirskoe universitetskoe izdatelstvo.
3. Gadamer, H.-G. (1986) *Reason in the Age of Modern Science*. Cambridge: The MIT Press.
4. Geuss, R. (2008) Richard Rorty at Princeton: Personal Recollections. *Arion*. 15.3
5. Bernstein, R. (2010) *The Pragmatic Turn*. New York: Polity.
6. Margolis, J. (2007) *Pragmatism without Foundations: Reconciling Realism and Relativism*. New York: Continuum.
7. Rorty, R. (2000) Being that can be understood is language. *London Review of Books*. 22(6).
8. Hintikka, J. (1998) Who is about to Kill Analytic Philosophy. In: Biletzki, A. & Matar, A. (eds) *The Story of Analytic Philosophy*. London: Routledge.
9. Kuhn, T. (2003) *Struktura nauchnykh revolyutsiy* [The Structure of Scientific Revolutions]. Translated from English by I.Z. Naletov. Moscow: AST.
10. Latour, B. (2013) *Nauka v deystvii: sleduya za uchenymi i inzhenerami vntri soobshchestva* [Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society]. Translated from French. St. Petersburg: European University.
11. Hacking, I. (2004) *Historical Ontology*. Cambridge: Harvard University Press.
12. Davidson, D. (1993) Ob idee kontseptual'noy skhemy [On the Idea of a Conceptual Scheme]. In: Gryaznov, A.F. *Analiticheskaya filosofiya: izbrannye teksty* [Analytical Philosophy. Selected Texts]. Moscow: Moscow State University.
13. Putnam, H. (2002) *Razum, istina i istoriya* [Reason, Truth, and History]. Translated from English. Moscow: Praxis, 2002.
14. Lewis, D. (1973) *Counterfactuals*. Cambridge: Harvard University Press.
15. Kripke, S. (1970) *Naming and Necessity*. Cambridge: Harvard University Press.
16. Russel, B. (2003) *Istoriya zapadnoy filosofii* [History of Western Philosophy]. Translated from English by V. Tselishchev. Novosibirsk: Sibirskoe universitetskoe izdatelstvo.
17. Moran, D. (2010) Analytic philosophy and continental philosophy: four confrontations. In: Schrif, A.D. (ed.) *The History of Continental Philosophy*. Durham: Acumen Publishing Limited.
18. Firth, M. (2000) Being that can be understood is language Richard Rorty on H.-G. Gadamer. *London Review on Books*. 22(6). [Online] Available from: <https://www.lrb.co.uk/the-paper/v22/n06/richard-rorty/being-that-can-be-understood-is-language> (Accessed: 18th February 2020).

УДК 130.2

DOI: 10.17223/1998863X/55/15

Е.В. Шахматова

«ИНДИЯ-РУСЬ» Н. КЛЮЕВА КАК СИМВОЛ ВСЕЕДИНСТВА МИРА

Рассматриваются религиозно-философские взгляды Н. Клюева о единстве человечества, символом которого является «Индия-Русь». Миф об арктическом происхождении человечества базируется на его опыте хлыстовского мистицизма. Идеальная модель мира поэта близка философии основоположника русского космизма Н. Федорова. Принцип всеединства мира, заявленный русской философией и литературой рубежа XIX–XX вв., актуален и в наше время.

Ключевые слова: всеединство, русский космизм, мифотворчество, арктическая гипотеза.

Николай Клюев, выходец из старообрядческой среды русского Севера, принес в поэзию глубокое понимание фольклорной традиции. Север, не подвергшийся татаро-монгольскому нашествию, сохранил образцы древнерусского деревянного зодчества, прикладного искусства, обряды, обычаи, старинные сказания, былины, язык. Север стал убежищем раскольников, бежавших от церковных реформ XVII в. Старообрядческая среда сберегла многие сюжеты, восходящие к древнейшим мифам и архетипам национальной культуры. Это в первую очередь относится к такому артефакту, как «Голубиная книга», которая содержала в себе глубинные знания об устройстве Вселенной. Исследователи соотносят ее название именно с глубиной содержащейся в ней информации о внебиблейском происхождении мира. Историк М.Л. Серяков убедительно доказывает, что языческий текст «Голубиной книги» сформировался «до времени окончательного сложения „Ригведы“ в качестве священного текста, т.е. до 6000–500 гг. до н.э.» [1. С. 397], когда предки русского народа входили в единую индоевропейскую общность. Индия становится одной из главных тем в литературе Серебряного века. Достаточно перечислить имена И. Анненского, Дм. Мережковского, Ф. Сологуба, В. Брюсова, К. Бальмонта, Вяч. Иванова, С. Городецкого, Н. Гумилёва, Вел. Хлебникова, О. Мандельштама.

Особый интерес к фольклору, к дохристианским, глубинным слоям некогда единой индоиранской общности был обусловлен поисками национальной идентичности. Индия воспринималась как прародина индоевропейской, в том числе русской, культуры. Эпоху Серебряного века в России называют периодом «исторически последнего Возрождения» [2. С. 150]. Русская культура рубежа XIX–XX вв. по аналогии с Ренессансом свою античность нашла в Индии, одновременно воскрешая миф о легендарной Гиперборее. На пересечении этих двух дискурсов, индийского и гиперборейского, возрос этнографический интерес к северным губерниям империи, не давшим исчезнуть традициям старины. И в том и в другом случае не обошлось без влияния Ф. Ницше. Если об арийских корнях европейской культуры возвестил его

Заратустра, то «Антихрист» повествовал о гиперборейях, обитавших некогда «...по ту сторону Севера, льда, смерти...» [3. С. 631]. Но и отечественная философская мысль имела, что сказать по этому поводу: Вл. Соловьёв в 20-летнем возрасте, увлекшись индийской философией, проштудировал «Ригведу», труды европейских ученых, философов и в своей работе «Мифологический процесс в древнем язычестве» [4. С. 17–36] высказал гипотезу, что «Ригведа» является поздним вариантом более раннего строгого монотеизма. Таким образом, Вл. Соловьёв сформулировал мысль о существовании некой пракультуры, которая лежит в основе современной цивилизации.

В жизнь Н. Клюева тема Индии вошла довольно рано. В поэме «Песнь о Великой Матери» будущий поэт описывает круг чтения, повлиявший на формирование его мировоззрения, и указывает, что к пятнадцатилетнему возрасту, он прочитал уже: «...список Вед, / Из Лхасы шелковую книгу / И гороскоп – Будды веригу» [5. С. 755–756]. К этому перечню следует добавить апокриф «Индийское Евангелие» [6. С. 30] о неизвестном периоде жизни Христа. Мать будущего поэта, обучавшая сына чтению, знала его наизусть. Позднее он писал о себе:

«Кто раз заглянул в ягеля моих глаз,
В полесье ресниц и межбровья,
Тот видел чертог, где берестяный Спас
Лобзает шафранного Браму» [5. С. 495].

Среди наставников, пробудивших у него мечту о странствиях, Н. Клюев упоминает старца с Афона, который поведал ему «про дальние персидские земли, где серафимы с человеками брашно делят и – многие другие тайны бабидов и христов персидских, духовидцев, пророков и братьев Розы и Креста на Руси» [6. С. 33]. Поэт рассказывал о своих скитаниях по России и Востоку, что побывал в Персии и «до голубых китайских гор» [Там же. С. 43] дошел, общался с «разными мистическими сектами жаркой Индии» [7]. «Жизнь моя – тропа Батыева: от студеного Коневца (головой коня) до порфирного быка Сивы пролегла она» [6. С. 30], – утверждал он в автобиографической записи 1919 г.

Между различными старообрядческими общинами существовали постоянно поддерживаемые связи. Калики перехожие шли тайными путями от одного скита к другому и даже общались с легендарным Беловодьем. Н. Клюев вспоминал о китайских несторианах, «об Опоньском царстве, что на Белых Водах...» [Там же. С. 246]. Беловодье русское сознание отождествляло с земным раем. Его географическое положение было сакральное: существовало представление о том, что его следует искать на Крайнем Севере, народная молва предлагала исследовать также пещеры Алтая и другие далекие места – Тибет, Китай, Монголию, и даже Японию, откуда и появилось название – «Опоньское царство».

Индия для Клюева не является топонимом, обозначающим определенную страну: на олонекском наречии «инда» означает «вода», а «инди» – «в другом месте, в другой раз» [8. С. 31]. Индия для него повсюду, подобно «Индии духа» Н. Гумилёва, и путь в нее видится растекающимся из Беломорья в разных направлениях: «Дорога к нему с Соловков на Тибет» [5. С. 309]; «С Соловков на дремлющий Памир» [Там же. С. 346]; «С Соловков до жгучего Каира» [Там же. С. 408]; «С Соловков – на узорный Багдад...» [Там же. С. 447].

Исход народа с Севера устремляется на Ближний Восток, в Северную Африку (Египет), Индию и даже в Китай: «Русь течет к Великой пирамиде / В Вавилон, в сады Семирамиды» [5. С. 408]; «Индийская земля, Египет, Палестина» [7. С. 296]; «От Пудожа до Бомбея» [5. С. 410]; «Покумится Каргополь с Бомбеем» [Там же. 409]; «...у русского мальчика на губе / Китайское солнце горит» [Там же. С. 318]. Без сомнения, Н. Клюев, «посвященный от народа», воссоздает древнюю карту миграций из легендарной Гиперборей.

В Европе в XVIII в. рождается арктическая гипотеза происхождения человечества: французский астроном Жан-Сильвен Байи [9] поделился своими соображениями с Вольтером о том, что в Сибири существовала древняя цивилизация, созданная выходцами из Арктики. Позднее эту идею развивает Фабр д'Оливе [10] в своей всеобъемлющей философической истории (1822), а в 1880-е гг. А. Сент-Ив д'Альвейдр [11]. В 1885 г. появляется книга ректора Бостонского университета У.Ф. Уоррена «Найденный рай на Северном полюсе» [12]. В 1903 г. индийский мыслитель и политический деятель Б.Г. Тилак опубликовал книгу «Арктическая родина в Ведах» [13], в которой он сопоставил сказания Вед с астрономическими и геологическими данными науки и пришел к выводу, что описываемые явления могли наблюдаться на Северном полюсе. Эрудиция Н. Клюева позволяла ему на равных беседовать с профессорами университета. Он интересовался русской и иностранной философией, читал в подлиннике Я. Бёме и других западных мистиков, владел иностранными языками. К тому же быть поэтом Серебряного века и не проникнуться мистическим духом эпохи было невозможно.

В 1912 г. Н. Клюев сближается с «Цехом поэтов», одним из основателей которого был Н. Гумилёв, яркий представитель модернистского экзотизма и эзотеризма. Н. Клюев дает три стихотворения в первый номер журнала «Гиперборей». При отсутствии меценатов этот печатный рупор акмеизма просуществовал недолго, с октября 1912 по декабрь 1913 г. Но важен сам факт существования журнала, объединившего поэтов под эгидой гиперборейского мифа. Судьба древних цивилизаций – Атлантиды и Гиперборей – занимала многих писателей и поэтов [14]. А сам Н. Гумилёв в своих африканских путешествиях мечтал найти следы колоний древних атлантов.

Осведомленность Н. Клюева о тайнах прошлого основывалась не столько на новомодных эзотерических учениях, среди которых лидировали теософия и антропософия, сколько на старообрядческой книжной мудрости: в «Погорельщине» даже ручной медведь у него появляется с книгой: «Медведь матерый, на шее гривна, / В зубах же книга, злата и дивна» [5. С. 671]. Упоминает он и о «Голубиной книге»: «Творец в Голубиную книгу / Запишет: бысть воды и мрак» [Там же. С. 335]. Одним из источников тайного знания для Н. Клюева был опыт хлыстовского мистицизма, воспринятый им в юности от христовых братьев-голубей. Основная доктрина этой секты о реинкарнации, многократном воплощении и аватарах божества сближала хлыстовство с индуизмом. На этот факт еще в XIX в. указал знаток сектанства Н.И. Барсов: «И вообще учение хлыстов об их христах на христианской почве не находит ничего себе родственного или аналогического. Между христианскими сектами не было и нет ничего подобного... Единственное учение, которое представляет черты сходства с хлыстовским мифом об их христах, – это индийское учение о многократных воплощениях Вишну» [15]. Н. Рерих обратил

внимание на преемственность древнерусских традиций от Индии, когда посетил в Париже выставку В.В. Голубева, совершившего в 1910 г. археологическую экспедицию в Индию и на Цейлон. Мысль о близости Индии и Руси отражена на страницах его дневника [16], где он с изумлением указывает на искаженный санскрит песнопений русских сектантов. Индологу Н.Р. Гусевой удалось расшифровать таинственные псалмы хлыстов, оказавшиеся «гимном индускому богу Вишну» [17. С. 68]. Еще одно открытие подобного рода принадлежит Е.С. Лазареву [18], который обнаружил текст ведических гимнов на двух иконах северо-русских монастырей. Можно ли данные артефакты считать результатом кросскультурных отношений с индийским миром или это наследие глубочайшей древности? Религиовед А.В. Кондратьев высказал предположение, что «хлыстовство, имевшее явные элементы иранской (дуализм и т.д.), равно как и индийской (вегетарианство, гимны Вишну и т.д.) традиций, наследует одновременно им обеим, т.е. в каком-то смысле восстанавливает на Руси то единство индоевропейской религии, которое, по подсчетам ученых, было утрачено в середине II тысячелетия до н.э.» [19]. Возможно, что и приведенные выше факты характеризуют единство происхождения индоевропейской общности, еще не распавшейся на разные племена и народы.

Тема «Белой Индии» занимает у Н. Клюева значительное место, для него «речь идет о магической стране истока, священной прародине человечества» [20]. И дороги, «тайные, незримые для гордых взоров вехи, ведущие Россию – в Белую Индию, в страну высочайшего и сейчас немыслимого духовного могущества и духовной культуры» [б. С. 147], видятся поэту пролегающими через закликательные образа икон, выводящие молящегося в надмирный космос, где он способен ощутить всеединство человечества. Следует обратить внимание на цветовую символику: Индия у Клюева белая. Белый цвет содержит в себе все цвета, это высшая степень универсальности и гармонии. Поэма была написана в переломный период 1916–1918 гг., когда произошла революция и будущее воспринималось в радужных тонах мировой гармонии. Клюев создает утопию о жизни села в таинственном Нигде, вне пространства и времени. Крестьянский обиход в Предвечности соразмерен ритму Вселенной. «Сократ и Будда, Зороастр и Толстой» незримо присутствуют в раздумьях о мирской душе. Поэт готов стать тем первочеловеком-Пурушей, из жертвенной плоти которого будет создана новая Вселенная:

«В живом чернолесьи костер разложить
И дикое сердце, как угря, варить,
Плясать на углях, и себя по кускам
Зарыть под золою в поминок векам» [5. С. 308].

Антропоморфные аналогии сопровождаются отождествлением с Христом, по хлыстовской традиции каждый раз заново рождающимся. Зубы становятся горами, язык превращается в сад, а железы трансформируются в холмы.

Деревня в потемках подобна бороде, а ночью – «Преддверию уст». «Вселенский рычаг» сдвинет многовековой уклад деревенской избы и откроется путь к желанному счастью:

«На дне всех миров, океанов и гор
Цветет, как душа, алмазтовый бор, –
Дорога к нему с Соловков на Тибет» [Там же. С. 309].

Волшебный клубок поведет путника «через сердце избы» в невозвратное прошлое, в Золотую Орду, в начало ветхозаветной истории, но истинное царство – Время – «Столетия мерит хрустальным сверчком». И в этом царстве Вечности первым должен быть поэт, подобно упомянутому библейскому Салу, возглавившему список царей Израиля.

Образ Индии у Клюева органично вписывается в его мифопоэтическую утопию. Самые обычные предметы крестьянского быта таят в себе память тысячелетий. Тулуп из чулана готов сообщить, что его подкладка помнит «Желтый Кашмир и Тибет», а горшок на печи – «Плеск звездотечного Нила». «Индию в красном углу» [5. С. 310–311] обретает обитатель поморской избы, свершая мистерию причащения вселенским тайнам: «То Индия наша, таинственный ужин, / Звенящий потирами в красном углу» [Там же. С. 311]. Там же, в красном углу избы хранится другой раритет – «мужицкие Веды» [Там же. С. 312], в которых тяжкий крестьянский труд сопряжен с верой предков в единство человека и мира, и простое действие семьянина, наделяющего своих домочадцев хлебом, становится евхаристией космического масштаба. Поэт в тишине таинственной поморской деревни слагает стихи «об Индии в русской светелке» [Там же. С. 315]. А где-то во Вселенной «араб в шатре чернотканном, / Русских звезд познав глубину, / Славит думой, говором гортанным / Пестрядную, светлую страну» [7. С. 314]. Память о «Белой Индии» дорога не только арабу, к совместной жатве готовы «желтый Китай и Россия». Поэт отмечает «кровное в пагоде, в срубке» [5. С. 318]: традиция помещать голову дракона на концах ската крыши сближает северные окраины Руси с Поднебесной. Культ ящера-дракона, хозяина подземно-подводного мира, отвечавшего за плодородие и хороший улов, просуществовал на Руси довольно долго. Стилизованные драконы украшали наличники окон, служили оберегом в виде височных колец и фибул. Академик Б.А. Рыбаков отмечал, что «в русском и белорусском фольклоре ящер... дожил до XIX в.» [21]. Но не только культ дракона сближает пагоду с архитектурой русского Севера. Гораздо очевиднее – многоярусность ступенчатых пирамидальных конструкций. Деревянная архитектура русского Севера уходит своими корнями в глубокую древность. В.В. Суслов, первый исследователь древнерусского зодчества, отмечал, что деревянные церкви существовали на Руси еще до принятия христианства [22. С. 48].

В поэме «Песнь о Великой матери» село начинает строиться с Покровской церкви. Мужики во главе с мастером Акимом Зяблецовым, прежде чем начать рубить лес, молятся, затем сплавляют лес по реке, и там, где бревна пристанут, – быть селу. Воздвигали деревянные храмы местные мастера, причем большую церковь они могли срубить и нарядить в один день:

«Церковное место на диво красно:

На утро – алтарь, а на полдень – окно,

На запад врата, чтобы люди из мглы,

Испив купины, уходили светлы» [5. С. 706].

Архитектора В.В. Суслова Н. Клюев упоминает в стихотворении 1932 г. «Мне революция не мать», соединяя его имя с Сезанном, родоначальником живописи форм в европейском искусстве:

«Вот почему Сезанн и Суслов,

С индийской вязью теремов,

Единорогом роют русло

Средь брынских гатей и лесов» [5. С. 577].

«Индийская вязь теремов» – не случайная строка в поэме. Сложная орнаментальная резьба встречалась по всему северному краю, ею украшали не только языческие храмы, но и деревенские избы и всевозможные предметы бытового обихода. Орнамент символизировал представление человека о мире. Позднее эти орнаменты, как и многие архитектурные формы (шатровые, многоглавые храмы, кокошники, бочки) перебрали в каменное строительство. Резной фасад Дмитриевского собора во Владимире – яркий пример влияния деревянного зодчества на убранство возведенных из камня христианских культовых сооружений последующего периода. И только совсем недавно были выявлены родственные связи русской храмовой архитектуры с индоиранской и даже тибетской (а значит, и китайской!). Исследователи А.В. Рачинский и А.Е. Фёдоров [23] взяв архитектурную форму в качестве одной из констант культуры, которая не изменяется при переходе на новые строительные технологии и материалы и сохраняет устойчивость даже в случае смены религии или языка, пришли к выводу, что русские храмы семантически гораздо ближе индоиранской традиции, чем византийской. Они также установили фонетическое и семантическое совпадение или сближение строительных терминов и названий инструментов в русском языке и санскрите. Н. Клюев, подмечая сходство «Индии-Руси» с разными восточными культурами, отдает явное предпочтение Востоку перед Западом: «Сгинь Запад – Змея и Блудница, / – Наш суженый – отрок Восток!» [5. С. 318]. И близость эту он видит в единстве корней: «Вон ком земли, седой и древний, / Читает вести про Китай» [Там же. С. 583]. В своем предпочтении Китая Европе Клюев был близок основоположнику русского космизма Н.Ф. Фёдорову, который полагал, что России легче найти общий язык с народом-земледельцем, почитающим своих предков, чем с меркантильным и прагматичным Западом. Н. Клюев был знаком с философией общего дела Н. Фёдорова, о чем свидетельствуют не только воспоминания современников, но и его стихи. Поэт разделял идеи Н. Фёдорова о будущем Земли и населяющих ее народов, которые сумеют преодолеть условия «небратского состояния» во имя единства человечества. Конечно, это произойдет не раньше, чем «Воскреснут все, кто погибли» [Там же. С. 373] и «Выйдут деды из могил» [Там же. С. 292]. На «интимную космичность» поэзии Н. Клюева, чувство неразрывной связи судеб человека, всей твари и Вселенной в общем чаянии их преображения» [24. С. 81] обратила внимание С.Г. Семёнова, выявившая духовную близость поэта идеям Н. Фёдорова. Сближает Н. Клюева с основоположником русского космизма и осознание стратегической роли Севера в судьбах России и мира. Н. Фёдоров предлагал перенести столицу России за полярный круг в район омываемого Гольфстримом Рыбачьего полуострова и создать социальный полюс мира, который, во-первых, объединит «в общем всех деле управления слепыми силами природы», а во-вторых, станет альтернативой нового транспортного пути, «от коего зависит спасение Земли» [25. С. 383–385]. В свою очередь, Н. Клюев в стихотворении «Я потомок лапландского князя» (1917) вполне определенно высказывает идею о Северной цивилизации, давшей начала культуры другим народам:

«Уплывем же, собратья, к Поволжью,

В папирусно-тигриный Памир!

Калевала сродни желтокожью,
В чьем венце ледовитый сапфир.

В русском коробе, в эллинской вазе
Брежжут сполохи, полюсный щит,
И сапфир самоедского князя
На халдейском тюрбане горит» [5. С. 378].

Образ «Индии-Руси» приобретает у Н. Клюева масштабы общепланетарного универса. Он знает, что «Все племена в едином слиты: Алжир, оранжевый Бомбей» [Там же. С. 391], и когда-нибудь «Китай и Европа, и Север, и Юг / Сойдутся в чертог хороводом подруг» [Там же. С. 364]. «На Таити брякнет подойник, / Ольховый, с олонецкой резьбой» [Там же. С. 366], а «Бедуинам и желтым корейцам / Не будет запретным наш храм...» [Там же. С. 379]. Картины, возникающие в воображении поэта, представляют будущее, когда объединенное человечество научится использовать военное дело исключительно в целях регулирования сил природы и «От Великого Сфинкса к тундре» [Там же. С. 406] направит волну лучей, и тогда: «В персидско-тундровом зное» [Там же. С. 373] будут выращивать арбузы, на лугах в Заонежье будут пастить «стада носорогов» и «с нумидийским тигром козы» [Там же. С. 421], в ярославском хлеву – содержаться бизоны, а «От Печоры слоновье стадо» [Там же. С. 406] потянется на водопой. «Над избой взрастут баобабы, / Приютит хлевушка тигрят» [Там же. С. 461], «И раджа на слоне священном / Посетит зырянский овин» [Там же. С. 424]. Поэт создает идиллическую картину Нового Эдема, где хищные звери ведут себя, как ягнята. В мифопоэтической утопии Н. Клюева вся планета представляет собой единое целое, и география носит условный характер, так же как и такие понятия, как нация и государство. Соборность – единение в духе, братстве и любви – должна стать нормой жизни всего человечества.

В томской ссылке наблюдательный глаз поэта обращает внимание на этнографические детали, подчеркивающие близкие контакты местного населения с Востоком: «огромные китайские самовары», китайский бело-синий фарфор, вывозимый из Поднебесной через портовый город Тяньцзинь. Его удивляют женские украшения: «Остячки по юртам носят на шее бисерный панцырь, с огромным аквамаринном посредине; прямо какая-то Бирма!» [6. С. 375]. Арктическая прародина человечества напоминает о себе неожиданными находками: «в подмытых половодьями береговых слоях реки Томи то и дело натыкаешься на кусочки и черепки не то Сиамы, не то Индии» [Там же. С. 374]. Он сообщает своим знакомым из Томска о чтении берестяной книги под названием «Перстень Иафета», в которой рассказывается о Руси XII в. и упоминается о Гиперборее: «...теперешние черемисы вывезены из Гипербореев, т.е. из Исландии, царем Олафом Норвежским, зятем Владимира Мономаха. Им было жарко в Киевской земле, и они отпущены были в Колывань – теперешние вятские края, а сначала содержались при киевском дворе, как экзотика» [Там же. С. 381]. Берестяную книгу Н. Клюев мог получить от старообрядцев [26], проживавших в скитах Томской области в районе реки Кети, но где сейчас находится упомянутый ссыльным поэтом манускрипт, история умалчивает. По мнению известного исследователя творчества Н. Клюева В.А. Доманского, который обнаружил запись про «сына Афетова

от Мосоха» в хронографе 1679 г., «миф о стране Гипербореев и потомках Иафета (Яфета) о Руси изначальной» [27. С. 29] еще требует своего прочтения.

Действительно, творчество Н. Клюева полно загадок. Каждый его образ ассоциативен и не может быть прочтен однозначно. Мысль Н. Клюева о единстве человечества актуальна и в наше время. Русская литература на рубеже XIX–XX вв., восприняв идеи философии всеединства и космизма, заявила о необходимости мирного сосуществования разных культурно-исторических общностей во имя сохранения и развития всего человечества.

Литература

1. *Серяков М.Л.* «Голубиная книга» – священное сказание русского народа. М. : Вече, 2012. 448 с.
2. *Кондаков И.В.* «Страшный праздник» русской культуры: памяти Серебряного века // *Общественные науки и современность.* 2014. № 4. С. 142–166.
3. *Ницше Ф.* Антихрист. Проклятие христианству // *Сочинения* : в 2 т. М. : Мысль, 1996. Т. 2. 829 с.
4. *Соловьёв В.С.* Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. М. : Наука, 2000. Т. 1. 396 с.
5. *Клюев Н.А.* Сердце единорога. Стихотворения и поэмы. СПб. : РХГИ, 1999. 1072 с.
6. *Клюев Н.А.* Словесное древо. Проза. СПб. : Росток, 2003. 688 с.
7. *Иванов-Разумник В.* Писательские судьбы. URL: http://az.lib.ru/i/iwanowrazumnik_r_w/text_0410.shtml (дата обращения: 15.05.2019).
8. *Словарь* областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении / собр. на месте и сост. Г. Куликовский. СПб. : Издание Отд. рус. языка и словесности Императорской Акад. наук, 1898. 150 с. URL: <https://www.prlib.ru/item/365985>. (дата обращения: 25.04.2019).
9. *Baillly J.S.* Lettres sur l'Atlantide de Platon et sur l'ancienne histoire de l'Asie : Pour servir de suite aux Lettres sur l'origine des sciences, adressées à M. de Voltaire par M. Baillly. Londres; Elmsly ; Paris : Debure, 1779. 443 с.
10. *Фабр д'Оливе А.* Философическая история Человеческого рода или Человека. СПб. : Алетейя, 2018. 432 с.
11. *Сент-Ив Д'Альвейдр А.* Миссия Индии в Европе; Миссия Европы в Азии. Петроград : Новый человек, 1915. 157 с.
12. *Уоррен У.Ф.* Найденный рай на Северном полюсе. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. 480 с.
13. *Тилак Б.Г.* Арктическая родина в Ведах. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. 525 с.
14. *Рычков А.Л.* Миф об Атлантиде западного эзотеризма в «Атлантической мифологеме» русских символистов // *Изучение эзотеризма в России. Актуальные проблемы* : материалы секции «Академическое изучение эзотеризма» Третьего конгресса рос. исследователей религии (Владимирский гос. ун-т, 8 октября 2016 г. М. : Эдитус, 2017. С. 77–112. URL: http://www.v-ivanov.it/files/4/4_atlantida.Ruch.pdf (дата обращения: 12.05.2019).
15. *Барсов Н.* Русский простонародный мистицизм : сообщение, читанное в этнографическом отделении императорского Русского географического общества 13 мая 1869 г. СПб. : напечатано в тип. департамента уделов. URL: http://yakov.works/libr_min/02_b/ar/sov_1869.htm (дата обращения: 5.06.2019).
16. *Рерих Н.* Русь – Индия. URL: <http://n-k-roerich.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st094.shtml> (дата обращения: 20.06.2019).
17. *Гусева Н.Р.* «Индийская песня» хлыстов // *Родина.* 1997. № 11. С. 67–69.
18. *Лазарев Е.С.* К вопросу о знаковых системах русского гнозиса // *Россия и гнозис* : материалы конф. ВГБИЛ 22–23 марта 2000 г. М. : Рудомино, 2001. С. 62–80.
19. *Кондратьев А.В.* Психотехники русских мистических сект. М. : Белые альвы, 2015. 124 с. URL: <https://www.rulit.me/books/psihotehniki-i-kult-russkih-misticheskikh-sekt-read-390414-1.html> (дата обращения: 05.07.2019).
20. *Дугин А.* Параллельная родина. URL: <http://klyuev.lit-info.ru/klyuev/kritika/dugin-parallel-na-ya-rodina.htm> (дата обращения: 18.06.2019).
21. *Рыбаков Б.А.* Язычество древней Руси. М. : Наука, 1987. 783 с. URL: http://dragons-nest.ru/dragons/books-and-articles/knigi_o_drakonakh/b_a_rybakov_yazychestvo_drevney_rusi.php (дата обращения: 15.07.2019).

22. Сулов В.В. Очерки по истории древнерусского зодчества. СПб. : тип. А.Ф. Маркса, 1889. 124 с. URL: <https://www.prlib.ru/item/436139> (дата обращения: 06.08.2019).

23. Рачинский А.В., Фёдоров А.Е. Славяно-арийские истоки русской архитектуры. М. : Вече, 2016. 624 с.

24. Семёнова С.Г. Поэт «поддонной» России (религиозно-философские мотивы творчества Николая Клюева) // Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов: поэтика, видение мира, философия. М. : Наследие, 2001. 588 с.

25. Фёдоров Н. О полярной столице // Собрание сочинений : в 4 т. М., 1997. Т. 3. 742 с.

26. Есипова В.А. Рукописи на бересте из заимочной коллекции: предварительные итоги палеографического анализа // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 2 (13). С. 54–60.

27. Доманский В.А. Мифологемы сибирских писем Н. Клюева // Николай Клюев и концептосфера русской культуры : науч. сб. СПб. : О-во русской традиционной культуры, 2016. С. 22–32.

Elena V. Shakhmatova, Russian Institute of Theatre Arts (GITIS) (Moscow, Russian Federation).

E-mail: Elena.Shahmatova@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 138–148.

DOI: 10.17223/1998863X/55/15

NIKOLAI KLYUEV'S "INDIA-RUSSIA" AS A SYMBOL OF THE TOTAL UNITY OF THE WORLD

Keywords: total unity; Russian cosmism; myth-making; Arctic hypothesis.

Nikolai Klyuev, a native of the Old Believers of the Russian North, brought a deep understanding of the folk tradition to poetry. The North became a refuge for Schismatics who fled from the church reforms of the 17th century. They continued the tradition of the manuscript book and retained ancient knowledge about the structure of the universe. Such an artifact as *The Pigeon's Book*, according to the historian M.L. Seryakov, is older than the Rigveda. The Russian culture of the Silver Age discovered its antiquity in India resurrecting the legend of Hyperborea. The topic of India entered Klyuev's life early, thanks to his mother. In his autobiographies, he claimed close acquaintance with the world of the East and Belovodye. "White India" for Klyuev is the "sacred ancestral home of humankind", and the path from goes in different directions: to the Middle East, North Africa (Egypt), India, and even to China. In the eighteenth century, the French astronomer Jean-Sylvain Baillie formulated the Arctic hypothesis of the origin of humankind. In the nineteenth and twentieth centuries, Fabre d'Olivet, A. Saint-Yves d'Alveidre, W.F. Warren, and B.G. Tilak developed this hypothesis. In 1912, Klyuev became close to the Workshop of Poets (Nikolai Gumilyov was one of its founders) and collaborated with the Acmeist magazine *Giperborey*. Klyuev's awareness of the secrets of the past was based on the Old Believer book wisdom rather than on new-fashioned esoteric teachings. One of the sources of secret knowledge for Klyuev was the experience of Khlyst mysticism. N.I. Barsov, N.K. Roerich, N.R. Guseva, E.S. Lazarev, A.V. Kondratiev indicated the proximity of the Khlyst teachings to Hinduism. The common roots of Russia and China are found in the dragon cult, which is confirmed by Academician B.A. Rybakov; and A.V. Rachinsky and A.E. Fedorov point to the semantic proximity of Russian temples and the Indo-Iranian tradition of architecture. In his preference of the East to the West, Klyuev was close to N.F. Fedorov, the founder of Russian cosmism. The poet shared Fedorov's ideas about the future of the Earth and the peoples inhabiting it, who will be able to overcome the conditions of a "non-brotherly state" in the name of the unity of humankind. Klyuev's image of "India-Rus" is of a universal scale. Klyuev's idea about the unity of humankind is relevant today. To the turn of the twentieth century, accepting the ideas of the philosophy of all-unity and cosmism, Russian literature declared the need for the peaceful coexistence of various cultural and historical communities in the name of the preservation and development of all humankind.

References

1. Seryakov, M.L. (2012) "*Golubinaya kniga*" – *svyashchennoe skazanie russkogo naroda* [The Pigeon Book as a sacred legend of the Russian people]. Moscow: Vechе.

2. Kondakov, I.V. (2014) "Strashnyy prazdnik" russkoy kul'tury: pamyati Serebryanogo veka ["A terrible holiday" of Russian culture: in the memory of the Silver Age]. *Obshchestvennyye nauki i sovremennost'* – *Social Sciences and Contemporary World*. 4. pp.142–166.

3. Nietzsche, F. (1996) *Sochineniya v 2-kh tt.* [Works in 2 vols]. Vol. 2. Translated from German. Moscow: Mysl'.
4. Soloviev, V.S. (2000) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem. V 20-ti tt.* [Complete Works and Letters. In 20 vols]. Vol. 1. Moscow: Nauka.
5. Klyuev, N.A. (1999) *Serdtshe edinoroga. Stikhotvoreniya i poemy* [The heart of a unicorn. Poems]. St. Petersburg: RKhGI, 1999. 1072 s.
6. Klyuev, N.A. (2003) *Slovesnoe drevo. Proza* [Verbal Tree. Prose]. St. Petersburg: Rostok.
7. Ivanov-Razumnik, V. (n.d.) *Pisatel'skie sud'by* [Writers' Fates]. [Online] Available from: http://az.lib.ru/i/iwanowrazumnik_r_w/text_0410.shtml (Accessed: 15th May 2019).
8. Kulikovskiy, G. (1898) *Slovar' oblastnogo olonetskogo narechiya v ego bytovom i etnograficheskom primenenii* [Dictionary of the regional Olonets dialect in its domestic and ethnographic application]. St. Petersburg: Otdelenie russkogo yazyka i slovesnosti Imperatorskoi Akademii nauk. [Online] Available from: <https://www.prlib.ru/item/365985>. (Accessed: 25th April 2019).
9. Bailly, J.S. (1779) *Lettres sur l'Atlantide de Platon et sur l'ancienne histoire de l'Asie: Pour servir de suite aux Lettres sur l'origine des sciences, adressées à M. de Voltaire par M. Bailly.* Londres; Elmsly; Paris: Debure.
10. Fabre d'Olivet, A. (2018) *Filosoficheskaya istoriya Chelovecheskogo roda ili Cheloveka* [The philosophical history of the Human race or Man]. St. Petersburg: Aleteyya.
11. St. Yves D'Alveidre, J.A. (1915) *Missiya Indii v Evrope; Missiya Evropy v Azii* [India Mission to Europe; Europe mission in Asia]. Petrograd: Novyy chelovek.
12. Warren, W.F. (2003) *Naydenny ray na Severnom polyuse* [A Found Paradise at the North Pole]. Translated from English. Moscow: FAIR-PRESS.
13. Tilak, B.G. (2001) *Arkticheskaya rodina v Vedakh* [The Arctic Homeland in the Vedas]. Moscow: FAIR-PRESS.
14. Rychkov, A.L. (2016) Mif ob Atlantide zapadnogo ezoterizma v «Atlanticheskoy mifologeme» russkikh simbolistov [The myth of Atlantis of Western esotericism in the “Atlantic mythology” of Russian symbolists]. In: Panin, S. (ed.) *Izucheniye ezoterizma v Rossii* [Russian Studies of Esotericism]. Moscow: Editus. pp. 77–112. [Online] Available from: http://www.v-ivanov.it/files/4/4_atlantida.Rych.pdf (Accessed: 12th May 2019).
15. Barsov, N. (1869) *Russkiy prostonarodnyy mistitsizm. Soobshchenie, chitannoe v etnograficheskom otdelenii imperatorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva 13 maya 1869 g.* [Russian common mysticism. The report in the ethnographic department of the Imperial Russian Geographical Society on May 13, 1869]. St. Petersburg: Tipografiya departamenta udelov. [Online] Available from: http://yakov.works/lib_min/02_b/ar/sov_1869.htm (Accessed: 5th June 2019).
16. Roerich, N. (n.d.) *Rus' – Indiya* [Russia – India]. [Online] Available from: <http://n-koerich.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st094.shtml> (Accessed: 20th June 2019).
17. Guseva, N.R. (1997) “Indiiskaya pesnya” khlystov [“Indian song” of the whips]. *Rodina*. 11. pp. 67–69.
18. Lazarev, E.S. (2001) [On the sign systems of Russian gnosis]. *Rossiya i gnosis* [Russia and Gnosis]. Proc. of the Conference of the All-Russian State Library for General Migration. March 22–23, 2000. Moscow: Rudomino. (In Russian).
19. Kondratiev, A.V. (2015) *Psikhotekhniki russkikh misticheskikh sekt* [Psychotechnics of Russian mystical sects]. Moscow: Belye al'vy. [Online] Available from: <https://www.rulit.me/books/psihotekhniki-i-kult-russkikh-misticheskikh-sekt-read-390414-1.html> (Accessed: 5th July 2019).
20. Dugin, A. (n.d.) *Parallelnaya rodina* [Parallel homeland]. [Online] Available from: <http://klyuev.lit-info.ru/klyuev/kritika/dugin-parallelnaya-rodina.htm> (Accessed: 18th June 2019).
21. Rybakov, B.A. (1987) *Yazychestvo drevney Rusi* [Paganism of Old Rus]. Moscow: Nauka. [Online] Available from: http://dragons-nest.ru/dragons/books-and-articles/knigi_o_drakonakh/b_a_rybakov_yazychestvo_drevney_rusi.php (Accessed: 15th July 2019).
22. Suslov, V.V. (1889) *Ocherki po istorii drevnerusskogo zodchestva* [Essays on the history of Old Rus architecture]. St. Petersburg: A.F.Marks. [Online] Available from: <https://www.prlib.ru/item/436139> (Accessed: 6th August 2019).
23. Rachinsky, A.V. & Fedorov, A.E. (2016) *Slavyano-ariyskie istoki russkoy arkhitektury* [Slavic-Aryan sources of Russian architecture]. Moscow: Veche.
24. Semenova, S.G. (2001) *Russkaya poeziya i proza 1920 – 1930-kh godov: poetika, videnie mira, filosofiya* [Russian poetry and prose of the 1920s – 1930s: poetics, vision of the world, philosophy]. Moscow: Nasledie.
25. Fedorov, N. (1997) *Sobranie sochineniy v chetyrekh tomakh* [Collected Works in four volumes]. Vol. 3. Moscow: Traditsiya.

26. Esipova, V.A. (2012) Birch-bark manuscripts of Zaimochnaya collection: preliminary results of paleographical analysis. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 2(18). pp. 54–60. (In Russian).

27. Domansky, V.A. (2016) Mifologemy sibirskikh pisem N. Klyueva [Mythologies of N. Klyuev's Siberian letters]. In: Domansky, V.A. (ed.) *Nikolay Klyuev i kontsep-tosfera russkoy kul'tury* [Nikolay Klyuyev and the conceptual sphere of Russian culture]. St. Petersburg: Ob-vo russkoy traditsionnoy kul'tu-ry. pp. 22–32.

УДК 1(410)(091)

DOI: 10.17223/1998863X/55/16

В.В. Яковлев

НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ ДЖОНА ТОЛАНДА

Проведен хронологический обзор некоторых базовых положений избранной советской историографии религиозно-философских идей Толанда. Предметом статьи стали работы ведущих отечественных знатоков философии Толанда – Г.С. Тьямьнского, А.В. Щеглова, К.И. Салимовой, А.М. Деборина, Б.В. Мееровского, Б.Э. Быховского. Выявлены встречающиеся в указанных работах основные характеристики религиозно-философских идей Толанда.

Ключевые слова: Джон Толанд, религиозно-философские идеи, советские историки философии.

Введение

Ирландец Джон Толанд – один из самых своеобразных англоязычных мыслителей раннего Нового времени, получивший известность в первую очередь, благодаря своим религиозно-философским идеям. Список сочинений Толанда, в которых он развивал данные идеи, обширен, как правило, это достаточно небольшие по объему трактаты и эссе. В молодости Толанд отрекся от католицизма и стал приверженцем протестантизма. Судьба Толанда являет собой «идеальный» пример судьбы философа-изгнанника и философа-скитальца. Толанд был вынужден жить за пределами родной Ирландии. Он часто испытывал материальную нужду. Его смерть должна была обрадовать многочисленных недоброжелателей. Известно, что он похоронен на кладбище англиканской церкви Святой Девы Марии, что в Патни – одном из районов Лондона (St Mary the Virgin Churchyard, Putney), но его безымянную могилу, находящуюся здесь среди других подобных захоронений, теперь невозможно отыскать.

Отличительной чертой религиозной философии Толанда является обилие неапологетических и неортодоксальных для христианства идей, которые вызвали критику даже со стороны англиканских духовенства и общественности. Так, закрепившийся за Толандом уже при его жизни образ гонимого философа-борца в определенном смысле обеспечил известную притягательность идейного наследия Толанда в среде советских историков философии. Русскоязычные переводы ряда сочинений Толанда неоднократно издавались в СССР достаточно солидными по академическим меркам тиражами [1–3]. **Предметом** настоящей статьи являются работы ведущих отечественных знатоков философии Толанда – Г.С. Тьямьнского, А.В. Щеглова, К.И. Салимовой, А.М. Деборина, Б.В. Мееровского, Б.Э. Быховского, в которых немалое место занимает осмысление религиозно-философских идей Толанда. Изучение данной историографии весьма **актуально**, так как оно позволяет вырабатывать бережное и уважительное отношение к наследию и традициям оте-

чественного историко-философского знания, а также знакомиться с исследовательским потенциалом советской формационно-эволюционистской историографии религиозно-философских идей Толанда. Следует отметить, что в советской формационно-эволюционистской историографии религиозно-философских идей Толанда весьма часто эти идеи рассматривались в контексте его материалистических (либо якобы материалистических и т.п.) воззрений. **Целью статьи** станет выявление встречающихся в избранной советской историографии религиозно-философских идей Толанда основных характеристик обозначенных идей. Достичь этой цели планируется посредством проведения хронологического обзора некоторых базовых положений указанной историографии.

Работы 20–30-х гг. XX в.

Г.С. Тымянский¹ обсуждал компоненты религиозно-философских идей Толанда в статье «Джон Толанд», опубликованной в журнале «Под знаменем марксизма» [4]. Статья Тымянского состоит из трех пунктов (I–III) без специальных подзаголовков [Там же. С. 32–41, 41–46, 46–55]. В статье кратко освещаются основные вехи жизни и деятельности Толанда, излагаются некоторые философские, религиозно-философские, политические и другие идеи из ряда его сочинений. Толанд охарактеризован Тымянским как забытый выдающийся человек, общественный деятель и мыслитель, как борец (в историко-социальном смысле слова. – В.Я.). В этой связи в беглом историографическом обзоре Тымянский упомянул о сетовании историка литературы Геттнера² по поводу того, что философия Толанда не интересует исследователей. Согласно Тымянскому, безызвестность Толанда является следствием того, что он «был атеистом и материалистом и в своих произведениях несколько не пытался, подобно многим философам того времени, скрывать или замаскировывать свои взгляды» [Там же. С. 32].

Тымянский указал также на то, работы Толанда долгое время были недоступны, а о его идеях судили по подборке критических суждений его противников, включенной в составленную в 1766 г. пастором Торшмидом³ «библиотеку английских свободных мыслителей». Тымянский находил, что эта критика, а также высказывания самого Торшмида говорят о том, «что Толанд был опасным человеком, имел значительное влияние на своих современников». По Тымянскому, идеи и деятельность Толанда привели к появлению у него многочисленных «заклятых врагов», однако он находил и поддержку среди английских «свободных мыслителей», в том числе и знатного произ-

¹ Тымянский, Григорий Самойлович (вариант отчества – Самуилович; 1893–1936) – советский философ, историк философии. Работал в Коммунистической академии, в Институте философии АН СССР.

² У Тымянского нет научной ссылки на работу. Скорее всего, речь идет о трехтомнике Г. Геттнера «История литературы XVIII века» («Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts»), изданном в 1856–1870 гг. Геттнер, Герман Юлий Теодор (Hermann Julius Theodor Hettner; 1821–1882) – немецкий историк литературы.

³ У Тымянского нет научной ссылки на работу. Скорее всего, речь идет о многотомнике У.Г. Торшмида «Versuch einer vollständigen Engelländischen Freydenker-Bibliothek», изданном в 1765–1766 гг. Торшмид, Урбан Готтлоб (Urban Gottlob Thorschmid; XVIII в.) – немецкий пастор, знаток идей представителей английского свободомыслия и их критиков.

хождения, а также среди влиятельных современников – Софии-Шарлотты, Лейбница, Локка¹.

Согласно Тымянскому, «Толанд начал свою деятельность, как последователь Локка, в особенности его учения о религии и веротерпимости» [4. С. 33] (пунктуация сохранена. – В.Я.). Тымянский кратко осветил религиозную и социальную обстановку в Англии эпохи Толанда, историю английского деизма [Там же. С. 33–36]. По мысли Тымянского, Толанд был «самым выдающимся и глубоким» среди английских деистов. Однако Толанд не остановился на деизме; как считал Тымянский, «он пошел значительно дальше своих современников и единомышленников и, делая последовательные логические выводы из принятых посылок, построил стройную материалистическую систему философии» [Там же. С. 36].

Описание конкретных религиозно-философских идей Толанда Тымянский выполнил по таким его сочинениям, как «Христианство без тайн», «Письма к Серене», «Адеисидемон», «Пантеистикон»².

Тымянский произвел достаточно подробный обзор обстоятельств создания и опубликования, а также содержания работы Толанда «Христианство без тайн» («Христианство, лишённое тайн» у Тымянского. – В.Я.) [Там же. С. 37–41]. По Тымянскому, в указанном сочинении вера в разум соседствует с осторожным скептицизмом, а на идеи Толанда здесь оказывают влияние идеи Локка и Ньютона – в том смысле, что последним не был свойствен крайний рационализм Декарта, Спинозы и Гоббса³, а на первое место они стали выдвигать опыт, заставляя, таким образом, сомневаться «в абсолютной способности разума познать истину». В завершение анализа «Христианства без тайн» Тымянский вскользь прокомментировал идеи Толанда о чудесах: «Толанд отрицает какое-либо чудо и, переходя к понятию таинства, разъясняет, что под чудом понимают не то, что противоречит разуму, а скорее то, что человеческим разумом не понято. Замечательна последняя глава книги

¹ София-Шарлотта / София-Шарлотта Ганноверская (Sophie-Charlotte von Hannover; 1668–1705) – первая королева Пруссии. Лейбниц, Готфрид Вильгельм (Gottfried Wilhelm (von) Leibniz; 1646–1716) – немецкий философ, математик. Локк, Джон (John Locke; 1632–1704) – английский философ, знаток и разработчик политических и государствоведческих, педагогических идей.

² Здесь и далее в сносках приводятся краткие библиографические описания (de visu) первых оригинальных изданий указанных сочинений Толанда, а также при наличии – устоявшиеся русскоязычные переводы названий этих сочинений. Christianity not Mysterius: Or, A Treatise Shewing, That there is Nothing in the Gospel Contrary to Reason, Nor Above it: And that no Christian Doctrine can be Properly Call'd a Mystery. London, 1696 («Христианство без тайн, или Трактат, в котором показывается, что в Евангелии не содержится ничего противоречащего разуму или непостижимого им и что ни один догмат христианства не может быть назван непостижимой тайной в прямом смысле слова»). Letters to Serena. London, 1704 («Письма к Серене»; сочинение посвящено Софии (Шарлотте). Adeisidaemon, sive Titus Livius a superstitione vindicatus. Autore J. Tolando. Annexae sunt ejusdem Origines judaicae. Hagae-Comitis, 1709. («Адеисидемон, или Тит Ливий, оправданный от обвинения в суеверии»). Pantheisticon, sive formula celebrandae Sodalitatis Socraticae, in Tres Particulas Divisa. Cosmopoli, 1720 («Пантеистикон, или чин прославления сократического содружества, разделенный на три части»; сочинение издано анонимно в Лондоне. – В.Я.).

³ Ньютон, Исаак (Sir Isaac Newton; 1642–1727) – английский физик, математик, астроном. Декарт, Рене / Картезий (René Descartes, лат. Renatus Cartesius; 1596–1650) – французский философ, математик, физик. Спиноза, Бенедикт (Барух) (еврейского происхождения – из португальских сефардов (ивр. ספָרָדִי [sfaradi] – испанский), нидерл. Baruch Spinoza, португ. Benedito de Espinosa; 1632–1677) – нидерландский философ. Гоббс, Томас (Thomas Hobbes; 1588–1679) – английский философ, знаток и разработчик политических и государствоведческих идей.

Толанда¹, в которой он пытается дать риторическое объяснение образованию таинств и чудес в христианстве. Здесь мы имеем также одну из немногих в то время попыток подойти с историческим анализом к общественным явлениям» [4. С. 40–41].

Тымянский сделал достаточно подробный обзор содержания первых трех писем сочинения Толанда «Письма к Серене», в которых он также излагал свои религиозно-философские идеи. Так, характеризуя идеи Толанда из третьего письма, посвященного обсуждению причин возникновения суеверных представлений, Тымянский отметил, что, анализируя суеверия, Толанд пользовался материалом как языческих религий, так и христианства. В частности, согласно Тымянскому, в христианстве Толанд осмелился подвергнуть осуждению «ритуалы, иконы, алтари, музыку и пение при богослужении, посты, паломничества, как суеверия, заимствованные у язычников и поддерживаемые священниками ради властолюбивых целей» (пунктуация сохранена. – В.Я.). Как полагал Тымянский, в первых трех письмах рассматриваемого сочинения Толанд достиг вершин свободомыслия, «стал совсем отрицать откровение, даже отождествлять [Б]ога с миром» [Там же. С. 45].

Давая общую оценку «Писем», Тымянский выдвинул положение о том, что сущностью «борьбы Толанда с религией» является его борьба «против религии вообще». При этом Толанда отличала не то чтобы ненависть к религии, но, скорее, любовь к свободному научному исследованию. А таковому противодействовала религия; вот Толанду и «приходилось вести с ней решительную борьбу». Недостатком критики религии, производимой Толандом, как и недостатком в целом просветительской религиозно-философской мысли, было отсутствие «историзма». И хотя, доказывая ряд своих сентенций, Толанд размышлял о жизни, нравах, быте и культуре людей древности, «все его исторические изыскания проникнуты какой-то неподвижностью». Рассуждения Толанда, в представлении Тымянского, сводились к тому, что «нет ничего нового под солнцем, а есть только количественные изменения». Эта идея была лейтмотивом сочинения Толанда «Адеисидемон»² («Адейсидемона» у Тымянского. – В.Я.). Ливий³ здесь был превращен «в атеиста». Помимо этого, в приложенном к «Адеисидемону» сочинении, посвященном вопросу происхождения евреев⁴, Толанд, опираясь на доводы Страбона, пытался обосновать то, что воззрения Моисея⁵ являлись пантеистскими по существу. Толанд говорил так же о том, что «вероучения и религиозные обряды» иудеев

¹ В «Христианстве без тайн» – это Глава 6 «Когда, почему и кем были введены в христианство таинств» из Раздела III «О том, что в Евангелии нет ничего непостижимого или недоступного разуму» [3. С. 173–183].

² «Адеисидемон» буквально переводится как «несуеверный». Это слово сконструировал Толанд, прибавив отрицательную приставку «а» к древнегреческому слову «деисидемон» (греч. “δαισιδαίμων” – «суеверный»).

³ Тит Ливий / Ливий (Titus Livius; 59 г. до н.э. – 17 г. н.э.) – древнеримский историк.

⁴ Adeisidaemon, sive Titus Livius a superstitione vindicatus. Autore J. Tolando. Annexae sunt ejusdem Origines judaicae. Hagae-Comitis, 1709 (полное оригинальное название: “Origines judaicae sive, Strabonis, de Moysae et religione judaica historia, breviter illustrata”; «Иудейские древности, или История Страбона о Моисее и иудейской религии». Издано под одной обложкой с «Адеисидемоном» в 1708 и 1709 гг.).

⁵ Страбон (греч. Στράβων, лат. Strabon; ок. 64/63 г. до н.э. – ок. 23/24 г. н.э.) – древнегреческий географ, историк. Моисей / Моше – согласно Библии – первый пророк Бога, законодатель, предводитель еврейского народа (ивр. מֹשֶׁה [moshe] – этимология спорна, традиционно – «взятый из воды», греч. Μωϋσῆς, Μωϋσῆς, лат. Moyses; предположительно – 2-я пол. II тыс. до н.э.).

представляли собой заимствования из религий соседних языческих народов и отчасти из египетской религии [4. С. 46].

Менее пространны размышления Тымянского о «Пантеистиконе». Согласно Тымянскому, в начале литературной и публицистической деятельности Толанд проповедовал деизм, сохраняя «еще веру в откровение»; потом «он переходит от деизма к проповеди свободомыслия и, наконец, становится пантеистом, а затем переходит к атеистам и материалистам». Однако жизнь приучила Толанда к осторожности в высказывании своих мыслей. Так, в некоторых своих сочинениях Толанд, испытывая настоящие гонения, «стал склоняться к учению об экзотерической и эзотерической философии» [Там же. С. 47]. Но он не хотел «проповедовать две истины: одну для народа, а другую для посвященных». Толанд, по предположению Тымянского, выступал за «признание необходимости нелегального состояния философии». Все это и обусловило анонимное издание «Пантеистикона» малым тиражом. Здесь, согласно Тымянскому, повествуется «о нелегальных философских обществах» Европы и Лондона, созданных пантеистами; при этом Толанд указывал на то, «что лишь обычай – тиран языков – противопоставляет пантеистов атеистам». Впрочем, как отметил Тымянский, факт существования таких обществ недоказуем, «хотя духовенство, узнав об этой книге, подняло страшный шум по этому поводу» [Там же. С. 48].

А.В. Щеглов¹ анализировал компоненты религиозно-философских идей Толанда в статье «Материализм Джона Толанда», опубликованной в журнале «Под знаменем марксизма» [5]. Статья Щеглова состоит из восьми пунктов (I–VIII) без специальных подзаголовков [5. С. 136–137, 137–141, 142, 142–147, 147–149, 149–153, 153–154, 154–157]. В статье кратко освещаются основные вехи жизни и деятельности Толанда, излагаются некоторые философские, религиозно-философские, политические и другие идеи из ряда его сочинений. Щеглов причислил Толанда к лучшим представителям деизма, которые «через деизм пришли к более или менее полному разрыву с религией и к материализму». Продолжая характеризовать Толанда в таком же духе, Щеглов писал о Толанде как о крупнейшем представителе «материалистической линии в деизме, бесстрашном и непримиримом борце против теологии, схоластики и идеализма». По Щеглову, Толанд – ученик и последователь Локка, превзошедший своего учителя в деле критики религии, поднявшийся «до атеизма и материализма». Согласно Щеглову, Толанд также являлся заслуженным преемником «великих материалистов Бэкона² и Гоббса», стоял у истоков «движения „свободомыслящих“ (free-thinker)» [Там же. С. 136].

Описание конкретных религиозно-философских идей Толанда Щеглов выполнил по таким его сочинениям, как «Христианство без тайн», «Письма к Серене», «Адеисидемон», «Пантеистикон».

Щеглов кратко осветил некоторые аспекты истории создания и опубликования сочинения «Христианство без тайн» («Христианство без таинств» у Щеглова. – В.Я.) [5. С. 138]. По мнению Щеглова, произведенная Толандом в «Христианстве» критика религии имела прототипом критику религии в «Ра-

¹ Щеглов, Алексей Васильевич (1905–1996) – советский, российский философ, историк философии. Работал научным секретарем Института философии АН СССР; был заведующим профильными кафедрами в вузах Перми, Кишинева.

² Бэкон, Фрэнсис (Francis Bacon, Viscount Saint Alban / Sir Francis Bacon; 1561–1626) – английский государственный деятель, философ, правовед.

зумности христианства» Локка¹. Однако, по замечанию Щеглова, Толанд в рассматриваемом сочинении не проявил себя как атеист. Ведь он отрицал «не [Б]ога, а только существующие религии, в основном придерживаясь позиций деизма», хотя, согласно Щеглову, в эпоху Толанда эти идеи являлись экстраординарными по смелости и последовательности выступлениями, обличающими религию и духовенство.

Щеглов полагал, что данная в «Христианстве без тайн» критика религии была шире критики религии, произведенной представлявшими деизм Черберри² и Локком. По Щеглову, «Толанд делает выпады против всемогущества [Б]ога, отрицая возможность чудес: [Б]ог всемогущ лишь в том смысле, что может выполнить все, что возможно по законам природы и разума». Толанд усомнился также в Божественном происхождении Священного Писания [Там же].

Давая общую характеристику религиозно-философских идей Толанда, Щеглов отметил, что в религиозном вопросе «Толанд, в общем, приблизился к атеизму». От деистской рационалистической критики религии, произведенной в сочинениях начального этапа творчества, в работе «Письма к Серене» Толанд «возвышается до атеизма». Впрочем, в «Пантеистиконе» он причислил себя к пантеистам. Однако, как считал Щеглов, в названном произведении Толанд все равно высказывал атеистические идеи, «лишь прикрытые религиозно-мистической терминологией и эзотерической, доступной лишь для „избранных“, формой».

Последнее обстоятельство вполне объяснимо более чем негативным отношением западноевропейского общества эпохи Толанда к атеистам и еретикам. Как полагал Щеглов, признавая, что уничтожить суеверие в его время невозможно, Толанд призывал всех бороться с данным явлением. При этом нужно скрывать свои мысли и устремления. Толанду было присуще понимание политической роли религии, он «боролся против нее как против одного из оплотов общественной реакции». Щеглов считал, что, развивая идеи деизма, Толанд стал мыслить как атеист. Так, в другом своем сочинении – «Адеисидемон» («Адейсидемон» у Щеглова. – В.Я.) – Толанд «прямо говорит, что атеизм лучше суеверия». Хотя, по признанию Щеглова, Толанд и не был последовательным атеистом [Там же. С. 142].

Работы 50–80-х гг. XX в.

К.И. Салимова³ трактовала своеобразие компонентов религиозно-философских идей Толанда в статье «Материализм Дж. Толанда», опубликованной в журнале «Вопросы философии» [6]. Статья Салимовой состоит из введения и трех пунктов без нумерации и специальных подзаголовков; пункты обозначены «звездочками» (***) [6. С. 104–105, 105–108, 108–115, 115–

¹ Щеглов имел в виду сочинение Локка «The Reasonableness of Christianity, As Delivered in the Scriptures» («Разумность христианства, каким оно представлено в Священном Писании»), опубликованное в 1695 г.

² Черберри / Герберт из Черберри, Эдуард / Герберт (Херберт) Черберри, Эдуард (Edward Herbert of Cherbury / Edward Herbert, 1st Baron Herbert / Baron Herbert of Castle Island; 1583–1648) – английский философ, государственный деятель, поэт.

³ Салимова, Кадрия Исмаиловна (Кадрия-Улькер Исмаил кызы, азерб. Qədiriyyə-Ülkər İsmail qızı Səlimova; 1924–2013) – доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования; советский и российский философ, теоретик педагогики. Работала в структурах Академии педагогических наук СССР, затем – Российской академии образования.

116]. В статье кратко освещаются основные вехи жизни и деятельности Толанда, излагаются некоторые философские, религиозно-философские, политические и другие идеи из ряда его сочинений. По мнению Салимовой, Толанд являлся «одним из наиболее выдающихся представителей послереволюционного материализма в Англии»¹ [Там же. С. 104], а также «одним из основоположников английского свободомыслия, которое тесно переплеталось с передовыми для того времени политическими идеями» [Там же. С. 105]. Как считала Салимова, в политической сфере Толанд защищал политические свободы и распространял идеи доктрины «о естественном праве человека», а в религиозной сфере выступал за свободу вероисповедания и распространял идеи доктрины «о естественной религии». Согласно Салимовой, к тезисам и положениям «свободомыслящих», говоривших от имени «наиболее левых демократических элементов английской буржуазии», с враждой относились и Церковь, и официальные власти, остальная буржуазия и новое дворянство. Это было связано с усилением в послереволюционной Англии религиозных настроений. Вообще, «[в] отличие от идеологов французской буржуазии, которые выступали против религии открыто, смело и решительно под флагом воинствующего атеизма, отдельные представители английской прогрессивной буржуазии выступали против религии под знаменем деизма, который, по определению Маркса и Энгельса, был наиболее удачным и легким способом отделаться от религии, по крайней мере для материалиста»² (см. у Салимовой ссылку; см. ниже обзор идей Быховского. – В.Я.).

С учетом вышесказанного, по мнению Салимовой, критика религии проводилась Толандом в удобной форме деизма. И для исследователей Толанд в первую очередь является представителем деизма. Но содержание его религиозно-философских идей не определялось одним деизмом. Оценки религии Толандом претерпевали изменения, а в позднейших его сочинениях можно встретить «атеистические высказывания». В понимании Салимовой, по сравнению со всеми английскими материалистами своего времени, Толанд «наиболее решительно выступал против религии» [Там же. С. 106].

Описание конкретных религиозно-философских идей Толанда Салимова выполнила по таким его сочинениям, как «Христианство без тайн», «Письма к Серене», «Пантеистикон».

Согласно Салимовой, в дейстском ключе написано сочинение «Христианство без тайн», в котором Толанд к тому же изложил свои воззрения о познании окружающего мира. В данной работе он акцентировал внимание на том, что мир познается человеком посредством чувственных данных и разу-

¹ Как можно догадаться, Салимова имела в виду Английскую революцию и «Славную революцию». Английская революция (“English Civil War”) – серия социально-политических и религиозно-политических конфликтов в Англии в 1640–1660-х гг. По сути, являлась преступным и кровавым государственным переворотом, проявившимся в тяжелейших гражданских войнах и религиозных противостояниях, в долговременных внутривнутриполитических неурядицах. В советской историографии – Английская буржуазная революция. «Славная революция» (Glorious revolution / Revolution of 1688 / Bloodless Revolution) – процесс установления парламентской монархии в Англии в 1688–1689 гг.

² Маркс, Карл Генрих (Karl Heinrich Marx; 1818–1883) – немецкий философ и социолог, экономист еврейского происхождения. Энгельс, Фридрих (Friedrich Engels; 1820–1895) – немецкий философ и историк, политический деятель; друг и единомышленник К. Маркса. Салимова сослалась на размышления Маркса и Энгельса из их сочинения “Die heilige Familie, oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer & Consorten” («Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании»), опубликованного в 1845 г.

ма. Как полагала Салимова, будучи твердо уверенным «в силе человеческого разума, Толанд тем самым противопоставляет слепой вере разумное познание и утверждает, что критерием для суждения о [Е]вангелии, чудесах и прочих религиозных атрибутах должен быть разум».

Кратко характеризуя другое сочинение Толанда – «Письма к Серене», а конкретно первые три письма из этого сочинения, Салимова отметила, что в нем «Толанд до известной степени предвосхитил мысль Фейербаха¹ о том, что не боги создали людей, а люди богов» [6. С. 106]. В четвертом и пятом письмах, согласно Салимовой, Толанд изложил свои материалистические взгляды; предметом его рассуждений в этих письмах были материя и природа движения. В обозначенных письмах Толанд хотел «помочь естествознанию окончательно освободиться от оков церковно-теологического мировоззрения». Тот противоречивый, по мнению Салимовой, факт, что в итоговых размышлениях пятого письма Толанд высказался о Боге как о причине «всего», она была склонна объяснять тем, что философ стремился «несколько смягчить резкость своего поведения», предложив расценивать этот факт «как некоторую уступку [Ц]еркви». К тому же в данной противоречивости Салимова усматривала проявление приверженности Толанда деизму.

Обратившись к краткому обзору «Пантеистикона», Салимова отметила, что в нем «Толанд полностью отрицает существующие религии», говорит о новой религии, средоточием которой являются наука, философия. Здесь, согласно Салимовой, Толанд выдвинул утверждение, согласно которому Бог есть природа. А ведь уже в своих первых сочинениях, как напомнила Салимова, Толанд высказывал соображения о том, «что отождествление [Б]ога с природой есть не что иное, как прямой путь к атеизму» [Там же. С. 107]. То есть «та борьба, которую в течение всей своей жизни вел Толанд с религией, привела его от деизма к атеизму» [Там же. С. 108].

А.М. Деборин² интерпретировал компоненты религиозно-философских идей Толанда в главе «Английский деизм и „вольномудцы“». Джон Толанд (1670–1722)», опубликованной в составе первого тома его же фундаментального исследования «Социально-политические учения нового и новейшего времени» [7]. В главе кратко освещаются некоторые обстоятельства жизни и деятельности Толанда, излагаются некоторые философские, религиозно-философские, политические и другие идеи из ряда его сочинений.

Описание конкретных религиозно-философских идей Толанда Деборин выполнил по таким его сочинениям, как «Племя левитов»³, «Христианство без тайн», «Письма к Серене», «Пантеистикон».

Осмысляя в главе некоторые религиозно-философские и другие идеи Толанда, Деборин также кратко изложил связанные с ними идеи Чербери, Гоббса, Локка, Овертона, Коллинза⁴, иных интеллектуалов. Определенное не-

¹ Фейербах, Людвиг Андреас фон (Ludwig Andreas von Feuerbach; 1804–1872) – немецкий философ и моралист, религиовед; оказал идейное влияние на К. Маркса.

² Деборин, Абрам Моисеевич (настоящая фамилия – Иоффе; 1881–1963) – доктор философских наук, профессор, академик Академии наук СССР; российский и советский философ-марксист.

³ Tribe of Levi. London, 1691 («Племя левитов»; полный текст утрачен. – В.Я.).

⁴ Овертон, Ричард (Richard Overton; годы общественной активности: 1631–1664) – английский памфлетист и политический деятель, один из лидеров движения левеллеров. Левеллеры (англ. “levellers”/“levelers”, букв. – «уравнители») – радикальное движение (партия) во время Английской революции 1640–1660-х гг.. Выступали за установление республики. Коллинз, Энтони / Джон-Энтони (Антони) (Anthony / John-Anthony Collins; 1676–1729) – английский философ, теолог-деист; друг Дж. Локка.

удобство представляет весьма частое отсутствие в главе ссылок на сочинения Толанда при обсуждении Дебориным идей из этих сочинений.

Толанда Деборин причислил к крупнейшим представителям «английского материализма конца XVII и первой четверти XVIII в.», к вольнодумцам – (free-thinkers), критиковавшим положительную религию и конкретно христианство. При этом Толанд, не в пример другим представителям английского свободомыслия, «не удовлетворился деизмом – этой религией буржуазии – и пошел дальше в направлении к материализму». Его материалистическое мировоззрение близко мировоззрению Спинозистов, а также материалистов периода революции в Англии и приверженцев гносеологии Локка [7. С. 212].

По замечанию Деборина, в своем первом сочинении – «Племя левитов», написанном в стихах, Толанд выступил с критикой священнослужителей. Сочинение «Христианство без тайн», согласно Деборину, послужило новым стимулом разработки и подъема деистских воззрений в Англии [Там же. С. 213]. Сочинение «Письма к Серене», в отличие от других произведений Толанда, обладает «определенно материалистическим характером». Вообще, по мысли Деборина, Толанд значительным образом повлиял «на все европейское [П]росвещение главным образом через посредство французского деизма и материализма». Если в начале творческого пути идеи Толанда были пронизаны теологическим рационализмом, то, как полагал Деборин, в дальнейшем, продвигаясь в выстраивании своих идей «все дальше влево», Толанд пришел к материализму [Там же. С. 216].

В сочинении «Пантеистикон» Толандом описывается «новое натуралистически-материалистическое учение». Однако Деборин считал, что это учение овеяно мистицизмом из-за стремления Толанда «установить нечто вроде религиозного культа». Продолжая характеризовать идеи «Пантеистикона», Деборин подчеркнул, что Толанд подобно большинству «просветителей XVII и XVIII вв.» не доверял «толпе», народу и не сомневался в неискоренимости суеверия. Это было ошибкой и трагедией Толанда [Там же. С. 217].

Тем не менее, подытоживая, Деборин отметил следующее: «[у] Толанда мы находим призыв к борьбе с тиранией, с „божественным правом“ королей во имя свободы и права народов. Толанд разоблачает политическую роль духовенства и религии, вскрывает их внутреннюю связь, не будучи, однако, в состоянии добраться до последних корней как политики, так и религии» [Там же. С. 218].

Б.В. Мееровский¹ истолковывал компоненты религиозно-философских идей Толанда во вступительном эссе «Английский материализм XVIII в.», опубликованном в первом томе трехтомного собрания произведений «Английские материалисты XVIII в.» [8]. В эссе кратко освещаются основные вехи жизни и деятельности Толанда, Коллинза, Гартли и Пристли², излагаются некоторые естественнонаучные, философские, религиозно-философские, политические и другие идеи из ряда их сочинений, а также связанные с этими

¹ Мееровский, Борис Владимирович (1922–1996) – доктор философских наук, профессор; советский и российский историк философии. Работал на кафедре философии Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова – Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.

² Гартли, Дэвид / Давид (David Hartley; 1705–1757) – английский врач, философ и психолог. Пристли, Джозеф (Joseph Priestley; 1733–1804) – английский священник-нонконформист, физик, химик, политический мыслитель. Нонконформисты (англ. “nonconformists”, лат. “non” – «не» и “conformis” – «соответственный», «однообразный») – члены английских протестантских церковных объединений, оппозиционных Англиканской Церкви.

идеями положения и размышления широкого круга интеллектуалов и мыслителей.

Описание конкретных религиозно-философских идей Толанда Мееровский выполнил по таким его сочинениям, как «Христианство без тайн», «Письма к Серене», «Адеисидемон», «Клидофорус», «Пантеистикон»¹ [8. С. 33–39]. В начале указанного фрагмента эссе Мееровский произвел краткий экскурс в западную историографию религиозно-философских идей Толанда, Коллинза, Гартли и Пристли.

Согласно Мееровскому, по сравнению с другими деистами-материалистами своего времени, Толанд являлся «[н]аиболее радикальным и последовательным борцом против религии». В «Христианстве без тайн» Толанд защищал разум, осуждал слепую веру, изобличал священнослужителей за насаждение ими суеверий, мистики и фанатизма. Но окончательно здесь Толанд религию еще не отверг. Лишь в последующих сочинениях он перешел к последовательному материализму и на его основе производил критику религиозного вероучения и культа [Там же. С. 35].

Как полагал Мееровский, критикуя религиозное мировоззрение, Толанд исходил из своего же положения «о неразрывной связи материи и движения, о *самодвижении* материи» (курсив в тексте. – В.Я.). Он не мог не понимать, что в данном положении содержится вызов идее «божественного первотолчка»; относящуюся к указанному положению проблематику Толанд обсуждал, в частности, в «Письмах к Серене», в «Пантеистиконе».

По мысли Мееровского, в «Письмах к Серене» Толанд выступил против предрассудков относительно бессмертия души, стремился разобраться в том, как возникли идолопоклонство, богопочитание и религиозные обряды. Причем свою критику он распространял и на языческие религии, и на христианство (см. у Мееровского ссылку. – В.Я.). Другое сочинение Толанда – «Адеисидемон», – как полагал Мееровский, может прояснить характер «атеистических воззрений» Толанда. Здесь Толанд хотел в первую очередь «раскрыть политическую роль религии как орудия укрепления власти государей над своими подданными с помощью обмана и насилия» [Там же. С. 36]. «Адеисидемон» скреплен идеей, согласно которой суеверие (в понимании Мееровского, для Толанда – любая религия) вредно для людей, вследствие чего «атеизм следует предпочесть суеверию» [Там же. С. 36–37]. Но, как отметил Мееровский, в рассматриваемом сочинении Толанд не был последователен в своем атеизме. Ибо, размышляя здесь, Толанд нашел замену суеверию и атеизму в «“истинной религии”, которая находится посередине между этими двумя крайностями» (см. у Мееровского ссылку – В.Я.).

Мееровский считал, что вышеуказанные идеи Толанда о суеверии и атеизме подводят нас к «пункту, который составляет наибольшую трудность для понимания сущности и специфики толандовского атеизма». Действительно, во всех своих работах – от «Писем к Серене» до «Пантеистикона» – Толанд с настойчивостью выдвигал соображение о том, что необходимо трансформировать религию (подразумевались и язычество, и христианство), фундированную суеверием, обманом и заблуждением, в религию, фундированную разумом. Но к этому призывали все английские деисты XVII–XVIII вв. Толь-

¹ Clidoforus, or of the Exoteric and Esoteric Philosophy // Tetradymus. London, 1720 («Клидофорус, или об экзотерической и эзотерической философии»).

ко вот сам Толанд, как подчеркнул Мееровский, не относил себя к деистам, он говорил о себе как о свободном мыслителе. Толанд также говорил о себе как о пантеисте – в «Пантеистиконе» [8. С. 37]. Упомянув ряд идей Толанда о мире, материи, движении и т.д., Мееровский пришел к заключению о лишь своего рода формальном использовании Толандом деистских терминов и стиля размышлений [Там же. С. 37–38].

Подытоживая, Мееровский акцентировал внимание на следующем: «...созданное Толандом учение о материи способствовало преодолению не только деистической, но и пантеистической концепции [Б]ога и природы. Свободомыслие Толанда выходит, таким образом, как за рамки пантеизма, так и за рамки деизма, хотя и несет на себе их следы (в особенности последнего). В своей критике религии Толанд ближе всех других английских мыслителей подошел к той исторической форме атеизма, которая была развита впоследствии французскими материалистами XVIII в.» [Там же. С. 39].

Б.Э. Быховский¹ рассуждал о компонентах религиозно-философских идей Толанда в статье «Лидер английского деизма» [9], опубликованной в журнале «Наука и религия». В статье кратко освещаются некоторые обстоятельства жизни и деятельности Толанда, излагаются некоторые религиозно-философские, философские и другие идеи из ряда его сочинений. Было отмечено, что Толанд испытал сильное идейное влияние со стороны Локка [Там же. С. 28–29]. Быховский констатировал также, что исторические судьбы материализма и атеизма взаимосвязаны, а данный факт подтверждают, в частности, идеи Толанда [Там же. С. 29], хотя Толанд наряду с другими английскими материалистами своей эпохи «не был и не мог быть атеистом в полном смысле этого слова». В Толанде Быховский видел сторонника деизма, с помощью которого, по Марксу и Энгельсу, материалист может «отделаться от религии» (см. у Быховского полную цитату из «Святого семейства» и ссылку в сноске. – *В.Я.*). Быховский напомнил также, что такие «основные формы антирелигиозной идеологии», как деизм, пантеизм и атеизм, «не всегда однозначно связаны с философским материализмом». Например, согласно Быховскому, основоположник деистского учения в Англии Чербери, как и последующие английские деисты Тиндал (Тиндаль в транскрипции Быховского. – *В.Я.*), Шефтсбери, Болингброк,² – были идеалистами. Также и в пантеизме можно выделить материалистическую и идеалистическую формы, и «даже явный атеизм может сочетаться с воинствующим антиматериализмом».

По мнению Быховского, Толанд и продолжатели его идей Коллинз, Гартли, Пристли являлись носителями «восходящего к Дж. Локку материалистического мировоззрения». Толанд, в частности, обогатил материализм многими новыми и ценными идеями. Философская доктрина Толанда не сводилась к метафизической или механистической формам материализма; обе формы, по мысли Быховского, Толанд резко критиковал. Однако у Толанда

¹ Быховский, Бернад Эммануилович (1898 / 1901–1980) – доктор философских наук, профессор; советский историк философии. Работал на кафедре философии Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

² Тиндал / Тиндаль, Мэтью (Matthew Tindal; ок. 1657–1733) – английский философ-деист, религиозный мыслитель. Шефтсбери / Шафтсбери, Энтони (Антони) Эшли Купер (Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl of Shaftesbury / Baron Cooper of Pawlett / Baron Ashley of Wimborne St Giles; 1671–1713) – английский политик и философ-деист. Болингброк, Генри Сент-Джон (Henry Saint John, 1st Viscount Bolingbroke; 1678–1751) – английский государственный деятель, философ-деист.

нельзя найти и «принципы перехода количества в качество и единства противоположностей, равно как и историзма в понимании развития природы и общества».

Как считал Быховский, решая основной вопрос философии, Толанд был верен принципу «материального единства мира». Например, говоря о мышлении, Толанд усматривал в нем проявление особенного движения «особого вида материи – мозга», полагая, что разум наделен способностью точного познания природы той или иной вещи. Согласно Быховскому, переход к разумному миропониманию возможен лишь после сокрушения «господствующего религиозного суеверия». Толанд был поглощен решением данной, конечно, невыполнимой в его эпоху, «идеологической задачи». Прямая и открытая критика христианства была чревата самыми серьезными последствиями. Как писал Быховский, нужны были «изошренная, дезориентирующая идеологическая стратегия и тактика, маскирующая истину. Антитеистические по своей сути убеждения Толанд вуалировал плотной сетью псевдорелигиозной словесности, сопровождая пропаганду достоверного знания лицемерными поклонами химерической вере» [9. С. 29].

Описание конкретных религиозно-философских идей Толанда Быховский выполнил по таким его сочинениям, как «Христианство без тайн», «Свободная Англия», «Письма к Серене», «Тетрадимус», «Клидофорус», «Пантеистикон»¹ и др.

Выявленные Быховским характеристики религиозно-философских идей Толанда из этих сочинений по содержанию и стилю очень близки к соответствующим характеристикам, отмеченным в работах советских специалистов, уже рассмотренных в настоящем обзоре. Следует акцентировать внимание на том, что во фрагменте статьи, посвященном изложению и комментированию идей из «Писем к Серене», Быховский отметил следующее: «В соответствии со своими материалистическими воззрениями Толанд решительно отверг бессмертие души, отрицал чудеса, несовместимые с познаваемыми разумом законами природы. Тем самым он ниспровергал [Б]ожественное всемогущество, якобы осуществляющее неосуществимое» [Там же].

Заключение

Таким образом, проведенный обзор позволил достичь **цели статьи**, а именно выявить встречающиеся в избранной советской историографии религиозно-философских идей Толанда основные характеристики обозначенных идей.

Во-первых, советские специалисты активно развивали положения о вкладе Толанда в учения деизма, пантеизма, материализма. Например, Толанд характеризовался как самый выдающийся и глубокий английский деист [4. С. 36], как лучший представитель деизма [5. С. 136]. Он аттестовывался советскими исследователями также как философ, причислявший себя к пантеистам [5. С. 142; 8. С. 37]. О Толанде писали как о крупнейшем представителе «английского материализма конца XVII и первой четверти XVIII в.»

¹ *Anglia libera, or the Limitation and Succession of the Crown of England*. London, 1701 («Свободная Англия»). *Tetradymus*. Containing 1. Hodegus... 2. Clidophorus... 3. Nypatia... 4. Mangoneutes... London, 1720 («Тетрадимус»; сочинение включало в себя 4 эссе: «Hodegus» («Ходегус»), «Clidophorus» («Клидофорус»), «Nypatia» («Ипатия»), «Mangoneutes»; здесь приведены сокращенные названия. – В.Я.).

[7. С. 212], одном «из наиболее выдающихся представителей послереволюционного материализма в Англии» [6. С. 104], носителе «восходящего к Дж. Локку материалистического мировоззрения» [9. С. 29].

Во-вторых, советские специалисты акцентировали внимание на том, что Толанд выступил с критикой религии в целом, а также христианства в частности. Например, Толанд характеризовался как философ, который боролся «против религии вообще» [4. С. 46], как философ, являвшийся «[н]аиболее радикальным и последовательным борцом против религии» [8. С. 35]. Он аттестовывался как философ, который, по сравнению со всеми английскими материалистами своего времени, «наиболее решительно выступал против религии» [6. С. 106]. Советскими исследователями отмечалось, что в эпоху Толанда некоторые его религиозно-философские идеи являлись экстраординарными по смелости и последовательности выступлениями, обличающими религию и духовенство [5. С. 138]. Толанда причисляли к вольнодумцам – (free-thinkers), критиковавшим положительную религию и конкретно христианство [7. С. 212]. Обращалось внимание на то, что «[а]нтирелигиозные по своей сути убеждения Толанд вуалировал плотной сетью псевдорелигиозной словесности» [9. С. 29].

В-третьих, советские специалисты практически единодушно фиксировали атеистическую направленность религиозно-философских идей Толанда (весьма часто при этом расходясь во мнениях о глубине атеизма Толанда). Например, указывалось, что Толанд «был атеистом и материалистом и в своих произведениях нисколько не пытался, подобно многим философам того времени, скрывать или замаскировывать свои взгляды» [4. С. 32]. Отмечалось, что Толанд, мысля как атеист, тем не менее не был последовательным атеистом [5. С. 142], он нашел замену суеверию и атеизму в «„истинной религии“, которая находится посередине между этими двумя крайностями» [8. С. 37], что Толанд наряду с другими английскими материалистами своей эпохи «не был и не мог быть атеистом в полном смысле этого слова» [9. С. 29]. Подчеркивалось также, что «та борьба, которую в течение всей своей жизни вел Толанд с религией, привела его от деизма к атеизму» [6. С. 108]. Конституировалось, что Толанд не был «в состоянии добраться до последних корней как политики, так и религии» [7. С. 218].

Литература

1. Толанд Дж. Избранные сочинения / пер. с англ. и лат. с предисл. А. Деборина. М. ; Л. : Гос. изд-во, 1927. LXVI, 192 с.
2. Английские материалисты XVIII в. : собрание произведений : в 3 т. М. : Мысль, 1967. Т. 1 / под общ. ред. и со вступ. ст. Б.В. Мееровского. 445 с.
3. Английское свободомыслие: Д. Локк, Д. Толанд, А. Коллинз / отв. ред., авт. вступ. ст. и коммент. Б.В. Мееровский. М. : Мысль, 1981. 302 с. (Научно-атеистическая библиотека).
4. Тымьянский Г. Джон Толанд // Под знаменем марксизма. 1924. № 10/11. С. 32–55.
5. Щеглов А. Материализм Джона Толанда // Под знаменем марксизма. 1938. № 10. С. 136–157.
6. Салимова К.И. Материализм Дж. Толанда // Вопросы философии. 1956. № 1. С. 104–116.
7. Деборин А.М. Английский деизм и «вольнодумцы». Джон Толанд (1670–1722) // Социально-политические учения нового и новейшего времени : в 3 т. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1958. Т. 1 : Социально-политические учения нового времени. С. 210–218.
8. Мееровский Б.В. Английский материализм XVIII в. // Английские материалисты XVIII в. : собрание произведений : в 3 т. М., 1967. Т. 1. С. 5–50.
9. Быховский Б. Лидер английского деизма // Наука и религия. 1981. № 9. С. 28–30.

Valentin V. Yakovlev, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation).

E-mail: v-yakovlev@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 149–162.

DOI: 10.17223/1998863X/55/16

THE LEGACY OF THE SOVIET HISTORIOGRAPHY OF JOHN TOLAND'S RELIGIOUS-PHILOSOPHICAL IDEAS

Keywords: John Toland; religious-philosophical ideas; Soviet historians of philosophy.

The article provides a chronological review of some basic provisions of the selected Soviet historiography of the religious-philosophical ideas of an original Irish philosopher John Toland (30.11.1670–11.03.1722). The works of leading domestic experts in Toland's philosophy – G.S. Tymyansky, A.V. Shcheglov, K.I. Salimova, A.M. Deborin, B.V. Meerovsky, B.E. Bykhovsky – are analyzed. These authors interpret Toland's religious-philosophical ideas as parts of their works. The author of this article notes that the study of this historiography is very relevant, because it allows developing a careful and respectful attitude to the heritage and traditions of national historical-philosophical knowledge and learning the research potential of the Soviet formational-evolutionary historiography of Toland's religious-philosophical ideas. The aim of the article is to identify the main characteristics of Toland's religious-philosophical ideas discussed in the selected Soviet historiography. As a result, the following was stated. First, Soviet specialists actively developed the provisions on Toland's contribution to the doctrines of deism, pantheism, and materialism. Second, Soviet specialists focused on the fact that Toland criticized religion in general, as well as Christianity in particular. Third, Soviet specialists almost unanimously noted the atheistic orientation of Toland's religious-philosophical ideas (very often disagreeing about the depth of Toland's atheism). The article is provided with a reference section in the form of short bibliographic descriptions of the first original editions of a number of Toland's works (*de visu*), short personalities, short dictionary and bibliographic entries (*de visu*). The reference section allows assessing the breadth of both Toland's religious-philosophical ideas and the historiographic materials considered in this article.

References

1. Toland, J. (1927) *Izbrannye sochineniya* [Selected Works]. Translated from English and Latin by A. Deborin. Moscow; Leningrad: Gos. izd-vo.
2. Meerovsky, B.V. (ed.) (1967a) *Angliyskie materialisty XVIII v.: sobranie proizvedeniy: v 3 t.* [English materialists of the 18th century: Collection of works: in 3 vols]. Vol. 1. Moscow: Mysl'.
3. Meerovsky, B.V. (ed.) (1981) *Angliyskoe svobodomyслиe: D. Lokk, D. Toland, A. Kollinz* [English freethinking: D. Locke, D. Toland, A. Collins]. Moscow: Mysl'. pp. 79–214.
4. Tymyansky, G. (1924) Dzhon Toland [John Toland]. *Pod znamenem marksizma*. 10/11. pp. 32–55.
5. Shcheglov, A. (1938) Materializm Dzhona Tolanda [John Toland's materialism]. *Pod znamenem marksizma*. 10. pp. 136–157.
6. Salimova, K.I. (1956) Materializm Dzh. Tolanda [John Toland's materialism]. *Voprosy filosofii*. 1. pp. 104–116.
7. Deborin, A.M. (1958) *Sotsial'no-politicheskie ucheniya novogo i noveyshego vremeni: v 3 t.* [Socio-political teachings of the new and modern times: in 3 vols]. Vol. 1. Moscow: USSR AS. pp. 210–218.
8. Meerovsky, B.V. (1967b) *Angliyskie materialisty XVIII v.: sobranie proizvedeniy: v 3 t.* [English materialists of the 18th century: Collection of works: in 3 vols]. Vol. 1. Moscow: Mysl'. pp. 5–50.
9. Bykhovsky, B. (1981) Lider angliyskogo deizma [Leader of English deism]. *Nauka i religiya*. 9. pp. 28–30.

СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.4

DOI: 10.17223/1998863X/55/17

K.B. Lozovskaya, A.S. Menshikov, E.S. Purgina¹

“HORIZON OF THE FUTURE”: REALITIES AND ASPIRATIONS OF TOP-RANKING BRICS UNIVERSITIES (ANALYSIS OF MISSION STATEMENTS)²

Educational systems are key actors in social modernization. In order to assess whether BRICS can become an alternative platform for new international collaboration, the authors investigate how the top universities in BRICS countries describe their national and international role. The authors focus on the mission statements which articulate the universities' goals and aspirations.

Keywords: BRICS, higher education systems, top universities, world university rankings, mission statements.

Introduction

Educational systems are fundamental institutions of modern societies, and their development played a crucial role in the process of social modernization. P. Wagner suggested analyzing social modernization by investigating historical experience of societies and the interpretations societies give to their specific experience [1]. These regional variations of modernity can no longer be analyzed in terms of approximation to the Western model (modernization as westernization), but have to be approached as a plurality of modernity. In this light, BRICS appears to have a potential of creating a new and rather novel variant of modernity, because it is not a regional association based on proximity, but an association of common interests and shared aspirations. In M. Khomyakov's view, BRICS can become an alternative model or rather a promise of an alternative to the current global inequalities, reproduced and reinforced by the global educational market, “ranking race” and North-South educational cooperation³ [2].

¹ **Авторы:** К.Б. Лозовская, А.С. Меньшиков, Е.С. Пургина.

Название статьи: «Горизонты будущего»: реалии и надежды высокорейтинговых университетов БРИКС (анализ миссий).

Аннотация. Образовательные системы являются ключевыми акторами социальной модернизации. С целью ответить на вопрос, могут ли страны БРИКС стать альтернативной платформой для новых форм международного сотрудничества на современном этапе модернизации, мы обратились к миссиям высокорейтинговых университетов БРИКС, в которых ими сформулированы их роль в национальном и международном образовательном пространстве, цели и устремления.

Ключевые слова: БРИКС, системы высшего образования, ведущие университеты, мировые рейтинги университетов, миссии.

² This research was supported by the Russian Science Foundation grant to the Ural Federal University (No. 18-18-00236). We are also grateful to our colleague Nadezhda Ermakova from the Ural Federal University for assistance with translation from Portuguese.

³ Dominating model of the university interaction is the model of “vertical” collaboration of the North and South, in which Northern expertise and standards are exchanged for human (students) and material (funding) resources of the Southern nations [2. P. 340].

The notion of self-understanding developed by Wagner can be a very useful instrument in testing whether there is any tendency among BRICS universities to embark on a mission to design and offer an alternative to the current global educational market. In a more recent formulation, Wagner points out that “the collectivity that exercises its autonomy mobilizes problem-oriented reflexivity, and is capable of acting upon itself in a consciously self-altering way” [3. P. 7]. Such a collectivity can be of a different magnitude – a nation, a regional actor, but also a university which has to deal with the challenges of present global – neoliberal and neocolonial–injustices. The university has “two possible strategies here: the first one is an attempt to gain a proper share of the global educational market through active participation in the worldwide excellence race, while the second one is rather a quest for an alternative vision” [2. P. 335]. In order to assess the viability of the claim that BRICS can become an alternative platform for the global international collaboration and that BRICS can be both the voice and the beacon for the Global South, one has to investigate how the top higher education institutions in BRICS countries understand themselves and their values and, further, how they describe their role in the respective country, region, and on the globe. Therefore, in our analysis, we are going to focus on the mission statements and other similar documents which describe a university’s goals, values, commitments and assess which of the two strategies described above prevail in the articulations of the self-understanding of the BRICS top universities.

National systems of higher education in BRICS

While some researchers point out differences among BRICS and doubt that any valid comparison can be made of this ‘marketing artifice’ [4], others highlight the general trends in BRICS and show that these countries to a considerable extent face similar challenges and have similar goals in higher education [5, 6]. In our view, it is these challenges and the way they are addressed that should be the main focus of scholarly analysis.

In the face of the growing demand for higher education and the continuing increase in student enrolment numbers, on the one hand, and the lack of resources to satisfy this demand, on the other, the governments in BRICS countries choose to ‘invest more in national flagship institutions to make them engines for global competition’ [7. P. 1]. This policy exacerbates the problem of social inequality all BRICS countries have because it strengthens the differentiation between ‘mass’ institutions of higher education, attended by the vast majority of students, and public ‘elite’ universities [8]. HE systems in BRICS are largely shaped and regulated by the state through various control mechanisms, targeting admissions, tuition fees, curriculum, examinations, which produces administrative and management problems as “internal governance tends to be highly bureaucratic and very often rather inefficient” [8. P. 3]. Most BRICS universities of China, Russia and Brazil introduce courses in English and incentivize researchers to publish more in English, the lingua franca of the global academic community, but have to “balance between striving to achieve global recognition, on the one hand, and sustaining a national and regional academic culture, on the other” [8. P. 50]. In the modern world, universities simultaneously belong to the global HE market and are rooted in their own societies and national HE systems [9. P. 14]. In the following sections of this article, we are going to look at identity narratives of the leading BRICS universities

to gain a better understanding of how they view their roles in addressing the above-described challenges in the national and international context.

Mission statements as public identity narratives and their audiences

Modern HEIs are expected to make their missions (existing in various formats such as mission statement or vision) publicly available: in most cases, they are published on universities' official websites. In this article, we are going to treat mission statements and other similar documents as universities' *'identity narratives'*, telling about the "reason why the institution exists within a society" [10; 11. P. 2]. Mission statements reflect "how organizations see themselves as well as how they want others to view them" [11. P. 2]. Seeber et al. [Ibid.] make a very important point: apart from the goals and means of achieving them, missions also point to (sometimes indirectly) the stakeholders or groups of stakeholders the university depends on in order to survive and whose demands it is expected to meet, which often reflects the actual priorities the university's leadership make in their policy- and decision-making. In the case of BRICS, the key stakeholders are governmental agencies (funders); industry (beneficiaries); students and parents (as users and customers); and the general public (opinion leaders, NGOs). Thus, instead of a single identity, most universities appear to have many identities oriented towards different stakeholders, which raises a question about how universities balance their 'multiple organizational identities' [12] and how this process is reflected in the narratives they publish on their websites.

Most universities' mission statements are 'either excessively vague or unrealistically aspirational or both' and use vague, abstract and general language [13. P. 457]. C.C. Morphew and M. Hartley believe that such vagueness is intentional as missions perform primarily the ritual or *legitimizing function*, showing that the university understands 'the rules of the game' [13. P. 458]. This way, universities are trying to find niches to position themselves in the eyes of external stakeholders [14]. In addition, mission statements use vague phrasing to appeal to as many different stakeholders as possible so that stakeholders could 'infer differing directives' [15. P. 12].

The second function of mission statements – that of *differentiation* – stands in opposition to the first: many HEIs strive to "carve out the 'competitive' position of the organization in the educational market" [16. P. 101]. To balance these two goals, HEIs devise missions that would combine indications of their similarity and uniqueness or sameness and difference at the same time [14].

Content and discourse analysis of top BRICS universities' mission statements

We used the QS BRICS University Ranking to select universities for our sample. For each BRICS country, we chose ten universities that occupied top positions in the ranking as of August 2019. Thus, each national subgroup of universities in the sample comprises ten institutions (Table 1).

Mission statements were collected from the universities' official websites. We started from the main page, 'About Us' and/or 'General Information' sections, and, if we failed to find the texts this way, we used the search function on the website by entering the key terms such as 'mission', 'values', and so on. If no results were found, we assumed that the university did not have a publicly available mission at

the time when the analysis was conducted (in this case the mission was marked as ‘unavailable’ for this university). We assumed that the mission statements of Brazilian, Chinese and Russian universities in the native language were oriented towards the domestic audiences, while the mission statements in English were intended for international audiences. Thus, when possible, we also compared the content of the universities’ mission statements in the native language with their English versions: this applied to Brazilian, Chinese and Russian universities. For Indian and South African universities, we used only the English version since in both countries English is used in official discourse and as a language of instruction. At the stage of content analysis, the authors coded the text independently and then discussed their findings, thus ensuring that the coding scheme should be applied consistently to the full sample. The content analysis was supplemented with discourse analysis as in certain cases we found significant differences in the meanings of specific concepts (e.g., ‘excellence’).

*Table 1. Top universities in the QS BRICS University Ranking (as of August 2019)**

Brazil	Russia	India	China	South Africa
Universidade de São Paulo (USP) (14)	Lomonosov State University (MSU) (6)	Indian State University of Bombay (IITB) (8)	Tsinghua University (THU) (1)	University of Cape Town (UCT) (22)
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) (16)	Saint Petersburg State University (SPbU) (11)	Indian Institute of Science (IISc) (10)	Peking University (PKU) (2)	University of Witwatersrand (Wits) (40)
Universidade Estadual Paulista (UNESP) (29)	Novosibirsk State University (NSU) (12)	Indian Institute of Technology Madras (IITM) (17)	Fudan University (FDU) (3)	University of Pretoria (UP) (45)
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (32)	Tomsk State University (TSU) (19)	Indian Institute of Technology Delhi (IITD) (18)	University of Science and Technology of China (USTC) (4)	Stellenbosch University (SU) (51)
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) (43)	Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) (21)	Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) (23)	Zhejiang University (ZJU) (5)	University of Johannesburg (UJ) (61)
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) (49)	National Research Nuclear University (MEPhI) (30)	Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) (25)	Shanghai Jiao Tong University (SJTU) (7)	University of KwaZulu-Natal (UKZN) (85)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (53)	Bauman Moscow State Technical University (BMSTU) (33)	University of Hyderabad (UoH) (36)	Nanjing University (NU) (9)	Rhodes University (ROSS) (126)
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) (57)	National Research University Higher School of Economics (HSE) (37)	University of Delhi (DU) (42)	Sun Yat-sen University (SYSU) (13)	University of the Western Cape (UWC) (139)
Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS) (59)	National Research Tomsk Polytechnic University (TPU) (39)	Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) (47)	Wuhan University (WHU) (15)	North-West University (NWU) (170)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (66)	Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (44)	Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) (48)	Harbin Institute of Technology (HIT) (20)	University of the Free State (UFS) (180)

*Source: compiled on the basis of QS BRICS University Rankings 2019; each university’s position in the ranking is shown in parentheses.

To analyze mission statements and other similar documents, we relied on the methodology described in [12] and in [17]. Following these studies, we identified seven main clusters of values: excellence / quality / efficiency, social justice/diversity, third mission, academic orientation, internationalization / global impact, evaluation, and history. The category ‘history’ was added because our preliminary analysis had shown that universities often tend to refer to history and / or traditions in their mission statements or other kinds of identity narratives (see Table 2 for clusters and their descriptions).

Table 2. Clusters of themes used for content analysis

	Cluster	Description
1	Excellence / quality / efficiency	High-quality education services and research, reputation, status, university rankings, world-class universities
2	Social justice / diversity	Inclusivity, equal access to HE and equity, lifelong learning
3	Third mission / social efficiency	Technology and innovation transfer, economic impact, serving local, regional and state economies, production of human capital for the country’s economy, sustainability
4	Academic orientation	Academic freedom, collegiality, trust and respect
5	Internationalization / global impact	Networking, international partnerships and collaborations, international visibility, academic mobility, openness
6	Evaluation	Transparency, accountability
7	History	Continuity, traditions, year of foundation, milestone dates, founding documents, distinguished alumni and faculty members

If significant differences in the native-language and English-language versions of mission statements were found (as was the case of Chinese universities), these were discussed separately. First, the universities’ missions were considered within their national subgroups, and then comparisons were drawn between the subgroups.

Brazilian universities

The subgroup of Brazilian universities includes two private Catholic universities – PUC-Rio and PUC-SP, the rest of the universities are public.

Most universities emphasized their adherence to the values of three clusters: third mission/outreach (9 universities), excellence (7), and history (8). These were followed by internationalization/global impact and social justice/diversity (four each). Relatively few mission statements displayed values from the categories ‘Academic Orientation’ (3) and ‘Evaluation’ (1).

Some differences between the content in Portuguese and in English were detected. No English pages for PUC-SP and UFRJ were found. The English version of UFMG’s website offers only the general ‘Presentation’ page, while the Portuguese version also includes a mission statement. In the English version of UNIFESP’s website (‘For Foreign Visitors’), ‘Welcome from the Rector’ highlights openness to the world and willingness to internationalize. The Portuguese version of PUC-Rio’s ‘Message from the President/Rector’ included five key values while the English version, just four (the omitted value was ‘excellence’).

Brazilian universities tend to use ‘excellence’ in its general meaning of outstanding quality, although in some missions this concept acquires additional meanings. UFSC, for example, connects ‘excellence’ with social justice and diversity: UFSC envisions to become a ‘university of excellence and inclusion’; ‘centre of academic excellence at regional, national and international levels, contributing to

the development of a just and democratic society'. Similarly, Unicamp declares its ambition to become 'a national and international model for public, multi-campus universities and for excellence in education, in research and in public outreach'.

Brazilian HEIs often put emphasis on the 'third mission' ('extension' or 'out-reach') but interpret it as integration of academia and community rather than the university's contribution to the country's economic prosperity through R&D (e.g., 'integration between academic and community life' (PUC-Rio); 'interaction between academic knowledge and society as an important instrument of social transformation' (UNIFESP)).

A typical feature shared by the vast majority of the identity narratives is that they include quite a lot of 'facts and figures', such as references to their history and milestone events; size; number of students, graduates, and international partnerships; ranking positions, famous alumni, etc.

One of the popular strategies is to cite official documents and governmental agencies to confirm the universities' legitimacy and emphasize the support they receive from the government (e.g., UFSC, UNIFESP, PUC-Rio). In some cases, universities use the results of quality assurance and quality assessment procedures to certify their high level of teaching and research (UFMG).

Only one university—UFSC—included its results in global rankings into its identity narrative.

Russian universities

All Russian universities in the sample are public. Six universities in the sample participate in the '5-100' academic excellence project sponsored by the Russian government. No mission or similar documents were found on the MSU website.

All the texts emphasized the third mission (9), associated primarily with the support the universities provide to knowledge-intensive industries through innovation, R&D, and training of human resources. Missions state the intention 'to train the intellectual elite for science, education, knowledge-intensive production, and business' (NSU), 'to enhance the country's competitiveness... through training of engineering elite' (TPU), to provide 'advanced training of the intellectual leaders of society' (TSU), and so on.

Seven missions referred to the universities' history; six highlighted values from the category 'Internationalization/Global Impact'. Two universities asserted values from the category 'Academic Orientation' (HSE, TPU) and two universities, values from the category 'Evaluation' (HSE, SPbU). Only the HSE elaborates on these values and it is also the only university that mentions social diversity and justice values in its identity narrative.

Certain differences are found between the Russian and English versions of missions: for instance, MPhI and MGIMO have general information or Rector's greeting in the Russian version but provide proper mission statements only on their English pages. Interestingly, the English version of the 'TPU Today' web-page contains sections 'University Green Policy' and 'The History of Women at TPU', absent in the Russian version. This way the university supposedly tries to enhance its appeal to external (possibly Western) audiences, assuming that Russian audiences are not that interested in the 'green' agenda or women's movement.

Although some universities include spatial markers in their narratives, their regional or national identity is not accentuated, and, generally, the universities make no mention of their peculiar 'Russianness'.

Russian HEIs frequently refer to official documents which either established them or granted them a special status (e.g., federal laws (SPbU), ministerial and presidential decrees (TSU, MIPT, BMSTU)).

Values from the category 'Excellence / Quality / Efficiency' occupy a prominent position in Russian universities' value systems. The majority of the universities (7) make heavy use of figures, pointing to their positions in national, regional and international rankings (either in their mission statements or in sections 'Facts and Figures' or 'University in Rankings'), the number of programs, famous alumni (Nobel laureates) and graduates, milestone dates and events (e.g., BMSTU Rector's greeting).

A typical rhetorical strategy in this subgroup is to show openness and internationalization efforts by pointing to HEIs' connections with Western partners (e.g., MEPhI). Some universities emphasize their distinction by including references to unique atmosphere and traditions in their narratives ('the unique atmosphere of 'bauman life' with its traditions and enthusiasm' (BMSTU)).

Indian universities

All universities in this subgroup are public. Apart from the DU and UoH, all HEIs belong to the group of Indian Institutes of Technology (IITs), enjoying the status of institutes of national importance established by the Institutes of Technology Act (1961). No mission statement or similar documents were found on the IITK website.

The 'third mission' appears to be of primary importance to the Indian HEIs (7): it is given unquestionable priority in the texts, both in terms of the frequency of mentions and the amount of text, especially compared with the lack of focus given to other themes, such as social justice or academic orientation.

Excellence (5) and global impact (3) are usually associated with the 'third mission', thereby creating an impression that they are seen as constituent elements of the third mission as the universities' primary purpose (e.g., "to be a leading global technology university that provides transformative education to create leaders and innovators" (IITB)).

The Indian HEIs' understanding of the term 'excellence' is linked to their success in gaining reputation and securing high positions in rankings (e.g., UoB intends to "be an internationally acclaimed University, recognized for excellence in teaching, research and outreach"). Nevertheless, in some cases the meaning of this term is made vague by the context or lack thereof (e.g., "appreciation of intellectual excellence and creativity" (IITD); "strive to be relevant and excellent" (IITM)).

In their identity narratives, universities tend to make an extensive use of various official documents (parliamentary decree (IITB), governmental ordinance (IITR), the IIT act and IIT Statutes, Science Policy Resolution, and Technology Policy Statement (IITM)).

Comparatively few missions contained elements corresponding to such categories as 'Academic Orientation', 'Evaluation' and 'History' (3 for each category) and to 'Social Justice' (2).

Chinese universities

All Chinese universities in our sample are public. Eight universities are members of the C9 League, comprising elite research institutions supported by the government.

Most of the missions focus on such themes as excellence, reputation and international recognition (10), history and traditions (9), internationalization (9), and third mission (10). Only two missions referred to values from the category ‘Academic Orientation’ (FDU, PKU). Academic orientation values are displayed only by the English version of PKU’s mission while in the Chinese version any references to these values were omitted. None of the universities’ missions made any mention of the values from the categories ‘Evaluation’ and ‘Social Justice’.

English web-pages may contain the rector’s greeting, explicitly addressed to prospective international students and stating the institution’s intention to “build World-class university rooted in China” (e.g., SYSU, THU).

Even visually, the difference between the Chinese and English versions of university websites is obvious: Chinese versions feature red colour, socialist emblems and symbols, while English versions have more neutral colours (blue, purple or violet) and are devoid of socialist symbols, featuring instead images of international students representing the university’s openness to the world. Differences are found on the textual level as well: the vast majority of Chinese versions of the mission statements contain allusions to and sometimes direct quotes from Xi Jinping’s speeches (e.g., NU). In some cases, the Communist Party of China and the government are mentioned as the guiding force behind the university’s progress (WHU).

A peculiar feature shared by most texts, both Chinese and English, is the wide use of figures of speech and word play, especially metaphors: metaphors of gardening and growth (university as a site of harmony with nature; university as a garden of one hundred flowers; education as cultivation of talents (THU)); metaphors of height (climbing mountain peaks as metaphor of innovation, progress and achievement (ZJU, HIT)); metaphors of factory production (steel forging as ‘forging’ of character (HIT)); and metaphors of light (e.g., FDU invokes a creative play on the characters constituting its name: *fu* ‘return’ and *dan* ‘dawn’ and quotes from the ancient text *Shangshu*: “Brilliant are the sunshine and moonlight, again the morning radiance returns at dawn”).

The theme of traditions and history is heavily emphasized in its connection with the theme of innovation and technical progress through the use of stylistically marked idioms (WHU) and hieroglyphs, allusions to ancient texts, classical stories, and sayings. The traditional Chinese culture is presented as the foundation or fertile ground for progress and growth of which universities are the agents. Longevity of universities and their proclaimed adherence to traditions may enhance their legitimacy and credibility in the eyes of the key publics, strengthening their prestige and reputation (SJTU).

Tsinghua University introduces the concept of ‘Tsinghua man’ in the Chinese version of the rector’s address (omitted in the English version) to refer to a student, alumnus, faculty or staff member or anybody else who has imbibed the university’s culture and ideology, has gained experience and confidence within its walls and has thus become ‘rooted’ in the university.

South African universities

All universities in this subgroup are public. They all have detailed ‘About Us’ sections on their websites, including diverse information on their history, mission, values, goals, vision, and strategic plans. The missions themselves, however,

mostly use general language and sound quite abstract; no easily-measured outcomes and deliverables are usually mentioned.

Most South African HEIs emphasize their commitment to ensuring social justice, especially racial, diversity and equality in the country and Africa in general (9) (e.g., “to acknowledge and be sensitive to the problems created by the legacy of apartheid”(ROSS). They also demonstrate a focus on African identity and local / regional context as well as the intention to promote the development of the region in partnership with other African universities and states (e.g., UJ describes itself as “an Afropolitan international university with an identity of inclusion”, “alive down to its African roots” and “anchored in Africa”).

The majority of universities (6) also refer to their history. Elements from such categories as ‘Internationalization’, ‘Academic Orientation’ and ‘Evaluation’ can be found in four missions each.

South African HEIs can be described as ‘student-centred’: their missions describe ‘unique campus atmosphere’ and ‘transformative student experience’ (SU); promise individual approach: “as a small University with dedicated and committed staff, we are able to offer that personal touch that may make a difference in your life” (ROSS).

While the majority of South African HEIs mention excellence and their intention to become global leaders (8), they do not provide any specific data (e.g., NWU indicates as its ‘dream’ “to be an internationally recognized university in Africa”), which makes such statements sound more like idealistic visions than based on fact and grounded in reality. The same can be said about internationalization, mentioned in four missions but never elaborated upon.

South African universities mostly use the term ‘excellence’ in its basic and most general meaning of outstanding performance and extraordinary quality [ENQA Report ‘The Concept of Excellence in Higher Education’, 2014]. ‘Excellence’ covers not only research, but other dimensions such as teaching / learning or community engagement or can be an all-encompassing notion (‘academic / intellectual excellence’) (e.g., ‘superior academic excellence’ (NWU), ‘inspiring excellence’ (UFS’s slogan), ‘aspiring to academic excellence’ (UCT)). Very few universities associate ‘excellence’ with rankings and international reputation (SU refers to international rankings THE and QS and claims to be ‘recognized internationally as an academic institution of excellence’). Unlike universities in other subgroups, South African HEIs do not often cite official documents.

Conclusion

Most BRICS universities in our sample are public (except for two Brazilian universities), which means that their key stakeholders should be the government and the national public as universities need to legitimize their existence primarily in the eyes of funding authorities [12]. The third significant stakeholder group comprises prospective students and their families, both national and international. This latter group is important as a way to move up the world rankings. Prospective students and their families are often explicitly targeted by the universities’ missions and other similar texts, in particular rector’s addresses, by highlighting life-changing student experiences, the benefits of belonging to the unique and exciting university culture (e.g., becoming a ‘Tsingjua man’ or enjoying ‘bauman life’), and high-quality services for better career opportunities. The wider public and govern-

ment are usually addressed more implicitly, by referring to social justice and equality, the third mission of universities, documents certifying the university's official status or change thereof, ranking positions, quoting from or referring to the speeches of national leaders, and showing its connection with the national policies and the government's decisions. Thus, for most universities, institutional pressures outweigh competitive pressures, and, therefore, the legitimating function dominates all the narratives (as opposed to the function of differentiation). The pursuit of sameness in BRICS universities' identity narratives prevails over the pursuit of uniqueness. In other words, the main purpose of the mission statements is for universities to be able to legitimize themselves in the eyes of the national audiences, which means that within each subgroup, HEIs tend to use more or less similar rhetorical strategies and language.

In contrast to Brazilian, Russian and Indian HEIs, universities of China and South Africa make a point of consistently connecting their institutional identities with the national identity (or, in the case of South Africa, regional identity). Chinese HEIs pursue the government-set goal of creating world-class universities 'with Chinese characteristics' [18. P. 133].

There is variation in how detailed and precise or, on the contrary, general and abstract universities' missions are. In this respect, Russian and Indian HEIs provide most detailed information, while SA universities' missions are the most vague and general. This may be explained by prioritization of different stakeholder groups. We can suppose that Russian and Indian universities appeal to institutions rather than people by pointing to specific performance indicators while their SA counterparts try to expand the range of target audiences as much as possible.

Mission statements meant for national and international audiences (Brazilian, Chinese, and Russian universities) feature considerable differences in the content, style and format in the English-language and national-language versions. The most striking differences are found in the narratives of Chinese and Russian HEIs, which strive to create a more 'open' image for international audiences, for example, by excluding the ideological component (China) or by trying to meet the expectations of Western publics (expressing commitment to environmental protection and other progressive causes).

'Excellence' is a popular concept used in most mission statements in all subgroups. Initially we considered 'excellence' to be associated primarily with the high quality of teaching and research as the basis of each country's competitive advantage on the HE market and in rankings (then 'excellence' is closer in meaning to the way it is used in the business discourse—the qualities that allow a company to remain competitive and win its share of the market). Later we discovered, however, that HEIs do not necessarily link 'excellence' to commercial success. Instead, they may point to the university's contribution to social justice and diversity ('extension' and 'outreach') in the country and/or in the region (this approach is characteristic of Brazilian and South African HEIs). The term 'excellence' in the meaning linked to competitiveness, reputation and rankings is most often used by Russian universities, which may be explained by the fact that, when translated from English into Russian (*prevoskhodstvo*), this word emphasizes gaining a competitive advantage over others, excluding other meanings such as social justice and outreach). Unsurprisingly, the 5–100 Project aimed at improving Russian universities' competitiveness is translated into English as 'Russian Academic Excellence

Project’. To some extent, this approach is shared by Indian and Chinese HEIs: the former tend to link ‘excellence’ to their ‘third mission’, that is, training ‘leaders and innovators’ for the country’s economy, while the latter with the contribution universities make to enhancing the country’s overall socio-economic prosperity.

South African universities demonstrate a distinctly student-oriented approach, unlike their Indian, Russian and Chinese counterparts, which accentuate the universities’ role in achieving the pragmatic goals set by the governments of their respective countries. South African universities are more oriented towards addressing individual needs of students and providing conditions for their individual success in life. They are also more emphatically concerned with the issues of past and present social injustices and ways of overcoming them.

Although quite a number of universities in their missions set forth their plans to internationalize and join the global academic community, none of them specifically mentions cooperation within the BRICS bloc, which means that it is too early to place high hopes on BRICS in higher education as an emergent common alternative platform for South-South cooperation.

References

1. Wagner, P. (2008) *Modernity as Experience and Interpretation*. Cambridge: Polity.
2. Khomyakov, M. (2018) BRICS and Global South: Towards Multilateral Educational Collaboration. *Changing Societies & Personalities*. 2(4). pp. 329–350.
3. Mota, A. & Wagner, P. (2019) *Collective Action and Political Transformation: The Entangled Experiences in Brazil, South Africa and Europe*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
4. Altbach, P.G. (2016) *Global Perspectives on Higher Education*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
5. Carnoy, M., Froumin, J., Loyalka, P.K. & Tilak, J.B.G. (2014) The Concept of Public Goods, the State, and Higher Education Finance: A View from the BRICs. *Higher Education*. 68(3). pp. 359–378. DOI: 10.1007/s10734-014-9717-1
6. Sa, C.M. (2015) Linking University Research and Innovation in the BRICS. In: Schwartzman, S., Pinheiro, R. & Pillay, P. (eds) *Higher Education in the BRICS Countries. Investigating the Pact Between Higher Education and Society*. New York, London: Springer. pp. 59–69.
7. Oleksiyenko, A. & Yang, R. (2015) Nix the BRICS? Competitive and Collaborative Forces in the Ostensibly ‘Blocalized’ Higher Education Systems. *Frontiers of Education in China*. 10(1). pp. 1–6. DOI: 10.1007/BF03397049
8. Altbach, P.G. & Bassett, R.M. (2014) Nix the BRICs—At Least for the Higher Education Debate. *International Higher Education*. 77. pp. 2–5. DOI: 10.6017/ihe.2014.77.5671
9. Altbach, P.G. (2004) The Past and Future of Asian Universities: Twenty-First Century Challenges. In: Altbach, P.G. & Umakoshi, T. (ed.) *Asian Universities: Historical Perspectives and Contemporary Challenges*. Baltimore: Johns Hopkins University Press. pp.13–33.
10. Camelia, G. & Marins, P. (2013) Mission Statements in Higher Education: Context Analysis and Research Propositions. *Annals of Faculty of Economics*. 1(2). pp. 653–663.
11. Seeber, M., Huisman, J., Barberio, V. & Mampaey, J. (2019) Factors Affecting the Content of Universities’ Mission Statements: An Analysis of the United Kingdom Higher Education System. *Studies in Higher Education*. 44(2). pp.230–244. DOI: 10.1080/03075079.2017.1349743
12. Morphew, C.C., Fumasoli, T. & Stensaker, B. (2016) Changing Missions? How the Strategic Plans of Research-Intensive Universities in Northern Europe and North America Balance Competing Identities. *Studies in Higher Education*. 43(6). pp.1074–1088. DOI: 10.1080/03075079.2016.1214697
13. Morphew, C.C. & Hartley, M. (2006) Mission Statements: A Thematic Analysis of Rhetoric Across International Type. *Journal of Higher Education*. 77(3). pp. 456–471. DOI: 10.1080/00221546.2006.11778934
14. Kosmutzky, A. & Krucken, G. (2015) Sameness and Difference: Analyzing Institutional and Organizational Specificities of Universities through Mission Statements. *International Studies of Management and Organization*. 45(2). pp.137–149. DOI: 10.1080/00208825.2015.1006013
15. Chunoo, V. & Osteen, L. (2016) Purpose, Mission and Context: the Call for Educating Future Leaders. In: Guthrie, K.L. & Osteen, L. (eds) *New Directions for Higher Education. Reclaiming*

Higher Education's Purpose in Leadership Development. San Francisco: Wiley Periodicals Inc. pp. 9–21.

16. Davis, J.H., Ruhe, J.A., Lee, M. & Rajadhyaksha, U. (2007) Mission Impossible: Do School Mission Statements Work? *Journal of Business Ethics*. 70. pp. 99–110. DOI: 10.1007/s10551-006-9076-7

17. Mampaey, J. (2018) Brand Communication in Flemish Higher Education: a Comparison between Types of Institutions. In: Papadimitriou, A. (ed.) *Competition in Higher Education Branding and Marketing Competition in Higher Education Branding and Marketing*. New York: Palgrave Macmillan. pp.63–79.

18. Van der Wende, M. & Zhu, J. (2016) China's Higher Education in Global Perspective: Leader or Follower in the 'World-Class' Movement? In: Nian Cai Liu, Ying Cheng, Qi Wang. (eds) *Matching Visibility and Performance: A Standing Challenge for World-Class Universities*. Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers. pp. 119–139.

Ksenya B. Lozovskaya, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: ksenia.lozovskaya@urfu.ru

Andrey S. Menshikov, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: andreimenchikov@gmail.com

Ekaterina S. Purgina, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: kathy13@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 163–174.

DOI: 10.17223/1998863X/55/17

“HORIZON OF THE FUTURE”: REALITIES AND ASPIRATIONS OF TOP-RANKING BRICS UNIVERSITIES (ANALYSIS OF MISSION STATEMENTS)

Keywords: BRICS; higher education systems; top universities; world university rankings; mission statements.

Educational systems are key actors in social modernization. In order to assess whether BRICS can become an alternative platform for new international collaboration, the authors investigate how the top universities in BRICS countries describe their national and international role, goals and aspirations in their mission statements and other identity narratives. These texts reflect how higher education institutions (HEIs) see themselves and how they want the major stakeholders to see them. Thus, the universities' mission statements help to legitimize their activities to stakeholders and to differentiate their identity in the global educational market. For the sample, the authors selected 10 universities for each BRICS country that occupied top positions in the QS BRICS University Ranking in 2019. Mission statements and similar documents were collected from the universities' official websites. In the content-analysis, the authors relied on the methodological approaches proposed by C.C. Morphew et al. (2016) and J. Mampaey (2018). Following these studies, the authors identified 7 clusters of values: excellence, social justice, third mission, academic orientation, internationalization, evaluation, and history. Content-analysis was supplemented by discourse analysis, which included texts in the native languages and in English (for Chinese, Russian and Brazilian universities). Most BRICS HEIs in the sample are public and their key stakeholders are the government and the national public. The third major stakeholder is prospective students and their families, both national and international. This group is usually explicitly targeted through promises of unique campus experience, individual approach and career opportunities, while the government and the public are targeted more implicitly, by referring to social justice and equality, the third mission of universities, etc. For most HEIs, institutional pressures outweigh competitive pressures and, therefore, the legitimating function dominates all the narratives (as opposed to the function of differentiation). In other words, the main purpose of the mission statements is for universities to legitimize themselves in the eyes of the national audiences; therefore, in each subgroup, HEIs tend to use similar rhetorical strategies and language. Although many universities in their missions set forth their plans to internationalize and join the global academic community, none of them specifically mentions cooperation within the BRICS bloc, which means that it is too early to place high hopes on BRICS in higher education as an emergent common alternative platform for South-South cooperation.

УДК 316.612

DOI: 10.17223/1998863X/55/18

Н.Д. Вавилина, Е.А. Ефремова

РИСКИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Статья посвящена проблеме рисков личностного развития. Обозначены некоторые особенности современных тенденций в обществе и образовании, определены вопросы, требующие исследования и обсуждения. Предлагается учитывать нарастающий интерес к проблеме личности и активизировать поиск технологий, которые общество заинтересовано использовать в процессе развития личности. На основании оценки личностных результатов обучающихся предпринята попытка определить риски личностного развития в образовательном процессе современной российской школы.

Ключевые слова: *риск в социологии, образовательные риски, личность, личностные результаты.*

Актуальность проблемы

Проблема личности в социологии не является новой, но сейчас она приобретает особую актуальность и оказывается важнейшей в осмыслении происходящих в обществе процессов. В образовании развитие личности сегодня выступает и как основополагающая цель государственной политики, и как результат деятельности образовательной организации, а одной из проблем в образовании, по мнению В.С. Басюка, является то, что «человек как личность до сих пор не выступает как сущностно значимый результат деятельности школы» [1. С. 181]. Многими учеными поднимаются вопросы о противоречивости процессов формирования образования [2, 3], об обезличивающих тенденциях в образовании [4. С. 12], о снижении уровня социальной ответственности в сфере образования [5. С. 139], о повышении рискогенности образовательного пространства при внедрении инноваций [6. С. 44], что не может не сказаться на развитии личности школьника.

Эти и многие другие тенденции привлекают внимание ученых, особенно в связи с тем, что личность в образовательном пространстве, как правило, оказывается в зоне инноваций, а значит, подвержена многочисленным рискам. Однако в большинстве исследований вопрос о рисках личностного развития самого школьника затрагивается незначительно. В социологии все меньше внимания уделяется проблеме личности [7. С. 143]. Игнорирование этого может иметь негативные последствия не только для самой личности, но и для дальнейшего развития общества.

Развитие учащегося как личности, как субъекта деятельности является важнейшей целью любой образовательной системы. Э. Гидденс рассматривает образование как важнейший социальный институт, обеспечивающий передачу знаний, навыков, норм поведения, с помощью которых человек становится полноправным членом своего общества, расширяет личные горизонты [8]. Образование – это многомерный социальный феномен, играющий важнейшую роль в формировании и развитии личности [4. С. 7]. К. Манхейн, рассуждая о социологическом подходе к образованию, акцентирует: образо-

вание формирует не человека вообще, а человека в данном обществе и для этого общества [9. С. 478]. Поэтому изучение проблем риска в образовании является чрезвычайно важной задачей [10–12].

Практика формирования личностных результатов освоения основной образовательной программы все активнее реализуется в образовательных организациях. Но остается потребность в оценке личностных результатов обучающихся. Школа, являясь начальным социальным институтом, должна иметь широкий набор технологий, обеспечивающих этот процесс. Именно социальные технологии могут способствовать комплексному решению задач в создании условий для развития личности [13. С. 78], выполнять регулятивную роль в отношениях между участниками совместной деятельности [14. С. 154], опираться на принцип «не навреди» [15. С. 114]. Поэтому актуальность проблемы обусловлена, с одной стороны, характером запросов общества на развитие личности и поиском эффективных социальных технологий, обеспечивающих это развитие, с другой стороны, чрезвычайной сложностью процесса, связанного с рисками личностного развития и путями их преодоления.

Понятие риска в социологии

Современное общество переживает время глубоких социокультурных изменений, оно характеризуется наличием изменчивости, неопределенности, опасности [8, 9, 16–18]. В этих условиях все более востребованной оказывается *теория риска* [10. С. 75]. Интерес социологии к проблематике риска обусловлен не только сущностно важной для нее проблемой, но проблемой роста модернизационных, инновационных процессов, современных технологий и др. [3, 10, 16]. Социологическая теория риска находит отражение в научных работах У. Бека, Г. Бехманна, Э. Гидденса, Н. Лумана, В.И. Зубкова, А.В. Мозговой и др.

Современное общество риска, согласно Н. Луману, связано с расширением возможностей знаний [17. С. 155]. По мнению У. Бека, процессу модернизации в современном мире сопутствуют постоянно возникающие риски, и важно найти ответ, каким образом минимизировать их воздействие [16]. При этом следует учитывать, что современные риски неочевидны и неощутимы [3. С. 44]. Э. Гидденс пишет: низкая вероятность высокочащичных рисков не исчезнет в современном мире, хотя при оптимальном сценарии может быть минимизирована [8. С. 272]. Поэтому Н. Луман особое внимание уделяет практике *предупреждения* в случае возникновения риска [17. С. 156]. О.Н. Яницкий отмечает, что «как только исследователь задается целью определить риск для индивида или группы, это вызывает большие трудности, «поскольку любая система исчисления риска опосредуется личностными предпочтениями» [19. С. 15].

Согласно В.И. Зубкову, риск представляет собой «социальное поведение субъекта, осуществляемое в условиях неопределенности его исходов» [20. С. 6]. Им выделены виды риска по субъектно-объектным характеристикам, по условиям возникновения, по содержанию, по возможным последствиям. С одной стороны, без риска, утверждает исследователь, невозможна созидательная и инновационная деятельность, с другой – ошибки могут порождать новые угрозы. Поэтому очевидно, что среди характеристик риска существуют альтернативность и амбивалентность [6].

Г. Бехманн выделяет существенные положения понятия риска: принятие рискованных решений зависит от знаний, а возможные ситуации должны поддаваться расчету; в отличие от опасности, в случае риска доминирует опыт сопряжения признаков, риски возникают сознательно, за их следствия несут ответственность конкретные люди [10. С. 80].

В эмпирическом исследовании А.В. Мозговой, проведенном по поводу допустимости рисков для двух различных регионов, выявлены их существенные различия [21]. Согласно этому, управленческие решения также не могут быть одинаковыми. В такой ситуации может помочь *социальная технология рискованной коммуникации* как «процесс целенаправленного общения социальных субъектов для выработки решений относительно управления рисками» [21. С. 16].

В научных работах достаточно ярко актуализированы вопросы профессионального риска, подготовки сотрудников к возникновению и управлению рисками, а значит, и повышению эффективности социального управления [20, 22–24]. Определение риска как субъективного феномена, возникающего в результате принятия решений можно найти во многих работах [3, 21 и др.]. Так, В.И. Зубков пишет, что «для управления рисками нужно, прежде всего, их осознавать, так как многие ошибки допускаются из-за отсутствия рискованного сознания. Все направления по оптимизации риска должны способствовать формированию *культуры риска* [6. С. 43]. В качестве поведенческих стратегий субъектов риска он выделяет такие стратегии, как избегание риска, принятие риска и управление риском [Там же. С. 39].

С.Б. Мурашов говорит о *рискоориентированной социализации*, о повышении уровня социализированности сотрудников в аспекте риска, которое включает: приобретение каждым сотрудником компетенций и практического опыта по превенции или страхованию рисков; обмен этими компетенциями с другими сотрудниками; взаимодействие по решению задач превентивного планирования и управления рисками в компании [22. С. 126]. Этой точки зрения придерживается и В.И. Зубков, который считает, что возрастает роль обучения, консультирования и подготовки лиц, принимающих решения.

Для нашего исследования близка эта позиция. Согласно ей, в качестве субъектов риска можно рассматривать всех индивидуальных и коллективных акторов, принимающих решения, а под объектами – тех индивидов или социальные группы, которые испытывают на себе последствия принятых решений. Субъекты риска могут испытывать на себе и последствия своих собственных решений, т.е. являться одновременно и объектами риска. К основным условиям возникновения риска относятся их социальная обусловленность, степень свободы субъекта, а также наличие или отсутствие аналогов решений [20. С. 7].

Образовательные риски

Образовательные риски могут классифицироваться по-разному. Так, А.И. Пишняк, выделяет три типа субъективных рисков в образовании: внутришкольные (связаны с низким качеством образования, плохим микроклиматом в школе, перегрузкой школьника, недостатком дополнительного образования и др.), внутрисемейные (высокие расходы на образование, отказ от

работы ради хорошего образования ребенка) и внешние (опасности за пределами школы) [11. С. 145–147].

В исследовании И.М. Лоскутовой демонстрируется, что наибольшие риски в образовательном пространстве сосредоточены в двух кластерах: 1) сравнительно высокие показатели результативности обучения при низком социальном капитале; 2) наличие достаточного социального, человеческого и экономического капитала, но низкие показатели результатов обучения на фоне таких формальных показателей качества процесса обучения, как статус и специализация [3. С. 48].

Авторы другого исследования определяют факторы, влияющие на возрастание педагогических рисков: напряженность психической и физической деятельности; неэффективность коммуникативного взаимодействия; отсутствие интереса к профессиональной деятельности; отсутствие условий для саморазвития; внедрение новых информационно-коммуникационных технологий [23. С. 14].

Таким образом, риски в образовательном процессе неизбежно становятся базовым фактором. В них могут быть включены все его участники: ученик, учитель, семья. Формировать риски способны как внешние условия развития образования, так и инструменты управления. Однако главной фигурой, испытывающей особую тяжесть развития в условиях риска, является обучающийся, поскольку он не обладает необходимой системой защиты вследствие отсутствия опыта и навыков принятия решений. В этой связи остро стоит следующий вопрос: как зафиксировать состояние и динамику личностного развития, определить конкретные риски и возможности их преодоления для каждого обучающегося? В современных исследованиях нет единого взгляда на оценку личностных результатов, что подтверждает невероятную сложность этой проблемы. Также значимым является интерес к инструментам такой оценки обучающегося.

Проблема личностного развития и федеральный образовательный стандарт

На уровне основного общего образования реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 [25]. Федеральный государственный образовательный стандарт подчеркивает признание важности личностных результатов на государственном уровне. Но в требованиях к достижению личностных результатов в стандарте и нормативных документах не определен оценочный и диагностический инструментарий. Очевиден результат, который является недостаточным для эффективного развития личности как с точки зрения реализации, так и с точки зрения формирования отдельных механизмов.

В ФГОС ООО обозначены требования к определенным, строго сформулированным критериям, которых мы и будем придерживаться. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: *формирование гражданской идентичности, формирование ответственного отношения к учению, формирование целостного мировоззрения, формирование отношения к другому человеку, освоение социальных норм и ролей, формирование морального и нравственно-*

го поведения, формирование коммуникативной компетентности, формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, формирование основ экологической культуры, осознание значения семьи для человека и общества, развитие эстетического сознания.

Во многих образовательных организациях ведется работа над созданием моделей мониторинга личностных результатов. При всей сложности оценочных процедур, спорах и дискуссиях вокруг оценивания личностных результатов их использование оправдывает цель оценивания – получить информацию о состоянии личностного развития, чтобы наилучшим образом наметить пути совершенствования.

Характер и результаты исследования

Проблему оценивания личностных результатов можно решить путем формирования критериальной оценки, отвечающей требованиям ФГОС. Для этого нами использовалась *технология социального картирования*, где участниками являются педагог и ученик как наиболее активно взаимодействующие участники в образовательном процессе [13. С. 80]. Личностный результат мы рассматриваем как «зафиксированную с помощью объективных процедур *характеристику развития личности*, основным показателем которой является указание на ее способность быть субъектом деятельности» [12. С. 73]. Личность – относительно устойчивая система социально значимых и уникальных индивидуальных черт, характеризующих индивида, формирующаяся в процессе социализации (в рамках процесса обучения). Очевидно, что должна существовать процедура социальной оценки. Под оценкой социальных качеств социального субъекта мы понимаем социальное измерение – выражение различных характеристик социальных субъектов и взаимоотношений между ними в виде числовых значений. Социальное измерение осуществляется на основе системы показателей в виде эмпирических индикаторов и (или) математических символов (индексов).

Для решения поставленных задач была разработана модель оценки личностных результатов обучающихся в рамках освоения основной образовательной программы (5–9-е классы). Исследование осуществлялось в 2018–2019 гг. в семи общеобразовательных организациях Новосибирска и Новосибирской области. В нем приняли участие 513 учащихся 6-го, 7-го, 8-го, 9-го классов и 24 классных руководителя. В целях определения уровня сформированности критериев личностного развития классным руководителям предложена Карта оценки, содержащая перечень показателей, а школьникам – Карта самооценки, отражающая опыт участия в конкретной деятельности.

Методология оценочной процедуры включает объект, в качестве которого изучается процесс формирования личностных результатов обучающимся, предметом при этом являются личностные результаты этого освоения, субъектом оценивания выступают педагог в роли классного руководителя и ученик. Критерии оценки заданы ФГОС ООО, характеристики которых являются основанием для формирования двух групп показателей для двух субъектов оценивания. Для удобства измерения заданные критерии обозначены нами номерами от 1 до 11 (в соответствии со Стандартом). Определены две группы показателей. Оценку первой группы показателей – «способность и готовность обучающегося» – осуществляет

классный руководитель, а оценку второй группы показателей – «наличие компетенций и участие обучающегося» – классный руководитель и учащийся (самооценка). Для измерения показателей использовалась ранговая шкала – положительная динамика, без изменений, отрицательная динамика; два вида оценки – «степень выраженности» (высокая, средняя, низкая) и «степень участия» (высокая, средняя, низкая);

Полученные результаты позволяют выделить возможные риски личностного развития в образовательном процессе. Разделим их на две группы – субъективные и объективные.

1. Субъективные риски:

– *риск, связанный с системой оценивания*, прежде всего с качеством самооценивания учениками личностных результатов. Классные руководители обратили внимание, что не все школьники могут объективно оценить свои результаты в силу своего возраста, занижая или завышая себе оценки. Согласимся и с тем, что в целом процедура оценки носит объективно-субъективный и формализованный характер, что является риском при оценке личностных результатов. Везде, где в процессе участвует человек, оценки абсолютно объективными быть не могут;

– *риск, связанный с экспертностью*. Было отмечено, что риском является маленький опыт работы с классом в должности классного руководителя. Наиболее остро стоял вопрос о неуверенности в объективной оценке личностных результатов своих учеников и неуверенности классного руководителя в своей экспертности;

– *риск, связанный с механизмами формирования личностного развития*. Сложность возникла в понимании того, каким образом классный руководитель может способствовать формированию того или иного критерия личностного результата. Например, наибольшую трудность вызвали вопросы по таким критериям, как формирование целостного мировоззрения и формирование экологической культуры.

2. Объективные риски:

– *связаны с ресурсным обеспечением*, необходимым для оценки и формирования личностных результатов. Этот блок рисков связан с отсутствием необходимого методического и диагностического инструментария для оценки, с большим объемом документов по заполнению, эпизодической фиксацией личностных результатов и отсутствием организационной формы оценки. Сюда можно отнести отсутствие материально-технических, кадровых и культурных ресурсов. Нехватка определенных ресурсов и условий увеличивает риски неблагоприятного личностного развития;

– *связаны с принятием управленческих решений*. Этот блок оказался наиболее проблемным, так как обзор возникающих трудностей при оценке личностных результатов показал, что сложности возникают прежде всего при анализе результативности и принятии дальнейших решений.

Преодоление субъективных рисков. Результаты эмпирического исследования позволили воспринимать выявленные риски в образовательном процессе как некие кейсы, которые могут помочь избежать трудностей в дальнейшем, создать лучшие условия для формирования личностных результатов, так как любая выявленная проблема выступает поводом для образовательных действий и выработки определенных стратегий [26. С. 43]. Поэтому для пре-

одоления субъективных рисков может быть предложена матрица ресурсов для реализации требований ФГОС (таблица).

Ресурсы реализации требований ФГОС в предметной и внеурочной деятельности

Критерии	Развитие личностных результатов		Диагностика / Коррекция	
	Условия для личностного развития учащихся в предметном обучении	Условия, способствующие формированию личностных результатов во внеурочной деятельности	Дополнительные методы педагогической диагностики	Дополнительные методы социально-психологической диагностики / коррекции
	Учителя-предметники	Классный руководитель	Классный руководитель, учителя-предметники	Педагог-психолог, социальный педагог
№ 10. Осознание значения семьи для человека и общества	– помогать в осознании семейных ценностей; – особое внимание обращать на такие предметы, как история, обществознание, литература, география, мировая художественная культура	– проведение классных часов, посвященных вопросам семьи, выполнению семейных ролей; – включение родителей в совместные проекты класса; – включение ученического самоуправления в организацию мероприятий по вопросам семьи; – проведение акции «Традиции нашей семьи»; – организация лектория «Психология семьи» совместно со специалистами центра социально-психологической помощи	– включенное педагогическое наблюдение; – анкетный опрос; – анализ устных и письменных высказываний; – эссе «Моя будущая семья» (совместно с учителем литературы); – дискуссия для родителей и детей «Взаимопонимание поколений»; – обсуждение видеофильма, книги, фрагмента учебного текста, проблемной ситуации	– анкета семейных ценностей; – совместный семинар для родителей и детей; – психологический час «Проблема поколений»; – родительский клуб; – подготовка информационных материалов для проведения родительских собраний, классных часов; – тренинг для учителей «Диалог с родителями»

Преодоление объективных рисков. Учет условий и ресурсов – важная составляющая общей стратегии управления рискам. Для эффективного достижения личностных результатов предлагаем использование алгоритма как стартовой площадки, с которой начинается процесс формирования, развития, коррекции личностных качеств, что является отправной точкой для планирования на определенном возрастном этапе. Он включает следующие шаги: входную оценку; анализ результата мониторинга (количественная и качественная обработка полученных результатов); использование дополнительных методов диагностики (при необходимости); принятие управленческих решений. Организационной формой оценки личностных результатов может служить неделя мониторинга. Также необходимо создать условия для повышения квалификации педагогов по проблемам личностного развития.

Заключение

В результате исследования были выделены две группы рисков: субъективные и объективные. Добавим, что они могут быть между собой взаимообусловлены. Социологический подход к исследованию рисков личностного развития позволяет рассматривать их как совокупность решений: управленческих и индивидуальных, позволяющих уменьшить долю рисков и направить их на выработку новых решений.

Полученные данные свидетельствуют, что для преодоления рисков личностного развития необходимы, во-первых, внедрение эффективных управ-

ленческих механизмов, которые позволят максимально сократить рискогенные явления, во-вторых, реализация своевременного мониторинга личностных результатов, при котором мы можем использовать риски для формирования новых позиций, переводить их в новые инструменты формирования личностных результатов, и в-третьих, большое значение приобретают социальные технологии, которые посредством коммуникации, интеракции, информации, способствуют личностному развитию, сокращая вышеобозначенные риски.

Представленная в статье классификация рисков личностного развития, конечно, неполная. Однако она может помочь актуализировать дальнейший поиск в этом направлении.

Литература

1. *Басюк В.С.* Решение задач личностного развития обучающихся в реализации программ общего образования, разработанных и реализуемых в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС // Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. № 5, т. 2. С. 177–192.
2. *Донских О.А.* Разновекторность управления образованием как результат расслоения российского общества // Идеи и идеалы. 2012. № 4, ч. 1. С. 136–144.
3. *Лоскутова И.М.* Риски в образовательном пространстве средней школы // Экономика образования. 2012. № 3. С. 43–49.
4. *Каланчина И.Н.* Личность в образовании: история и современность. Барнаул : Аз Бука, 2005. 134 с.
5. *Ильиных С.А.* Социальная ответственность как средство управления личностью, организацией и обществом // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 14. С. 135–141.
6. *Зубков В.И.* Риск как предмет социологического анализа : автореф. дис. ... д-ра социол. наук. М., 2006. 48 с.
7. *Логунова Л.Ю.* Методология изучения жизни и личности человека: постановка проблемы // Идеи и идеалы. 2018. № 1, ч. 1. С. 142–163.
8. *Гидденс Э.* Последствия современности / пер. с англ. Г.К. Ольховикова, Д.А. Кибальчича; вступ. статья Т.А. Дмитриева. М. : Праксис, 2011. 352 с.
9. *Манхейм К.* Диагноз нашего времени : пер. с нем. и англ. / отв. ред. и сост. Я.М. Бергер и др. М. : Юрист, 1994. 700 с.
10. *Бехманн Г.* Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний. М. : Логос, 2010. 248 с.
11. *Пишняк А.И.* Образовательные риски в представлениях родителей московских школьников // Социс. 2016. № 11. С. 144–149.
12. *Полякова Т.Н.* Личностные результаты школьников: проблемы оценки и диагностики // Человек и образование. 2016. № 4. С. 73–77.
13. *Вавилина Н.Д., Ефремова Е.А.* Социальное картирование как метод оценки и формирования личностных результатов // Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие». СПб. : ГНИИ «Нацразвитие», 2019. С. 77–82.
14. *Бурмыкина И.В.* Социология управления и социальных технологий // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2013. № 4. С. 151–161. URL: <https://socio.msu.ru/vestnik/archive/text/2013/4/08.pdf> (дата обращения: 29.11.2019).
15. *Бурнашев К.Э.* Стандартизация человека и социальные технологии как феномены современной науки и практики. Йошкар-Ола : Поволжский гос. технолог. ун-т, 2013. 148 с.
16. *Бек У.* От индустриального общества к обществу риска // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 161–168.
17. *Луман Н.* Понятие риска // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 135–160.
18. *Штомпка П.* Социология социальных изменений / пер. с англ., под ред. В.А. Ядова. М. : Аспект Пресс, 1996. 416 с.
19. *Яницкий О.Н.* Социология риска: ключевые идеи // Мир России. 2003. Т. XII, № 1. С. 3–35.
20. *Зубков В.И.* Риск как предмет социологического анализа. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/456/517/1217/001_zubkov.pdf

21. *Мозговая А.В.* Риск как социологическая категория // Социология: методология, методы, математические модели. 2006. № 22. С. 5–18.
22. *Мурашов С.Б.* Антирисковый потенциал управленческой социализации // Управленческое консультирование. 2015. № 9. С. 120–129.
23. *Романова Е.А., Кузнецов В.А., Тореева Т.А.* Педагогические риски современной школы // Инновационные проекты и программы в образовании. 2017. № 6. С. 12–16.
24. *Соломин М.С.* Профессиональный риск // Социологические исследования. 2019. № 5. С. 45–54.
25. *ФГОС: Основное общее образование.* URL: <http://standart.edu.ru/>
26. *Вавилина Н.Д., Ефремова Е.А., Ярославцева Н.В.* Методические рекомендации по оценке личностных результатов освоения основной образовательной программы общего образования (работаем по ФГОС общего образования). Новосибирск : Новосиб. ин-т мониторинга и развития образования, 2019. 92 с.

Nadezhda D. Vavilina, Novosibirsk State University of Economics and Management (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: nd.vavilina@gmail.com

Evgenia A. Efremova, Novosibirsk State University of Economics and Management (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: Eea-207@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 175–184.

DOI: 10.17223/1998863X/55/18

RISKS OF PERSONAL DEVELOPMENT IN EDUCATION

Keywords: risk in sociology; educational risks; personality; personal results.

The authors believe that scientific approaches to the designation of risk theory can expand understanding of the problem of personal development. An analysis of theoretical studies has shown that management plays a large role in solving the risk problem. The content of the concepts “risk in sociology”, “educational risks”, “personal results” is analyzed. The main aim of this article is to identify the risks of personal development in the educational process of a modern Russian school (based on an assessment of personal results). The study was carried out in 2018–2019, in seven general educational organizations in Novosibirsk and Novosibirsk Oblast. 513 students and 24 classroom teachers took part in it. In order to determine the level of the formation of the criteria for personal development, classroom teachers were offered an assessment card containing a list of indicators, and students were offered a self-assessment card reflecting the experience of participation in specific activities for schoolchildren. Two groups of risks were identified: subjective and objective. Subjective include risks associated with the assessment system, expertise and mechanisms for the formation of personal development. Objective risks indicate limited conditions and resource support, the absence of certain managerial decisions. The results of the empirical study made it possible to develop a resource matrix for implementing the requirements of the Federal State Educational Standard, to determine an algorithm for assessing personal results, including organizational elements, and to prepare a teacher development program for teachers on personal development problems. These measures, in the authors’ opinion, will help reduce the risks of personal development in the educational process. The presented approaches to the classification of personal development risks will make it possible to introduce changes in the development of the modern Russian system of school education.

References

1. Basyuk, V.S. (2017) Solving the problems of students’ personal development in the implementation of general education programs developed in educational organizations of general education in accordance with Federal State Educational Standards. *Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika – Domestic and foreign pedagogy.* 5(2). pp. 177–192. (In Russian).
2. Donskikh, O.A. (2012) Raznovektornost' upravleniya obrazovaniem kak rezul'tat rassloeniya rossiyskogo obshchestva [The diversity of education management as a result of the stratification of Russian society]. *Idei i idealy – Ideas and Ideals.* 4(1). pp. 136–144.
3. Loskutova, I.M. (2012) Riski v obrazovatel'nom prostranstve sredney shkoly [Risks in high school education]. *Ekonomika obrazovaniya – Economics of Education.* 3. pp. 43–49.
4. Kalanchina, I.N. (2005) *Lichnost' v obrazovanii: istoriya i sovremennost'* [Personality in Education: History and Modernity]. Barnaul: Az Buka.

5. Ilinykh, S.A. (2008) Sotsial'naya otvetstvennost' kak sredstvo upravleniya lichnost'yu, organizatsiei i obshchestvom [Social responsibility as a means of managing a person, organization and society]. *Vestnik ChelGU*. 14. pp. 135–141.
6. Zubkov, V.I. (2006) *Risk kak predmet sotsiologicheskogo analiza* [Risk as a subject of sociological analysis]. Abstract of Sociology Dr. Diss. Moscow.
7. Logunova, L.Yu. (2018) Methodology of personality and human life study: Statement of the problem. *Idey i idealy – Ideas and Ideals*. 1(1). pp. 142–163. (In Russian). DOI: 10.17212/2075-0862-2018-1.1-142-163
8. Vavilina, N.D. & Efremova, E.A. (2019) Sotsial'noe kartirovanie kak metod otsenki i formirovaniya lichnostnykh rezul'tatov [Social mapping as a method of assessing and shaping personal results]. In: *Sbornik izbrannykh statey po materialam nauchnykh konferentsiy GNII "Natsrazvitie"* [Collection of selected articles on the basis of conferences of the SRI "National Development"]. St. Petersburg: Natsrazvitie. pp. 77–82.
9. Burmykina, I.V. (2013) Sotsiologiya upravleniya i sotsial'nykh tekhnologiy [Sociology of management and social technologies]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sotsiologiya i politologiya – Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science*. 4. pp. 151–161. [Online] Available from: <https://socio.msu.ru/vestnik/archive/text/2013/4/08.pdf> (Accessed: 29th November 2019).
10. Burnashev, K.E. (2013) *Standartizatsiya cheloveka i sotsial'nye tekhnologii kak fenomeny sovremennoy nauki i praktiki* [Human standardization and social technologies as phenomena of modern science and practice]. Yoshkor-Ola: Volga State Technological University.
11. Giddens, A. (2011) *Posledstviya sovremennosti* [Consequences of the present]. Translated from English by G.K. Olkhovikov, D.A. Kibalchich. Moscow: Praksis.
12. Mannheim, K. (1994) *Diagnoz nashogo vremeni* [The diagnosis of our time]. Translated from German and English. Moscow: Yurist.
13. Behmann, G. (2010) *Sovremennoe obshchestvo: obshchestvo riska, informatsionnoe obshchestvo, obshchestvo znaniy* [Modern society: risk society, information society, knowledge society]. Moscow: Logos.
14. Pishnyak, A.I. (2016) Obrazovatel'nye riski v predstavleniyakh roditel'ey moskovskikh shkol'nikov [Educational risks: Moscow schoolchildren parents' perspective]. *Sotsis – Sociological Studies*. 11. pp. 144–149.
15. Polyakova, T.N. (2016) Students' personality identification results: problems of assessment and diagnosis. *Chelovek i obrazovanie – Man and education*. 4. pp. 73–77. (In Russian).
16. Beck, W. (1994) Ot industrial'nogo obshchestva k obshchestvu riska [From an industrial society to a risk society]. *THESIS*. 5. pp. 161–168.
17. Luhman, N. (1994) Ponyatie riska [The concept of risk]. *THESIS*. 5. pp. 135–160.
18. Shtompka, P. (1996) *Sotsiologiya sotsial'nykh izmeneniy* [Sociology of Social Change]. Translated from English. Moscow: Aspekt Press.
19. Yanitsky, O.N. (2003) Sotsiologiya riska: klyuchevye idey [Sociology of risk: the key ideas]. *Mir Rossii – Universe of Russia*. 1(12). pp. 3–35.
20. Zubkov, V.I. (n.d.) *Risk kak predmet sotsiologicheskogo analiza* [Risk as a subject of sociological analysis]. [Online] Available from: http://ecsocman.hse.ru/data/456/517/1217/001_zubkov.pdf
21. Mozgovaya, A.V. (2006) Risk kak sotsiologicheskaya kategoriya [Risk as a sociological category]. *Sotsiologiya: metodologiya, metody, matematicheskie modeli – Sociology: methodology, methods, mathematical models*. 22. pp. 5–18.
22. Murashov, S.B. (2015) Anti-risk potential of administrative socialization. *Upravlencheskoe konsul'tirovanie – Administrative Consulting*. 9. pp. 120–129. (In Russian).
23. Romanova, E.A., Kuznetsov, V.A. & Toreeva, T.A. (2017) Pedagogical risks of the modern school. *Innovatsionnye proekty i programmy v obrazovanii – Innovative Projects and Programs in Education*. 6. pp. 12–16. (In Russian).
24. Solomin, M.S. (2019) Professional Risk: from Realism to Constructivism. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological studies*. 5. pp. 45–54. (In Russian).
25. The Russian Federation. (n.d.) *FGOS: Osnovnoe obshchee obrazovanie* [Federal State Educational Standard: Basic general education]. [Online] Available from: <http://standart.edu.ru/>
26. Vavilina, N.D., Efremova, E.A. & Yaroslavtseva, N.V. (2019) *Metodicheskie rekomendatsii po otsenke lichnostnykh rezul'tatov osvoeniya osnovnoy obrazovatel'noy programmy obshchego obrazovaniya (rabotaem po FGOS obshchego obrazovaniya)* [Methodological recommendations for assessing the personal results of mastering the main educational program of general education (working on the FSES of general education)]. Novosibirsk: Novosibirsk Institute for Monitoring and Development of Education.

УДК [316:303.7]:004.738.5
DOI: 10.17223/1998863X/55/19

А.В. Вайсбург

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОПРОСНЫХ МЕТОДОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рассматриваются ситуация на рынке социологических исследований, классификация областей интернет-исследований. Охарактеризованы количественные опросы на базе использования телефонной связи и компьютера (CATI, CAPI, CATI2web), методы на основе использования сети Интернет (e-mail-опрос; web-опрос; опросы через соцсети; на базе бесплатных и платных платформ; онлайн панели). Описано проведение опросов с применением средств мобильной связи и сети Интернет (SMS, java-приложения, по QR-коду), использованием элементов компьютерных игр и принципов геймификации в опросах.

Ключевые слова: опрос, анкетирование, количественные исследования, Интернет, онлайн.

Этап зарождения коммерческих социологических исследований в России (конец 1980-х – начало 1990-х гг.) характеризуется наличием небольшого количества исследовательских центров и формированием на их базе новых, более мелких, а также региональных исследовательских компаний. Иностранные исследовательские агентства стали сотрудничать с российскими фирмами. На втором этапе (становление рынка, середина 1990-х гг.) происходит рост числа исследователей, количества публикаций, в том числе и в зарубежных изданиях, увеличивается уровень конкуренции между исследовательскими центрами в силу роста их количества. Тематика исследований расширяется за счет политики и маркетинга. Третий этап (зрелость рынка, конец 1990-х – начало 2000-х гг.) характеризуется появлением высококвалифицированных исследователей-практиков, возрастанием качества проводимых исследований, внедрением технических инноваций – компьютерных программ обработки данных, онлайн методик и т.д., сформировавшимся кругом заказчиков, развитой сетью исследовательских центров, в том числе и региональных.

На современном рынке социологических услуг работает множество как отечественных, так и зарубежных исследовательских компаний. В настоящее время база данных исследовательской группы ЦИРКОН содержит информацию о более чем 600 российских организациях, заявляющих о проведении социологических и маркетинговых исследований (как в коммерческих, так и в научных целях) [1].

Массовое использование онлайн-методов в маркетинговых исследованиях началось только с середины 2000-х гг. В 2006–2007 гг. стали регистрировать и создавать онлайн-панели крупные исследовательские компании – MASMI, «TNS Россия», GfK Rus, Ipsos, КОМКОН. На российский рынок пришли крупные иностранные компании – Global Market Insite (GMI, США), CINT (Швеция). Сейчас онлайн-исследования являются пер-

спективным направлением заочного анкетирования. В настоящее время более 40% маркетинговых исследований в США проводится через Интернет [2. С. 152].

Бурное развитие сферы информационных технологий, расширение географии внедрения сети Интернет на территории России, возрастание числа бесплатных беспроводных сетей, количества смартфонов и домашних компьютеров неизменно способствуют активному развитию электронных социологических исследований в России. Следует отметить, что практически все крупные агентства практикуют использование опросных методов в режиме онлайн и офлайн. А вот в региональных центрах подобная практика применяется гораздо реже. Анализом опросных методов на основе информационных технологий в зарубежной социологии занимаются Б. Адаму [3], П. Кейп [4], П.В. Колозари, Э. Ноэль [5], Дж. Пулестон [6] и др. Несомненными лидерами в сфере исследования электронных опросов в настоящее время в России являются А.В. Шашкин [2, 7], И.Ф. Девятко [2, 7], С.Г. Давыдов, Ю.К. Кормушина [8], А.М. Мавлетова [9], Л.В. Давыдкина [10], А.В. Чернов [11], Е.А. Заруцкая, И.С. Искра, С.В. Кетов, И.В. Микаелян, С.С. Хитров, С.И. Некрасов [12], Д.В. Руденкин [13], А.Т. Тинчурин, Н.С. Мамян и др.

На основании классификации областей интернет-исследований в психологии, исходно разработанной Л. Скитка и Э. Саргисом в 2006 г., И.Ф. Девятко [7. С. 20–27] предлагает следующую дифференциацию исследований в сети Интернет: транслирующие, феноменологические и новаторские.

1. Транслирующие – исследования, в которых осуществляется адаптация устоявшихся методов к изучению существующих офлайн исследовательских тематик в интернет-среде (например, использование традиционных личностных опросников для масштабной проверки предсказаний тех или иных теорий на онлайн-аудитории).

2. Феноменологические – исследования, в которых основной интерес для изучения представляют новые феномены и процессы, возникающие в интернет-среде и ставшие возможными именно в результате тех технологических изменений, которые обеспечили создание инфраструктуры для этой среды (например, исследования сетевого краудсорсинга или процессов распространения слухов в сетевых сообществах).

3. Новаторские – исследования, использующие уникальные методологические возможности, открывающиеся лишь в интернет-среде (например, исследование точности обыденных оценок личностных качеств, выносимых на основании информации из личных аккаунтов пользователей сетей, исследование размерности субъективного пространства музыкальных предпочтений по данным изучения индивидуальных музыкальных библиотек на сайтах, предоставляющих доступ к музыкальным записям, и т.п.).

В данной статье предпринята попытка обзора современных опросных количественных методов социологических исследований, появившихся в последние годы в России и за рубежом, на основе критериев использования различных технических средств в процессе исследования.

Первую группу количественных исследований представляют опросы на базе использования телефонной связи и компьютера.

Телефонные опросы с помощью компьютера (CAPI – Computer Assist Telephone Interview) уже давно активно используются за рубежом, а теперь и

в нашей стране. Система САПІ автоматически дозванивается до номера респондента, вопросы высвечиваются на экране компьютера интервьюера. Ответы либо записываются в звуковые файлы, либо сразу кодируются и вводятся в компьютер интервьюером. Опросы проводятся по анкетам со сложной логикой, максимально снизив количество ошибок интервьюеров при фильтрации вопросов. Личное интервью с использованием компьютера называется САРІ.

В настоящее время набирает популярность метод телефонного опроса САПІ2web. Он используется в основном, для проведения трекинговых исследований. В данном случае респонденты рекрутируются по телефону, им высылаются SMS или e-mail-приглашение с ссылкой на персональную анкету. Во время опроса в анкете возможна демонстрация аудио- и видеоматериалов. Анкеты имеют сложную логику и разветвленную структуру. Телефонные переговоры записываются, 15% из них подвергается контролю. Заполнение анкеты контролируется по времени, выявляются «механические» ответы респондентов. Такие исследования могут занимать по 30–40 минут времени.

Ко второй группе количественных исследований можно отнести опросы на базе использования сети Интернет. Опросы в сети Интернет классифицируют на 2 группы: асинхронные опросы (e-mail-опрос, рассылка по списку, новостные группы, дискуссионный форум, открытый веб-опрос) и синхронные опросы (веб-чат, рассылка мгновенных сообщений, видеоконференция, опросы, проводимые в аудиториях (например, с помощью сервиса kahoot) [7. С. 393].

E-mail-опрос. При использовании данного метода происходит массовая рассылка по базам данных электронных адресов информации с приглашением к участию в социологическом исследовании, в приложенном файле размещается электронный вариант анкеты или гиперссылка на сайт, где размещена данная анкета. Каждый респондент имеет личный идентификационный номер, позволяющий отследить скорость ответной реакции или послать повторное напоминание через некоторое время.

Web-опрос. В данном случае анкеты размещаются на официальном сайте компании, и выборочная совокупность формируется по принципу «отозвавшихся» на ссылку респондентов.

Опросы посредством социальных сетей, форумов, в группах. Данный способ обеспечивает достаточно точные данные квотной выборки (согласно персональным данным пользователей) и широкий охват пользователей за счет высокой развитости социальных сетей. Здесь возможны рассылка анкет в прикрепленном файле, размещение их в беседе или сообществе. Также существуют специально созданные социальными сетями платформы для проведения опросов. Например, сервис «Опросы 2.0» в социальной сети «ВКонтакте», который предоставляет возможности контролировать время опроса, использовать многовариантные вопросы, создавать опросы на своем сайте или включать их в беседы. При этом предлагаются версии данного продукта для Android и iOS. Презентация продукта представлена на сайте <https://vk.com/blog/new-polls>.

Онлайн панели являются в настоящее время очень распространенным видом в области электронных опросов. Заинтересованные респонденты вы-

ражают свое согласие на участие в интернет-исследованиях, заполняют небольшую анкету, содержащую вопросы о социально-демографических характеристиках. Далее эти данные используются для таргетирования онлайн опросов на нужную целевую группу. Участники панели получают денежное вознаграждение или призы за участие в исследовании. Среди основных проблем проведения панельных опросов эксперты выделяют [2. С. 43–61]:

1. Нерепрезентативность выборочной совокупности. В 2006 г. компания Comscore Networks заявила, что более 30% онлайн исследований проводятся на основе опроса всего 1% населения. Это продиктовано участием респондентов во множестве панелей [9. С. 45].

2. Формируется целый слой «профессиональных» респондентов за счет постоянного участия в опросах (эффект «приспособления» – panel conditioning). Их ответы существенно отличаются от ответов обычных людей. Или же заполнение одним респондентом нескольких анкет при регистрации под разными e-mail. Но технология digital fingerprinting позволяет отслеживать ip-адреса для блокировки повторного заполнения анкеты.

3. Некачественное заполнение анкет. В целом, по данным исследованиям Harris Interactive, около 75% респондентов допускают как минимум одну ошибку в опросе [14].

Решению данных проблем в настоящее время, особенно за рубежом, уделяется огромное внимание, и проводится целый ряд экспериментов с контрольными и экспериментальными группами [15. С. 1–10]. В результате целого ряда экспериментов среди основных путей преодоления перечисленных проблем предлагаются: управление вознаграждением за заполнение анкеты, включение проверочных вопросов, а также изменение дизайна анкет (с использованием инфографики). Опыт проведения экспериментов в США [16. С. 87–99] доказывает эффективность применения при проведении онлайн панелей технологии «роутинга». Для этого респондентам, которые не подошли по квотам для заполнения данной анкеты, тут же предлагается заполнить другую анкету. За счет этого емкость панели повышается без увеличения ее объема.

Также в США практикуется использование концепции «модульных опросов»: анкета разделяется на смысловые блоки – модули, позволяющие респондентам проходить только часть из них. Активно разрабатываются различные пути контроля и стимулирования информантов для более тщательного заполнения анкет и детального прочтения вопросов. Специалистами используется два разных способа вынудить респондентов медленнее отвечать на вопросы анкеты: «функция контроля времени» (Timing control) идентична функции контроля (Control) за тем исключением, что кнопка «Продолжить» блокируется на определенное время; функция «Капча» (Captcha) выводит текст вопроса голосовым прочтением постепенно, со скоростью 250 слов в минуту [17].

Опросы на основании бесплатных и платных платформ (google-форм, testograf.ru, simpoll, survio, MyServeyLab, анкетолог 2.0., servey monkey, getcourse.ru, oproso.ru и других). При этом, по результатам анализа экспертов [18], опросы в Интернете из-за достаточно массового распространения их в настоящее время, особенно в социальных сетях, утрачивают свою эффектив-

ность. По результатам проведенного в течение одного месяца эксперимента Д.В. Руденкиным [13] определено, что всего за двое суток удастся собрать 200–300 анкет, не прибегая к услугам интервьюеров и кодировщиков, не прилагая каких-то серьезных усилий. Основной поток анкет поступает не в первые сутки, а именно во вторые, но уже после двух суток сбора поток данных резко сокращается.

Третью группу количественных исследований представляют современные комбинированные технологии на базе применения средств мобильной связи и сети Интернет. Здесь происходит заполнение анкет через мобильный Интернет с использованием бесплатных и платных платформ. Мобильные опросы – это сбор данных при помощи мобильных телефонов, смартфонов и КПК. Главные их достоинства: респондент может заполнить анкету без привязки к определенному месту и времени; существует возможность охватить большие слои пользователей, чем через простую сеть Интернет; имеются дополнительные возможности для этнографических исследований (сбор дневниковой информации о покупках, получение фото- или видеоотчета). Среди недостатков мобильных опросов называют невысокую скорость мобильного Интернета, большое количество различных операционных систем на мобильных устройствах, большие временные затраты на заполнение анкеты [16. С. 59–84]. Выделяют три способа проведения такого исследования:

1. Через службу сообщений (SMS) – в разосланных SMS-сообщениях содержится приглашение к участию в исследовании. При согласии респондента отправляется ответное SMS с ссылкой на небольшую WAP-анкету. За заполнение анкеты вознаграждение высылается на счет мобильного телефона.

2. Через java-приложения – участники получают ссылку на страницу с приложением для загрузки. Программное обеспечение устанавливается на мобильный телефон, и заполняется анкета. Однако здесь необходимо отметить достаточно высокую стоимость разработки программного обеспечения.

3. Заполнение анкет через мобильный Интернет. В этом случае применяются простые веб-анкеты, однако возникают проблемы с их отображением на мобильном устройстве.

В настоящее время лидером по проведению мобильных исследований является Азия, где число респондентов, участвующих в опросах с мобильных телефонов или планшетов, на треть выше, чем в Европе и Северной Америке, и составляет около 20%, а на некоторых рынках Азии достигает 25% [6. С. 65–67].

Также в настоящее время получают распространение опросы по QR-коду (quick response, «быстрый отклик») [18. С. 726–728]. Данный вид опроса еще недостаточно распространен в России. Он проводится в следующей последовательности: коды маркеров размещаются по территории проведения опроса (на раздаточных материалах, выставочных стендах); информирование и стимулирование гостей и участников оставить отзыв; считывание кодов при помощи личных мобильных устройств желающими принять участие в исследовании; заполнение опросника, присвоение оценок или отзывы; формирование отчета для исследователя. Как правило, QR-код содержит в себе ссылку на анкету, расположенную на онлайн платформе или на глобальную систему оценки качества QRiteria [19], официально зарегистрированную в Роспатенте.

Однако в настоящее время на смену QR-кодам приходит NFS (Near field communication, технология ближнего поля), которая предполагает приложение устройства к маркеру.

Основными препятствиями для проведения подобных опросов выступают низкая заинтересованность участия в исследовании среди респондентов, необходимость наличия специального оборудования и программного обеспечения для считывания кодов, бесплатной сети Wi-Fi. При этом стоимость организации таких типов опросов ниже классических видов опроса.

Отдельной группой количественных электронных опросов можно назвать опросы с использованием элементов компьютерных игр и принципов геймификации. Наиболее разрабатываемым направлением тут является игра-опрос, которая базируется на принципах нейролингвистического программирования. В настоящее время используется два вида таких опросов: геймификация и исследовательские игры. Геймификация предполагает включение в исследование игровых и графических элементов, переформулирование вопросов, включение заданий и т.д. В результате наблюдается заметное изменение отношения и подхода респондентов к участию в опросе. В основу геймификации заложены пять основных компонент [20]: формулирование понятных для респондента правил и цели (игры), нарратив (общий сценарий), интересные задания и квесты, постоянная обратная связь и поощрения респондентов, разработка креативного дизайна опроса.

Геймификация в опросах применяется и для построения прогнозов. Простая фраза «приняв участие в следующем опросе, вы сможете узнать, насколько хорошо справились с этим» оказалась невероятно эффективной для получения серии не связанных друг с другом прогнозов от группы респондентов, а также для поддержания их высокой мотивации на тщательное обдумывание своих ответов. Данная методика получила название «surveytainment» («опрос-развлечение») [7. С. 359].

Геймификация в исследованиях имеет ряд ограничений. Во-первых, большинству независимых исследовательских компаний геймификационные методики, требующие наличия специализированного программного обеспечения, недоступны. Во-вторых, игровая механика несколько усложняет процесс ответа на вопросы, требует от респондентов дополнительного напряжения, концентрации, что повышает их временные затраты (в среднем на 20%). В-третьих, геймифицированный подход к опросам требует значительного объема пилотажа и экспериментальной работы, поскольку высока вероятность искажения получаемой информации. В-четвертых, для создания геймифицированных анкет от их разработчиков требуются способности к творчеству, креативу и даже к искусству [18. С. 141–143].

Более сложным воплощением опросов в игровой форме является формирование опросов-квестов. Суть методики состоит в выстраивании такой логики вопросов при опросе, чтобы она захватывала, заинтересовывала. Последовательность вопросов должна походить на квест или миссию. Также при использовании опросов в игровой форме возможно применение методики планирования сценариев, основанное на воображаемых ситуациях и предположениях «что, если...».

Для усиления эффекта опросов в форме игр рекомендуется добавление соревновательных элементов, например ограничений по времени для ответа.

Также хорошо стимулирует респондентов включение в вопросы механизмов вознаграждения: начисления баллов, розыгрыша призов, ставки на ответы и т.д. Максимальная визуализация вопросов должна применяться в игровых методиках в каждом вопросе.

Исследовательские игры [20. С. 270] – это особый метод разработки онлайн исследований. В его рамках исследователь рассматривает процесс сбора данных с точки зрения дизайнера игр, однако руководствуясь целями исследования. Предпочтение отдается игровым элементам, которые соответствуют и согласуются с содержанием и задачами исследования. Исследовательские игры повышают уровень вовлеченности участников (игродетов) в онлайн опрос, а также вероятность участия в подобных исследованиях в будущем. Однако они имеют достаточно высокую стоимость разработки и долговременные временные сроки реализации.

Профессор Лизбет ван Зуунен и ее команда из IMPRINTS Futures в течение 3 лет до 2014 г. создали две исследовательские игры: TESSA и Dubious [7. С. 262–317]. Их трейлеры представлены на сайте: <https://www.youtube.com/watch?v=nU1jZcSQxmg> и <https://www.youtube.com/watch?v=mmo7UxE3cw>.

При проведении электронных опросов в настоящее время выделяют целый ряд недостатков:

1. Неясная репрезентативность выборки, которая связана с отнесением писем и SMS-приглашений к участию в опросе в спам. Решение данной проблемы возможно путем размещения приглашений на сайтах ведущих провайдеров исследуемого рынка или при входе в популярную почтовую систему для тех респондентов, которые проживают в нужных регионах.

2. Смещенность выборки – участие в интернет-опросах могут принимать только люди, использующие Интернет. Однако, как правило, люди старшего поколения, жители сельской местности недостаточно представлены в интернет-сообществе.

3. Уменьшение количества участников с каждым годом. По результатам исследований, лишь 2% пользователей социальных сетей заполняют анкеты (ярко выраженная зависимость – это люди до 30 лет), 98 человек из 100 «проходят» мимо анкет [9. С. 45].

4. Контроль при проведении исследования обусловлен низким уровнем вовлеченности респондентов и повторным заполнением анкет одними и теми же информантами. Эти проблемы решаются с использованием интернет-технологий, которые позволяют отслеживать IP-адреса респондента.

5. Необходимость уменьшения объемов анкеты (на практике обычно 20–25 вопросов).

6. Технические проблемы: плохая связь, ограниченные ресурсы компьютеров пользователей и сбои в работе провайдеров.

При этом электронные опросы имеют целый ряд преимуществ:

1. Экономия времени, денег и трудовых ресурсов. В среднем онлайн проекты на 40–50% дешевле холл-тестов, уличных или телефонных опросов [21. С. 251]. В мировой практике используются самые различные методы стимулирования людей к участию в опросах: от прямых платежей до предоставления интересного контента. Чаще всего компании используют смешанную методику. Дополнительно среди панелистов проводятся розыгрыши

призов и лотереи, а также начисляются бонусные очки за заполнение профильных анкет [22. С. 75].

2. Возможность индивидуальной обратной связи, отсутствие временных ограничений на участие в исследовании, адаптация числа вопросов в соответствии с профилем клиента.

3. Уменьшение влияния интервьюера (исследователя).

4. Возможность использования большего количества визуальных стимулов (фото-, видео-, аудиоматериалы, использование визуальных шкал, 3D-моделирование, клик-тесты, методики eye-tracking и т.д.).

5. Автоматическая фиксация данных, создание базы данных и статистическая обработка результатов исследования.

6. Более откровенные ответы, что особенно важно при опросах по острым и деликатным проблемам.

7. География выборки респондентов в Интернете шире традиционной.

Таким образом, несмотря на возрастающую популярность электронных исследований в России, требуется дальнейший критический анализ возможностей использования подобных методов для различных направлений социологических исследований, внедрения их в региональных центрах и получения репрезентативных данных.

Литература

1. *О базе данных «Социологические центры и коллективы России»*. URL: http://www.sociologos.ru/ispolniteli_o_baze_dannyh_sociologicheskie (дата обращения: 15.03.2018).

2. *Онлайн исследования в России 2.0* / под ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко, С.Г. Давыдова. М. : Северо-Восток, 2010. 357 с.

3. *Адаму Б., Беркс Д.* Использование исследовательских игр вместо геймифицированных опросов. Влияние метода исследовательских игр на вовлеченность респондентов и вероятность их будущего участия в подобных проектах // *Онлайн-исследования в России: тенденции и перспективы* / под ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко. М. : МИК, 2016. 555 с.

4. *Кейн П.* Возможности применения Flash-шкал в онлайн-исследованиях // *Онлайн-исследования в России 2.0* / под ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко, С.Г. Давыдова. М. : Северо-Восток, 2010. С. 111–127.

5. *Нозль Э.* Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М. : АВА-ЭСТРА, 1993. 112 с.

6. *Пулестон Дж.* Разработка опросов в стиле бонсай // *Онлайн-исследования в России: тенденции и перспективы* / под ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко, 2016. М. : МИК, С. 65–67.

7. *Онлайн-исследования в России: тенденции и перспективы* / под ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко. М. : МИК, 2016. 475 с.

8. *Кормушина Ю.К.* Оперативная безбумажная обратная связь: некоторые технологические решения (на примере использования в Астраханской области) // *Жизнь исследования после исследования: как сделать результаты понятными и полезными* : материалы VI Междунар. соц. Грушинской конф., Москва, 16–17 марта 2016 г. / отв. ред. А.В. Кулешова. М. : ВЦИОМ, 2016. С. 726–728.

9. *Мавлетова А.М.* Борьба за качество и надежность данных в онлайн-исследованиях: основные результаты панельной конференции CASRO 2009 г. // *Онлайн-исследования в России 2.0* / под ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко, С.Г. Давыдова. М. : Северо-Восток, 2010. С. 43–61.

10. *Давыдкина Л.В., Чернов А.В.* Инструменты изучения повседневной мобильности: трекинг и опрос // *Социолог 2.0: трансформация профессии* : материалы VIII Междунар. соц. Грушинской конф., Москва, 18–19 апреля 2018 г. / отв. ред. А.В. Кулешова. М. : ВЦИОМ, 2018. С. 147–150.

11. *Чернов А.В.* Количественные методы исследования городской среды и городских процессов с использованием геоданных // *Навстречу будущему. Прогнозирование в социологических исследованиях* : материалы VII Междунар. соц. Грушинской конф., Москва, 15–16 марта 2017 г. / отв. ред. А.В. Кулешова. М. : ВЦИОМ, 2017. С. 1175–1176.

12. Некрасов С.И. Воздействие интерактивных элементов инструментария на качество данных // Онлайн-исследования в России 2.0 / под ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко, С.Г. Давыдова. М. : Северо-Восток, 2010. С. 127–151.

13. Руденкин Д.В. «Лайк» и «репост» на службе эмпирической социологии // Социолог 2.0: трансформация профессии : материалы VIII Грушинской соц. конф. URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/nauka/grusha2018/prez/plen_rudenkin.pdf (дата обращения: 13.05.2018).

14. Smith R., Brown H. Assessing the quality of data from online panels // Moving forward with confidence. 2005. URL: http://www.hisbonline.com/pubs/HI_Quality_of_Data_White_Paper.pdf (accessed: 12.07.2018).

15. Davis S., Drolet J., Butler A. The survey “burden” factor: How many important is respondent's perception of survey length // Paper presented at the Panel Conference of the Council of American Survey Research Organizations. New Orleans, USA, 2009.

16. Онлайн исследования в России 3.0. / под ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко, С.Г. Давыдова. М. : Кодекс. 2012. 495 с.

17. Revilla M., Ochoa C. What are the links in a web survey among response time, quality, and auto-evaluation of the efforts done? // Social Science Computer Review. 2015. Vol. 33 (1). P. 97–114.

18. Материалы VIII междунар. соц. Грушинской конф. «Социолог 2.0: трансформация профессии», 18–19 апреля 2018 г. / отв. ред. А.В. Кулешова. М. : ВЦИОМ, 2018. 396 с.

19. Глобальная система оценки качества сервиса. URL: <http://qriteria.ru/how-does-it-works/> (дата обращения: 31.08.2018).

20. Adamou B. Research games as a methodology: the impact of online research games upon participant engagement and future research game participation. Research Through Gaming Ltd. URL: https://www.academia.edu/9487108/ResearchGames_as_a (accessed: 29.08.2018).

21. Микаелян И.В., Хитров С.С. Онлайн-опросы для исследования онлайн-рынков // Онлайн-исследования в России 3.0. / под ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко, С.Г. Давыдова. М. : Кодекс, 2012. С. 251–252.

22. Шашкин А.В. Стандарты создания онлайн панелей // Онлайн исследования в России: тенденции и перспективы / под ред. А.В. Шашкина, М.Е. Поздняковой. М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 2006. С. 69–79.

Alexandra V. Vaisburg, Tver State Technical University (Tver, Russian Federation).

E-mail: lassiel@inbox.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 185–195.

DOI: 10.17223/1998863X/55/19

A REVIEW OF MODERN ELECTRONIC QUANTITATIVE SURVEY METHODS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

Keywords: survey; questionnaire; quantitative research; Internet; online.

This article presents an analysis of the dynamics of the formation and current state of the market of sociological services in Russia. The history of the emergence and use of electronic survey methods by research companies. The main researchers engaged in the study and application of Internet surveys in Russia and abroad are listed. The differentiation of research on the Internet (broadcasting, phenomenological and innovative) is presented. An attempt is made to review modern quantitative survey methods of sociological research that have appeared in recent years in Russia and abroad. Quantitative surveys based on the use of telephone and computer are considered: telephone surveys using a computer (SATI), personal interviews using a computer (CAPI), tracking studies (CATI2web). The article provides an overview of the main quantitative survey methods based on the use of the Internet: e-mail-survey; web-survey; surveys through social networks, forums, in groups; surveys based on free and paid platforms; online panels. The main advantages, limitations, disadvantages, and ways to overcome them using each of these types of electronic research are characterized. The principles of application of the concept “modular surveys”, the management of remuneration for completing the questionnaire, the inclusion of verification questions, and changes in the design of questionnaires using infographics are described. The possibility of implementing the functions of timing control, control, kapcha, and routing technology are considered. Combined technologies based on the use of mobile communication and the Internet are reviewed: mobile surveys (via SMS, java-applications, filling out questionnaires via the mobile Internet) and surveys by QR-code. The experience is analyzed of development and conducting surveys using elements of computer games and the principles of gamification: in the form of research

games, gamification, games, entertainment, quests. The positive and negative aspects of their use in sociology are considered.

References

1. SocioLogos.ru. (n.d.) *O Baze dannykh "Sotsiologicheskie tsentry i kollektivy Rossii"* [About the Database "Russian Sociological Centers and Groups"]. [Online] Available from: http://www.sociologos.ru/ispolniteli_o_baze_dannyh_sociologicheskie (Accessed: 15th March 2018).
2. Shashkin, A.V., Devyatko, I.F. & Davydov, S.G. (eds) (2010) *Onlayn issledovaniya v Rossii 2.0* [Online research in Russia 2.0]. Moscow: Severo-Vostok.
3. Adamu, B. & Burks, D. (2016) Ispol'zovanie issledovatel'skikh igr vmesto geymifitsirovannykh oprosov. Vliyaniye metoda issledovatel'skikh igr na vovlechenost' respondentov i veroyatnost' ikh budushchego uchastiya v podobnykh proektakh [Research games instead of gamified polls. The influence of the research games method on the involvement of respondents and the probability of their future participation in such projects]. In: Shashkin, A.V. & Devyatko, I.F. (eds) *Onlayn-issledovaniya v Rossii: tendentsii i perspektivy* [Online Research in Russia: Trends and Prospects]. Moscow: MIK.
4. Cape, P. (2010) Vozmozhnosti primeneniya Flash-shkal v onlayn-issledovaniyakh [The application of Flash-scales in online research]. In: Shashkin, A.V., Devyatko, I.F. & Davydov, S.G. (eds) (2010) *Onlayn issledovaniya v Rossii 2.0* [Online research in Russia 2.0]. Moscow: Severo-Vostok. pp. 111–127.
5. Noel, E. (1993) *Massovyye oprosy. Vvedeniye v metodiku demoskopii* [Mass polls. Introduction to the demoscoping technique]. Moscow: AVA-ESTRA.
6. Puleston, J. (2016) Razrabotka oprosov v stile bonsay [Development of bonsai-style surveys]. In: Shashkin, A.V. & Devyatko, I.F. (eds) *Onlayn-issledovaniya v Rossii: tendentsii i perspektivy* [Online Research in Russia: Trends and Prospects]. Moscow: MIK. pp. 65–67.
7. Shashkin, A.V. & Devyatko, I.F. (eds) *Onlayn-issledovaniya v Rossii: tendentsii i perspektivy* [Online Research in Russia: Trends and Prospects]. Moscow: MIK.
8. Kormushina, Yu.K. (2016) Operativnaya bezbumazhnaya obratnaya svyaz': nekotorye tekhnologicheskie resheniya (na primere ispol'zovaniya v Astrakhanskoj oblasti) [Operational paperless feedback: some technological solutions (a cases study of Astrakhan Region)]. In: Kuleshova, A.V. (ed.) *Zhizn' issledovaniya posle issledovaniya: kak sdelat' rezul'taty ponyatnymi i poleznymi* [Research life after research: how to make the results understandable and useful]. Moscow: VTsIOM. pp. 726–728.
9. Mavletova, A.M. (2010) Bor'ba za kachestvo i nadezhnost' dannykh v onlayn-issledovaniyakh: osnovnyye rezul'taty panel'noy konferentsii CASRO 2009 g. [The struggle for the data quality and reliability in online research: the results of CASRO 2009 panel conference]. In: Shashkin, A.V., Devyatko, I.F. & Davydov, S.G. (eds) (2010) *Onlayn issledovaniya v Rossii 2.0* [Online research in Russia 2.0]. Moscow: Severo-Vostok. pp. 43–61.
10. Davydkina, L.V. & Chernov, A.V. (2018) Instrumenty izucheniya povsednevnoy mobil'nosti: treking i opros [Tools for the Study of Everyday Mobility: Tracking and Survey]. In: Kuleshova, A.V. (ed.) *Sotsiolog 2.0: transformatsiya professii* [Sociologist 2.0: Transformation of the Profession]. Moscow: VTsIOM. pp. 147–150.
11. Chernov, A.V. (2017) Kolichestvennyye metody issledovaniya gorodskoy sredy i gorodskikh protsessov s ispol'zovaniem geodannykh [Quantitative methods for studying the urban environment and urban processes using geodata]. In: Kuleshova, A.V. *Navstrechu budushchemu. Prognozirovaniye v sotsiologicheskikh issledovaniyakh* [Towards the Future. Forecasting in Sociological Research]. Moscow: VTsIOM. pp. 1175–1176.
12. Nekrasov, S.I. (2010) Vozdeystviye interaktivnykh elementov instrumentariya na kachestvo dannykh [The Impact of Interactive Toolkit Elements on Data Quality]. In: Shashkin, A.V., Devyatko, I.F. & Davydov, S.G. (eds) (2010) *Onlayn issledovaniya v Rossii 2.0* [Online research in Russia 2.0]. Moscow: Severo-Vostok. pp. 127–151.
13. Rudenkin, D.V. (2018) "Layk" i "repost" na sluzhbe empiricheskoy sotsiologii ["Like" and "repost" in the service of empirical sociology]. In: Kuleshova, A.V. (ed.) *Sotsiolog 2.0: transformatsiya professii* [Sociologist 2.0: Transformation of the Profession]. Moscow: VTsIOM. [Online] Available from: https://wciom.ru/fileadmin/file/nauka/grusha2018/prez/plen_rudenkin.pdf (Accessed: 13th May 2018).
14. Smith, R. & Brown, H. (2005) *Assessing the quality of data from online panels*. [Online] Available from: http://www.hisbonline.com/pubs/HI_Quality_of_Data_White_Paper.pdf (Accessed: 12th July 2018).

15. Davis, S., Drolet, J. & Butler, A. (2009) *The survey "burden" factor: How many important is respondent's perception of survey length*. Paper presented at the Panel Conference of the Council of American Survey Research Organizations. New Orleans, USA.
16. Shashkin, A.V., Devyatko, I.F. & Davydov, S.G. (eds) (2012) *Onlayn issledovaniya v Rossii 3.0* [Online research in Russia 3.0]. Moscow: Kodeks.
17. Revilla, M. & Ochoa, C. (2015) What are the links in a web survey among response time, quality, and auto-evaluation of the efforts done? *Social Science Computer Review*. 33(1). pp. 97–114. DOI: 10.1177/0894439314531214
18. Kuleshova, A.V. (ed.) (2018) *Sotsiolog 2.0: transformatsiya professii* [Sociolog 2.0: The Transformation of the Profession]. Moscow: VTsIOM.
19. Qriteria.ru. (n.d.) *Global'naya sistema otsenki kachestva servisa* [Global system for assessing the service quality]. [Online] Available from: <http://qriteria.ru/how-does-it-works/> (Accessed: 31st August 2018).
20. Adamou, B. (2013) *Research games as a methodology: the impact of online research games upon participant engagement and future research game participation*. *Research Through Gaming Ltd*. [Online] Available from: https://www.academia.edu/9487108/ResearchGames_as_a_a_ (Accessed: 29th August 2018).
21. Mikaelyan, I.V. & Khitrov, S.S. (2012) Onlayn-oprosy dlya issledovaniya onlayn-rynkov [Online Surveys for Online Markets Research]. In: Shashkin, A.V., Devyatko, I.F. & Davydov, S.G. (eds) (2012) *Onlayn issledovaniya v Rossii 3.0* [Online research in Russia 3.0]. Moscow: Kodeks. pp. 251–252.
22. Shashkin, A.V. (2006) Standarty sozdaniya onlayn paneley [Standards for creating online panels]. In: Shashkin, A.V. & Devyatko, I.F. (eds) *Onlayn-issledovaniya v Rossii: tendentsii i perspektivy* [Online Research in Russia: Trends and Prospects]. Moscow: MIK. pp. 69–79.

УДК 314.7:304.2(470+571)
DOI: 10.17223/1998863X/55/20

А.В. Овчинников, О.В. Головашина, В.С. Благинин

КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ РОССИЯН В СИТУАЦИИ МИГРАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ¹

Представлено философское осмысление результатов социологического исследования, проведенного в 2018 г. в Воронеже, Липецке, Казани, Саратове, Тамбове (3 003 человека). Вопросы анкет отражали аксиологические, поведенческие, языковые, когнитивные аспекты диффузии культурных образов. Выявлена высокая степень готовности принимающего сообщества к культурной диффузии. Зафиксировано отсутствие реальных предпосылок для противостояния образов культурной памяти россиян и мигрантов.

Ключевые слова: мигранты, культурная память, анкетирование, мультикультурализм.

Введение

Феномен культурной памяти обращает на себя внимание исследователей с начала XX в. вследствие проявления тенденции к взаимовлиянию и демаркации различных научных дисциплин, исследующих социальную действительность: социологии, психологии, истории, политологии и др. Основываясь на феноменологической трактовке культуры как результата познавательного опыта, конструирующего социальную реальность в ходе повседневных практик [1], культурная память в дальнейшем рассматривается исследователями в качестве совокупности разделяемых и конструируемых представлений о временных, политических, социокультурных аспектах истории народа, выступающих инструментом формирования и поддержания групповой идентичности [2].

Таким образом, культурную память населения можно определить как совокупность образов коллективных представлений о прошлом, воспроизводимых и разделяемых внутри социальной группы, служащих механизмом культурной (само)идентификации. Культурная память является многокомпонентным феноменом, включающим в себя ряд аксиологических, языковых, когнитивных и поведенческих аспектов [3. С. 54–56].

В настоящее время под влиянием глобализационных процессов, развития межкультурного взаимовлияния и взаимодействия представителей различных культур особо актуальны сюжеты о сохранении культурной памяти и трансформации отдельных ее аспектов под влиянием культурных нарративов представителей других этнических сообществ. Взаимопроникновение культурных форм, образцов, моделей поведения и мировоззренческих установок осуществляется посредством процесса культурной диффузии, являющейся результатом культурного контактирования, осуществляемого через различ-

¹ Исследование выполнено за счет средств гранта РФ (проект № 17-78-20149 «Культурная память России в ситуации глобальных миграционных вызовов: конфликты репрезентаций, риски забвения, стратегии трансформации»).

ные диффузионные каналы, основным из которых для современной России является трудовая, учебная и иные виды миграции [4. С. 233].

Взаимодействие компонентов культуры, происходящее во время пребывания мигрантов в принимающей стране, – многофакторный феномен, охватывающий множество сфер общественной жизни. Изучение уровня готовности коренного населения России к культурной диффузии является важным инструментом для исследования свойств и особенностей культурной памяти населения России, выявления общественного настроения, уровня социальной напряженности и возможных способов взаимодействия коренного населения и мигрантов.

Источники и методология

Для проведения социологического исследования авторами разработана программа, включающая методологический, методический и процедурный разделы, в рамках которой выполнена операционализация понятия культурной диффузии. Исследование проводилось среди мигрантов и принимающего сообщества весной 2018 г. методом анкетирования. В предлагаемой статье представлены результаты обработки 3 003 анкет респондентов, постоянно проживающих в Тамбове, Липецке, Воронеже, Саратове, Казани. Выборка квотная (многоступенчатая). Квотами являются город проживания, пол и возраст респондента. Для анализа результатов были построены таблицы частотного распределения по вопросам, а также таблицы сопряженности в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов.

Для разработки теоретической оптики исследования были проанализированы возможности динамики культурной памяти и концептуализированы те аспекты понятия «культурная диффузия», которые, на наш взгляд, могут наибольшим образом зависеть от влияния исторических представлений мигрантов [5–7]. Чтобы понять границы изменения культурной памяти, в предлагаемой работе мы будем использовать категорию «культурная диффузия», которая позволяет обратить внимание, прежде всего, на возможность взаимопроникновения образов культур вообще и исторических нарративов в частности, а также проанализировать каналы и модели, при помощи которых происходит этот процесс.

Для разработки анкеты использовалось несколько основных индикаторов, включающих ряд когнитивных, языковых, аксиологических и поведенческих аспектов культурной диффузии:

– *аксиологический* аспект, включающий ценности и нормы принимающего сообщества, которые отражают отношение к собственной культуре и культуре мигрантов;

– *языковой* аспект культурной диффузии, включающий использование иностранных слов в повседневной речи принимающего сообщества, восприятие сообществ, распространение иностранной речи и т.д.;

– *поведенческий* аспект культурной диффузии, включающий особенности ведения быта, моделей поведения и способов взаимодействия между коренным и прибывшим населением;

– *когнитивные* аспекты культурной диффузии, включающие интерес принимающего сообщества в отношении отличных от национальной культур, а также истории, обычаев и традиций других стран;

– *готовность* коренного населения к взаимодействию с иностранными мигрантами и принятию тех или иных аспектов культуры другой страны.

Культурная диффузия: возможности и перспективы

Согласно результатам исследования, принимающее сообщество российских городов считает необходимым изучение истории других стран. Так, примерно половина опрошенных (46,7%) считает, что изучение истории других стран необходимо, но не в ущерб истории своей страны.

Мотивация россиян к изучению истории других стран также связана по большей части с когнитивным аспектом культуры и стремлением к познавательной деятельности. Большинство респондентов (28,6%) изучают историю других стран для получения дополнительной информации в рамках процесса самообразования и расширения собственного кругозора. Примерно четверть респондентов (25,4%) изучают историю других стран для более точной и объективной оценки истории России.

В вопросе предпочтения россиян в том, историю каких именно стран изучать, можно сделать вывод об интересе к истории этих стран с точки зрения ее общности с историей российской. Так, примерно для трети опрошенных (33,3%) интересна история Западной Европы.

Россияне считают важным знание собственной истории. Подавляющее большинство респондентов (77,3%) полагают, что изучать историю России необходимо.

Среди представителей исследуемых российских городов наибольший интерес к самообразованию и расширению собственного кругозора и осведомленности в области исторического знания проявляют жители Липецка (табл. 1). Лишь 8% опрошенных липчан довольствуются знаниями школьной программы, в то время как 91% респондентов из Липецка считают важным постоянное изучение истории России.

Таблица 1. Мнение россиян о необходимости изучения собственной истории в зависимости от города проживания, %

Важно ли изучать историю России?	Город опроса				
	Казань	Саратов	Тамбов	Липецк	Воронеж
Нет, так как интересуюсь историей других стран	4,3	4,2	2,2	1,0	3,2
Да, но только на уровне школьной базы	20,0	25,8	15,2	8,0	20,5
Да, изучать историю России необходимо	75,6	70,0	82,5	91,0	76,2

В вопросе этноцентричности взглядов на собственную историю жители российских городов характеризуются немного более критической оценкой объективности исторического знания в отличие от мигрантов. Наибольший уровень этноцентричности взглядов на собственную историю проявили жители Саратова (табл. 2).

Данные исследования также подтверждают, что особенности поведенческого и ценностного аспектов культурной диффузии в культуре россиян в целом идентичны этим же аспектам у мигрантов. Среди аспектов культуры, которые россияне готовы перенять у мигрантов, первое место, аналогично мнению приезжих, занимают человеческие качества (28,4%). Чуть менее для россиян интересны аксиологические аспекты культуры приезжих (24,1% опрошенных).

Таблица 2. Оценка этноцентричности взглядов россиян на собственную историю в зависимости от города проживания, %

Согласны ли Вы с утверждением, что на историю надо смотреть исключительно с точки зрения интересов своей страны?	Город опроса				
	Казань	Саратов	Тамбов	Липецк	Воронеж
Нет, поскольку историческая правда и истина важнее, чем интересы своей страны	19,9	7,0	14,2	16,8	14,5
Скорее нет, поскольку в истории не бывает однозначно правых и неправых	32,7	39,1	38,7	40,5	37,8
Скорее да, поскольку надо до конца соблюдать гражданский долг перед страной	17,9	40,0	17,8	15,5	22,8
Да, поскольку только интересы своей страны являются главными	29,5	13,9	29,3	27,3	25,0

Единого мнения о том, на каком языке должны общаться мигранты, у россиян нет. Примерно половина респондентов (45,4%) считают, что, пребывая на территории России, мигранты должны использовать только русский язык.

Стоит отметить, что важность использования мигрантами русского языка отмечается в регионах с относительно однородной культурой (табл. 3). Для мультикультурных регионов, таких как, например, Казань, характерно нейтральное отношение к выбору мигрантами языка общения.

Таблица 3. Отношение местного населения к выбору языка общения мигрантов в зависимости от города проживания, %

Как Вы считаете, на каком языке должны разговаривать мигранты в присутствии коренного населения вашего города?	Город опроса				
	Казань	Саратов	Тамбов	Липецк	Воронеж
Не имеет значения	60,7	32,0	40,6	34,0	33,0
На родном (нерусском)	9,1	11,4	13,8	5,8	8,6
Только на русском	30,1	56,5	45,5	60,3	58,4

К выбору мигрантами вероисповедания местные жители российских городов в целом относятся нейтрально. Для более чем половины респондентов (55,6%) религия мигрантов не имеет значения.

Около трети опрошенных (29,9%) нейтрально относятся к возможному появлению объектов религиозного культа, отличных от типичных для данной территории религиозных объектов: 22,4% респондентов считают, что появление любого религиозного объекта обогащает местную культуру и вносит разнообразие в архитектуру города. Лишь 13,7% опрошенных настроенно относятся к другим религиям вообще. Наиболее положительное отношение к строительству религиозных объектов другой веры преобладает среди респондентов, исповедующих ислам (табл. 4).

Таблица 4. Отношение местного населения к строительству религиозных объектов других культур в зависимости от вероисповедания, %

Как Вы относитесь к строительству религиозных объектов других культур в вашем городе?	Вероисповедание:				
	Христианство	Ислам	Буддизм	Иная вера	Атеизм
Нейтрально	29,8	17,7	22,2	33,0	40,1
Отрицательно, так как это привлечет больший поток мигрантов в мой город	15,3	12,2	22,2	23,6	13,9
Скорее отрицательно, так как отношусь настроенно к другим религиям	14,8	10,0	27,8	15,1	13,2
Положительно по отношению к религиозным объектам некоторых культур	18,7	23,4	0,0	9,4	20,0
Положительно ко всем религиозным объектам, так как это обогатит российскую культуру	21,4	36,8	27,8	18,9	12,8

Кроме того, нейтрально-положительное отношение к религиозным объектам иной культуры более характерно для регионов, население которых представляет разные культуры (табл. 5).

Таблица 5. Отношение местного населения к строительству религиозных объектов других культур в зависимости от города проживания, %

Как Вы отнесетесь к строительству религиозных объектов других культур в вашем городе?	Город опроса				
	Казань	Саратов	Тамбов	Липецк	Воронеж
Нейтрально	34,6	23,5	33,3	28,3	29,0
Отрицательно, так как это привлечет большой поток мигрантов в мой город	8,7	21,2	9,8	20,8	14,9
Скорее отрицательно, так как отношусь настороженно к другим религиям	7,6	17,2	19,1	18,5	12,4
Положительно по отношению к религиозным объектам некоторых культур	15,9	28,4	14,2	13,5	22,2
Положительно ко всем религиозным объектам, так как это обогатит Российскую культуру	33,3	9,7	23,6	19,0	21,5

Уровень этноцентричности взглядов россиян на религию можно охарактеризовать как невысокий. Так, более половины опрошенных (51,4%) принимают уверенность представителей других культур в истинности своего вероисповедания.

Несмотря на довольно либеральное отношение к собственной культуре с точки зрения ее лингвистических или духовных аспектов, отношение россиян к иностранным праздникам, в частности к западным, можно охарактеризовать как консервативное. Лишь 19,3% респондентов считают нормой праздновать иностранные праздники.

Сферы, в которых россияне используют достижения других культур, характеризуют саму российскую культуру, являющуюся результатом многовековой истории культурного обмена и общения многонационального российского народа. По мнению большинства респондентов (42,6%), многообразие российской культуры проявляется в первую очередь в кулинарии и блюдах, присутствующих в рационе россиян.

Аналогично достижениям других культур россияне используют и достижения национальной культуры. Так, больше половины респондентов (52,1%) отметили, что используют достижения национальной культуры в кулинарии.

Как и мигранты, россияне в равной степени отмечают и светские, и церковные праздники. В вопросе соблюдения праздничных традиций своей культуры между мигрантами и местным населением российских городов отличие наблюдается лишь в количестве людей, придерживающихся светских взглядов (30,4% опрошенных россиян против 19,6% мигрантов).

Наиболее приемлемой моделью взаимоотношений с мигрантами для россиян является взаимодействие, основанное на административной общности. Примерно для четверти опрошенных (25,6%) важно, чтобы мигранты приняли российское гражданство.

Выводы

Можно сделать вывод о высокой степени готовности населения к культурной диффузии.

С точки зрения когнитивного аспекта население имеет достаточно высокую степень готовности к культурной диффузии. Россияне вполне осознанно

стремятся к получению новых знаний об истории, не ограничиваясь только знаниями, полученными в школе. Вместе с тем уровень этноцентричности взглядов на собственную историю у мигрантов и россиян имеет ощутимые различия.

Лингвистические аспекты культурной диффузии мигрантов и россиян выражены не так очевидно. Большинство опрошенных представителей коренного населения российских городов используют в своей речи иностранные слова и выражения.

С точки зрения *ценностного* аспекта можно отметить в целом высокий уровень готовности к культурной диффузии. Мигранты и принимающее сообщество разделяют ценности друг друга, отличаются низкой степенью этноцентричности взглядов на свое вероисповедание.

Достаточно высокий уровень культурной диффузии можно отметить и с точки зрения *поведенческого* аспекта. Коренное население российских городов принимает и разделяет поведенческие установки мигрантов. В ходе социальных практик на первый план выходят личностные качества, проявляющиеся во время повседневного общения. Стоит отметить некоторую аполитичность исследуемых – россияне не проявляют значительной заинтересованности в политических практиках мигрантов.

Литература

1. *Степин В.С.* Философский анализ мировоззренческих универсалий культуры // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2011. № 1. С. 8–17.
2. *Красных В.В.* Культура, культурная память и лингвокультура: их основные функции и роль в культурной идентификации // Вестник ЦМО МГУ. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. 2012. № 3. С. 67–73.
3. *Ассман Я.* Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Litres, 2017. 370 с.
4. *Иконникова С.Н., Большаков В.П.* Теория культуры : учеб. пособие. СПб. : Питер, 2016. 952 с.
5. *Артог Ф.* Порядок времени, режим историчности // Неприкосновенный запас. 2008. № 3 (59). URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/ar3.html> (дата обращения: 02.03.2019).
6. *Erlil A., Rigny A.* Introduction: Cultural Memory and its Dynamics // *Mediation, remediation, and the dynamics of cultural memory* / ed. by A. Erlil, A. Rigney. Berlin, New York : Walter de Gruyter, 2009. P. 1–11.
7. *Олик Д.* Фигурации памяти: процессно-реляционная методология, иллюстрируемая на примере Германии // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11, № 1. С. 40–74.

Alexander V. Ovchinnikov, Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov (Kazan, Russian Federation); Lipetsk Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation (Lipetsk, Russian Federation).

E-mail: ovchinnikov8_831@mail.ru

Oksana V. Golovashina, Derzhavin Tambov State University (Tambov, Russian Federation); Lipetsk Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation (Lipetsk, Russian Federation).

E-mail: ovgolovashina@mail.ru

Vladislav S. Blagin, Lipetsk Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation (Lipetsk, Russian Federation).

E-mail: Kibervlad@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 196–202.

DOI: 10.17223/1998863X/55/20

THE CULTURAL MEMORY OF RUSSIANS IN THE SITUATION OF MIGRATION CHALLENGES

Keywords: migrants; cultural memory; questioning; multiculturalism.

The authors discuss the features of the philosophical analysis of the “problem of migrants”. Cultural myths play an important role in the migrant discourse of modern Russia. The urgency of studying the cultural memory of Russians in the conditions of the increasing rates of migration and the potential escalation of historical myths’ “wars of memory” is stated. The article presents the results of a sociological research conducted by the method of questioning in 2018 among migrants and Russians (a total of 3003 people) living in Russia (Tambov, Lipetsk, Voronezh, Saratov, and Kazan). The sample was multi-stage (quotas are the city of residence, gender and age of the respondent). The authors constructed tables of frequency distribution by questions and tables of conjugacy depending on the socio-demographic characteristics of the respondents. Questions reflect axiological, behavioral, linguistic and cognitive aspects of the diffusion of cultural images. Results of research revealed a high degree of Russians’ readiness to cultural diffusion. Migrants and Russians, in general, share the values of each other, have a low degree of ethnocentric views on their religion. The differences are revealed in the level of migrants’ and Russians’ ethnocentric views on their own history. Russians quite consciously seek to gain new knowledge about history, not limited to the knowledge gained in school. Russians have a more critical attitude to the objectivity of history. Linguistic aspects of the cultural diffusion of migrants and Russians are not obvious. A high level of cultural diffusion can be noted in terms of the behavioral aspect. In the course of social practices, personal qualities come to the fore. It is worth noting that Russians are apolitical, they do not show significant interest in migrants’ political practices. The absence of real prerequisites for the confrontation of images of residents’ and migrants’ cultural memory.

References

1. Stepin, V.S. (2011) *Filosofskiy analiz mirovozzrencheskikh universalii kul'tury* [Philosophical analysis of worldview universals of culture]. *Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta – Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University*. 1. pp.8–17.
2. Krasnykh, V.V. (2012) *Kul'tura, kul'turnaya pamyat' i lingvokul'tura: ikh osnovnye funktsii i rol' v kul'turnoy identifikatsii* [Culture, cultural memory and linguistic culture: their main functions and role in cultural identity]. *Vestnik TsMO MGU. Filologiya. Kul'turologiya. Pedagogika. Metodika*. 3. pp. 67–73.
3. Assman, J. (2017) *Kul'turnaya pamyat'. Pis'mo, pamyat' o proshlom i politicheskaya identichnost' v vysokikh kul'turakh drevnosti* [Cultural memory. Writing, Memory of the Past and Political Identity in the High Cultures of Antiquity]. Moscow: Litres. pp. 54–56.
4. Ikonnikova, S.N. & Bolshakov, V.P. (2016) *Teoriya kul'tury* [Theory of Culture]. St. Petersburg: Piter.
5. Artog, F. (2008) *Poryadok vremeni, rezhim istorichnosti* [The order of time, the mode of historicity]. *Neprikosnovennyi zapas*. 3(59). [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/ar3.html> (Accessed: 2nd March 2019).
6. Erll, A. & Rigney, A. (2009) Introduction: Cultural Memory and its Dynamics. In: Erll, A. & Rigney, A. (eds) *Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory*. Berlin, New York: Walter de Gruyter. pp.1–11.
7. Olick, D. (2012) Figurations of memory: a process-relational methodology illustrated on the German case. *Sotsiologicheskoe obozrenie – Russian Sociological Review*. 11(1). pp. 40–74. (In Russian).

УДК 316.334.3

DOI: 10.17223/1998863X/55/21

Д.В. Руденкин

ПОЛЮСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: СРАВНЕНИЕ АКТИВИСТОВ ПРОВЛАСТНЫХ И ОППОЗИЦИОННЫХ ДВИЖЕНИЙ¹

Статья посвящена выявлению сходств и различий активистов провластных и оппозиционных молодежных движений в современной России. Исходная гипотеза работы заключается в том, что различия между активистами провластных и оппозиционных движений преувеличены, а в основе их активности лежит схожая система стимулов. В работе описаны результаты эмпирической верификации этой гипотезы. Ключевые слова: молодежь, российская молодежь, политическая активность, провластные молодежные движения, оппозиционные молодежные движения.

Введение

Даже поверхностный анализ актуальной научной литературы показывает, что отечественная социально-гуманитарная наука переживает своеобразный ренессанс интереса к теме политической активности молодежи. Значительное внимание к этой теме уже прослеживалось в российской науке в середине 2000-х гг., когда заметная политическая активность молодежи в постсоветских странах и быстрое развитие молодежных движений внутри страны создали управленческий запрос на анализ участия молодежи в политических процессах. В те годы выходило довольно много научных работ, в которых проводился многогранный анализ как форм политической активности молодежи [1–4], так и факторов, от которых такая активность зависит [5–8]. Тем не менее популярность исследований в этой области позднее снизилась, и в научной литературе стали звучать рассуждения об определенной бесперспективности анализа политической активности российской молодежи в связи с аполитичностью [9–12] или даже социальной пассивностью [13–16] многих представителей данной социальной группы. Поэтому столь примечательным выглядит всплеск интереса социологии к этой теме, который намечился в научных работах в настоящее время: фактически он говорит о том, что происходит актуализация внимания к некогда утратившим актуальность вопросам о формах политической активности молодежи [17–20] и о факторах, от которых такая активность может зависеть [21–24].

Подоплека активизации интереса к этим вопросам выглядит прозрачной. В минувшие годы в российской публичной политике проявились как минимум два заметных тренда, которые показали, что распространенное в литературе утверждение о стойкой аполитичности большинства молодых россиян может быть несколько преувеличенным. Во-первых, примечательным оказалось активное вовлечение многих представителей молодежи в те протестные

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проекта № 19-011-31601.

акции, которые проходили в России в 2017 г. и повторились вновь в 2019 г. [25]; эти акции показали, что определенный сегмент молодежного сообщества не только следит за состоянием дел в политике, но и недоволен им и даже способен конвертировать свое недовольство в реальные бунтарские действия. Во-вторых, стала заметна деятельность движений, которые создали бывшие активисты провластных молодежных проектов. К числу таких движений можно отнести, например, проекты «СтопХам» или «Лев Против» [26]. Несмотря на то, что такие движения обычно локализуют свою активность в довольно узких сферах и редко затрагивают политические повестки, резонанс вокруг проводимых ими акций сделал само их существование показательным. Сколь бы разрозненными ни выглядели эти тренды в отдельности друг от друга, совокупно они отражают примечательную перемену в политической культуре российской молодежи. Фактически они говорят о том, что равнодушие к происходящему в обществе и политике характерно далеко не для всех молодых россиян. И среди них есть немалая доля тех, кто не просто равнодушен к происходящему в стране, но и стремится конвертировать свое равнодушие в реальные поведенческие практики. Непривычность таких настроений и поведенческих склонностей молодежи закономерно вызывает стремление социологов разобраться в их подоплеке.

Вместе с тем, несмотря на многочисленность и тематическую многогранность работ, которые в последнее время выходят в области анализа политической активности российской молодежи, в этом предметном поле остается еще довольно много неясностей. В частности, остается не вполне ясной степень различий между теми представителями российской молодежи, которые проявляют интерес к деятельности провластных политических сообществ, и теми, кто вовлекается в активность других, оппозиционных движений. События последних лет показывают, что оба этих полюса политической активности в России не только существуют, но и привлекают определенное внимание молодежи [27]. Чисто интуитивно мы можем предположить, что интерес к провластным и оппозиционным движениям проявляют разные молодые люди: эти движения расходятся как в декларируемых целях, так и в основных формах своей активности, поэтому они могут привлекать разных представителей молодежи. Но в чем конкретно проявляются различия между молодыми людьми, вовлеченными в деятельность провластных и оппозиционных движений? Насколько серьезны эти различия? И нет ли между ними каких-то общих черт? В данной работе мы бы хотели продвинуться в понимании соответствующих вопросов.

Обзор литературы

Тема политической активности молодежи оказалась в фокусе социально-гуманитарной науки довольно давно. Отчетливый интерес к релевантным вопросам был замечен в научной литературе еще в 1970-е гг., когда в фокусе внимания исследователей оказались формы активности различных молодежных движений [28], мотивация активистов таких движений [29], их социальные функции [30] и целый ряд других подобных вопросов. Вероятно, само появление этого аналитического вектора в социально-гуманитарной науке имело в первую очередь управленческую подоплеку: в работах тех лет исследователи напрямую говорили о своем желании разобраться в тех причинах,

которые стояли за всплеском молодежной активности в конце 1960-х гг. Тем не менее, вне зависимости от причин формирования этого вектора анализа, еще с тех пор в социально-гуманитарной науке распространено представление о молодежи как об относительно самостоятельном и важном субъекте политических процессов. И исследования в этой области проводятся до сих пор в разных странах мира: только в минувшие несколько лет выходили работы, посвященные особенностям политической активности молодежи в Израиле [31], Сенегале [32], Швеции [33] и многих других государствах.

Характерно при этом, что еще в 1970-е гг. исследователи обратили внимание на примечательное сходство в мотивации и убеждениях молодежных активистов, которые вовлекались в активность разных (или даже противоположных) по своим целям политических движений. Вероятно, одним из первых этот эффект заметил Н. Блюм, который отмечал принципиальную схожесть убеждений и жизненных целей у американских студентов, проявляющих интерес к политическим клубам разных политических партий: его исследования демонстрировали, что и симпатизирующие демократам, и сторонники республиканцев отвечали на мировоззренческие вопросы практически одинаково [34]. Но он не был единственным, кто обратил внимание на этот эффект: схожие наблюдения делались в те же годы в Бразилии [35], Германии [36] и других странах. Более того, актуальные исследования показывают, что социологи и сегодня нередко обнаруживают характерные сходства в настроениях и убеждениях молодых людей, симпатизирующих различным политическим силам и вовлеченных в деятельность разных по профилю движений [37]. Собственно, эту же схожесть нередко выявляли и те исследования, которые проводились в России во время прошлого всплеска интереса к анализу политической активности молодежи: тогда молодые люди вовлекались в деятельность провластных и оппозиционных движений под влиянием если и не одинаковых, то очень похожих стимулов, а в их мировоззрении прослеживались заметные сходства [38]. Так что можно сказать, что наличие схожести в мотивации и убеждениях активистов разных по профилю молодежных движений – явление не только известное, но и довольно распространенное.

Причина возникновения этого сходства, вероятнее всего, лежит в самой специфике политической активности молодежи как социальной группы. Анализ научной литературы наталкивает на мысль, что в природе ее политической активности может прослеживаться принципиальное противоречие, которое и порождает это сходство. С одной стороны, как верно отмечают многие исследователи, в мотивации политической активности молодежи чаще всего прослеживается отчетливая ценностная подоплека: такая активность становится для молодых людей не столько механизмом решения неких текущих проблем, сколько способом продемонстрировать свое мировоззренческое несогласие с тем устройством общества, которое она видит. О такой подоплеке политической активности молодежи еще в 1970-е гг. писал Ш. Эйзенштадт [39], и позднее исследования показывали, что деятельность самых разных молодежных движений по всему миру действительно была вдохновлена ценностным несогласием молодых людей с тем устройством общества, которое они видели вокруг себя и которое стремились изменить [40]. С другой стороны, исследования показывают, что дефицит жизненного опыта и слабая развитость политической культуры нередко ограничивают

представления молодых людей о формах, в которых можно продемонстрировать несогласие с существующими в обществе порядками и попытаться их изменить [41]. Поэтому вектор и формы политической активности, возникающей на почве мировоззренческого несогласия молодежи с порядками, которые сложились в обществе, часто превращаются в непредсказуемые переменные, которые зависят от случайных факторов [42]. Иными словами, почву для схождения мотивации и убеждений активистов различных молодежных движений создает противоречие между четкостью исходных импульсов их активности и непредсказуемостью форм воплощения этой активности. В силу случайных причин молодые люди могут вовлекаться в деятельность разных (в том числе противоположных) движений, но при этом быть очень похожими в исходной природе своих мотивации и убеждений.

Экстраполяция этой логики на контекст современного российского общества наталкивает нас на мысль, что различия между активистами провластных и оппозиционных молодежных движений могут быть далеко не абсолютными. Актуальные исследования показывают, что молодые россияне имеют много ценностных претензий к тому, как устроено российское общество [43], и у кого-то из них эти претензии действительно склонны конвертироваться в реальную политическую активность [44]. Поэтому мы предполагаем, что в основе действий провластных и оппозиционных активистов может лежать схожая система мотивов и убеждений молодых людей. Имея разные воплощения, их политическая активность базируется на схожей системе исходных импульсов. Однако, разумеется, пока это лишь аналитическая гипотеза, проверка которой требует эмпирической диагностики. О результатах такой диагностики мы расскажем ниже.

Методология исследования

Эмпирическую основу данной работы составляют материалы социологического исследования, которое было проведено нами в первой половине 2019 г. на базе Уральского федерального университета в г. Екатеринбурге. В ходе исследования мы стремились выяснить, какие причины стоят за политической активностью молодежи, вовлеченной в деятельность оппозиционных и провластных движений, и выявить основные формы, в которых такая активность воплощается. В соответствии с данными задачами мы сфокусировали свой анализ на диагностике настроений и поведенческих закономерностей, которые свойственны молодым людям, непосредственно вовлеченным в деятельность молодежных политических движений.

Стремясь отразить специфику таких убеждений и поведенческих закономерностей у разных по своим взглядам молодых людей, мы отбирали в равных пропорциях представителей двух противоположных политических лагерей: активистов провластных молодежных организаций (таких как «Молодая гвардия Единой России») и сторонников оппозиционных движений (таких как «Команда Навального»). Суммарно в ходе исследования были опрошены 152 активиста провластных движений и 146 представителей оппозиционных движений.

Уточним важную процедурную деталь. Строгая система учета сторонников и активистов в таких движениях отсутствует. Поэтому при отборе респондентов мы были лишены возможности опираться на случайные вероят-

ностные выборы, так как не могли даже примерно оценить размеры генеральной совокупности и критерии ее сегментации. Основой отбора респондентов, таким образом, послужил целевой отбор: в исследование включались респонденты, которые идентифицировали себя как активистов соответствующих движений и имели подтвержденный опыт участия хотя бы в одной из акций таких движений за последний год. Поэтому данные исследования требуют осторожного отношения. Они позволяют нам решить задачи своего исследования и проанализировать специфику сознания и поведения молодежных активистов, но экстраполировать эти данные на уровень всей российской молодежи не стоит.

Результаты исследования

Анализ данных, которые были собраны в ходе исследования, позволяет сделать несколько примечательных выводов о сходствах и различиях провластных и оппозиционных активистов.

Прежде всего, характер и формы политической активности у представителей провластных и оппозиционных движений оказываются очень разными. Сам опыт такой активности велик и у провластных активистов, и у оппозиционных, но содержание их активности предсказуемо различается. Активистов обоих политических профилей роднит именно высокая интенсивность вовлечения в политику: тех, кто дистанцируется от такой деятельности или принимает в ней участие редко, практически нет. Тем не менее содержание деятельности различается очень существенно (табл. 1). Все действия, которые они склонны совершать, можно разделить на три группы: действия, которые более склонны совершать провластные активисты; действия, которые с равной частотой совершают провластные активисты и оппозиционеры; действия, которые чаще склонны совершать оппозиционеры.

Таблица 1. Что из этого Вы совершали хотя бы раз за последние 1–3 месяца?
(% от числа ответивших, провластные активисты vs. оппозиционные активисты)

Вариант ответа	Провластные активисты	Оппозиционные активисты
<i>Чаще совершают провластные активисты</i>		
Участвовал в волонтерских акциях, культурных и спортивных мероприятиях	80,8	47,2
Участвовал в работе молодежных объединений, парламентов	65,6	22,9
Помогал ветеранам, инвалидам, престарелым	39,7	7,6
<i>С сопоставимой частотой совершают и те и другие</i>		
Участвовал в работе правозащитных организаций	11,9	16,7
Участвовал в подготовке законопроекта	7,3	1,4
Выполнял функции помощника депутата	6,6	0,7
<i>Чаще совершают оппозиционные активисты</i>		
Участвовал в забастовках, пикетах, митингах	17,9	91,7
Создавал и организовывал сбор подписей	4,0	17,4
<i>Итого</i>	100,0	100,0

В каком-то смысле можно сказать, что для сторонников провластных движений характерно большее разнообразие активности: многие из них имеют опыт волонтерской деятельности, работы в молодежных объединениях и участия в благотворительных акциях, тогда как среди оппозиционеров опыта участия в подобных делах нет практически ни у кого. Но при этом оппозици-

онно настроенные молодые люди гораздо чаще склонны к участию в протестных формах политической активности: митинги, забастовки и иные формы демонстрации недовольства становятся для многих из них если и не единственной формой политической активности, то как минимум – одной из наиболее распространенных. Иными словами, и провластным активистам, и оппозиционерам свойственна очень активная политическая деятельность, но содержание этой деятельности разное.

Различной оказывается и роль идеологии в действиях активистов разных движений. Анализ показывает, что провластно настроенные молодые люди часто или вовсе затрудняются с ответом на вопрос о том, какой идеологии они придерживаются, или отмечают, что не имеют каких-то конкретных взглядов: один из таких вариантов ответа называют почти две трети из них. Те же, кто все же имеет какие-то идеологические предпочтения, очень разобщены, и говорить о какой-то единой для них системе убеждений сложно. Среди них практически равны доли тех, кто придерживается социал-демократических взглядов и либеральных. Есть среди них сторонники и более экзотических идеологических взглядов – например, коммунистических, националистических и даже анархистских. Оппозиционные активисты отвечают на этот вопрос совсем иначе. Во-первых, процент тех, кто затрудняется ответить на данный вопрос или говорит об отсутствии у себя каких-то четких идеологических взглядов, в их случае относительно невелик – три четверти все же относят себя к сторонникам той или иной идеологии. Во-вторых, существует вполне конкретная идеология, к сторонникам которой причисляет себя явное большинство оппозиционеров, – более половины из них говорят о себе как о либералах или даже как о либертарианцах. Иными словами, можно сказать, что идеологическая идентификация провластных активистов размыта, тогда как у оппозиционеров она устоялась и конкретна по своему содержанию (табл. 2).

Таблица 2. Приверженцем каких политических взглядов Вы могли себя бы назвать? (% от числа ответивших, провластные активисты vs. оппозиционные активисты)

Вариант ответа	Политическая позиция опрошенных	
	Провластные активисты	Оппозиционные активисты
Социал-демократических	15,3	6,2
Консервативных	7,3	1,4
Коммунистических	2,7	0,0
Либеральных	14,0	40,4
Анархистских	1,3	8,2
Либертарианских	0,0	8,9
Националистических	1,3	4,1
Других взглядов	0,0	4,2
Затрудняюсь ответить	18,0	1,4
У меня нет конкретных взглядов	40,0	25,3
<i>Итого</i>	100,0	100,0

Закономерно, что такие идеологические расхождения имеют и конкретное воплощение: идеал общественного устройства для оппозиционной и провластной молодежи выглядит по-разному (рис. 1).

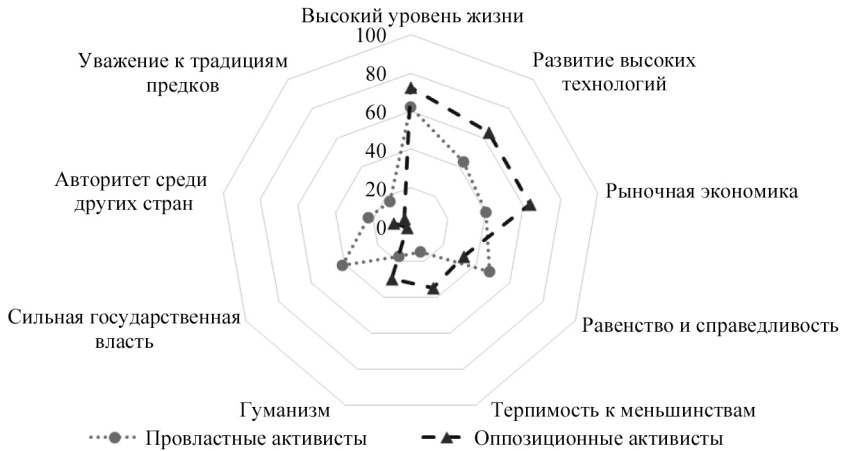


Рис. 1. Что из этого Вы могли бы отнести к чертам идеального общества? (% от числа ответивших, провластные активисты vs. оппозиционные активисты)

Надо сказать, что само представление о том, как должно выглядеть общество в идеале, сложилось у представителей обоих политических лагерей. По крайней мере более половины представителей каждого из политических лагерей называют вполне конкретные черты, которые, с их точки зрения, обязательно должны присутствовать в идеальном социуме.

Однако провластные активисты и оппозиционеры видят этот идеал по-разному. Единственная черта, которую видят важной для идеала и те и другие, — это высокий уровень жизни населения. По всем остальным основаниям настроения провластных активистов и оппозиционеров расходятся. Оппозиционеры чаще считают, что общественный идеал должен строиться на высокой роли информационных технологий, рыночной экономике, гуманизме. Одновременно с этим провластные активисты существенно чаще говорят о важности сильной государственной власти и авторитете на международной арене. То есть, по сути, можно сказать, что провластные активисты и оппозиционеры совпадают в своем видении базовой основы идеального общества (ею должен быть высокий уровень жизни), но расходятся в представлении о том, что должно ее дополнять.

Вместе с тем, несмотря на очевидные различия в содержании политической активности и взглядах на желательное развитие общества, активисты провластных и оппозиционных движений оказываются похожими в исходных мотивах своей деятельности. Собственно, похожим оказывается само распределение ответов, которые провластные активисты и оппозиционеры дают на прямой вопрос о том, что побуждает их заниматься той деятельностью, которой они занимаются (табл. 3).

Ключевыми мотивами для большинства опрошенных становятся два — некое чувство долга, гражданской ответственности, или же стремление к достижению социальной справедливости. Сравнение ответов показывает, что провластные активисты и оппозиционеры называют эти ответы с разной частотой. Так, чувство долга относят к своим мотивам 81,3% оппозиционеров и 55,8% провластных активистов. Иначе говоря, отношение к политической активности как к долгу встречается у оппозиционеров чаще, чем у провластных активистов. Поэтому говорить о полном совпадении мотивов, которые

подталкивают их заниматься политической деятельностью, нельзя. Но все же сходство в этих мотивах заметно: в ответах как оппозиционеров, так и провластных активистов на первые места выходят именно чувство долга и стремление к справедливости, тогда как остальные мотивы, скорее, играют второстепенную роль. Фактически интерес к политической деятельности у активистов обоих политических лагерей вдохновлен схожей системой мотивов. При этом характерно, что эта система мотивов имеет именно ценностную подоплеку: и чувство долга, и тяга к справедливости апеллируют именно к ценностям, убеждениям молодых людей, а не к их прагматическим установкам.

Таблица 3. В чем лично Ваши мотивы участия в политической жизни?
(% от числа ответивших, провластные активисты vs. оппозиционные активисты)

Вариант ответа	Провластные активисты	Оппозиционные активисты
Это мой долг: все граждане должны быть активны и участвовать в политической жизни	55,8	81,3
Меня интересуют проблемы построения справедливого общества	38,1	56,9
Я бы хотел сделать карьеру политического или общественного деятеля	38,1	11,8
Меня вдохновляет опыт и авторитет выдающихся людей, моих близких и знакомых	17,7	11,8
Это интересно, здесь я могу приложить свои способности и таланты	30,6	21,5
Другие мотивы	6,3	1,4
<i>Итого</i>	100,0	100,0

Иными словами, получается, что активисты провластных и оппозиционных движений сильно расходятся в формах и целях своей политической активности, но похожи в исходных импульсах этой активности. Они предпочитают разные формы политического поведения, ассоциируют себя с разными идеологическими течениями и имеют разные представления об общественном идеале. Но в основе деятельности и провластных активистов, и оппозиционеров часто лежит общая система мотивов, связанная с их стремлением к социальной справедливости или чувством долга. То есть в целом мы можем отметить, что предположение, которое выдвигалось нами на основе анализа теоретико-методологической литературы, находит подтверждение. Различия между провластными активистами и оппозиционерами существенны, но далеко не абсолютны.

Заключение

Исходным импульсом, который вдохновил нас на написание данной статьи, стало стремление выяснить, насколько сильны различия между теми представителями российской молодежи, которые вовлечены в деятельность провластных и оппозиционных политических движений. При всей очевидной разнице декларируемых целей и риторики самих таких движений, уверенности в том, что их активистами становятся совсем разные представители молодежи, у нас не было. Тем более что опыт зарубежных исследований показывал: в мотивах и убеждениях молодых людей, входящих в разные по профилю политические движения, нередко прослеживается много общего. И выполненный эмпирический анализ показал, что исходная гипотеза об относительности различий провластных и оппозиционных молодежных активи-

стов в современной России подтверждается. Содержательный опыт активности у них очень разный: если оппозиционеры предпочитают протестные формы политического поведения, то провластные активисты больше склонны к иным его формам. Разными оказываются и их взгляды на развитие общества. Однако в тех мотивах, которые в принципе подталкивают их к политической активности, есть характерные сходства. И провластные активисты, и оппозиционеры связывают свою деятельность либо с чувством долга, либо с социальной справедливостью, отодвигая другие мотивы на второй план. Иначе говоря, разным является облик их активности, но не ее исходные импульсы. Именно это мы считаем главным результатом исследования.

Литература

1. *Борусяк Л.Ф.* «Наши»: кого и как учат спасать Россию // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2005. № 5. С. 17–29.
2. *Одинцова И.А.* Молодежь в политике современной России // Динамика систем, механизмов и машин. 2007. № 4. С. 226–229.
3. *Смирнов В.А.* Молодежные общественные объединения как субъект региональной молодежной политики // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2008. № 2 (58). С. 510–517.
4. *Евтюшкин А.Ю.* Молодежный политический экстремизм в России: исторические корни, эволюция, современные особенности // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. История и политические науки. 2009. № 2. С. 164–170.
5. *Мирясова О.А.* Политическая социализация молодежи в процессе участия в протестных движениях // Мониторинг общественного мнения. 2010. № 5. С. 216–225.
6. *Звоновский В.Б.* Политика в пространстве жизненных интересов молодежи // Мониторинг общественного мнения. 2007. № 1 (87). С. 54–61.
7. *Зоркая Н.А.* Современная молодежь: к проблеме «дефектной» социализации // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2008. № 4. С. 8–22.
8. *Гоглева В.А., Лукина Ю.А.* Политическая активность молодежи как отражение политического времени общества // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Социально-гуманитарные науки. 2009. № 32 (165). С. 88–91.
9. *Захаркин Р.А.* Молодежный абсентеизм в России // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2010. № 4. С. 111–114.
10. *Пастухова Л.С.* Проблемы политического участия молодежи // Власть. 2011. № 6. С. 58–60.
11. *Подхомутникова М.В.* О политической апатии современной молодежи в России // Общество: социология, психология, педагогика. 2011. № 3–4. С. 14–17.
12. *Желнина А.А.* Свобода от политики: «обычная» молодежь на фоне протестов // Социология власти. 2013. № 4. С. 139–149.
13. *Петухов В.В.* Поколение «нулевых»: социальные настроения, идеологические установки и политическое участие // Полис. Политические исследования. 2012. № 4. С. 56–62.
14. *Любченко В.С.* Российская молодежь: изменения в системе ценностей // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института). Сер. Социально-экономические науки. 2012. № 3. С. 183–190.
15. *Кошарная Г.Б., Толубаева Л.Т.* Гражданское общество в структуре ценностей современной студенческой молодежи // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2013. № 7 (123). С. 272–277.
16. *Макарова О.А.* Современные тенденции политического участия молодежи // Власть. 2014. № 12. С. 39–42.
17. *Прибытков Ю.Б.* Молодежь в российской политике: политический анализ // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Сер. Политология и социология. 2017. № 4. С. 104–105.
18. *Сушко П.Е.* Особенности карьерных стратегий политически активной молодежи современной России // Теория и практика общественного развития. 2018. № 2. С. 8–12.
19. *Ковтун Е.И.* Специфика современных молодежных протестных движений // Вопросы политологии. 2019. № 4 (44). С. 712–721.

20. *Трынов Д.В.* Политическое участие молодежи: поддержка vs протест // Социодинамика. 2019. № 12. С. 298–314.
21. *Шаматонова Г.Л.* Социально-политическая активность молодежи в современной России: состояние и тенденции развития // Социальные и гуманитарные знания. 2018. Т. 4, № 2. С. 82–87.
22. *Соломатин Я.И.* Особенности и динамика политических ориентаций молодежи российского мегаполиса в 2015–2018 гг. // Теория и практика общественного развития. 2018. № 8 (126). С. 51–55.
23. *Томбу Д.В.* Условия и риски политической идентификации российской молодежи // Власть. 2018. № 1. С. 91–98.
24. *Сафонова А.С.* Политическая активность молодежи в условиях модернизации политической системы современной России // Вопросы политологии. 2019. Т. 9, № 3 (43). С. 477–486.
25. *Аюшеева Д.А.* Участие молодежи в протестных акциях в современной России как способ самоидентичности // Управленческое консультирование. 2019. № 6. С. 147–153.
26. *Кравцова А.Н.* От «НАШИх» до своих: трансформация «гражданственности» в среде петербургских про- и пост «наших» активистов // Мониторинг общественного мнения. 2019. № 1. С. 107–125.
27. *Авцинова Г.И., Бурда М.А.* Молодежная политика современной России: абсентеизм и политический протест // Вопросы политологии. 2019. № 4 (44). С. 649–655.
28. *Adler C., Peres Y.* Youth Movements and “Salon Societies” // Youth & Society. 1970. Vol. 1, № 3. P. 309–331.
29. *Crain W.C.* Young Activists Conceptions of an Ideal Society // Youth & Society. 1972. Vol. 4, № 2. P. 203–235.
30. *Geschwender J.A., Rinehart J.W., George P.* Socialization, Alienation, and Student Activism // Youth & Society. 1974. Vol. 5, № 3. P. 303–325.
31. *Kidron A.* Youth, politics and republicanism in the formative years of the state of Israel // Middle Eastern Studies. 2018. Vol. 55, № 3. P. 386–402.
32. *Crossouard B., Dunne M.* Politics, gender and youth citizenship in Senegal: Youth policing of dissent and diversity // International Review of Education. 2015. Vol. 61, № 1. P. 43–60.
33. *Coe A.-B., Wiklund M., Uttjek M., Nygren L.* Youth politics as multiple processes: how teenagers construct political action in Sweden // Journal of Youth Studies. 2016. Vol. 19, № 10. P. 1321–1337.
34. *Blume N.* Young Republican and Young Democratic College Clubs in the Midwest // Youth & Society. 1971. Vol. 2, № 3. P. 355–365.
35. *Foracchi M.M.* Student Ideology and a Dependent Society // Youth & Society. 1971. Vol. 2, № 3. P. 285–306.
36. *Friedeburg L.V.* Youth and Politics in the Federal Republic of Germany // Youth & Society. 1969. Vol. 1, № 1. P. 91–109.
37. *Pruitt L.* Youth, politics, and participation in a changing world // Journal of Sociology. 2017. Vol. 53, № 2. P. 507–513.
38. *Лебедев П.А.* Вместе веселее, или Один в поле не воин: очерк о молодежном общественно-политическом активизме // Социальная реальность. 2008. № 5. С. 41–69.
39. *Eisenstadt S.* Changing Patterns of Youth Protest in Different Stages of Development of Modern Societies // Youth & Society. 1969. Vol. 1, № 2. P. 133–150.
40. *Braungart R.G., Braungart M.M.* Youth movements in the 1980s: a global perspective // International Sociology. 1990. Vol. 5, № 2. P. 157–181.
41. *Quintelier E.* Who is Politically Active: the Athlete, the Scout Member or the Environmental Activist? Young People, Voluntary Engagement and Political Participation // Acta Sociologica. 2008. Vol. 51, № 4. P. 355–370.
42. *Barber T.* Participation, citizenship, and well-being // Young. 2009. Vol. 17, № 1. P. 25–40.
43. *Чуев С.В., Тимохович А.Н., Гришаева С.А.* Политические ценности российской молодежи: материалы исследования // Власть. 2017. № 11. С. 54–60.
44. *Большунова Т.В.* Ценностно-мотивационный аспект участия «поколения z» в современном политическом процессе // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. История. Политология. Социология. 2018. № 1. С. 63–67.

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 203–215.

DOI: 10.17223/1998863X/55/21

POLARITIES OF RUSSIAN YOUTH'S POLITICAL ACTIVITY: A COMPARISON OF ACTIVISTS OF PRO-GOVERNMENT AND OPPOSITION MOVEMENTS

Keywords: youth; Russian youth; political activity; pro-government youth movements; opposition youth movements.

The article is devoted to the empirical diagnostics of the similarities and differences between activists of pro-government and opposition youth movements in contemporary Russia. The analysis of recent scientific literature leads the author to the idea that, after increasing the political activity of Russian youth in 2017–2019, scientific interest in the analysis of its political participation has increased. However, despite the large number of scientific projects in this area, some important questions about the political activity of contemporary Russian youth remain unanswered. One of these complicated questions is the level of difference between the young Russians involved in the political actions of pro-government youth movements and those involved in the work of opposition movements. The rhetoric and the activity of such movements look obviously different. But is it enough to say that they are supported by extremely different young people? Besides, the analysis of previous research works in other countries shows that sometimes differences between activists of different (and even conflicting) youth movements can be quite relative. The literature describes cases in which young people with very similar motives and beliefs became activists of conflicting youth movements. So, the initial hypothesis of the study is the idea that the differences between activists of pro-government and opposition movements in contemporary Russia can be exaggerated, and that their activity can be based on a similar system of incentives. Testing this hypothesis in the course of his own sociological research, the author comes to the conclusion that not only differences, but also similarities can indeed be traced between activists of pro-government and opposition movements in contemporary Russia. Despite the fact that activists of pro-government and opposition movements prefer different forms of political activity, have different ideas about the ideal development of society and have different ideological preferences, they often have common reasons for their interest in political activity. Activists of both pro-government and opposition movements relate their interest in politics with value motives: the desire to achieve social justice or to fulfill a civic duty. So, there is a difference in vectors and forms of their political activity. But the initial nature of this activity is similar.

References

1. Borusyak, L.F. (2005) “Nashi”: kogo i kak uchat spasat' Rossiyu [“Nashi”: How they are taught to save Russia]. *Vestnik obshchestvennogo mneniya. Dannye. Analiz. Diskussii*. 5. pp. 17–29.
2. Odintsova, I.A. (2007) Molodezh' v politike sovremennoy Rossii [Youth in the politics of contemporary Russia]. *Dinamika sistem, mekhanizmov i mashin*. 4. pp. 226–229.
3. Smirnov, V.A. (2008) Molodezhnye obshchestvennye ob'edineniya kak sub'ekt regional'noy molodezhnoy politiki [Youth public associations as a subject of regional youth policy]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities*. 2. pp. 510–517.
4. Evtyushkin, A.Yu. (2009) Youth political extremism in Russia: historical roots, evolution, current features. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Istoriya i politicheskiye nauki – Bulletin of the Moscow Region State University. Series: History and Political Sciences*. 2. pp. 164–170. (In Russian).
5. Miryasova, O.A. (2010) Political socialization of youth in protest participation process. *Monitoring obshchestvennogo mneniya – Monitoring of Public Opinion. Economic and Social Changes*. 5. pp. 216–225. (In Russian).
6. Zvonovsky, V.B. (2007) Politics in the vital interests of youth. *Monitoring obshchestvennogo mneniya – Monitoring of Public Opinion. Economic and Social Changes*. 1. pp. 54–61. (In Russian).
7. Zorkaya, N.A. (2008) Sovremennaya molodezh': k probleme “defektnoy” sotsializatsii [Modern youth: the problem of “defective” socialization]. *Vestnik obshchestvennogo mneniya. Dannye. Analiz. Diskussii*. 4. pp. 8–22.
8. Gogleva, V.A. & Lukina, Yu.A. (2009) Politicheskaya aktivnost' molodezhi kak otrazhenie politicheskogo vremeni obshchestva [Political activity of youth as a reflection of the political time of society]. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Se-riya: Sotsial'no-gumanitarnyye nauki*. 4. pp. 10–15.

nauki – Bulletin of the South Ural State University. Social Sciences and Humanities. 32. pp. 88–91 (In Russian)

9. Zakharkin, R.A. (2010) Molodezhnyy absenteizm v Rossii [Youth Absenteeism in Russia]. *Gumanitarnyye issledovaniya v Vostochnoy Sibiri i na Dal'nem Vostoke – Humanities Research in the Russian Far East*. 4. pp. 111–114. (In Russian).

10. Pastukhova, L.S. (2011) Problemy politicheskogo uchastiya molodezhi [Problems of the political participation of youth]. *Vlast' – The Authority*. 6. pp. 58–60. (In Russian).

11. Podkhomutnikova, M.V. (2011) About political apathy of modern youth in Russia. *Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika – Society: Sociology, Psychology, Pedagogics*. 3–4. pp. 14–17. (In Russian).

12. Zhelnina, A.A. (2013) Freedom from Politics: Non-activist Russian Youth at the Background of Political Protests of 2011–2012. *Sotsiologiya vlasti – Sociology of Power*. 4. pp. 139–149. (In Russian).

13. Petukhov, V.V. (2012) Pokolenie “nulevykh”: sotsial'nye nastroyeniya, ideologicheskie ustanovki i politicheskoe uchastie [The generation of the “2000s”: Social Sentiments, Ideological Attitudes, and Political Participation]. *Polis. Politicheskiye issledovaniya – Polis. Political Studies*. 4. pp. 56–62.

14. Lyubchenko, V.S. (2012) Rossiyskaya molodezh': izmeneniya v sisteme tsennostey [Russian youth: changes in the value system]. *Vestnik Yuzhno-Rossiyskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta (Novocherkasskogo politekhnicheskogo instituta). Seriya: Sotsial'no-ekonomicheskiye nauki*. 3. pp. 183–190.

15. Kosharnaya, G.B. & Tolubaeva, L.T. (2013) Grazhdanskoe obshchestvo v strukture tsennostey sovremennoy studencheskoy molodezhi [Civil society in the structure of values of modern student youth]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities*. 7. pp. 272–277. (In Russian)

16. Makarova, O.A. (2014) Sovremennyye tendentsii politicheskogo uchastiya molodezhi [Current trends in the political participation of youth]. *Vlast' – The Authority*. 12. pp. 39–42. (In Russian).

17. Pribytkov, Yu.B. (2017) Young people in Russian politics: political analysis. *Nauchnyy vestnik Volgogradskogo filiala RANKhiGS. Seriya: Politologiya i sotsiologiya*. 4. pp. 104–105. (In Russian).

18. Sushko, P.E. (2018) The features of career strategies for politically active youth of modern Russia. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya – Theory and Practice of Social Development*. 2. pp. 8–12. (In Russian). DOI: 10.24158/tipor.2018.2.1

19. Kovtun, E.I. (2019) Specificity of Modern Youth Protest Movements. *Voprosy politologii – Political Science Issues*. 4. pp. 712–721. (In Russian)

20. Trynov, D.V. (2019) Politicheskoe uchastie molodezhi: podderzhka vs protest [Political participation of youth: support vs protest]. *Sotsiodinamika – Sociodynamics*. 12. pp. 298–314. (In Russian). DOI: 10.25136/2409-7144.2019.12.31195

21. Shamatonova, G.L. (2018) Socio-political activity of youth in modern Russia: the state and development trends. *Sotsial'nye i gumanitarnyye znaniya*. 4. pp. 82–87. (In Russian).

22. Solomatin, Ya.I. (2018) Aspects and dynamics of the russian megalopolis youth's political views in 2015–2018. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya – Theory and Practice of Social Development*. 8. pp. 51–55. (In Russian).

23. Tombu, D.V. (2018) Russian Youth's Political Identification: Conditions and Risks. *Vlast' – The Authority*. 1. pp. 91–98. (In Russian).

24. Safonova, A.S. (2019) Youth Political Activity in the Conditions of the Modernization of the Russian Political System. *Voprosy politologii – Political Science Issues*. 3. pp. 477–486. (In Russian).

25. Ayusheeva, D.A. (2019) Participation of Youth in Protest Actions in Modern Russia as Way of Self-identity. *Upravlencheskoe konsul'tirovanie – Administrative Consulting*. 6. pp. 147–153. (In Russian). DOI: 10.22394/1726-1139-2019-6-147-153

26. Kravtsova, A.N. (2019) Transformation of “citizenship” among pro- and post-NASHI activists in St Petersburg. *Monitoring obshchestvennogo mneniya – Monitoring of Public Opinion. Economic and Social Changes*. 1. pp. 107–125. (In Russian). DOI: 10.14515/monitoring.2019.1.05

27. Avtsinova, G.I. & Burda, M.A. (2019) Youth policy in modern Russia: absenteeism and political protest. *Voprosy politologii – Political Science Issues*. 4. pp. 649–655. (In Russian). DOI: 10.35775/PSI.2019.31.1.006

28. Adler, C. & Peres, Y. (1970) Youth Movements and “Salon Societies”. *Youth & Society*. 1(3). pp. 309–331. DOI: 10.1177/0044118x7000100304

29. Crain, W.C. (1972) Young Activists Conceptions of an Ideal Society. *Youth & Society*. 4(2). pp. 203–235. DOI: 10.1177/0044118x7200400207
30. Geschwender, J.A., Rinehart, J.W. & George, P. (1974) Socialization, Alienation, and Student Activism. *Youth & Society*. 5(3). pp. 303–325. DOI: 10.1177/0044118x7400500303
31. Kidron, A. (2018) Youth, politics and republicanism in the formative years of the state of Israel. *Middle Eastern Studies*. 55(3). pp. 386–402. DOI: 10.1080/00263206.2018.1546173
32. Crossouard, B. & Dunne, M. (2015) Politics, gender and youth citizenship in Senegal: Youth policing of dissent and diversity. *International Review of Education*. 61(1). pp. 43–60. DOI: 10.1007/s11159-015-9466-0
33. Coe, A.-B., Wiklund, M., Uttjek, M. & Nygren, L. (2016) Youth politics as multiple processes: how teenagers construct political action in Sweden. *Journal of Youth Studies*. 19(10). pp. 1321–1337. DOI: 10.1080/13676261.2016.1166191
34. Blume, N. (1971) Young Republican and Young Democratic College Clubs in the Midwest. *Youth & Society*. 2(3). pp. 355–365. DOI: 10.1177/0044118x7100200306
35. Foracchi, M.M. (1971) Student Ideology and a Dependent Society. *Youth & Society*. 2(3). pp. 285–306. DOI: 10.1177/0044118x7100200302
36. Friedeburg, L.V. (1969) Youth and Politics in the Federal Republic of Germany. *Youth & Society*. 1(1). pp. 91–109. DOI: 10.1177/0044118x6900100106
37. Pruitt, L. (2017) Youth, politics, and participation in a changing world. *Journal of Sociology*. 53(2). pp. 507–513. DOI: 1177/1440783317705733
38. Lebedev, P.A. (2008) Vmeste veselee, ili Odin v pole ne vojn: Ocherk o molodezhnom obshchestvenno-politicheskom aktivizme [Together more fun, or Alone in the field is not a warrior: Essay about youth socio-political activism]. *Sotsial'naya real'nost' – Social Reality*. 5. pp. 41–69.
39. Eisenstadt, S. (1969) Changing Patterns of Youth Protest in Different Stages of Development of Modern Societies. *Youth & Society*. 1(2). pp. 133–150. DOI: 10.1177/0044118x6900100202
40. Braungart, R.G. & Braungart, M.M. (1990) Youth movements in the 1980s: a global perspective. *International Sociology*. 5(2). pp. 157–181. DOI: 10.1177/026858090005002004
41. Quintelier, E. (2008) Who is Politically Active: The Athlete, the Scout Member or the Environmental Activist? Young People, Voluntary Engagement and Political Participation. *Acta Sociologica*. 51(4). pp. 355–370. DOI: 10.1177/0001699308097378
42. Barber, T. (2009) Participation, citizenship, and well-being. *Young*. 17(1). pp. 25–40. DOI: 10.1177/110330880801700103
43. Chuev, S.V., Timokhovich, A.N. & Grishaeva, S.A. (2017) Politicheskie tsennosti rossiyskoy molodezhi: materialy issledovaniya [Political Values of Russian Youth: Results of the Study]. *Vlast' – The Authority*. 11. pp. 54–60. (In Russian)
44. Bolshunova, T.V. (2018) Value and motivation of participation “Generation Z” in the present political process. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya. Politologiya. Sotsiologiya – Proceedings of Voronezh State University. Series: History. Political science. Sociology*. 1. pp. 63–67. (In Russian).

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 32.019.52

DOI: 10.17223/1998863X/55/22

И.В. Богдан, М.В. Гурылина, А.Л. Зверев, Д.П. Чистякова

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ: ОПЫТ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Политическое восприятие отечественной системы здравоохранения – редкая тема исследований, несмотря на актуальность вопроса. На материале эмпирического исследования выделены факторы политического восприятия, как связанные с реальным опытом респондента, так и несвязанные, в том числе не имеющие никакого отношения к системе здравоохранения (последние оказались более значимы для восприятия). Показана связь системы здравоохранения и образа власти. Даны практические рекомендации.

Ключевые слова: политическое восприятие, социальный институт, здравоохранение, удовлетворенность, образ власти, факторы восприятия, СМИ.

Постановка проблемы

Политическое восприятие гражданами значимых социальных институтов в существенной мере зависит от того, как действующая власть может обеспечить их постоянное функционирование в режиме предоставления качественного обслуживания населения. Роль такого фокуса политического восприятия возрастает в ситуации кризиса, нарушающего привычный ход жизни граждан. Например, сегодня таким кризисным триггером в российском обществе стала пандемия коронавируса, способствовавшая актуализации именно политического восприятия современной системы отечественного здравоохранения населением. Данный момент фиксируется российскими социологами. В частности, его отражение можно видеть в мониторингах рейтинга предпочтений граждан по ключевым социальным и политическим поправкам, которые планируются к внесению в Конституцию РФ в контексте предстоящей процедуры их легитимации российским населением (всероссийского голосования). По данным ВЦИОМ, в конце марта 2020 г. главным приоритетом для российского общества в сформированном наборе поправок в Основной закон страны стало обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания (таблица).

Требования граждан по отношению к власти в части обеспечения их доступа к качественной медицине, которые в скором времени, возможно, станут правовым обязательством государства перед населением страны, способствуют выработке в массовом сознании значимой политической установки, на основе которой формируется оценка текущей деятельности власти и ее образ в общественном сознании. Иными словами, восприятие сферы отече-

ственного здравоохранения является одним из значимых ситуативных факторов, имеющих влияние на периодическую смену политических настроений и установок граждан по отношению к действующей власти, т.е. может способствовать трансформации политического общественного сознания в части политического восприятия российской власти.

Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, лично для Вас важно или не важно, чтобы следующие принципы были закреплены в Конституции России?» по данным ВЦИОМ, % [1]

Планируемые поправки	Скорее важно	Скорее не важно
Государством обеспечивается доступность и качество медицинского обслуживания	95	3
Обязательная ежегодная индексация пенсий	91	6
Создание Правительством условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры	88	9
Признание культуры в Российской Федерации как уникального наследия многонационального народа	87	10
Защита животных, формирование ответственного отношения к животным	86	11

Важной особенностью процесса восприятия выступает специфичность отношений в отечественном здравоохранении, в частности между пациентами и медицинскими работниками. В рамках указанных отношений возникают группы противоречий: например, когда установки потребителя платных услуг переносятся пациентом на бесплатную медицину. Другой аспект – когда требование адресности, индивидуальности помощи может вступать в противоречие с ее стандартизацией и ограниченностью бюджетных средств, на которые невозможно предоставить неограниченный объем государственных гарантий оказываемой бесплатной медицинской помощи, при отсутствии ответственного отношения к собственному здоровью со стороны самого гражданина. Такой клубок противоречий приводит к тому, что у пациента на основе вышеуказанных и иных ожиданий складывается нереалистичный уровень требований к медицинскому работнику как представителю государства, что значительно сказывается как на восприятии отечественной системы здравоохранения, так и в целом на образе действующей власти.

Указанные положения делают крайне актуальным изучение политического восприятия системы здравоохранения населением. В настоящей статье предпринимается попытка зафиксировать сложившиеся тренды этого процесса и выявить имеющееся содержание различных компонентов политических установок (эмоциональных, когнитивных, поведенческих), которые определяют специфику текущей трансформации восприятия в массовом сознании отечественной медицины как значимого фактора в системе постсоветских политических представлений граждан.

Теоретические предпосылки исследования

Процесс политического восприятия формирует политическое сознание граждан в отношении значимых для них политических и социальных институтов, в том числе и изучаемой в рамках представленного исследования системы здравоохранения. Политическое восприятие – один из процессов в массовом политическом сознании, состояние которого мы описываем через

широкий набор психологических феноменов, включающих установки, потребности, ценности и др. Итогом психического процесса политического восприятия является выработка политического образа с последующим встраиванием его в существующую картину мира реципиента. В российской политической психологии под политическим образом понимается отражение политической власти, личностей и политических институтов, ее представляющих, а также иных феноменов политики в массовом и индивидуальном сознании [2]. Политические образы, с одной стороны, отражают реальные характеристики объекта восприятия (власти), а с другой – представляют собой определенную субъективную проекцию ожиданий на него в ситуации выработки субъектом (обществом) собственной оценки по отношению к воспринимаемому [3].

Основы изучения политического восприятия были заложены в трудах исследователей восприятия социального, в частности в середине XX в. группы «New Look» во главе с Дж. Брунером и Л. Постманом. В ходе проводимых исследований они выявили, что массовое восприятие обусловлено потребностями, ожиданиями, мотивами и оценками ценности воспринимаемого объекта [4]. Из отечественных авторов следует упомянуть А.Н. Леонтьева, чья концепция доминирует сегодня в отечественных психологических исследованиях. Согласно данной концепции процесс восприятия – это сложный и многомерный психический процесс, в котором можно выделить две составляющих: первичное формирование образа восприятия и затем на уровне осознания опознание уже сложившегося образа в системе ранее существовавших представлений для выработки смысла (присвоения значения) по отношению к полученной из внешнего мира информации [5].

Современные политико-психологические трактовки политического восприятия сформировались в рамках трех теорий. С точки зрения структуралистской концепции восприятие производно от внешних стимулов и является своеобразной интерпретацией реципиентом полученного им сообщения. С когнитивных позиций восприятие идет за счет здравого смысла и массива ранее усвоенной личностью информации. Экологическая концепция делает упор на субъективизм восприятия, где особая роль отводится установке [6].

При этом можно согласиться с коллективом авторов под руководством Е.Б. Шестопал, что именно политическое восприятие обладает определенной спецификой по отношению к иному социальному восприятию: например, опосредованностью (преимущественно через СМИ), тем, что оно является преимущественно коллективным (восприятие происходит на уровне не индивидуального, а массового сознания), характеризуется высокой слитностью эмоционального и когнитивного и происходит в основном на уровне оценок и смыслов, а не уровне отражения объективной реальности [7. С. 15]. Ввиду этого как одна из основ исследования была использована факторная модель политического восприятия, разрабатываемая отечественной школой политической психологии Е.Б. Шестопал [7–9], соединяющая в себе основные подходы к изучению политического восприятия.

Для нашего исследования важным было выявление имеющихся установок населения по их отношению к системе российского здравоохранения как фактора, определяющего специфику политического восприятия. В современной политической психологии в структуре установки принято выделять три

уровня: когнитивный, эмоциональный (аффективный) и поведенческий [7–9]. В рамках нашего исследования стоит отдельно отметить, что сегодня политическая психология пока еще явно недостаточно изучила аффективный уровень политических установок и сейчас лишь вырабатывает собственные подходы к его исследованию в рамках набирающей популярность в современной психологии концепции эмоционального интеллекта личности.

Содержание представленных уровней выработки социальных установок [7. С. 19] по отношению к современной отечественной медицине приводит в том числе и к тому, что восприятие системы здравоохранения населением способно оказать значимое влияние на текущий политический процесс.

1. *Эмоциональные компоненты.* Система здравоохранения связана с темами, очень «заряженными» эмоционально для населения. Во-первых, это тема здоровья, которое является одной из основных ценностей для россиян [10], вследствие чего выступает предметом изучения различных отраслей социально-гуманитарного знания [11. С. 92]. В социальной и политической психологии признанным является тот факт, что базовые ценности, имеющиеся в массовом сознании конкретного общества, являются фокусом, определяющим в значительной мере оптику в том числе и политического восприятия окружающей действительности [12. С. 93]. Система здравоохранения воспринимается не просто связанной с состоянием здоровья индивида или общественным здоровьем, но и с вопросами жизни и смерти в случае тяжелых заболеваний. Неслучайно, например, тема сбора средств на лечение детей от онкологии до сих пор получает широкий отклик у населения при публикациях в СМИ и социальных медиа. Все это обеспечивает эмоциональный «заряд» общественного обсуждения текущей событийной повестки, касающейся здравоохранения, чем нередко пользуются заинтересованные акторы политического процесса (в основном оппозиция).

2. *Когнитивные компоненты.* Сама система здравоохранения находится не отдельно от власти, а воспринимается как тесно взаимосвязанная с ней социально значимая структура, когда зачастую частные дефекты оказания помощи приписываются действиям власти, даже если они напрямую с ними не связаны. Частные дефекты системы здравоохранения могут рассматриваться как свойственные «власти вообще». Когда гражданин изначально негативно настроен по отношению к власти, он склонен обращать внимание при своем взаимодействии с системой здравоохранения на негативные моменты, что в свою очередь может генерализировать воспринимаемые недостатки на образ власти. В том числе такая генерализация может касаться ценностей, например, когда принципы, лежащие в основе существующей системы здравоохранения, могут восприниматься как несправедливые и как проявления ценностей, свойственных власти.

3. *Поведенческие компоненты.* Сложившееся восприятие системы здравоохранения может иметь поведенческие последствия: соответствующее электоральное поведение (голосование за тех, кто «защищает» систему здравоохранения), протестное поведение – митинги против кадровых и организационных решений, коллаборация с позитивно воспринимаемыми лидерами системы здравоохранения (в целях получения «политических очков») и т.д.

Эти и другие нюансы приводят к возникновению образа действующей в стране системы здравоохранения. Как показано, он опосредованно оказывает влияние на имеющийся образ власти в массовом сознании населения, что, в свою очередь, может приводить к определенным политическим последствиям. В этой связи данная статья посвящена не просто социальному восприятию сложившейся системы отечественного здравоохранения, а политическим аспектам ее восприятия.

Несмотря на важность системы здравоохранения, отмеченную ранее, исследований, связанных с темой политического восприятия данной социальной системы в России, почти нет – ни эмпирических, ни теоретических. Больше их за рубежом. Существующие научные публикации, относящиеся к политологической тематике, посвящены либо проблематике социального неравенства (см., напр.: [13]), зачастую в контексте необходимости оплаты медицинских услуг [14, 15], либо оценке мер государственной политики в отношении здоровья населения [16, 17]. Остальные исследования, связанные с оценкой удовлетворенности скорее посвящены социальному, нежели политическому восприятию – оценке системы здравоохранения и выявлению ее существенных недостатков (см., напр.: [14, 18–20]). При этом в научных публикациях отмечается, что на данный момент не разработано общего подхода к объяснению удовлетворенности системой здравоохранения, а также не создана всеобъемлющая модель, которая бы учитывала все ее факторы [21].

Материалы и методы

В основе исследования – мониторинговый всероссийский опрос ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», который проводился с декабря 2017 г. по декабрь 2018 г. с общей выборкой в 13 200 респондентов.

Исследование проводилось методом уличного опроса, путем очного интервью (CAPI). Корректность и факт проведения интервью контролировались с помощью визуального контроля заполненных анкет, выборочного прослушивания аудиозаписей интервью и / или контроля факта проведения интервью по оставленным контактными данным респондента.

Отбор респондентов для исследования проводился согласно маршрутному листу, составленному в целях минимизации искажений при отборе респондентов интервьюером. Корректность исполнения методологии проверялась посредством контроля геолокационных меток мест, где проводилось интервью, а при необходимости – дополнительного контроля по оставленным данным респондентов.

Выборка опроса репрезентировала население Москвы по возрасту, образованию и округу проживания в привязке к полу. Квоты для исследования были подготовлены на основании актуальных данных Мосгорстата.

Результаты и обсуждение

Зависимая переменная: образ системы здравоохранения

В данном исследовании в качестве независимой переменной выступал образ системы здравоохранения. Его эмоциональный компонент можно увидеть в таком показателе, как удовлетворенность системой здравоохранения. Сегодня она выступает одним из важнейших мониторинговых индикаторов

на региональном и федеральном уровнях, позволяющих косвенно судить о «знаке» (положительный / отрицательный) образа системы здравоохранения в массовом сознании граждан.

Опрос показал, что на момент исследования 39% опрошенных оценили систему московского здравоохранения положительно, еще столько же видят в системе здравоохранения и положительные, и отрицательные моменты примерно в равном соотношении. При этом, как показало исследование, при использовании четырехбалльной шкалы, вынуждающей респондента все же склониться к какому-то из вариантов («скорее хорошо» или «скорее плохо»), большинство москвичей ставят здравоохранению положительную оценку. Таким образом, оценка удовлетворенности населения здравоохранением в значительной степени зависит от шкалы, в которой задается вопрос, что является известным в социологии фактом, когда «средние ответы» в шкалах, содержащих таковые ответы, «оттягивают» на себя голоса опрашиваемых [22. Р. 1301]. Данный факт необходимо учитывать при проведении политико-социологических и политико-психологических исследований и при интерпретации их результатов. В нашем исследовании пятибалльная шкала для оценки системы здравоохранения была принята аналогично пятибалльным шкалам для оценки работы подсистем здравоохранения. По мнению авторов, пятибалльная шкала позволяет выделить группу граждан, которые могут быть более «подвижными» в своей оценке, более склонными к тому, чтобы ее изменить, что представляет особый интерес в контексте проведения политологического анализа.

Факторы восприятия

Оговоримся, что при описании факторов, которые оказывают влияние на оценку системы здравоохранения, нами сознательно не рассматривался ряд субъективных показателей, таких как субъективная оценка состояния здоровья респондентов, в связи со спецификой изучения именно политического восприятия.

Факторы восприятия, связанные с реальным опытом

В исследовании С. Блайх и соавт. отмечается, что *опыт обращения* пациентов в учреждения здравоохранения является важным фактором, определяющим степень удовлетворенности, и объясняет около 10% ее вариаций [23. Р. 275]. Как показал анализ, 6% опрошенных не обращались ни в одну из организаций системы здравоохранения в Москве за последние 5 лет (в том числе и в частные), при этом их оценка является значимо более негативной, чем у тех, кто обращался. Полностью и скорее удовлетворенных среди них всего 21% против 41% среди посещавших организации здравоохранения. Также, что логично, среди необращавшихся много затруднившихся ответить – 28%, в 7 раз больше, чем среди тех, кто в организации обращался.

Полученные данные соотносятся с данными других исследований. Так, например, исследование ВЦИОМ, посвященное онкологическим заболеваниям [24], показало, что возможность получения квалифицированной медицинской помощи значимо чаще отмечают те, кто сталкивался с онкологией лично (44%), чем те, кто не сталкивался с данной проблемой (38%).

Другой нюанс состоит в том, что когда респонденту предлагается оценить систему здравоохранения Москвы, у него актуализируется опыт посещения организаций определенной *формы собственности*. В первую очередь данный вопрос воспринимается как просьба оценить *городскую систему здравоохранения*, работу служб, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы (ДЗМ). По этой причине наш анализ будет сконцентрирован преимущественно на такого рода организациях, а не на ведомственных, федеральных или частных.

Это связано в том числе и с тем, что обращения в организации городской системы здравоохранения значимым образом преобладают по сравнению с обращениями в организации других форм собственности (рис. 1)

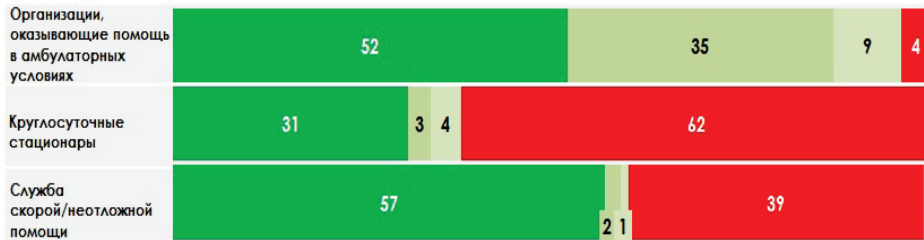


Рис. 1. Посещение организаций различных форм помощи в московском здравоохранении, %

Среди городских организаций ведущие места занимает амбулаторная помощь (87% опрошенных обращались в соответствующие организации ДЗМ за последние 5 лет). Ведущая роль таких организаций позволяет предполагать, что опыт их посещения является наиболее значимым фактором общей удовлетворенности системой здравоохранения среди факторов, связанных с личным опытом, что также подтверждается данными регрессионного анализа.

Важно, что *социально-демографические факторы* (пол, возраст, округ проживания, оценка материального благополучия), которые зачастую анализируются в контексте удовлетворенности системой здравоохранения, показали значимо меньший вес в регрессионной модели, чем показатели удовлетворенности (в первую очередь собственно посещением амбулаторных организаций ДЗМ).

Если мы рассмотрим удовлетворенность различными видами помощи, получаемой в организациях сети ДЗМ, мы увидим, что больше всего полностью и скорее удовлетворенных работой скорой / неотложной помощи (78%), затем полученной в круглосуточном стационаре помощью (72%) и, наконец, амбулаторной помощью (54%, также «отчасти удовлетворенных, отчасти нет» – 24%). В последнюю мы посчитали более корректным включить не только поликлиники (как обычно принято в аналогичных исследованиях), но и дневные стационары, диспансеры и другие формы оказания помощи в амбулаторных условиях. Аналогичный факт существенного расхождения данных при оценке различных форм оказания помощи отмечается и в других исследованиях (см., напр.: [25. С. 356; 26. С. 8]), а наибольшую тревогу у специалистов вызывает более низкое восприятие качества поликлинических услуг [27]. Таким образом, видно, что и *форма оказания* помощи сегодня является значимым предиктором общей удовлетворенности.

Не связанные с опытом факторы восприятия системы здравоохранения

Данные факторы в рамках проведенного исследования проанализированы в качественной парадигме. Их оцифровка и построение более полной математической модели восприятия системы здравоохранения является предметом дальнейших исследований.

С одной стороны, кажется, что реальный опыт посещения организаций должен в основном предсказывать оценку системы здравоохранения (что логично – прямой опыт обуславливает восприятие), однако это не совсем так, что демонстрирует наличие ряда расхождений и в полученных нами данных.

1. Оценка системы здравоохранения в целом ниже, чем оценки удовлетворенности любой из рассмотренных форм оказания медицинской помощи.

2. Удовлетворенность москвичей, не обращавшихся за медицинской помощью, ниже, а выделяемые ими проблемные области в целом те же, что и у обращавшихся за помощью.

Таким образом, напрашивается вывод, что есть важные факторы удовлетворенности системой здравоохранения, не связанные с опытом обращения за медицинской помощью. Причем, скорее всего, специфика влияния данных факторов является уникальной для нашей страны. Так, исследование, проведенное в странах постсоветского пространства, показало, что Россия является единственной страной, в которой большую удовлетворенность системой здравоохранения отмечают ее пользователи, чем те, кто не обращается в медицинские учреждения [28].

Что это могут быть за факторы? Как уже отмечалось ранее, в научных публикациях нет единства мнений: указывается, что оценка системы здравоохранения часто основана на сообщениях СМИ [29. С. 44], политических дискуссиях [28. Р. 66], и даже упоминается влияние национальных событий [30]. Рассмотрим возможные факторы подробнее.

В пользу влияния **СМИ и социальных медиа** говорит то, что была обнаружена связь между статистически значимыми изменениями уровня удовлетворенности системой здравоохранения и актуальностью для населения положительных или отрицательных новостей о системе здравоохранения. Также влияние СМИ и социальных медиа на мнение населения о системе здравоохранения в нашем исследовании в той или иной степени признают 73% респондентов.

При этом респондентов, указавших СМИ и социальные медиа как определяющий источник формирования *своего мнения* о здравоохранении, всего 2%. Основной источник их мнений, как считают респонденты, – личный опыт (86%). Однако такой ответ может быть обозначен как социально желательный (респондентам стыдно признаться, что у них нет самостоятельного мнения), или влияние информационного поля может населением не осознаваться в полной мере.

Важно, что, по-видимому, не только новости, связанные с системой здравоохранения, влияют на ее восприятие, но и в целом знаковые для страны события отражаются на восприятии системы здравоохранения как института.

Так, на фоне трагедии в Кемерово было обнаружено снижение удовлетворенности системой здравоохранения Москвы, несмотря на то что данное событие не имело никакого отношения ни к Москве, ни к, по сути, системе здравоохранения. Других факторов, которые могли бы привести к снижению удовлетворенности системой здравоохранения в тот период, обнаружено не было, а трагедия в Кемерово в апреле 2018 г. называлась респондентами среди «последних событий... в сфере здравоохранения города Москвы», несмотря на то что данное событие не имело никакого отношения к задаваемому вопросу. Аналогичные результаты были получены и другими исследователями. Например, при изучении удовлетворенности системой здравоохранения в Кыргызстане выявлено ее неожиданное снижение на фоне проведения успешной реформы. На данный результат оказали влияние гражданские беспорядки, которые произошли в стране непосредственно перед опросом, хотя они и не имели отношения к сектору здравоохранения [28. Р. 67].

Вероятно, свою роль в аналогичных ситуациях сыграли негативный эмоциональный фон, подавленность населения, а также связь событий в сознании ряда граждан с действиями власти (возможная логика: «плохая региональная власть» – «плохая власть вообще» – «плохие властные институты» – «плохое здравоохранение»).

Это подводит нас к тому, что другим важным фактором восприятия системы здравоохранения является сам *образ власти*. Так, в периоды максимального снижения показателя удовлетворенности системой здравоохранения за рассматриваемый период было получено максимальное количество сообщений, говорящих о недоверии власти (например, «достижения только по телевизору»), которое было отчасти связано с негативными резонансными общероссийскими социальными событиями, такими как уже упомянутая трагедия в Кемерово или повышение пенсионного возраста.

В связи с вышеуказанным важно выделить такой фактор, как контекст (ситуативный фактор в выработке образа власти), который как минимум сам определяет образ власти, однако при этом может быть и напрямую не связан с системой здравоохранения. Как подчеркнуто в монографии под редакцией Е.Б. Шестопал, «нельзя адекватно оценить объект исследования – образы политических объектов, если не учитывать тот фон, на котором происходит восприятие» [8. С. 15]. Так, важно, что негатив начинает максимально нарастать в электоральный период (который обладает еще свойством сезонности) на волне роста оппозиционной активности. При этом негативное влияние на образ системы здравоохранения могло оказываться вне зависимости от обоснованности обвинений оппозиции. Такого рода ситуация за период мониторинга наблюдалась, например, на фоне выборов мэра г. Москвы.

Также на восприятие системы здравоохранения могут влиять и *ценности*. Например, К. Джадж и М. Соломон справедливо отмечают, что на политические взгляды отдельных лиц могут оказывать влияние представления о социальной справедливости [30]. Для нашего населения политическая ценность справедливости также крайне важна. Ее проявление можно было увидеть в требованиях повышения финансирования сферы здравоохранения, повышения зарплат медицинским работникам, повышения доступности качественной бесплатной медицинской помощи и т.д.

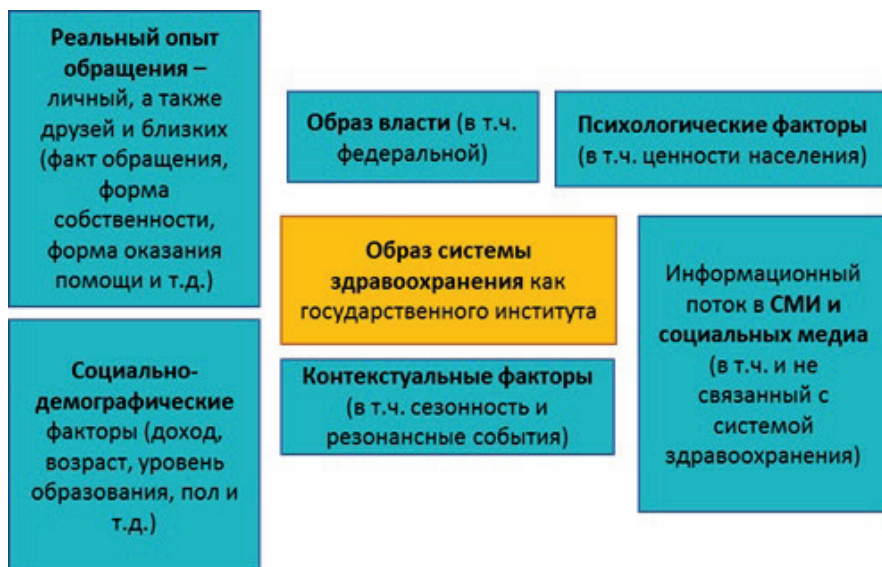


Рис. 2. Модель политического восприятия системы здравоохранения

Рассмотренные факторы можно объединить в модель политического восприятия системы здравоохранения, представленную на рис. 2.

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что акцент в нем был сделан именно на эмоциональном компоненте образа системы здравоохранения, пока еще недостаточно изученном как в плане эмпирической рефлексии, так и в теоретическом (научном) анализе политического восприятия граждан. Специфика этого компонента в его «универсальности», в том, что он может как вырабатываться вследствие аффективной оценки, не связанной напрямую с объектом (например, под влиянием знаковых национальных событий), так и быть следствием собственно опыта взаимодействия с медицинскими организациями.

Из факторов, связанных с реальным опытом, были изучены те, которые опосредованы формой оказания помощи, а также с самим фактом обращения в медицинские организации. Причем важно, что больший позитивный окрас система столичного здравоохранения имеет у тех, кто накопил опыт обращения за медицинской помощью, т.е. непосредственно контактировал с представителями данной системы.

Итоги проведенного исследования также свидетельствуют о том, что общая оценка системы здравоохранения у всей совокупности опрошенных нами респондентов в целом ниже, чем оценки удовлетворенности любой из рассмотренных форм оказания медицинской помощи, что говорит о значимой роли факторов, не связанных с прямым опытом респондента. К таким факторам в нашем исследовании мы отнесли влияние СМИ и социальных медиа (в том числе как создающих общий, зачастую негативный, эмоциональный социальный фон посредством имеющей и не имеющей отношения к системе здравоохранения информации), политический контекст восприятия, ценности (здоровье, со-

циальная справедливость и др.) и сам образ власти. Ведущую роль среди перечисленных факторов можно отдать СМИ и социальным медиа.

Таким образом, несмотря на имеющийся опыт в большинстве своем положительного взаимодействия с представителями системы столичного здравоохранения (о чем свидетельствует более высокая оценка реального опыта обращения за помощью в определенной форме), все же на выработку общей ее оценки существенное влияние оказывают СМИ, трансформируя социальное восприятие этой системы в политическое путем создания текущего, часто негативного, событийного контекста вокруг этой социальной системы. Вследствие этого имеющаяся система здравоохранения нуждается в совершенствовании коммуникационной стратегии.

Рекомендации

1. При анализе удовлетворенности населения системой здравоохранения и принятия на его основе управленческих решений важно учитывать сложности политического восприятия системы здравоохранения, когда снижение удовлетворенности может не иметь прямого отношения к деятельности органов в сфере здравоохранения. Для такого анализа можно опираться на предложенную в данной статье модель. Также не менее важно учитывать при анализе результатов исследований социологические нюансы изменения показателей, например при анализе удовлетворенности – потенциальную несводимость друг к другу значений, получаемых с использованием разных шкал.

2. Необходимы продолжение реальных преобразований в московском здравоохранении и повышение доступности и качества медицинской помощи. Информационные кампании редко могут компенсировать реальные недостатки при их наличии. Несмотря на это, необходимо продолжение работы и со СМИ и социальными медиа по тематике здравоохранения (информирование об успехах, новинках государственного здравоохранения, социальных акциях и т.д.). Информационная работа должна сосредоточиться на лучшем охвате целевых групп: информация о полезных новинках или мероприятиях нередко не доходит до людей с соответствующими потребностями. Существующая медиасреда должна стать посредником между представителями системы здравоохранения и гражданами, через нее первые показывали бы свою открытость перед вторыми, в том числе готовность к дискуссии на тему этических вопросов в сфере здравоохранения, «fake news» и домыслов вокруг текущих процессов в данной сфере.

3. При проведении преобразований и информационной политики необходима опора на актуальные для населения ценности, в первую очередь на ценности социальной справедливости, заключающиеся в том числе в равном доступе всех граждан к квалифицированной медицинской помощи.

В целом следует заметить, что хорошая система здравоохранения – ответственность не только органов управления здравоохранением (департамента, министерства), это задача государственной политики в целом, недостатки и успехи здравоохранения выступают важным критерием в общей оценке власти. Как показало исследование, верно и обратное: текущее политическое восприятие действий власти может оказывать влияние и на восприятие системы здравоохранения. Такое положение дел требует укрепления межведомственного взаимодействия в вопросах повышения удовлетворенности населения системой здравоохранения.

Литература

1. Социальные и политические поправки: рейтинг предпочтений россиян // ВЦИОМ: Аналитический обзор. 2020. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10215> (дата обращения: 16.04.2020).
2. Шестопап Е.Б. Образ и имидж в политическом восприятии: актуальные проблемы исследования // Образы государств, наций и лидеров / под ред. Е.Б. Шестопап. М. : Аспект Пресс, 2008. С. 8–23.
3. Пищева Т.Н. Политические образы: проблемы исследования и интерпретации // Полис. Политические исследования. 2011. № 2. С. 47–52.
4. Bruner J.S., Goodman C.C. Value and Need as Organizing Factors in Perception // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1947. Vol. 42 (1). P. 33–44. DOI: 10.1037/h0058484
5. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М. : Смысл, 1999.
6. Zebrowitz L.A. Social Perception (Mapping Social Psychology). Buckingham : Open University Press, 1990.
7. Путин 3.0: общество и власть в новейшей истории России / под ред. Е.Б. Шестопап. М. : Аргемак-медиа, 2015.
8. Психология политического восприятия в современной России / под ред. Е.Б. Шестопап. М. : РОССПЭН, 2012.
9. Власть и лидеры в восприятии российских граждан. Четверть века наблюдений (1993–2018) / отв. ред. Е.Б. Шестопап. М. : Весь Мир, 2019.
10. Жизненные приоритеты россиян: семья, деньги или творчество? // ВЦИОМ. Спутник. 2017. № 3391. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1618> (дата обращения: 16.04.2020).
11. Лукьяшко А.Г. Ценность здоровья в дискурсе научно-исследовательских практик // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 12. С. 91–95.
12. Политические ценности современного российского общества: проблемы и перспективы изучения // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 2014. № 2. С. 92–121.
13. Borrell C., Espelt A., Rodriguez-Sanz M., Navarro V. Politics and health // Epidemiol Community Health. 2007. Vol. 61 (8). P. 658–659. DOI: 10.1136/jech.2006.059063
14. Гареева И.А. Мнение населения о системе здравоохранения в период социальных изменений (по материалам социологического исследования) // Вестник ТОГУ. 2011. № 4 (23). С. 253–262.
15. Грот А.В., Сажина С.В., Шишкин С.В. Обращаемость за медицинской помощью в государственные и частные секторы здравоохранения (по данным социологических исследований) // Социальные аспекты здоровья населения. 2018. № 5 (63). DOI: 10.21045/2071-5021-2018-63-5-1
16. Калашиников К.Н., Калачиова О.Н. Доступность и качество медицинской помощи в контексте модернизации здравоохранения // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 2 (32). С. 130–142.
17. Sparkes S., Bump J., Özçelik E., Kutzin J., Reich M. Political Economy Analysis for Health Financing Reform // Health Systems & Reform. 2019. Vol. 5 (3). P. 183–194. DOI: 10.1080/23288604.2019.1633874
18. Алексеева Н.Ю., Пчела Л.П., Макаров С.В. Исследование удовлетворенности населения качеством медицинской помощи в условиях реформирования здравоохранения // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2011. № 1 (77). С. 259–261.
19. Прохода В.А. Оценка национальной системы здравоохранения жителями России и других европейских стран // Политика и Общество. 2018. № 10. С. 65–77. DOI: 10.7256/2454-0684.2018.10.27654
20. Скуба Ю.Ю. Особенности восприятия системы здравоохранения в массовом сознании россиян // Управление здравоохранением. 2015. № 3 (45). С. 89–97.
21. Tavares A., Ferreira P. Public satisfaction with health system coverage, empirical evidence from SHARE data // International Journal of Health Economics and Management. 2020. DOI: 10.1007/s10754-020-09279-x
22. Dolnicar S., Grun B. “Translating” between survey answer formats // Journal of Business Research. 2013. Vol. 66 (9). P. 1298–1306.
23. Bleich S., Özaltin E., Murray Ch.J. How does satisfaction with the healthcare system relate to patient experience? // Bulletin of the World Health Organization. 2009. Vol. 87 (4). P. 271–278.
24. Рак: есть ли от него спасение и как с ним бороться? // ВЦИОМ. Спутник. 2019. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9546> (дата обращения: 16.04.2020).

25. Дзусов И.И. Оценка населением качества жизни: социологический анализ // Вестник Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. Общественные науки. 2014. № 4. С. 355–359.

26. Гехт И.А., Артемьева Г.Б. К вопросу об изучении удовлетворенности населения системой здравоохранения // Менеджер здравоохранения. 2014. № 4. С. 6–12.

27. Светличная Т.Г., Цыганова О.А. Медико-социологический подход к анализу удовлетворенности населения качеством медицинских услуг // Социальные аспекты здоровья населения. 2011. № 3 (19). URL: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/304/30/> (дата обращения: 16.04.2020).

28. Footman K., Roberts B., Mills A., McKee M. Public satisfaction as a measure of health system performance: A study of nine countries in the former Soviet Union // Health Policy. 2013. Vol. 112, is. 1-2. P. 62–69. DOI: 10.1016/j.healthpol.2013.03.004

29. Зубец А.Н., Новиков А.В., Оборский А.Ю. Восприятие населением российских городов качества оказываемой медицинской помощи в системе здравоохранения страны // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2018. № 2. С. 37–50.

30. Judge K., Solomons M. Public opinion and the national health service: patterns and perspectives in consumer satisfaction // J Soc Policy. 1993. Vol. 22. P. 299–327. DOI: 10.1017/S0047279400019553

Ignat V. Bogdan, Research Institute for Healthcare Organization and Medical Management of Moscow Healthcare Department (Moscow, Russian Federation).

E-mail: bogdaniv@zdrav.mos.ru

Mariia V. Gurylina, Research Institute for Healthcare Organization and Medical Management of Moscow Healthcare Department (Moscow, Russian Federation).

E-mail: gurylinamv@zdrav.mos.ru

Andrey L. Zverev, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation); Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian Federation).

E-mail: zveandr@mail.ru

Darya P. Chistyakova, Research Institute for Healthcare Organization and Medical Management of Moscow Healthcare Department (Moscow, Russian Federation).

E-mail: chistyakovadp@zdrav.mos.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 216–230.

DOI: 10.17223/1998863X/55/22

A POLITICAL PERCEPTION OF THE HEALTHCARE SYSTEM: AN EXPERIENCE OF A MONITORING RESEARCH

Keywords: political perception; social institution; healthcare; satisfaction; image of authority; factors of perception; mass media.

The topic of a political perception of healthcare system has not been studied well despite the fact that it heavily influences the political process. The current examples we have been able to see during the coronavirus pandemic. The aim of this study is to determine modern trends in Russian political perception (Moscow as the case) and the content of various components of the population attitudes (cognitive, emotional, behavioral) in this sphere (as a part of general political attitudes). The article is based on a Moscow monitoring research conducted in December 2017 – November 2018 by the authors. The method used is CAPI, the sample is 13,200 Muscovites with elements of random sampling. The sample represented the population of Moscow by age, gender, district of residence, and level of education. The research was focused mainly on the emotional component of the healthcare system image—the dependent variable was the level of satisfaction with Moscow healthcare in general. The research showed a number of factors influencing satisfaction. The first group of factors is connected with the real experience of interaction with healthcare organizations. First, it is the fact of presence of interaction (those who did not visit medical organizations in the last 5 years showed less satisfaction with them). Then it is the type of ownership: the image of healthcare system in Moscow is mainly influenced by public healthcare (mainly by ambulatory care), not private. Socio-demographic factors (gender, income, education, age) appeared to be less influential for the perception than experience. But experience was not the only factor in influencing the image of healthcare as indicated for example by the fact that satisfaction with visiting different kinds of medical organization is much higher than the overall satisfaction with the healthcare system. The research indicates that another influential factor is coverage by mass and social media. There is evidence that information about

important social events, even those irrelevant to Moscow healthcare, has a huge impact on the healthcare evaluation (e.g., through changing the general emotional state of population). Other factors include the image of authority itself (public healthcare is perceived to be a state institution), political context (e.g., electoral period) and values (e.g., social justice, health). Among the given recommendations, the most important is to use the proposed model of the political perception of the healthcare system in practice, for it takes into account the complexity of the political perception process. The model shows that the level of satisfaction is not the domain of the medical governing bodies alone, the task of its improvement requires multisector coordination; it is the domain of social policy in general. This work is crucial because, as the research showed, there is a strong interconnection between the image of the healthcare system and the image of authority in Russia.

References

1. VTsIOM. (2020) *Sotsial'nye i politicheskie popravki: reyting predpochteniy rossiyan* [Social and political amendments: rating of preferences among the Russians]. [Online] Available from: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10215> (Accessed: 16th April 2020).
2. Shestopal, E.B. (2008) *Obraz i imidzh v politicheskom vospriyatii: aktual'nye problemy issledovaniya* [Image in Political Perception: Topical Problems of Research]. In: Shestopal, E.B. (ed.) *Obrazy gosudarstv, natsiy i liderov* [Images of States, Nations and Leaders]. Moscow: Aspekt Press. pp. 8–23.
3. Pishcheva, T.N. (2011) Political images: problems of investigation and of interpretation. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 2. pp. 47–52. (In Russian).
4. Bruner, J.S. & Goodman, C.C. (1947) Value and Need as Organizing Factors in Perception. *Journal of Abnormal and Social Psychology*. 42(1). pp. 33–44. DOI: 10.1037/h0058484
5. Leontiev, D.A. (1999) *Psikhologiya smysla* [The Psychology of Meaning]. Moscow: Smysl.
6. Zebrowitz, L.A. (1990) *Social Perception (Mapping Social Psychology)*. Buckingham: Open University Press.
7. Shestopal, E.B. (ed.) (2015) *Putin 3.0: obshchestvo i vlast' v noveyshey istorii Rossii* [Putin 3.0: Society and Power in the Recent History of Russia]. Moscow: Argemak-media.
8. Shestopal, E.B. (ed.) (2012) *Psikhologiya politicheskogo vospriyatiya v sovremennoy Rossii* [Psychology of Political Perception in Modern Russia]. Moscow: ROSSPEN.
9. Shestopal, E.B. (ed.) (2019) *Vlast' i lidery v vospriyatii rossiyskikh grazhdan. Chetvert' veka nablyudeniy (1993–2018)* [Power and leaders in the perception of Russian citizens. A quarter century of observations (1993–2018)]. Moscow: Ves' Mir.
10. VTsIOM. (2017) *Zhiznennye priority rossiyan: sem'ya, den'gi ili tvorchestvo?* [The Russians' life priorities: family, money or creativity?]. *Sputnik*. 3391. [Online] Available from: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1618> (Accessed: 16th April 2020).
11. Lukyashko, A.G. (2019) The value of health in the discourse of research practices. *Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki – Humanities, Social-Economic and Social Sciences*. 12. pp. 91–95. (In Russian).
12. Anon. (2014) Political Values of Contemporary Russian Society: Problems and Prospects. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser.12. Politicheskie nauki – Moscow University Bulletin. Series 12. Political Science*. 2. pp. 92–121. (In Russian).
13. Borrell, C., Espelt, A., Rodriguez-Sanz, M. & Navarro, V. (2007) Politics and health. *Journal of Epidemiology and Community Health*. 61(8). pp. 658–659. DOI: 10.1136/jech.2006.059063
14. Gareeva, I.A. (2011) *Mnenie naseleniya o sisteme zdravookhraneniya v period sotsial'nykh izmeneniy (po materialam sotsiologicheskogo issledovaniya)* [The popular opinion about the healthcare system during the social changes (based on a sociological study)]. *Vestnik TOGU*. 4(23). pp. 253–262.
15. Grot, A.V., Sazhina, S.V. & Shishkin, S.V. (2018) *Obrashchaemost' za meditsinskoj pomoshch'yu v gosudarstvennye i chastnye sektory zdravookhraneniya (po dannym sotsiologicheskikh issledovaniy)* [The appeal for medical care in the state and private health sectors (according to sociological research)]. *Sotsial'nye aspekty zdorov'ya naseleniya – Social Aspects of Population Health*. 5(63). DOI: 10.21045/2071-5021-2018-63-5-1
16. Kalashnikov, K.N. & Kalachiova, O.N. (2014) Accessibility and quality of medical service in the context of health care modernization. *Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz – Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. 2(32). pp. 130–142. (In Russian). DOI: 10.15838/esc/2014.2.32.10

17. Sparkes, S., Bump, J., Özçelik, E., Kutzin, J. & Reich, M. (2019) Political Economy Analysis for Health Financing Reform. *Health Systems & Reform*. 5(3). pp. 183–194. DOI: 10.1080/23288604.2019.1633874
18. Alekseeva, N.Yu., Pchela, L.P. & Makarov, S.V. (2011) Issledovanie udovletvorennosti nasele-niya kachestvom meditsinskoj pomoshchi v usloviyakh reformirovaniya zdravookhraneniya [The study of population satisfaction with the quality of medical care in the context of healthcare reform]. *Byulleten' VSN Ts SO RAMN*. 1(77). pp. 259–261.
19. Prokhoda, V.A. (2018) Assessment of the national healthcare system by residents of Russia and other European countries. *Politika i Obshchestvo – Politics and Society*. 10. pp. 65–77. (In Russian). DOI: 10.7256/2454-0684.2018.10.27654
20. Skuba, Yu.Yu. (2015) Osobennosti vospriyatiya sistemy zdravookhraneniya v massovom soznanii rossiyan [Specificity of health care system perception in the Russian mass consciousness]. *Upravlenie zdravookhraneniem*. 3(45). pp. 89–97.
21. Tavares, A. & Ferreira, P. (2020) Public satisfaction with health system coverage, empirical evidence from SHARE data. *International Journal of Health Economics and Management*. DOI: 10.1007/s10754-020-09279-x
22. Dolnicar, S. & Grun, B. (2013) “Translating” between survey answer formats. *Journal of Business Research*. 66(9). pp. 1298–1306. DOI: 10.1016/j.jbusres.2012.02.029
23. Bleich, S., Özaltin, E. & Murray, Ch.J. (2009) How does satisfaction with the healthcare system relate to patient experience? *Bulletin of the World Health Organization*. 87(4). pp. 271–278. DOI: 10.2471/blt.07.050401
24. VTsIOM. (2019) *Rak: est' li ot nego spasenie i kak s nim borot'sya?* [Cancer: is there any salvation from him and how to deal with it?]. [Online] Available from: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9546> (Accessed: 16th April 2020).
25. Dzusov, I.I. (2014) Otsenka naseleniem kachestva zhizni: sotsiologicheskii analiz [Popular assessment of life quality: sociological analysis]. *Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta im. K.L. Khetagurova. Obshchestvennye nauki*. 4. pp. 355–359.
26. Gekht, I.A. & Artemieva, G.B. (2014) On the question of study on public satisfaction with the health care system. *Menedzher zdravookhraneniya – Manager of Health Care*. 4. pp. 6–12. (In Russian).
27. Svetlichnaya, T.G. & Tsyganova, O.A. (2011) Medical-sociological approach to analysis of population satisfaction with quality of medical services. *Sotsial'nye aspekty zdorov'ya naseleniya – Social Aspects of Population Health*. 3(19). (In Russian). [Online] Available from: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/304/30/> (Accessed: 16th April 2020).
28. Footman, K., Roberts, B., Mills, A. & McKee, M. (2013) Public satisfaction as a measure of health system performance: A study of nine countries in the former Soviet Union. *Health Policy*. 112(1-2). pp. 62–69. DOI: 10.1016/j.healthpol.2013.03.004
29. Zoubets, A.N., Novikov, A.V. & Oborsky, A.Yu. (2018) Perception by the population of Russian cities of the quality of medical care provided in the country's healthcare system. *Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta – Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University*. 2. pp. 37–50. (In Russian). DOI: 10.26794/2226-7867-2018-8-2-37-50
30. Judge, K. & Solomons, M. (1993) Public opinion and the national health service: patterns and perspectives in consumer satisfaction. *Journal of Social Policy*. 22. pp. 299–327. DOI: 10.1017/S0047279400019553

УДК 321.02

DOI: 10.17223/1998863X/55/23

Н.В. Гришин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: НОВАЯ СТАВКА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ?¹

В современной научной литературе по политике идентичности не раскрыт вопрос о роли государства и государственных институтов в процессах формирования идентичности. Восполняя данный пробел, настоящая статья предлагает решение ряда теоретических вопросов участия государственной власти в политике идентичности. Рассматриваются основные этапы институционализации государственной политики в сфере формирования идентичности.

Ключевые слова: политика идентичности, национальная идентичность, создание идентичности, модели политики идентичности, государственная политика идентичности.

Введение

Деятельность государства в сфере формирования идентичности относится к числу наименее изученных направлений государственного регулирования [1. С. 175; 2. С. 68]. Одной из причин этого обстоятельства является относительно непродолжительный исторический опыт государственного управления в сфере идентичности. Особая сложность объекта управленческого воздействия, который не может быть сопоставлен с какой-либо из традиционных отраслей государственного регулирования, в значительной степени предопределяет специфичность форм, которые принимают меры государственного регулирования в данной области.

В фокусе внимания современной науки деятельность органов государственной власти по формированию идентичности впервые оказалась, вероятно, с момента появления в 1990-е гг. работ Р. Брукейбера о «национализирующей» политике некоторых современных государств [3]. Именно в работах Р. Брукейкера в качестве субъекта политики идентичности стало рассматриваться государство, а не только правящие элиты, что свойственно большинству исследований в данной области. При этом вплоть до настоящего времени в науке отсутствует осмысление государственной политики идентичности за пределами того узкого круга стран, которые рассматривает Р. Брукейкер. За пределами внимания исследователей остаются также вопросы о влиянии государственных институтов на формирование идентичности.

Задачей данной статьи являются выявление и теоретизация институциональных форм воздействия государства на процессы формирования идентичности. Для решения этой задачи, в частности, необходимо выявление этапов формирования государственной политики в сфере формирования идентичности.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках реализации научного проекта № 19-011-31616 «Государственная политика в сфере формирования идентичности: концептуальные основания, технологии и перспективы» в Санкт-Петербургском государственном университете.

При решении данной задачи мы исходим из предположения, что воздействие государства на сферу формирования идентичности происходит не только в рамках «национализирующей политики», но и отличается многообразием институциональных форм.

Терминологические основы рассмотрения государственной политики в сфере формирования идентичности

Изучение государственной политики в сфере формирования идентичности зависит от ряда, отражающего нисходящую по объему последовательность следующих понятий: политика идентичности, конструирование идентичности, государственная политика в сфере формирования идентичности.

Политика идентичности – сфера политических отношений, возникающих в связи с развитием идентичности. Традиционно политика идентичности понимается в смысле «politics»; роль государственного управления при использовании этой категории остается вне зоны внимания исследователей, но отдельные ее элементы могут также рассматриваться.

Конструирование идентичности (identity construction) – понятие, отражающее процесс формирования идентичности в результате деятельности индивидуальных акторов, а также под влиянием культурных и иных факторов. В некоторых исследованиях данный термин используется при рассмотрении деятельности правящих элит по формированию идентичности [4. Р. 25]. К этому понятию близок англоязычный термин «оформление идентичности» (shaping identity), который чаще используется для обозначения процесса формирования идентичности при отсутствии какого-либо целенаправленного намерения. К этой же группе можно отнести используемые в англоязычной науке понятия «identity-making», «identity formation».

Государственная политика в сфере формирования идентичности – понятие, которое предлагается использовать для отражения целенаправленной деятельности государственных учреждений в сфере политики идентичности. В англоязычной науке соответствующий термин отсутствует, но в 2016 г. российский исследователь Е.С. Задворная, анализируя деятельность правительства Японии, предложила использовать в этом качестве термин «identity construction policy» [5. С. 114]. В 2019 г. О.В. Попова предложила термин «state identity policy». Применение данного понятия предполагает перенесение фокуса внимания на деятельность государства в отношении вопросов идентичности, рассмотрение его как одного из акторов процесса формирования идентичности.

Методологические предпосылки изучения влияния государственных институтов на политику идентичности

Практика государственного участия в политике идентичности значительно опережает процесс появления научно-теоретических и экспертных работ, направленных на изучение роли государства в этих процессах. Очевидное отставание науки от практики государственного участия в конструировании идентичности объясняется, в частности, методологическими причинами: в исследованиях политики идентичности господство принадлежит субъективистской методологии. Данное обстоятельство препятствует рассмотрению влияния институтов на процесс формирования идентичности.

Не будет преувеличением сказать, что процесс конструирования идентичности рассматривается в современной теоретической науке исключительно в контексте деятельности отдельных акторов, преимущественно в рамках теории рационального выбора [6. Р. 131]. В рамках предлагаемого нами подхода государственная политика в сфере формирования идентичности исследуется не только в контексте деятельности отдельных должностных лиц и правящих элит, но и в контексте влияния государственных институтов на данный процесс. Таким образом, наш подход ориентирован на методологический разворот в сторону признания роли объективных институциональных факторов в процессе формирования идентичности. Предлагается переключить внимание с рассмотрения субъективистских факторов и индивидов на изучение объективных факторов и институтов. Предлагаемая переориентация имеет значение для расширения возможностей применения неонституционализма при изучении вопросов конструирования идентичности.

Данный методологический подход является необходимой предпосылкой для изучения роли государства в политике идентичности.

Этапы трансформации политики идентичности современных государств

Становление и развитие государственного участия в политике идентичности предполагает наличие ряда исторических этапов.

Наличие национального государства как институциональный фактор формирования идентичности.

Определенной вехой в процессах конструирования национальной идентичности считается эпоха буржуазных революций, которые вызвали в жизни идею нации. В частности, начало процесса формирования национальной идентичности в Англии исследователь этого вопроса Х. Кон связывает с буржуазной революцией XVII в. По его определению, революция «подняла людей к новому достоинству, когда они перестали быть обычным народом, объектом истории, а стали нацией, субъектом истории, выбранным для того, чтобы делать великие дела, в которых каждый в равной степени и индивидуально был призван к участию» [7. Р. 82]. Аналогичные процессы происходят во Франции после Великой французской буржуазной революции. При этом принципиально отметить, что в данных случаях правительства не переходят к практике целенаправленного конструирования. Однако возникшие национальные правительства и национальная государственная атрибутика становятся первыми государственными институциональными факторами формирования и осознания единства нации.

Внешнеполитические достижения государства как фактор формирования идентичности.

Первыми исследователями, отметившими влияние внешнеполитических достижений и экспансионизма на укрепление национального единства, могут быть признаны британские историки XIX в. Джон Сили и Джеймс Фрйд [8]. Ими впервые была высказана мысль о том, что расширение Британской империи стало фактором обеспечения единства народа и образования английской нации. Влияние фактора империи на формировании британской идентичности в XIX в. раскрыл в своих работах Дж. Маккензи [9].

Похожая ситуация возникает в США после Второй мировой войны. До ее начала политические факторы не играли существенной роли для американской национальной идентичности. Политика изоляционизма приводила к отсутствию внешнеполитического фактора в процессах развития национального самосознания американцев [10]. Только к середине XX в. значительную роль стали играть представления об особой роли США в мире, для обеспечения которой требовалась соответствующая государственная политика. Одновременно период Второй мировой войны впервые привел к активной работе американской пропаганды в отношении противопоставления американской и нацистской культур. В противовес расовым теориям третьего рейха государственная пропаганда США подчеркивала инклюзивность американской культуры [11. Р. 977]. В послевоенный период важную роль для общественного сознания стали играть представления о миссии США по противодействию коммунизму. Национальная идентичность американцев в послевоенный и весь последующий период истории неразрывно связана с представлениями о внутри- и внешнеполитических институтах. В первом случае идеалы демократии и свободы стали играть более важную роль в самоидентификации американского общества. Во втором случае империализм и интервенционализм стали преподноситься как необходимые составляющие для глобальной политической миссии США. Практически все президенты США начиная с Ф.Д. Рузвельта вносили вклад в развитие данных институтов, которые превратились в ключевые ориентиры формирования американской национальной идентичности. Можно предположить, что США переняли у Британии не только первенство среди государств Запада, но и фактор империализма, со схожими последствиями для формирования национальной идентичности.

Инициативная политика государства по формированию идентичности.

Очевидно, что примеры целенаправленной политики государства по формированию идентичности возникают не ранее XX в. После Первой мировой войны правительства некоторых стран, преимущественно относящихся к недемократическим политическим режимам, впервые предпринимают активные действия в сфере национальной политики. Участие государства в тех или иных формах нацистроительства характерно практически для всех тоталитарных государств XX в. [12. Р. 577].

Инициативная политика демократических государств в вопросах обеспечения национальной идентичности разворачивается во второй половине XX в. В частности, в Бельгии активизация государственной политики в сфере исторического образования с целью воздействия на процесс формирования национальной идентичности происходит, по оценке исследователей, в 1950-х гг. [13. Р. 50]. Однако уже в 1960-х гг., с усилением тенденций к регионализации, система образования попадает под контроль органов власти отдельных регионов, и этот процесс завершился последующим преобразованием Бельгии в федеративное государство в начале 1990-х гг.

Со специфической проблемой столкнулась в данном вопросе объединенная Германия, которая после 1990 г. должна была решать задачу воссоздания единой германской идентичности на фоне происходящего одновременно образования ЕС и усиления притока мигрантов в страну [14].

Структурные компоненты государственной политики идентичности

На современном этапе можно предпринять попытку выяснения структурных компонентов деятельности государства в сфере политики идентичности.

Основой государственной политики в сфере формирования идентичности выступают три элемента: 1) образ «нашего государства», в котором отражаются представления о границах государства, времени его возникновения, символах, ключевых исторических деятелях и героях; 2) образ «мы», который отражает представления о принадлежности населения к определенному типу цивилизации; 3) образ «они», отражающий степень противопоставления иным с использованием модели «другие–чужие–враги» [15. С. 292].

В зависимости от направленности можно выделить три основных цели, на которые может быть направлена государственная политика в сфере формирования национальной идентичности:

– воспроизводство национальной идентичности – меры государства по сохранению и поддержанию сложившихся маркеров идентичности;

– создание национальной идентичности – активная политика государства по формированию образа единой нации у представителей гражданского общества, проживающего на территории страны;

– развитие национальной идентичности – активная политика государства по изменению осознания образа единой нации у населения страны.

Анализ деятельности различных государств в сфере формирования идентичности позволяет выделить следующие основные ее направления:

– образовательная и просветительная деятельность в подведомственных государству учебных заведениях;

– создание культурной продукции – помощь или инициатива со стороны государства в создании произведений культуры и проведении мероприятий, направленных на формирование определенной идентичности;

– организационные меры – действия административного характера, направленные на фиксирование и закрепление национальной идентичности у граждан страны (например, в документах);

– подготовка активистов – обучение специалистов, которые вне государственного аппарата, но действуя в сфере культуры и идеологии, оказывают влияние на политику идентичности в стране.

Безусловно, наиболее важным направлением среди перечисленных является сфера образования. В большинстве кейсов именно в данном направлении начинается реализация государственной политики в сфере формирования идентичности [16. Р. 55], также в данных рамках происходит наибольшее приложение усилий государства по мере дальнейшего развития этого направления регулирования [17. Р. 1444].

Методология оценки эффективности государственной политики идентичности

Среди множества отраслей государственной политики и управления оценка эффективности деятельности государства по формированию национальной идентичности, вероятно, относится к числу наиболее сложных.

Методология «оценивания результативности» (output evaluation), очевидно, не может быть применена в большинстве случаев, поскольку подразумевает оценку конкретных результатов проектов. В современных государствах деятельность государства в сфере идентичности, как правило, не предполагает применения проектных методов с определенными индикаторами. Однако исключения существуют, и данная методология имеет прямое отношение к нашей стране. Применение в Российской Федерации программно-целевого метода в отношении деятельности в сфере межнациональных отношений и идентичности актуализировало проблему выбора адекватных измеримых индикаторов. Индикаторы результативности, отражающие оценку деятельности органов власти в данном направлении регулирования, применялись в государственных программах 2010-х гг. и включали, в частности, такие количественные показатели, как «количество мероприятий, проведенных... в сфере духовно-просветительской деятельности», «численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов» и т.д.

Применение в России программно-целевого метода для решения задач в сфере национальной политики обуславливает необходимость применения методологии «оценивания эффективности» (outcome evaluation), которая предполагает не достижение задокументированных показателей, а эффект, произведенный на состояние общества. Принципиально сложно объективно и доказательно оценить эффект деятельности субъектов государственного управления на состояние феноменов духовной жизни общества [18. Р. 366]. Можно проследить, что в течение 2010-х гг. российское руководство использовало разные подходы к решению этой проблемы. В принятой в 2013 г. и действовавшей до 2016 г. федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)» в качестве целевых показателей предполагались косвенные индикаторы. В частности, это были индикаторы «доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений», «уровень толерантного отношения к представителям другой национальности»¹ и т.д. Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденная в 2016 г., предусматривает серьезные изменения в вопросе о выборе количественного индикатора. Впервые в практике государственного управления в данной сфере регулирования в качестве измеримого результата деятельности государства предлагается использовать прямой показатель идентичности, а именно – увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности до 81% к 2025 г.² Применение инструментов «оценивания эффективности» для изучения государственной политики в сфере формирования идентичности предполагает значительные методологические проблемы. Их можно условно разделить на две группы: 1) является потенциально спорной любая возможная методика количественного измерения состояния идентичности; 2) невозможно с достаточ-

¹ Постановление Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 718 «О федеральной целевой программе „Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)“» // СПС КонсультантПлюс.

² Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации „Реализация государственной национальной политики“» // СПС КонсультантПлюс.

ной степенью достоверности определить, в какой мере количественный индикатор является результатом действия конкретной государственной программы, а не иных факторов и причин.

Наиболее объективным основанием для оценивания эффективности государственной политики в сфере формирования идентичности можно признать административное оценивание. Однако при данном типе оценивания рассматривается не столько эффективность, сколько результативность деятельности государства: предметом оценивания является соотношение уровня затрат государства и достижения поставленных задач. Административное оценивание может оптимизировать расходы, которые закладываются в государственные программы.

Заключение

Открытым и неопределенным остается вопрос о дальнейших перспективах развития государственной политики в сфере формирования идентичности.

Процессы глобализации являются вызовом для многих направлений государственного регулирования, и вопросы государственного воздействия на национальное самосознание и идентичность оказываются в этом отношении в первых рядах. Происходящие процессы развития коммуникаций значительно ослабляют возможности эффективного воздействия национальных акторов на формирование идентичности [19].

Значительной и пока не решенной проблемой является исключительная сложность измерения эффективности действий государства в вопросах формирования идентичности. Практическая невозможность определения объективных индикаторов может быть серьезным основанием для позиций скептиков, поднимающих вопрос о целесообразности затрат государственных финансов и усилий.

Литература

1. Попова О.В. Модели идентичности политических акторов в современной России // Политическая наука. 2018. № 2. С. 173–194.
2. Гришин Н.В. Государство как субъект политики формирования идентичности // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2019. № 3. С. 66–72.
3. Brubaker R. Nationalizing states revisited: projects and processes of nationalization in post-Soviet states // Ethnic and Racial Studies. 2011. Vol. 34, № 11. P. 1785–1814.
4. Ortman S. Singapore: the Politics of Inventing National Identity // Journal of Current Southeast Asian Affairs. 2009. Vol. 28, № 4. P. 23–46.
5. Задворная Е.С. Институционализация образа Японии в государственном внешнеполитическом дискурсе // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2016. № 3. С. 114–121.
6. Eleftherios K.L. The discursive (re)construction of national identity in Cyprus and England with special reference to history textbooks: a comparative study. London : University of London, 2008.
7. Kohn H. The genesis and character of English nationalism // Journal of the History of Ideas. 1940. Vol. I, № 1. P. 69–94.
8. Korostelina K.V. Nation Building and National Identity Formation // History Education in the Formation of Social Identity. New York : Palgrave Macmillan, 2013.
9. Mackenzie J. Propaganda and the Empire: the manipulation of British political opinion 1880–1960. Manchester : Manchester University Press, 1984.
10. Georgiadis A., Manning A. One nation under a groove? Understanding national identity // Journal of Economic Behavior & Organization. 2013. Vol. 93. P. 166–185.
11. Larsen C. Revitalizing the ‘civic’ and ‘ethnic’ distinction. Perceptions of nationhood across two dimensions, 44 countries and two decades // Nations and Nationalism. 2017. Vol. 23, № 4. P. 970–993.

12. *Kunovich R.* The sources and consequences of national identification // *American Sociological Review*. 2009. Vol. 74, № 4. P. 573–593.
13. *Nieuwenhuysse K., Wils K.* Historical Narratives and National Identities. A Qualitative Study of Young Adults in Flanders // *Journal of Belgian History*. 2015. Vol. XLV, № 4. P. 40–73.
14. *Green S.* Germany: a changing country of immigration // *German Politics*. 2013. Vol. 22, № 3. P. 333–351.
15. *Попова О.В.* Матрица государственной идентичности в эпоху постправды // *Время больших перемен: политика и политики : материалы Всерос. науч. конф. / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной, Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. М. : РУДН, 2017. С. 291–292.*
16. *Slocum-Bradley N.* Identity Construction in Europe: a Discursive Approach // *Identity*. 2010. Vol. 10, № 1. P. 50–68.
17. *Wright M., Reeskens T.* Of what cloth are the ties that bind? National identity and support for the welfare state across 29 European countries // *Journal of European Public Policy*. 2013. Vol. 20 (10). P. 1443–1463.
18. *Rembold E., Carrier P.* Space and identity: constructions of national identities in an age of globalization // *National Identities*. 2011. Vol. 13, № 4. P. 361–377.
19. *Сморгунов Л.В.* Политическая идентичность и понятие политического // *Полис. Политические исследования*. 2012. № 6. С. 178–185.

Nikolai V. Grishin, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).

E-mail: nvgrishin@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 231–239.

DOI: 10.17223/1998863X/55/23

THE STATE IDENTITY POLICY: A NEW BET IN THE POLITICAL STRUGGLE?

Keywords: identity politics; nation identity; identity-making; identity policy models; state identity policy.

This article addresses some of the gaps in the contemporary study of the potential of the state in identity construction. In the contemporary literature, there is a tendency to treat nation identity as an independent variable, as the explanans, and the state as a dependent variable, as the explanandum. To provide an alternative viewpoint, this article develops an approach for the state as a system of preconditions that institutionalize the process of identity construction. The article proposes a solution to a number of theoretical issues regarding the participation of the government and state institutions in identity politics. The main stages of institutionalization of the state identity policy are considered. The structural components of the state identity policy are identified. The Russian model of the state identity policy is characterized. The article discusses the issues of determining the effectiveness of the state in the formation of identity. Making cross-case generalizations, the article first outlines the limitations of the state in national identity-making. It is not too much of an exaggeration to state that identity-making has been studied only through the lens of activities of individual actors, predominantly using the rational choice theory. In his approach, the author does not reduce the role of the state in identity-making to activities of government officials, but considers the role of the state as a full network of state institutions. The modern form of institutionalism allows analyzing the factors and consequences of attempts to pursue a policy of identity-making, when the existing state institutions produce 'perverse effects'. The article seeks to shift attention away from individual actors in identity-making toward the role of state institutions and objectivist factors. This multi-approach study of the role of the state in identity-making offers a promising framework to analyze identity-making in a systematic way.

References

1. Popova, O.V. (2018) Identity models of political actors in contemporary Russia. *Politicheskaya nauka – Political Science*. 2. pp. 173–194. (In Russian).
2. Grishin, N.V. (2019) A state as an actor of identity construction policy. *Kaspiyskiy region: politika, ekonomika, kul'tura – The Caspian Region: Politics, Economics, Culture*. 3. pp. 66–72. (In Russian).
3. Brubaker, R. (2011) Nationalizing states revisited: projects and processes of nationalization in post-Soviet states. *Ethnic and Racial Studies*. 34(11). pp. 1785–1814. DOI: 10.1080/01419870.2011.579137

4. Ortmann, S. (2009) Singapore: The Politics of Inventing National Identity. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 28(4). pp. 23–46. DOI: 10.1177/186810340902800402
5. Zadornaya, E.S. (2016) Institutionalisation of Japan Identity Construction Policy. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhduнародnye otnosheniya – Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations*. 3. pp. 114–121. (In Russian). DOI: 10.15688/jvolsu4.2016.3.14
6. Eleftherios, K.L. (2008) *The discursive (re)construction of national identity in Cyprus and England with special reference to history textbooks: a comparative study*. London: University of London.
7. Kohn, H. (1940) The genesis and character of English nationalism. *Journal of the History of Ideas*. 1(1). pp. 80.
8. Korostelina, K.V. (2013) *History Education in the Formation of Social Identity*. New York: Palgrave Macmillan.
9. Mackenzie, J. (1984) *Propaganda and the Empire: the manipulation of British political opinion 1880–1960*. Manchester: Manchester University Press.
10. Georgiadis, A. & Manning, A. (2013) One nation under a groove? Understanding national identity. *Journal of Economic Behavior & Organization*. 93. pp. 166–185. DOI: 10.1016/j.jebo.2012.10.013
11. Larsen, C. (2017) Revitalizing the ‘civic’ and ‘ethnic’ distinction. Perceptions of nationhood across two dimensions, 44 countries and two decades. *Nations and Nationalism*. 23(4). pp. 970–993. DOI: 10.1111/nana.12345
12. Kunovich, R. (2009) The sources and consequences of national identification. *American Sociological Review*. 74(4). pp. 573–593. DOI: 10.1177/000312240907400404
13. Nieuwenhuysse, K. & Wils, K. (2015) Historical Narratives and National Identities. A Qualitative Study of Young Adults in Flanders. *Journal of Belgian History*. XLV(4). pp. 40–73.
14. Green, S. (2013) Germany: a changing country of immigration. *German Politics*. 22(3). pp. 333–351. DOI: 10.1080/09644008.2013.832757
15. Popova, O.V. (2017) Matritsa gosudarstvennoy identichnosti v epokhu postpravdy [The matrix of state identity in the post-truth era]. In: Gaman-Golutvina, O.V., Smorgunov, L.V. & Timofeeva, L.N. (eds) *Vremya bol'shikh peremen: Politika i politiki* [The Time of Big Changes: Politics and Politics]. Moscow: RUDN. pp. 291–292.
16. Slocum-Bradley, N. (2010) Identity Construction in Europe: A Discursive Approach. *Identity*. 10(1). pp. 50–68. DOI: 10.1080/15283481003676234
17. Wright, M. & Reeskens, T. (2013) Of what cloth are the ties that bind? National identity and support for the welfare state across 29 European countries. *Journal of European Public Policy*. 20(10). P. 1443–1463. DOI: 10.1080/13501763.2013.800796
18. Rembold, E. & Carrier, P. (2011) Space and identity: constructions of national identities in an age of globalization. *National Identities*. 13(4). pp. 361–377. DOI: 10.1080/14608944.2011.629425
19. Smorgunov, L.V. (2012) Political identity and the concept of the political. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 6. pp. 178–185. (In Russian).

УДК 321.02

DOI: 10.17223/1998863X/55/24

А.Л. Демчук

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ КОНФЛИКТАМИ

Рассматриваются природа и специфика международных экологических конфликтов, а также политические аспекты управления такого рода конфликтами в современных условиях. Определены ключевые факторы, влияющие на управление международными экологическими конфликтами, условия успешного применения медиации (посредничества) в международных экологических конфликтах, достоинства медиации по сравнению с другими институтами и механизмами конфликторазрешения.

Ключевые слова: конфликт, международный экологический конфликт, управление конфликтом, медиация.

Природа международных экологических конфликтов

Экологический конфликт (в том числе международный) можно определить как взаимодействие двух и более сторон, считающих, что их цели в отношении изменения (или сохранения) состояния окружающей природной среды (систем поддержания жизни – экосистем) несовместимы. Специфические характеристики, делающие экологические конфликты труднее поддающимся управлению, состоят в наличии большого числа сторон и участников (зачастую невозможно выявить всех, чьи интересы затронуты конфликтом), имеющих разное восприятие ситуации, различный объем властных полномочий и возможностей влияния, несовпадающие глубоко укоренившиеся ценности, ожидания и культурные установки, различные оценки фактов, ограничений структурного и ресурсного плана, большого числа проблем, невозможности количественной оценки затрат / ущерба (некоторые природные блага не поддаются оценке в денежном выражении), потенциальной необратимости негативных результатов конфликта, выходе конфликта за рамки одной юрисдикции (межведомственных, административных или государственных границ), зависимости реализации достигнутых соглашений (в большинстве случаев) от государственных структур.

Состояние окружающей природной среды уже несколько десятилетий входит в число мировых глобальных проблем.

Загрязнения различного рода представляют угрозу экономически развитым странам, где качество жизни традиционно оценивалось сквозь призму роста и расширения материального производства. В то же время деградация окружающей природной среды стала серьезным тормозом экономического развития и борьбы с бедностью в экономически менее развитых странах.

В последние десятилетия забота о сохранении окружающей природной среды стала предметом внимания во всем мире. Загрязнение почв, воздуха и воды воспринимается как серьезная угроза в промышленно развитых странах.

В то же время глобальные требования более полномасштабного экологического регулирования, наподобие Рамочной конвенции ООН по изменению климата и ее Киотского протокола, разработанные в ответ на вызовы «глобального потепления», часто воспринимаются и развитыми, и развивающимися странами как необоснованное ограничение национального суверенитета, попытка «монетизации» природных ресурсов [1].

В последние десятилетия в глобальном масштабе произошел существенный сдвиг во взглядах на связь сохранения окружающей среды и экономического развития [2]. Они уже рассматриваются не как взаимоисключающие цели, а как взаимозависимые и в равной степени важные. «Здоровая» экономика должна контролировать вредные выбросы, чтобы сохранять здоровье населения. Борьба с бедностью подразумевает постоянный экономический рост. Устойчивое экономическое развитие требует защиты и разумного потребления природных и экологических ресурсов, необходимых для продолжения жизни человечества на планете.

Факторы, влияющие на управление международными экологическими конфликтами

Несколько обстоятельств стимулируют постоянное совершенствование и развитие механизмов управления и разрешения экологических конфликтов, а также конкретных стратегий урегулирования споров, касающихся проблем окружающей среды:

1. Экологические проблемы не признают государственных границ, поэтому для их решения требуются «транснациональные» решения.
2. Многие современные бизнесы по природе своей транснациональны.
3. Инвесторы сегодня во все большей степени учитывают экологические показатели производственной деятельности в качестве ключевого индикатора общего качества менеджмента.

Природные ресурсы существуют и распределены по нашей планете через сложную систему океанов, материков и островов, экосистем и отдельных видов живых организмов. Государственные же границы – результат взаимодействия людей, сообществ, культур и государств. Физико-географические границы не соответствуют политическим (юридическим), что затрудняет работу регулирующих органов.

Экологические и природные ресурсы, в отношении которых национальная юрисдикция либо неясна, либо неэффективна, но которые необходимо сохранять и защищать для обеспечения выживания человечества (например, атмосферный воздух, полярные моря и глубоководные районы морского дна, полярные регионы, влажные тропические леса), зачастую называют международным (глобальным), общим достоянием человечества.

Возрастающее осознание рисков загрязнения подземных вод, обезлесивания, эрозии почв, глобального изменения климата и истощения озонового слоя, исчезновения биологических видов и иных изменений, влияющих на состояние природного наследия, в конце XX в. привело к расширению числа международных институтов и соглашений, призванных заниматься решением экологических проблем глобального масштаба. В дополнение к этому в результате переговоров появились транснациональные режимы и региональные соглашения для ответа на экологические вызовы, не являющиеся ни общеми-

ровыми, ни специфически региональными, как, например, разнообразные соглашения в Северной Америке.

Разрешение споров о строительстве автомобильных и железных дорог, трубопроводов, международные споры о правах водопользования, о трансграничном переносе загрязнений и глобальные споры об изменении климата требуют эффективного управления применением требований множества регулирующих и контрольно-надзорных органов.

Быстрые технологические изменения в сочетании с разнящимися по всему миру ценностями вызывают изменения ожиданий и практики бизнеса. Организованные по сетевому принципу международные компании стремятся к максимально раннему анализу ситуации, разрешению споров на ранней их стадии, поиску более быстрых, лучших, более дешевых решений. Глобализация рынков и бизнеса оказывает давление в том числе на ранее согласованные международные природоохранные стратегии. Даже на частном уровне некоторые международные компании утверждают общие международные стандарты своей природоохранной деятельности, поскольку действовать по-иному оказывается сложнее и дороже.

Эффективный экологический менеджмент (особенно в транснациональных компаниях с разнообразными операциями по всему миру) – сложное дело, требующее хорошо продуманных механизмов и эффективной интеграции в существующую систему корпоративного управления. В условиях количественного выражения корпоративной устойчивости инвесторы анализируют экологические показатели производственной деятельности в качестве ключевого индикатора общей эффективности менеджмента. В той мере, в какой государственное или частное предприятие улучшает свои общие экологические показатели, оно может достичь соответствующего уровня сокращения затрат и создать прибавочную стоимость с помощью улучшения механизмов, стратегий и инструментов разрешения экологических конфликтов. Повышенное внимание инвесторов к экологическому менеджменту вкупе с «давлением» потребительского внимания к соблюдению экологических нормативов (измеряемых стандартами ISO 14000/14001) создает мощные стимулы инноваций и развития более эффективных и действенных методов, систем и стратегий управления экологическими конфликтами.

Возможность выработки решений за пределами формальных юридических процедур представляется преимуществом большинства альтернативных методов разрешения (внесудебного урегулирования) споров, включая разрешение экологических конфликтов. Экологические конфликты и споры могут включать широкий круг вопросов государственной политики, поэтому важно в ряде случаев расширять имеющиеся экологические знания для достижения долгосрочных целей общества. Участие международной общественности, «публичная (народная) дипломатия», учет факторов межкультурного плана и иных обстоятельств способствуют внесудебным решениям, которые для своей реализации могут потребовать согласованных действий международных, национальных, региональных и местных властей.

Существует значительный уровень научной и экономической неопределенности в отношении природы и масштабов рисков от деятельности различных отраслей производства и осуществляемых ими выбросов вредных для окружающей среды веществ. Соответственно, существует принципиальная

неопределенность в отношении природы таких отраслей и ответных государственных мер (если такие предпринимаются), а также их экономических последствий. Одни и те же «факты» будут восприниматься и интерпретироваться по-разному разными участниками процесса управления конфликтом. Яркий пример – дискуссии вокруг проблем изменения климата и Киотского протокола. Важная изначальная проблема заключается в создании системы обмена и проверки информации с тем, чтобы участники процесса начали понимать и уважать имеющиеся у них различные точки зрения, что способствовало бы общему видению реальности.

Значимость фактора неопределенности возрастает, когда участники процесса конфликторазрешения придерживаются разных систем ценностей и приоритетов (а это неизбежно в мультикультурной международной среде), что вызывает конфликт по поводу управления даже согласованными уровнями риска. Например, для регулирующего органа «приемлемый» уровень риска может быть ниже, чем для самого предприятия, но все равно для местных жителей это будет намного выше приемлемого для них («нулевой риск»). Споры в ситуациях неопределенности и конфликты ценностного плана трудно поддаются разрешению в силу эмоциональной окраски, а также из-за сложности нахождения взаимоприемлемых решений в ситуациях, где спорящие стороны не согласны по поводу «фактов». Достижение некоего общего восприятия и создание разделяемой всеми фактологической основы важны для установления доверия, что необходимо для нахождения решения в конфликте.

Чем больше сторон вовлечено в конфликт, тем более вероятно осложнение процесса управления конфликтом проблемами ведомственной принадлежности и полномочий, обмена информацией, менеджмента, столкновения фундаментально расходящихся ценностей, доверия и коммуникации, а также другими особенностями динамики многостороннего взаимодействия.

В некоторых ситуациях управление экологическими конфликтами требует включения в процесс и обмен информацией тех, кто формально не участвует в юридических и административных процедурах. Регламент судебных слушаний и осуществления юрисдикции призван сужать границы спора, но разработка решений на долгосрочную перспективу может потребовать расширения его границ. Например, для повышения вероятности успешного разрешения экологического конфликта в долгосрочной перспективе нужно подключить к его урегулированию такие заинтересованные стороны, как неправительственные организации или ассоциации жителей, не имеющие какого-либо юридического статуса в рамках формального процесса управления конфликтом, но чье участие необходимо для нахождения окончательного решения. Для успешных переговоров при разрешении подобных споров требуется предварительное согласие относительно порядка (основных правил, регламента) работы. Представители неправительственных организаций и общественных групп часто оговаривают право отчитываться перед своими членами о ходе переговоров, что осложняет сохранение конфиденциальности, обычно требуемой в процессе разрешения коммерческих споров.

Там, где значимые местные, региональные или международные общественные группы усматривают риски «мировому природному достоянию» (мировому океану, атмосфере, коренным народам), эти неправительственные

организации со всего мира могут стремиться к включению в процесс выработки вариантов решения проблем, что создает определенные сложности для официально уполномоченных вести переговоры и выработать решения органов и должностных лиц.

Огромные по масштабу ставки, как экологические, так и экономические, осложняют процесс управления экологическими конфликтами.

Условия успешного применения медиации в международных экологических конфликтах

Экологическая медиация уже применялась для разрешения международных конфликтов [3]. Известен пример трансграничного конфликта между США и Канадой (американского Сизтла и канадской провинции Британская Колумбия). Власти Сизтла хотели поднять уровень плотины на реке Скаджит, чтобы обеспечить город гидроэлектроэнергией. Британская Колумбия возражала на том основании, что земли в долине Скаджит на канадской стороне будут затоплены в результате подъема уровня воды. Медиация спора проходила под эгидой Американско-канадской международной комиссии. В течение года было найдено (а еще через год выполнено) решение, согласно которому Британская Колумбия обещала снабжать Сизтл требуемой электроэнергией при условии, что Сизтл не станет увеличивать высоту плотины.

Еще одним примером трансграничного канадско-американского спора стал проект переброски стока реки Миссури на север, в засушливые районы штата Северная Дакота (*Garrison Diversion Project*), для нужд сельского хозяйства и обеспечения водой промышленных потребителей и домохозяйств. Широко поддержанный в Северной Дакоте проект вызвал беспокойство у жителей и властей канадской провинции Манитоба, увидевших в нем угрозу коммерческому и спортивному рыболовству на озере Виннипег. Этот проект имел для Канады еще и символическое значение – южный Левиафан не считается с канадскими интересами [4].

Чтобы медиация в международном контексте была возможной и целесообразной, требуется ряд условий.

Во-первых, одна или несколько влиятельных сторон должны осознавать наличие проблемы. Общего мнения о характере проблемы не требуется.

Во-вторых, требуется наличие желающего участвовать, компетентного и заслуживающего доверие медиатора. В случае международных кризисных ситуаций такой медиатор ассоциируется с ООН или «третьей стороной» в лице национального правительства.

В-третьих, медиация практически осуществима, только если у сторон спора примерно равные силы и возможности (политическая власть, право вето, информационные ресурсы, способность применять «санкции» или дать другим сторонам желаемое). Редко когда более сильный согласится на равных вести переговоры со слабым [5].

В-четвертых, важно, чтобы каждый потенциальный участник медиации считал других легитимными и равноправными ее участниками.

Чтобы медиация стала плодотворной, требуется ряд дополнительных условий. Во-первых, ни одна из влиятельных заинтересованных сторон не должна быть исключена из переговорного процесса, поскольку она может впоследствии сорвать выполнение договоренностей. Лучше приглашать к переговорам как

можно больше участников, но в разумных пределах, чтобы группа переговоров в целом была «управляемой» – это второе условие [6].

Еще одно условие успешной медиации состоит в том, что ее результаты должны быть ощутимы и иметь значительный эффект.

Возможно, самым важным условием успешной медиации является наличие «зон компромисса», т.е. вариантов решения, которые стороны предпочитают отсутствию соглашения. Если «зона компромисса» обширна (число приемлемых для всех вариантов велико), достичь соглашения окажется нетрудно. Иногда настолько легко, что и медиации не требуется [7]. Если эта зона очевидно мала или ее нет вообще, опытный медиатор может предпринять усилия и найти «скрытую» «зону компромисса» посредством генерирования большого числа альтернатив на основе интересов каждой из сторон.

Достоинства международной экологической медиации

У международной экологической медиации есть два серьезных препятствия – межкультурные различия и внутренняя сложность международных акторов, не позволяющая правительствам государств в ряде случаев обеспечивать выполнение достигнутых договоренностей отдельными акторами внутри страны.

При всех ее ограничениях и недостатках медиация может быть лучшим способом разрешения трансграничных и международных экологических конфликтов по четырем основным соображениям [2. Р. 207].

Во-первых, проблематичным может стать определение наиболее подходящего механизма разрешения спора. В условиях глобализации трудно четко разграничить экономический конфликт и экологический.

Экологические конфликты возникают в разном контексте: размещение свалки опасных отходов, развитие инфраструктурных проектов, угрожающих влажным тропическим лесам, работа предприятий или транспорта, выбрасывающего токсичные вещества в атмосферу, сброс загрязняющих жидкостей, деятельность приграничных предприятий, вызывающих рост заболеваний у жителей приграничных районов соседнего государства, изменение стока рек, вызывающее споры по поводу водных ресурсов, иная деятельность горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленности. В каждом случае возникает вопрос: это экологический конфликт или экономический?

Во-вторых, обычные механизмы конфликто разрешения более или менее четко юридически регламентированы и структурированы. Медиация же более гибкая, она более подходит для случаев, когда идеальное решение не связано с денежными выплатами или применением какой-либо нормы права.

В-третьих, транснациональные и международные экологические конфликты могут включать проблемы частного и государственного плана, а также вопросы межкультурной коммуникации. Медиация может стать особенно полезной и важной там, где на карту поставлены взаимоотношения сторон.

В-четвертых, медиация может использоваться до того, как конфликт перейдет в стадию международного спора.

Медиация позволяет конфликтующим сторонам обсудить разногласия, напрямую общаясь между собой. Другие механизмы конфликто разрешения «разводят» стороны и заставляют их «сражаться» за свою точку зрения, используя формальные процедуры, что чаще всего еще больше обостряет кон-

фликт. Судопроизводство и арбитраж основаны на противостоянии сторон. По завершении каждой из этих процедур стороны продолжают ненавидеть своих оппонентов, зачастую не могут продолжать дальнейшее взаимодействие, прекращают отношения (деловые и личные). Но представляющие разные взгляды стороны часто обречены на сосуществование и взаимодействие. Медиация становится единственным механизмом разрешения конфликта, одновременно активно способствующим сохранению отношений сторон конфликта и продвижению в сторону его разрешения. Для государственных соседей имеет смысл использовать механизм, позволяющий разрешить конфликт без разрушения отношений.

Другим достоинством медиации для разрешения международных экологических конфликтов являются ее гибкость и неформальный характер, для чего можно использовать множество стилей коммуникации [2]. Все стороны могут сесть за стол переговоров, чтобы выразить свои интересы. Опытный медиатор может помочь поддерживать «баланс сил» между соперничающими группами, направлять ход обсуждения, одновременно позволяя людям преодолевать разногласия, ошибочное восприятие и недопонимание. Заинтересованным сторонам предлагают представить себя на месте оппонентов, после чего очень часто появляется видение «пространства для решения».

Медиацию легко организовать, если она потребуется. Сторонам надо лишь договориться об использовании медиации и выбрать медиатора. Чем раньше она начнется, тем больше шансов на успех. Экологические проблемы усугубляются с течением времени, но процесс медиации столь гибок, что он может решать возникающие в ходе самой медиации споры и другие сопутствующие конфликты.

Конфиденциальность – возможно, наиболее обсуждаемое достоинство медиации. Все заинтересованные стороны могут открыто обсуждать проблему в условиях конфиденциальности. Публичный характер международного спора может препятствовать его разрешению.

Выводы

Международные экологические конфликты происходят между сторонами, принадлежащими к разным культурам и социально-экономическим укладам. Для такого рода многосторонних и многопроблемных конфликтов медиация подходит больше любой другой процедуры конфликторазрешения. Медиация позволяет избежать проблем правовых коллизий, а также расходов по найму юристов из разных стран. Гибкость процесса дает каждой стороне возможность определять и обсуждать проблему на своих собственных условиях, а не формулировать ее требуемым образом для представления в суде. Медиация – единственная процедура, позволяющая учесть межкультурные различия посредством прямого общения.

Литература

1. *Caldwell L.K.* International Environmental Policy from the twentieth to the twenty-first century : 3rd ed. Durham : Duke University Press, 1996.
2. *Environmental Dispute Resolution: an Anthology of Practical Solutions* / A.L. MacNaughton, G.M. Jay (eds.). Chicago : American Bar Association, 2002.
3. *Dryzek J.S., Hunter S.* Environmental Mediation for International Problems // *International Studies Quarterly*. 1987. Vol. 31, № 1. P. 87–102.

4. Carroll J.E. *Environmental Diplomacy: An Examination and Prospective of Canadian-US Transboundary Environmental Relations*. Ann Arbor : University of Michigan Press, 1983.

5. Cormick G.W., Patton L.K. *Environmental Mediation: Defining the Process-Through Experience*. *Environmental Mediation: The Search for Consensus* / ed. by L.M. Lake. Boulder, CO : Westview, 1980.

6. Talbot A.R. *Settling Things. Six Case Studies in Environmental Mediation*. Washington, DC : The Conservation Foundation, 1983.

7. Young O.R. *Intermediaries: Additional Thoughts on Third Parties* // *Journal of Conflict Resolution*. 1972. № 16. P. 51–65.

Arthur L. Demchuk, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation); Institute for the U.S. and Canadian Studies of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).

E-mail: arthur@leadnet.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 240–248.

DOI: 10.17223/1998863X/55/24

POLITICAL ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL CONFLICTS

Keywords: conflict, international environmental conflict, conflict management, mediation.

An environmental conflict (including an international one) can be defined as the interaction of two or more parties who perceive their goals for changing (or preserving) the state of the natural environment (life support systems–ecosystems) as incompatible. Specific characteristics that make international environmental conflicts more difficult to manage include the presence of a large number of parties and participants; a large number of issues; the inability to quantify costs/damage; and the potential irreversibility of negative conflict outcomes; the conflict goes beyond one jurisdiction; the implementation of the agreements reached depends on governmental bodies. The possibility of developing solutions outside of formal legal procedures seems to be an advantage of most alternative methods of resolving (out-of-court settlement) disputes, including the resolution of environmental conflicts. Environmental conflicts and disputes can involve a wide range of public policy issues, so it is important in some cases to expand existing environmental knowledge in order to achieve the long-term goals of society. International public participation, “public diplomacy”, consideration of cross-cultural factors and other circumstances contribute to extrajudicial decisions that may require concerted action by international, national, regional and local authorities in order to be implemented. In order for mediation to be successfully used to resolve international environmental conflicts, a number of conditions are required: one or more parties must be aware of the problem; a willing, competent and trustworthy mediator is required; the parties to the dispute must have approximately equal powers and capabilities; each potential participant in mediation must recognize others as legitimate and equal participants; none of the interested parties should be excluded from the negotiation process; the results of mediation should be tangible and have a significant effect. The most important condition for successful mediation is the presence of a “zone of compromise”, that is, solutions that the parties will prefer to no agreement. The article concludes that the main features of mediation as an institution for resolving cross-border and international environmental conflicts that occur between parties belonging to different cultures and socio-economic structures are its flexibility and informal nature; voluntary participation of the parties and the choice of a mediator; equality of the parties in the negotiation process; confidentiality of the mediation process; and neutrality (impartiality) of the mediator. Mediation allows taking into account cross-cultural differences through direct communication.

References

1. Caldwell, L.K. (1996) *International Environmental Policy from the twentieth to the twenty-first century*. 3rd ed. Durham: Duke University Press.
2. MacNaughton, A.L. & Jay, G.M. (eds) (2002) *Environmental Dispute Resolution: An Anthology of Practical Solutions*. Chicago: American Bar Association.
3. Dryzek, J.S. & Hunter, S. (1987) Environmental Mediation for International Problems. *International Studies Quarterly*. 31(1). pp. 87–102.
4. Carroll, J.E. (1983) *Environmental Diplomacy: An Examination and Prospective of Canadian-US Transboundary Environmental Relations*. Ann Arbor: University of Michigan Press. pp. 175–176.

-
5. Cormick, G.W. & Patton, L.K. (1980) Environmental Mediation: Defining the Process-Through Experience. In: Lake, L.M. (ed.) *Environmental Mediation: The Search for Consensus*. Boulder, CO: Westview.
 6. Talbot, A.R. (1983) *Settling Things. Six Case Studies in Environmental Mediation*. Washington, DC: The Conservation Foundation.
 7. Young, O.R. (1972) Intermediaries: Additional Thoughts on Third Parties. *Journal of Conflict Resolution*. 16. pp. 51–65.

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

УДК 001.38

DOI: 10.17223/1998863X/55/25

И.Т. Касавин

ЭТИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС НАУКИ: МЕЖДУ АБСОЛЮТОМ И СОЛИДАРНОСТЬЮ¹

Предметом статьи являются проблемы построения непротиворечивой этики науки, способной обеспечить, с одной стороны, солидарность научного сообщества и, с другой стороны, критическое мышление ученого в поиске нового истинного знания.

Ключевые слова: этика науки, история науки, научное сообщество, наука как профессия и призвание, дар, наука как общественное благо.

Невозможность этики

Исходным пунктом нашего рассуждения являются два ключевых вопроса в отношении эпистемической и нормативной структуры этики науки. В состоянии ли этика науки предоставить непротиворечивое руководство для деятельности и коммуникации в научном сообществе? В чем источник перформативной силы этико-научных императивов? Самые простые и очевидные ответы на эти вопросы являются отрицательными, и в этом убеждает, на первый взгляд, позиция Л. Витгенштейна. У него мы находим мысль о том, что этика – это сфера мистического и невыразимого [1. С. 132]:

«6.42. ...не может быть никаких предложений этики. Предложения не могут выражать ничего высшего.

6.421. Ясно, что этика не может быть высказана. Этика трансцендентальна».

Как и многие иные мысли и фразы этого мыслителя, данная идея этики инспирировала множество интерпретаций. И тому есть немало оснований. Если в оригинале «Трактата» Витгенштейн использует немецкий термин «transzendental», намекающий на И. Канта, то в «Дневниках» об этике говорится как о «transzendent». Можно принять всерьез эту смену терминологии и оценить ее как переход от абсолютистского к эпистемологическому видению природы этических высказываний. Абсолютистский подход отсылает к запредельной природе этического дискурса. В мире нет ничего, чтобы могло служить денотатом этического суждения. В отличие от него, эпистемологический подход рассматривает этику как условие возможности наших фактических суждений о мире. Этика как сфера должного находится за пределами фактичности, но она делает мир осмысленным для человека подобно тому, как логика делает мир мыслимым в категориях. Другими словами об этом

¹ Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание» И.Т. Касавиным, руководителем проекта и президентом Русского общества истории и философии науки.

говорит, по-видимому, следующая цитата: «Мы показали, что методом радикальной изоляции тривиальных и этических смыслов Витгенштейн решает принципиально другую задачу: демонстрируя зазор между тривиальными и реальными представлениями, он подводит читателя вплотную к „исчезающим“ этическим „смыслам“, не имеющим никаких естественных объяснений, но в то же время присутствующим в естественном понимании реальности» [2. С. 194].

Вынужденно оставляя за скобками дальнейшие споры по данному поводу, мы полагаем, что Витгенштейн в любом случае привлекает внимание к невозможности утилитаристской редукции этики и одновременно к фундаментальной трудности рационального выражения и обоснования этических установок и интуиций. На наш взгляд, это положение дел создает особую проблему для этики науки. Она призвана, с одной стороны, быть краеугольным камнем солидарности, цементирующей научное сообщество в условиях внешних угроз и внутренней амбивалентности ученого (Р. Мертон). И с другой стороны, она должна обосновывать научную деятельность как следование особому призванию к чему-то более высокому, чем природа человека или социальный институт науки (М. Вебер). Этика науки предназначена, тем самым, для того, чтобы легитимировать науку изнутри и снаружи, т.е. побудить самих ученых уважать друг друга и одновременно убедить общество в том, что наука достойна выделенного социального статуса. Парадоксально, что условием возможности этики науки выступает, помимо прочего, недостаточность логической и фактической аргументации для достижения данных целей. Быть может, функция этики науки состоит в разработке и поддержке того, что можно назвать «новым мифом науки»? В эпоху постмодерна одни мифы претерпевают деконструкцию, но другие активно возрождаются. Почему бы науке не изыскать себе мифический фундамент? Иное дело, что абсолют, находящийся в центре такого мифа, нужно истолковать в секулярном духе. Этот абсолют должен быть каким-то образом историзирован, укоренен, обоснован, причем без использования логического круга.

Миф науки: его иллюзии и риски

Впрочем, интуиция подсказывает, что миф науки, возникший в эпоху Просвещения, никуда не исчез, но, напротив, играет особую роль в современной культуре и даже является неотъемлемым элементом общества знания. Иное дело, в какой форме он существует, какие роли играет и подлежит ли трансформации. По всей видимости, его двумя основными функциями сегодня являются легитимация рационального мировоззрения и пропаганда идеологии сциентизма. Как ни парадоксально, но обоснование рациональности не может быть полностью рациональным, оно должно опираться на некоторые культурно-исторические архетипы. Длительная история философского и научного рационализма в европейской культуре придала мифу науки очевидность, достигшую кульминации в эпоху Просвещения. Однако в эпоху постмодерна миф науки приобретает исключительную амбивалентность и испытывает все большее давление. Две мировые войны сильно потрясли трон науки, продемонстрировав ее слабость и политическую зависимость как социального института. С одной стороны, фундаментальной науке в большинстве стран сегодня не хватает рациональных аргументов для обеспечения

конкурентного финансирования и общественного авторитета. Ее не спасают ни апелляции к рациональной картине мира, ни будущие возможности практического использования результатов фундаментальных исследований. Наука как «башня из слоновой кости», «Касталия» продолжает свое существование, но лишь как все более сужающееся поле элитарной культуры.

С другой же стороны, идею науки все больше приватизируют прикладные исследования, результаты которых могут быть коммерциализованы. И они же убеждают в истинности сциентизма, согласно которому любые социальные проблемы могут быть решены с помощью научных технологий. И это воскрешает миф науки уже в ином, упрощенно-прагматическом виде, в стиле общества потребления. Так, деконструкция интеллектуального мифа науки в постмодерне совпадает с воспроизводством его технократического измерения в интересах власти и бизнеса.

Итак, миф умирает, но да здравствует миф! Воскрешение мифа науки возможно лишь в форме его самокритики. Предстоит, с одной стороны, вывести науку из заточения в Касталии, а с другой – обосновать ее как общественное благо, не подлежащее тотальной приватизации в бизнесе¹. И для этого нужно более внимательно посмотреть на саму науку в ее внутреннем и внешнем измерении, в ее истории и современном состоянии. Тогда мы увидим, что образ «башни из слоновой кости», или «игры в бисер» у Г. Гессе, не схватывает специфику науки, но, напротив, уподобляет ее эзотерической религии или искусству ради искусства. Философы науки, обосновывавшие особый эпистемический статус науки, шли иным путем. Они апеллировали к внутренней истории науки, которая, представляя развитие знания как реализацию методологических норм теоретического, эмпирического и инструментального характера, создает образ науки как профессиональной деятельности. Отсюда и нормы профессиональной этики, укрепляющие единство научного сообщества («минимальная этика»). Однако внутренняя история науки нередко описывает научную деятельность как адаптивную социализацию и профессиональную рутину (Т. Кун). Наука предстает как «фабрика знаний», где не место творческому порыву. Она не предлагает адекватного понимания природы научного призвания, не вскрывает необходимых условий индивидуального выбора научной деятельности как особой профессии. С точки зрения парадигмального сознания «нормального ученого», в науке действует стандартный регламент коллективного поведения, цель которого – единство научного сообщества (Р. Мертон). Но тогда этот регламент создает лишь иллюзию этического кодекса: он не предполагает индивидуального ответственного выбора.

Со своей стороны, внешняя история науки, указывающая на решающее влияние социальных и культурных факторов в развитии знания, вновь нивелирует различие между наукой и иными профессиями. Следование научному призванию выступает как внезапный поворот флюгера, открытого всем ветрам. Такой подход, акцентируя контингентность и неопределенность выбора, убеждает в его непостижимой загадочности и одновременно реконструирует его как необъяснимое сопротивление обстоятельствам, диссидентство. Пусть

¹ Последняя угроза для России еще преждевременна, поскольку бизнес слабо осознает ценность науки. Иное дело, что российский бизнес представляет собой кентавра с телом предпринимателя и головой чиновника. Так что науке еще предстоит испытать особую «приватизацию по-русски».

внешняя детерминация научного призвания намекает на некий абсолюте, призыв которого услышал будущий ученый и который привел к революционному перевороту в сознании. Однако с точки зрения революционного сознания этика вновь невозможна, поскольку представляет собой апелляцию к абсолюте в условиях, когда все абсолюты рушатся. И даже если в этот период времени и культивируется ценность личности на фоне атомизации и распада научного сообщества, то разве совместима этическая позиция с эгоцентризмом и нарциссизмом?

Таким образом, ни внешняя, ни внутренняя истории науки по отдельности не дают однозначного объяснения призванию ученого. Наука, понятая в контексте ее собственной истории, не обнаруживает потребности в призвании и не укореняется в мифе.

Дар – основа мифа науки

В таком случае единственным способом обосновать призвание выступает отказ считать его феноменом, рядоположенным науке, принадлежащим к той же самой социально-исторической общности. Призвание не вписывается в синхронный порядок социальных отношений иначе как нечто, выходящее за их пределы, как их предтеча, как *доисторическое* явление. Это та самая глубинная историчность бытия, *первичное историческое событие*, которое делает историю науки возможной. И здесь возникает искушение понять научное призвание как жертву и как дар. *Наша гипотеза состоит в понимании научного призвания как архаического в своих истоках, резидуального феномена, подобного дару с его амбивалентностью.*

Известно, что первые социальные отношения, а именно договорно-торговые отношения между людьми, изначально формировались, копируя договор с божеством, которому приносилась жертва в надежде на поддержку с его стороны (история Авраама). Отсюда постепенно возникает «экономика дара» [3], в которой социальные отношения иницируются «церемониальной торговлей», т.е. обменом добровольными дарами. Дарение формирует систему социальных ролей (дарители и одаряемые, кредиторы и должники) и статусов (даритель, отвергающий дары, с одной стороны, и одаряемый, не возвращающий долгов, с другой). Научное призвание в этом контексте выступает как дар (божественный или иницированный учителем). И этот дар требует ответных даров – ученый обязан одарять знаниями своих учеников и всех окружающих. В пределе его обязательства состоят в трансляции не только знаний, но и дара призвания, на чем зиждутся бескорыстные отношения внутри науки и вовлечение в нее новичков. Однако дар являет себя и другой стороной: это тяжкое бремя, которое не всякому по плечу. С одной стороны, он предоставляется безвозмездно, с другой – его нельзя отвергнуть; он дается без просьбы, но его не получится и принять в точном виде; он отдается, но и сохраняет в себе требование возврата. Это, так сказать, *форма свободной несвободы*. Призвание как внутренняя устремленность делает человека свободным от внешних социальных стандартов, но есть и форма его изначальной несвободы как избранности. Избранность как одаренность ставит человека в зависимость от дара, которым нужно поделиться, но от которого невозможно избавиться. Дар создает бескорыстные отношения и служит основой солидарности; дар порождает зависимость, зависть и разобщение.

Дар ставит человека в круг обязательств, превращающийся в гонку за статусом главного дарителя, высшей мечтой которого является полное одиночество. Так миф науки включает в себя счастье призвания, одаренности, творчества наряду с трагедией неприкаянности, непризнанности, бездарности.

Внутренняя история науки дает практическую основу для профессиональной этики ученого; внешняя история науки соразмеряет последнюю с общечеловеческими ценностями. Призвание же предоставляет этике науки искомый абсолют: автономную область рискованной и ответственной деятельности («глобальная этика»), «существование без знамений», не как следствие чего-то иного, но как архитектурный пример для остальных.

Понятая таким образом этика науки создает особые условия для функционирования социального института науки и науки как формы общественного блага. Научный критицизм избавляется от своего парадоксального образа («Поппер 0», по И. Лакатосу), когда теория немедленно отбрасывается в результате столкновения с отдельной аномалией. Он предстает, скорее, как критическая установка против «плохой науки», т.е. корыстного стремления к успеху во что бы то ни стало, вне связи с ростом нового истинного знания. Научная солидарность – это не круговая порука, не конформизм, но объединение вокруг лидера и учителя, чтобы одарить и получать знания, чтобы защищать и развивать научную школу, чтобы конкурировать не за звания и должности, но за приоритет в открытии. Солидарность – это следование лучшим и изоляция от худших моральных примеров.

В качестве общественного блага наука выступает не как некоторая ценность, которую невозможно приватизировать – такой чисто экономический взгляд на науку не выдерживает критики [4]. Наука *приносит, дарит* обществу благо, от которого оно не может и не имеет права отказаться. А именно, наука выступает под знаменем рационального дискурса и коммуникации с критикой всех общественно-значимых решений и лозунгов, которые не могут пройти сквозь сито научной экспертизы. Поскольку же девизом информационного общества является подмена знания информацией, то именно на информационную повестку и нацелена внешняя критическая функция науки. Это касается в первую очередь феномена пост-правды, информационных фейков, преподносимых от имени науки. Сегодня новостные блоки пестрят сообщениями о том, что «ученые нечто доказали». Речь идет о вреде / пользе красного мяса, яиц, алкоголя, баклажанов или сыра. Нам сообщают о рисках / преимуществах телепатии, гомеопатии, машины времени, искусственного интеллекта. Мы узнаем о новой возможности / невозможности астероидной катастрофы, ядерного апокалипсиса, коронавируса, террористической атаки. Нас информируют об истинной / ложной истории Ивана Грозного, Великой отечественной войны, Холокоста, украинского Майдана, выборов Трампа. И едва ли не всякий раз оказывается, что под этим информационным майонезом нам предлагают порцию коммерческой рекламы или идеологического промывания мозгов.

Иное дело, что современное научное сообщество и общество в целом не готовы к «экономике дара». Большинство просто не в состоянии принять дар, предлагаемый наукой, потому что она отделяет знающих от незнающих. Тем самым наука накладывает слишком сильные эпистемические обязательства на людей, далеко не всегда проникнутых идеей научного призвания. Для них

такой дар оказывается тяжким грузом и даже ядом [2, 5]. Однако подлинная мораль состоит не в благополучии правильного поступка; она есть достоинство перед лицом несправедливости. Испытание общественным безразличием или даже враждебностью к истине – вот настоящий путь приобщения к научному этосу [6].

Литература

1. *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат / пер. с нем. И. Добронравова и Д. Лахути; общ. ред. и предисл. В.Ф. Асмуса. М.: Наука, 1958. 133 с.
2. *Данько С.В.* Парадоксы «Лекции об этике» Л. Витгенштейна // Вопросы философии. 2018. № 9. С. 186–196.
3. *Mauss M.* The Gift. Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. London: Cohen & West. 1966. 160 p.
4. *Callon M.* Is Science a Public Good? Fifth Mullins Lecture, Virginia Polytechnic Institute, 23 March 1993 // Science, Technology, & Human Values. 1994. Vol. 19, № 4. P. 395–424.
5. *Moore G.* The politics of the gift. Exchanges in structuralism. Edinburgh UP, 2011. 240 p.
6. *Касавин И.Т.* Наука как этический проект // Вопросы философии. 2019. № 11. С. 90–103.

Илья Т. Касавин, Russian Society for History and Philosophy of Science (Moscow, Russian Federation).

E-mail: itkasavin@gmail.com; <https://iphras.ru/kasavin.htm>

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 249–254.

DOI: 10.17223/1998863X/55/25

THE ETHICAL PARADOX OF SCIENCE: BETWEEN THE ABSOLUTE AND SOLIDARITY

Keywords: ethics of science; history of science; scientific community; science as profession and vocation; gift; science as public good.

The article focuses on the problem of building a consistent ethics of science, capable to ensure the solidarity of the scientific community, on the one hand, and the critical thinking of the scientist in search for new true knowledge, on the other. The lack of pragmatic legitimization of science goes hand in hand with the indistinguishability of the reliable basis for scientific vocation, with the difficulty of rational articulation of moral and epistemic intuitions. This cannot be facilitated by the modern myth of science, which has the features of rationalistic technocracism. The internal and external history of science as a profession provides no explanation or justification for scientific vocation as an embodiment of an existential choice. The latter is understood only as a prehistoric, residual phenomenon similar to a sacrifice or a ritual gift. Recognized at the basis of all initial exchanges, the gift demonstrates its ambivalent character in science. It ensures the existence of science as a public good, which is also a heavy burden for those who are unable to follow its moral example. Both the intrascientific and external ethics of science are thus a challenge for the scientific community and society as a whole.

References

1. Wittgenstein, L. (1958) *Logiko-filosofskiy traktat* [Logico-philosophical treatise]. Translated from German by I.S. Dobronravova, D. Lakhuti. Moscow: Nauka.
2. Danko, S.V. (2018) Paradoxy “Lektzii ob etike” L. Vitgenshteyna [Paradoxes of “Lectures on Ethics” by L. Wittgenstein]. *Voprosy filosofii*. 9. pp. 186–196.
3. Mauss, M. (1966) *The Gift. Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies*. London: Cohen & West.
4. Callon, M. (1994) Is Science a Public Good? Fifth Mullins Lecture, Virginia Polytechnic Institute, 23 March 1993. *Science, Technology, & Human Values*. 19(4). pp. 395–424. DOI: 10.1177/016224399401900401
5. Moore, G. (2011) *The Politics of the Gift. Exchanges in Structuralism*. Edinburgh UP.
6. Kasavin, I.T. (2019) Nauka kak eticheskiy proekt [Science as an ethical project]. *Voprosy filosofii*. 11. pp. 90–103.

УДК 165.5

DOI: 10.17223/1998863X/55/26

О.Е. Столярова

ПРИЗВАНИЕ УЧЕНОГО В РАСКОЛДОВАННОМ И ВНОВЬ ЗАКОЛДОВАННОМ МИРЕ¹

Каковы этические принципы функционирования науки в обществе, и на чем основана привилегированная позиция науки? В статье эти вопросы поднимаются в связи с высказанной И.Т. Касавином идеей призвания-как-дара. Показано, что феномен призвания-как-дара соответствует харизматическому типу господства, укорененному в материальной рациональности. Показано, что данный тип господства способен приобрести новую легитимность в ситуации обратного околдовывания мира.

Ключевые слова: наука, обратное околдовывание мира, призвание, дар, этика науки.

В статье И.Т. Касавина предложен нетривиальный ответ на вопрос о возможности рационального постижения и выражения этических принципов науки. Особый интерес этот вопрос приобретает в силу того, что наука в рамках нашей европоцентричной культуры выступает образцом рациональности как наивысшей культурной ценности. Секулярное общество апеллирует к научному знанию как к первой и последней инстанции в разрешении споров, неопределенностей и противоречий. Трудно представить себе какой-либо другой, столь же универсальный социальный институт, каким является наука. Государственные границы, религии, политические течения, идеологии, как известно, разъединяют, а научное знание объединяет. Все мы, существующие субъекты, принадлежим Реальности, а Реальностью, или *природой*, – ее устройством, ее законами, – занимается именно наука. Но тем проблематичнее для нас ситуация, описанная И.Т. Касавиным: он говорит об укорененности этики науки в «первичном историческом событии», о призвании ученого со стороны самого бытия (абсолюта), об экзистенциальной миссии *дара*, которую ученый интуитивно переживает, отвечая на Призыв всей своей жизнью. Такая романтизация деятельности (миссии) ученого откликается на веберовскую дистинкцию *профессии* и *призвания* [1], абсолютизируя последнее. И.Т. Касавин предлагает нам не искать рациональное обоснование привилегированной позиции науки в обществе, а принять эту позицию как милость и благодать.

Проблема состоит в том, что с точки зрения научной рациональности романтический образ ученого, дарителя и одаряемого, представляется чем-то в высшей степени сомнительным. Конфликт «внешне-социальных», с одной стороны, и «внутренне-социальных» [2], с другой стороны, условий возможности деятельности ученого должен быть разрешен в пользу «внешнего», если мы хотим сохранить рациональные основы нашего доверия науке и ученым. Это означает, что этические принципы функционирования науки в обществе должны быть прозрачны для разума, или, иначе говоря, обладать об-

¹ Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание».

безразличностью в том же смысле, в каком общезначимостью обладают результаты естественных и социогуманитарных наук¹. Если мы встанем на позицию М. Вебера, который считал основой методологии социогуманитарных наук целерациональное (социальное) действие, нам придется признать, что экзистенциальное постижение ученым своей миссии как *дара* имеет отношение либо к психологизму (указывая на внутреннее, необъективируемое переживание), либо к онтологизму (указывая на некий налагающий на ученого обязательства Абсолют). И в том и в другом случае оно ускользает от научной методологии, требуя от внешнего наблюдателя и исследователя либо непосредственного вчувствования, либо метафизических спекуляций. Переводя вопрос о *даре* в область практики, мы не можем не отметить, что с правовой точки зрения (уходящей корнями в рациональное римское право) ни дарителю, ни одаряемому невозможно ничего вменить. Не грозит ли в таком случае «свободная несвобода», о которой говорит И.Т. Касавин, обернуться произволом? Если формально-рациональные правовые отношения, связанные с формально-рациональной экономикой, предполагают априорный учет действий и результатов социальных субъектов [4. С. 65], то права и обязанности, укорененные в «экономике дара», по всей видимости, подлежат только апостериорному учету и не могут претендовать на нормативный характер.

Вероятно, описанный весьма поэтично И.Т. Касавиным феномен *призвания-как-дара* следует соотнести с тем, что Вебер в противоположность *формальной* рациональности называет *материальной* рациональностью [5]. Формальная рациональность, полагает Вебер, выражает себя как универсальная количественная мера социального действия. Она есть чистая абстракция технически достижимого и экономически эффективного. Она нацелена на количественный, исчисляемый результат и поэтому является самоцелью. Она безразлична к содержательному, качественному аспекту условий и результатов действия. В отличие от нее материальная рациональность всегда имеет в виду внешние ценности – этические, эстетические, идеологические и прочие, которым подчиняется рациональное поведение, становясь ценностно-рациональным. Если формальная рациональность получает максимальное воплощение в науке с ее универсальным количественным методом познания, то материальная рациональность принадлежит тому, что принято называть *здоровым смыслом*, т.е. способности воспринимать своеобразие вещей и событий мира и выстраивать поведение, ориентируясь на качественные «гештальты»².

С материальной рациональностью Вебер тесно связывает особый тип легитимного господства – харизматический (греч. *khárisma* – дар) [5]. В отличие от «легального» типа господства, присущего формальной рациональности и, следовательно, опирающегося на обезличенные отношения, опосредо-

¹ Как подчеркивает А.Ю. Антоновский, «несмотря на все различие номотетических и идеографических наук последние в своей установке на объективность, по мнению Вебера, ничуть не уступают естествознанию» [3]. То, что этические принципы, как пишет И.Т. Касавин, ссылаясь на Витгенштейна, *трансцендентальны*, не означает, что они не могут быть выражены и поняты. Если бы принципы теоретико-познавательной позиции трансцендентализма невозможно было высказать и понять, то не имело бы смысла писать «Критику чистого разума».

² В отношении «материальной рациональности» напрашивается аналогия с гуссерлевским «жизненным миром», противопоставленным миру научного объективизма, а также с тем, что У. Селларс называет «явным образом человека-в-мире» (*manifest image of man-in-the-world*) в противоположность «научному образу» [6].

ванные нормой или законом (формальным правом), харизматический тип господства основан на личных отношениях между социальными субъектами. Право на господство в этом случае приобретает за счет веры в необыкновенный, сверхъестественный характер личности господина, его (бого)избранность. Харизматический тип господства не ограничивается, конечно, отношениями индивидов друг к другу. Он вполне может быть распространен на социальные совокупности и социальные институты в той мере, в какой они представляют собой коллективную реализацию субъективных смыслов¹. Не имеет ли в виду И.Т. Касавин именно такой вид господства, когда говорит, что «наука *приносит, дарит* обществу благо, от которого оно не может и не имеет *права* (курсив мой. – О.С.) отказаться»? *Право* здесь получает эмоциональную окраску, оно не нуждается в рациональном обосновании: общество должно признать право науки на духовное (интеллектуальное) и телесное² господство, экстатически переживая силу чудесного *дара* и подчиняясь ей.

Вебер полагал, что в *расколдованном* мире, в котором доминируют формально-рациональные отношения, харизматический тип господства вытесняется на периферию социальной жизни. В процессе расколдовывания мира (в ходе прогрессивного развития науки, постепенно проникающей во все сферы общественного устройства) ценностно-содержательные, качественные (смысловые) «гештальты» подвергаются рациональной обработке и формализуются, т.е. переводятся на язык количественных оценок, определяются через коэффициенты эффективности. Наука, являясь, с одной стороны, инструментом рационализации мира, должна, с другой стороны, как социальный феномен сама определяться через коэффициент своей экономической и технологической результативности, что обуславливает постепенную трансформацию ее социальной роли: она превращается из *призвания* в *профессию*. Аффективное действие уступает место эффективному действию. Ориентируясь на данную модель, нам следует признать, что обращение И.Т. Касавина к романтической фигуре ученого-харизматика, чьи ценностные координаты задаются «экономикой дара», выглядит как неправомерная реставрация архаического типа социального действия, запрос на который в технонаучном мире формальной рациональности попросту отсутствует или, как минимум, сильно маргинализирован.

Однако наша оценка изменится, если мы отступим от схематики Вебера на тот исторический шаг, который отделяет нас от его времени. Мы сегодня живем в обществе, которое называет себя *постсовременным, постиндустриальным, постсекулярным*. Это говорит о том, что общество занимает позицию внешнего наблюдателя по отношению к собственному прошлому и способно осуществлять критическую рефлексию в отношении собственных интегрирующих мифов, главным из которых является миф науки [7]. Сегодняшняя критика мифа науки, мифа, который выражает себя в универсалистских претензиях на познание мира и овладение миром, отчасти родственна рациональной критике мифа на заре европейской цивилизации. Эта критика

¹ Пример обезличенного типа харизматического господства – это веберовская «харизма разума», т.е. феномен распределенной власти идей.

² Телесное подчинение наиболее ярко проявляется в медицинской практике и отношениях врачей и пациентов.

извлекает на свет основы нашего доверия, раскрывая логические цепочки, которые ведут к исходным общепринятым положениям, чья истинность при ближайшем рассмотрении оказывается ничем не подкрепленной. Но специфика нашей ситуации состоит в том, что сегодняшняя критика информирована многовековой историей развития науки, она, как справедливо отмечает И.Т. Касавин, является *самокритикой* науки. Иначе говоря, наука достигает сегодня таких результатов, которые по принципу обратной связи ставят под вопрос ее же собственные исходные допущения, казавшиеся незыблемыми постулаты. Процесс *расколдовывания* мира, изображенный Вебером как линейный, как направленное движение все большей рационализации, по-видимому, оказывается нелинейным: он содержит в себе момент своего собственного отрицания.

Философы и социальные теоретики сегодня обсуждают феномен *обратного околдовывания* мира (re-enchantment of the world) [7–9], подчеркивая, что ресурсы для ниспровержения идолов современности (таких как объективизм, позитивизм, сциентизм и т.п.) предоставляются самой наукой и ее техническими условиями возможности и приложениями. Технонаука создает такие феномены (генная инженерия, нейросети, квантовые процессоры и многое другое), которые не укладываются в классическую картину человеческого (рационального) доминирования. Технонаука несет в себе силу власти, контроля и порядка, с одной стороны, но и все большей неопределенности, с другой стороны. Она не столько «прозрачна» для человека, сколько загадочна для него. Она имеет не только рациональное, но и магическое измерение, причем это второе измерение не уменьшается, не маргинализируется (как предполагал Вебер), но, напротив, проявляется все сильнее. Окружающий нас мир, во многом созданный технонаукой, не только не перестает удивлять, но все больше удивляет нас качественным разнообразием, смешением фактов и ценностей, порядком, который рождается из хаоса, и хаосом, который рождается из порядка. Наука, таким образом, оказывается в наши дни «самым могущественным генератором чудесного» [8. Р. 3].

И в этой ситуации *призвание-как-дар* обретает новую легитимность. Но новая легитимность научной харизмы определяется, на наш взгляд, не тем, что наука выступает в роли пограничного контроля, отделяя фейки от истинного знания и одновременно отделяя «знающих от незнающих» (Касавин) (ибо данная модель как раз и возвращает нас назад, к легальному господству формальной рациональности). Она определяется удивительной способностью науки удивляться и удивлять, вовлекая в круг своего удивления все новых и новых участников.

Литература

1. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избранные произведения / пер. с нем., общ. ред. Ю.Н. Давыдова. М. : Прогресс, 1990. С. 707–735.
2. Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э. О науке Макса Вебера: рецепция и современность // Эпистемология и философия науки. 2018. Т. 55, № 4. С. 174–188.
3. Антоновский А.Ю. Мах, Пуанкаре и Вебер: все в действительности не так, как на самом деле // Эпистемология и философия науки. 2019. Т. 56, № 3. С. 30–35.
4. Глазырин В.А. Определение права в социологии Макса Вебера // Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. Т. 8, № 3. С. 59–70.
5. Вебер М. Хозяйство и общество / пер. с нем., под ред. Л.Г. Ионина. М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2016. 448 с.

6. Sellars W. *Philosophy and the Scientific Image of Man* // Sellars W. *Science, Perception and Reality*. Ridgeview Publishing Company, 1991. P. 1–40.

7. Berman M. *The Reenchantment of the World*. Cornell University Press, 1981. 368 p.

8. *The Re-Enchantment of the World: Secular Magic in a Rational Age* / J. Landy, M. Saler, eds. Stanford University Press, 2009. 408 p.

9. Stiegler B. *The Re-Enchantment of the World: The Value of Spirit Against Industrial Populism* / transl. from french by T. Arthur. Bloomsbury Academic, 2014. 136 p.

Olga E. Stoliarova, Russian Society for History and Philosophy of Science (Moscow, Russian Federation).

E-mail: olgastoliarova@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 255–260.

DOI: 10.17223/1998863X/55/26

THE VOCATION OF A SCIENTIST IN A DISENCHANTED AND RE-ENCHANTED WORLD

Keywords: science; re-enchantment of world; vocation; gift; ethics of science.

The article discusses the ethical principles of the functioning of science in society and the rational grounds for the ethics of science. These questions are raised in connection with the idea of *vocation-as-a-gift* expressed by Ilya Kasavin. Kasavin suggests that we should not seek a rational justification for the privileged position of science in society, but accept this position as a favour and grace. Kasavin's concept is considered in the context of the Weberian distinction between *profession* and *vocation*. It is shown that the phenomenon of vocation-as-a-gift should be correlated with what Weber calls *substantive* rationality, contrasting it with *formal* rationality. As opposed to formal rationality, which is embodied in science with its universal quantitative method of knowledge, substantive rationality belongs to what is traditionally called *common sense*, i.e., the ability to perceive the qualitative uniqueness of things and events in the world and build behavior based on qualitative “gestalts”. Substantive rationality is closely related to the charismatic type of authority, which can be distributed among social aggregates and social institutions to the extent to which they represent the collective realization of subjective meanings. In a disenchanted world dominated by formal-rational relationships, the charismatic type of authority is pushed to the periphery of social life. Science is determined through the coefficient of its economic and technological efficiency, which causes the gradual transformation of its social role: from a vocation it turns into a profession. Based on this Weberian scheme, we should recognize that Kasavin's appeal to the romantic figure of a charismatic scientist looks like an illegitimate restoration of an archaic type of social action; and the technoscientific world of formal rationality has no request for it, or this request is strongly marginalized. However, Kasavin's concept can be better understood in the context of *re-enchantment of the world*. This new phenomenon indicates that science and technology today provide us with the resources to overthrow such idols of modernity as objectivism, positivism, scientism, etc., i.e., to overcome formal rationality. Under these conditions, the charismatic type of authority acquires a new legitimacy.

References

1. Weber, M. (1990) *Izbrannyye proizvedeniya* [Selected Works]. Translated from German. Moscow: Progress, pp. 707–735.

2. Antonovski, A.Yu. & Barash, R.E. (2018) O nauke Maksa Vebera: recepciya i sovremennost' [Max Weber on Science: Reception and Perspectives]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 55(4). pp. 174–188. (In Russian).

3. Antonovski, A.Yu. (2019) On Misinterpretation of Mach, Poincaré and Weber. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 56(3). pp. 30–35. (In Russian). DOI: 10.5840/eps201956343

4. Glazyrin, V.A. (2005) Opredelenie prava v sotsiologii Maksa Vebera [The Definition of Law in Max Weber's Sociology]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – The Journal of Sociology and Social Anthropology*. 8(3). pp. 59–70.

5. Weber, M. (2016) *Khozyaystvo i obshchestvo* [Economy and Society]. Translated from German. Moscow: HSE.

6. Sellars, W. (1991) *Science, Perception and Reality*. Ridgeview Publishing Company. pp. 1–40.

7. Berman, M. (1981) *The Reenchantment of the World*. Cornell University Press.
8. Landy, J. & Saler, M. (eds) (2009) *The Re-Enchantment of the World: Secular Magic in a Rational Age*. Stanford University Press.
9. Stiegler, B. (2014) *The Re-Enchantment of the World: The Value of Spirit Against Industrial Populism*. Translated from French by T. Arthur. Bloomsbury Academic.

УДК 001.38

DOI: 10.17223/1998863X/55/27

Е.В. Масланов

ДАР В НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ: К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАЗНООБРАЗИЯ¹

Реализация призвания и практика обмена дарами позволяют ученым, «шаманам» и «жрецам» поддерживать функционирование своих сообществ. Для «шаманов» и «жрецов» они связаны с поддержанием единства сообществ, формированием согласия в рамках одной общей позиции. Для ученых их реализация постоянно ставит под сомнение единство сообщества и формирует пространства взаимодействия между разнообразными исследовательскими подходами.

Ключевые слова: дар, призвание, научное познание, научное сообщество, неявное знание.

Зарождение и развитие науки было связано с особым взглядом на познавательную деятельность. Человек, решивший посвятить себя научным штудиям, ориентировался на поиск фундаментальных истин мироздания. Он стремился понять, каким образом устроен мир, разобраться в его функционировании, понять замысел Бога или раскрыть окончательные тайны Природы. Занятия наукой были связаны с реализацией призвания ученого. Оно могло выражаться в стремлении следовать правилам метода и этическим максимам или вступить на путь познания с целью реализации самостоятельных и рискованных практик по изучению мира [1]. Этот образ научных исследований, лежащий в основе мифологии научного творчества, требует от ученого самопожертвования и подразумевает, что его деятельность не может оцениваться исходя из экономических, политических или социальных стандартов оценивания. Научное исследование – это служение идеалу познания, который самоценен сам по себе. Призвание ученого оказывается подобным призванию священника – ученый слышит «зов» абсолюта истины, так же как священник слышит «зов» Бога. В этом случае его работа – служение поиску истины. Найдя ее, он должен бескорыстно сообщать ее миру.

В современном обществе знания наука связана не только, а может, даже и не столько, с поиском истины, она становится важнейшим элементом в процессе производства инноваций. Теперь ученые непосредственно участвуют в процессе создания новых технологий и их внедрения в промышленность и общественную жизнь [2]. Именно эта деятельность оправдывает в глазах общества и управленцев их существование и затраты на поддержание научных исследований. Ученые становятся похожими на работника фабрики по производству нового знания, которое затем должно быть преобразовано в технологические инновации. В результате он должен выполнить план по производству научной «продукции», а полученные результаты должны быть внедрены в народное хозяйство и коммерциализированы. Подобная деятельность, казалось бы, не требует от него следования призванию, стремле-

¹ Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание».

ния к абсолюту, ему необходимо лишь профессионально выполнять свою работу и соблюдать этические нормы, действующие в его области. Такая деятельность может заменять собой «призвание» ученого, который стремится реализовать собственный исследовательский порыв, нормализовать его и включить в функционирование института науки как социальной структуры, нацеленной на производство знания, которое может использоваться в рамках общества знания или техннауки. Илья Теодорович Касавин справедливо отмечает, что подобное функционирование науки лишает ее лежащего в ее основе мифа. Уход от него приводит к тому, что сами ученые уже больше не могут обосновать специфику своей познавательной деятельности и особенности функционирования социального института науки. Теперь неясно, зачем нужна фундаментальная наука, результаты деятельности которой обычно не могут быть коммерциализированы в ближайшей перспективе. Но отказ от подобных элементов научного знания может вести к тому, что наука больше не будет существовать как общественное благо, способное не только производить новые знания, но и поддерживать социальное разнообразие, необходимое для развития как науки, так и общества. В результате складывается ситуация, когда научное призвание снова должно быть обосновано. Таким механизмом обоснования, по мнению Ильи Теодоровича, может выступать понимание научного призвания как архаического феномена, подобного дару.

Понимание научного призвания как дара позволяет сконструировать описание взаимодействия между учеными как специфического распределения позиций в поле обмена дарами. В результате формируется особая социальная структура научного сообщества, которая подразумевает следование правилам сохранения и передачи даров. При этом научный этос «в основном архаичен и амбивалентен, поскольку требует смирения и щедрости в сочетании с гордостью и конкуренцией», – отмечает Илья Теодорович. – Творчество не может обойтись без эмоциональной чувствительности» [3. С. 132]. В этом случае важным становится не только соблюдение формальных правил и кодексов, но и использование неявных элементов знания и освоение специфических практик поведения. Ученый в процессе получения и обмена дарами занимается освоением различных элементов неявного знания. Можно сказать, что первоначальное принятие дара в социальной игре обмена дарами есть согласие осваивать определенный набор неявного знания и использовать его в своей деятельности по познанию мира.

Не только ученые участвуют в подобной игре обмена дарами. Существует еще одна группа «исследователей мира», которая исповедует ту же стратегию взаимодействия с миром, что и представители современной техннауки, – не только изучать мир, но и стараться определенным образом поменять его. Для простоты назовем эту группу «шаманами», или «жрецами», стремящимися трансформировать мир на основе применения магических практик. В основе их мифа также лежит представление о призвании как специфическом механизме вовлечения в «исследовательские» практики. При этом не только практика магического действия требует обмена дарами с божеством, но и само вхождение в социальную группу «шаманов» и «жрецов» требует прохождения процесса инициации, который подразумевает как принятие дара «познания», так и жертвование в обмен на этот дар некоторых элементов собственной свободы [4].

Использование концепции призвания и обмена дарами может привести к необходимости согласиться с П. Фейерабендом, настаивающим на том, что претензия ученых на особый эпистемологический статус и специфичность научной экспертизы по отношению к другим формам знания оказываются пронизаны политическими контекстами. В итоге это может вести к большим проблемам в процессе реализации планов ученых. Ведь «попытка навязать некую универсальную истину (универсальный способ нахождения истины), – пишет П. Фейерабэнд, – приводит к бедствиям в социальной сфере и к бессодержательному формализму, соединенному с невыполнимыми обещаниями, в естествознании» [5. С. 81]. Ученые при помощи использования различных политических и экономических механизмов могут заручиться поддержкой правящей элиты и всеми силами пытаться уничтожить иные формы познавательной деятельности. Ведь они базируются на той же мифологической структуре и тех же механизмах, что и исследовательские практики ученых. В результате необходимо ответить на вопрос: можно ли выделить какую-то специфическую особенность призвания и обмена дарами в сообществе ученых, которая бы отличала их от «шаманов» или «жрецов»?

Важнейшим элементом в структуре обмена дарами и реализации собственного призвания становится принятие дара и призвания. Без акта принятия невозможно вступить на путь освоения и реализации практик, характерных как для ученых, так и для «шаманов» и «жрецов». В результате этого акта начинается освоение явного и неявного знания, присутствующего в практиках этих социальных групп. Однако именно этот акт принятия дара принципиально отличает научное сообщество и его практики познания от практик познания «шаманов» и «жрецов». Вступление в научное сообщество и принятие призвания и дара научного познания требуют от будущего ученого принятия принципиальной структуры сомнения. Дар знания, который принимает будущий ученый, нуждается не только в ответных дарах, но и в придирчивом отношении к различным результатам научного познания, критическом рассмотрении новых данных. Эта структура принципиального сомнения усваивается в процессе освоения явного и неявного знания. Конечно же, оно не всеобъемлюще. Принятие научного дара требует освоения языка и онтологии конкретной научной дисциплины, принятия основных допущений, лежащих в ее основе, и методов работы с экспериментальными результатами и данными, но наряду с этим ученый имеет полное право сомневаться в полученных результатах и использованных методах. Он может трансформировать исследовательские методики и разрабатывать новое экспериментальное оборудование, выдвигать новые гипотезы и вступать в дискуссии со своими коллегами. Именно это отличает принятие дара и призвания ученым от принятия дара и призвания «шаманом» или «жрецом». Их дар требует беспрекословного подчинения и следования сложившимся правилам, он не подразумевает сомнения и изменения правил. Они принимают правила, которые не могут быть изменены, ведь они созданы не человеческим разумом, а связаны с Абсолютом. Для них изменение правил, трансформация явного или неявного знания, используемого в процессе «познания» и изменения мира, сопряжены с отпадением от Абсолюта и отказом от дара. При этом для ученых именно это и выступает одним из важнейших условий возможности реализовать свое призвание и продолжить участие в обмене дарами. Ведь ученый может принести

в дар только новое знание, тогда как «шаманы» и «жрецы» своими дарами поддерживают функционирование существующего знания.

Противопоставление даров и призвания, принимаемых учеными и «шаманами» и «жрецами», позволяет выявить еще один важнейший элемент в используемой учеными структуре дара. Хотя изначально этот дар и подразумевал раскрытие замысла Творца о мире, но сама его структура говорит о том, что раскрытие происходит не благодаря влиянию Абсолюта, а лишь благодаря тому, что человек может познавать этот мир. В этом случае познание мира становится делом человеческого разума. Метафорически можно сказать, что ученый вновь пробует яблоко познания. Но в этот раз человек, который становится ученым, делает это осознанно, он понимает все последствия своего поступка – это его свободный выбор. Подобный шаг приводит к тому, что теперь при познании мира он больше не должен следовать зову Бога, Природы или Абсолютного духа. Его путеводной звездой выступает его разум, готовый отказаться от традиций или солидарности с другими ради следования за собственными исследовательскими интересами и получением знания. Действительно, подобный отказ позволяет сформироваться техннауке, ведь теперь научное знание больше не относится к области сакрального, которое может быть осквернено его постоянным прикладным использованием. Однако следование этому пути приводит к тому, что научное знание становится постоянным критиком повседневности, традиции, солидарности. Оно выступает структурой, порождающей разнообразие исследовательских позиций, а следовательно, и разнообразие взглядов на мир и природу, социальные структуры и историческое развитие. Принятие структуры сомнения должно вести и к разрешению возможных конфликтов между наукой и другими формами познания. Ведь «этот конфликт возникает лишь тогда, когда локальные и предварительные результаты и пригодные для небольшой области метода абсолютизируются, – отмечает П. Фейрабенд, – и превращаются в универсальную меру достоинства всего остального, т.е. когда хорошая наука превращается в плохую, задавленную идеологией науку» [5. С. 50]. Вопреки мнению ряда мыслителей, наука как социальный институт не только не занимается упрощением мира, производством «среднего европейца», но, наоборот, становится структурой, порождающей сложность.

Научная солидарность оказывается связанной не со стремлением поддерживать бесконфликтное существование научного сообщества. Наоборот, она требует солидарности в разнообразии позиций и возможных подходов к познанию природы, социальной и исторической действительности. В этом случае солидарность требует содержательных дискуссий и несогласия друг с другом, критики различных подходов и разработки новых исследовательских решений. В результате как обмен дарами внутри научного сообщества, так и обмен дарами научного сообщества с другими социальными группами всегда связан с разрушением мифа, лежащего в основе науки. Огромное множество исследовательских подходов формирует у общества представление о разобщенности научного сообщества, а сам процесс «дарения» новых знаний обществу выражается в их пересборке как технологических решений, которые использует общество. Но, может быть, именно постоянное разрушение мифа и невозможность принять обществом дара от науки в его научной форме и способно выступать тем механизмом, который позволяет науке поддерживать

саму себя. Только для этого сами ученые должны согласиться с тем, что разрушение мифа науки постоянно требует от ученых ответной способности дарить научному поиску возможность заново ставить фундаментальные вопросы, которые изначально вдохновлялись мифом науки.

Литература

1. Fuller S. What Does It Mean to Hear the Call of Science? Listening to Max Weber Now // *Social Epistemology*. 2020. Vol. 34, is. 2. P. 105–116.
2. Shapin S. *The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation*. Chicago, IL : Chicago University Press, 2008. 486 p.
3. Kasavin I. Gift versus Trade: On the Culture of Science Communication // *Philosophy of the Social Sciences*. 2019. Vol. 49, is. 6. P. 453–472.
4. Левин-Строс К. Структурная антропология / пер. с фр. Вяч.Вс. Иванова. М. : Академический проект, 2008. 555 с.
5. Фейерабенд П. Прощай, разум! / пер. с англ. А.Л. Никифорова. М. : АСТ : Астрель, 2010. 477 с.

Evgeniy V. Maslanov, Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation); Russian Society for History and Philosophy of Science (Moscow, Russian Federation).

E-mail: evgenmas@rambler.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 261–265.

DOI: 10.17223/1998863X/55/27

THE GIFT IN THE SCIENTIFIC COMMUNITY: ON THE ISSUE OF PRODUCING DIVERSITY

Keywords: gift; vocation; scientific knowledge; scientific community; tacit knowledge.

The article focuses on the analysis of the phenomena of scientific vocation and gift. Using the concept of vocation and gift allows presenting communication among scientists as distributed by hierarchical positions in a specific field of exchange of gifts. Interacting, scientists master both norms of behavior and a set of knowledge explicitly presented in the scientific community, as well as norms of behavior and practice associated with tacit knowledge characteristic of the scientific community. Orientation to the realization of one's own vocation and exchange of gifts is a mechanism that allows the scientific community to maintain its functioning. As a result, a special social structure of the scientific community is formed. It is based on following the rules of preservation and transfer of gifts. At the same time, the initial acceptance of a gift in the social game of exchanging gifts is an agreement to master a certain set of tacit knowledge, use it in the activities on cognizing the world, and follow the rules of forming hierarchies. The communities of “shamans” and “priests” in their activities, like the community of scientists, are guided by the concepts of vocation and gift. In the communities of “shamans” and “priests” these concepts suggest the formation of a practice of sharing gifts, aimed at maintaining the community's unity. In them, only existing knowledge can be brought as a gift. In the community of scientists, following a vocation and the practice of sharing gifts continually cast doubt on the community's unity. Inclusion in the practice of exchange of gifts requires the acceptance of a gift, but only new knowledge can be a return gift. As a result, solidarity in the communities of “shamans” and “priests” implies agreement within the framework of one common position. In the community of scientists, solidarity is associated with the formation of a space of interaction between diverse approaches to the knowledge of nature, social and historical reality.

References

1. Fuller, S. (2020) What Does It Mean to Hear the Call of Science? Listening to Max Weber Now. *Social Epistemology*. 34(2). p. 105–116. DOI: 10.1080/02691728.2020.1725175
2. Shapin, S. (2008) *The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation*. Chicago, IL: Chicago University Press.
3. Kasavin, I. (2019) Gift versus Trade: On the Culture of Science Communication. *Philosophy of the Social Sciences*. 49(6). pp. 453–472. DOI: 10.1177/0048393119864698
4. Lévi-Strauss, C. (2008) *Strukturalnaya antropologiya* [Structural Anthropology]. Translated from French by V.Vs. Ivanov. Moscow: Akademicheskiiy projekt.
5. Feyeraabend, P. (2010) *Proshchay, razum* [Farewell to Reason]. Translated from English by A.L. Nikiforov. Moscow: AST: Astrel'.

УДК 001.9; 177

DOI: 10.17223/1998863X/55/28

С.В. Шибаршина

«БЕЗУМНЫЙ» УЧЕНЫЙ: ТЕНЕВАЯ СТОРОНА НАУЧНОГО ПРИЗВАНИЯ?¹

Предметом статьи является амбивалентность научного призвания в общественном сознании (на примере поп-культуры). Обосновывается идея о том, что двойственное восприятие науки и популярность стереотипов «безумного» и «злого» ученого в массовой культуре, особенно начиная с XX в., имеет архаичные корни. Указывается на архаичный характер данных стереотипов (алхимия, поиски физического бессмертия и т.д.).

Ключевые слова: наука и технологии, научное призвание, популяризация науки, безумный ученый, мораль и ученые.

Научное призвание в тисках амбивалентности

Призвание к той или иной деятельности, в данном случае научной, как справедливо отмечает Илья Теодорович Касавин, по всей видимости, явление архаическое, уходящее корнями в «глубинную историчность бытия». И да, оно амбивалентно: способно возвышать, быть даром небес и одновременно проклятием – как дар провидца, поэта и т.д. Будучи родом из архаики, призвание в западноевропейской культуре Нового времени облекается в одежды науки как нарождающегося феномена нового социально-экономико-культурного контекста. Однако при этом оно вступает в противоречие с данным контекстом, и в результате к XX в. становится очевидным конфликт между призванием и профессией – проблема, отмеченная в том числе Максом Вебером [1] и позже развитая, например, Стивеном Шейпиным [2]. Когда-то наука понималась как «путь к истинной природе» [1. С. 717–718], а научное знание было результатом героических усилий гениев-одиночек [2. Р. 34]. Но становится все более очевидным, что «интеллектуалистическая рационализация», «расколдовывание» мира приводят к ситуации, в которой наука воспринимается не как путь к истине и совершенству, а как фабрика по производству материальных благ, технологий и т.п. И только некоторая часть ученых, – Вебер называет их «взрослыми детьми», – верит в то, что наука способна указать направление поиска «смыслов» [1. С. 717]. Возникает конфликт между архаичным – внутренне ощущаемым призванием – и новыми социальными императивами.

При этом образ ученого – гениального одиночки, не растворившегося в «коллективном познании» науки как социального института, – все еще будоражит умы, появляясь на страницах и экранах научной фантастики. В нарративе о науке он как бы сливается с архетипическими образами, в которых научное призвание демонстрирует примечательную амбивалентность: с одной стороны, посвятивший себя науке (а значит, способный принести людям

¹ Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание».

великое благо), с другой – ради научных открытий и воплощения идеала будущего мира готовый принести в жертву буквально все (посланник небес и вместе с тем опасный безумец). К примеру, в научно-фантастическом романе американского футуриста Золтана Иштвана «Пари трансгуманистов» главный герой Джетро Найте движим всепоглощающим стремлением к победе над ограничениями биологической природы человека [3]. Эта сверхцель оправдывает любые средства, включая глобальное насилие, а также тесно связана с другим приоритетом Найте – тотальным принципом полезности, через призму которого он рассматривает все живое и неживое вокруг. Здесь находят полное воплощение легитимация рационального мировоззрения и пропаганда идеологии сциентизма: имеет право на существование только то, что рационально (в прагматической трактовке Найте). Не поощряется, соответственно, и мировоззренческий плюрализм: только трансгуманистическая наука и философия, только принцип полезности. По всей видимости, Найте можно отнести к типу так называемого «безумца», весьма распространенного в поп-культуре.

Безумный, злой и бесчувственный гений

Исследователи научно-популярной культуры отмечают, что одним из наиболее популярных образов ученых, по крайней мере на Западе, является безумный и / или злой ученый (см., напр. [4. P. 23–46; 5. P. 243]). Анализируя западную культуру, Рослинн Хейнс выделяет семь основных стереотипов ученых: (1) «безумный» (mad) и / или «злой» (evil, bad) ученый; (2) близкий ему «безумный алхимик» (evil alchemist; работает в секретных лабораториях над нелегальными экспериментами); (3) «благородный» (noble; ученый-герой, спаситель человечества); (4) «придурковатый» (foolish; рассеянный ученый); (5) «бесчувственный» (inhuman; ученый, который приносит в жертву все ради науки, включая чувства и отношения); (6) «искатель приключений» (adventurer; ученый типа Индианы Джонса); (7) «беспомощный» (helpless; ученый, не имевший злого умысла, но чьи эксперименты вышли из-под контроля и угрожают человечеству) [5. P. 244]. Как видно, положительных стереотипов не так уж и много. К отрицательным также относят ученых, непредумышленно вызвавших бедствия («придурковатых» и «беспомощных»). В качестве хрестоматийных «безумных» и «злых» можно привести Доктора Стрейнджлава, героя антимилитаристской киносатиры «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», профессора Фарнворта из американского научно-фантастического сатирического мультсериала «Футурама» и многих других персонажей книг, комиксов, фильмов, теле- и мультсериалов.

Все больше появляется работ, посвященных влиянию поп-культуры и различных медиа на формирование образа науки в общественном сознании (см., напр., обзор литературы: [6]). Исследователи отмечают, что для science communication фильмы, сериалы и шоу очень значимы и оказывают существенное и устойчивое воздействие на молодежь в вопросе выбора научной профессии (см., напр.: [7, 8 и др.]). Помимо упомянутого выше образа «безумного» ученого поп-культура, по мнению Кевина Финсона, также активно навязывает стереотип «ботаника» [9]. Последний часто изображается с неразвитыми социальными навыками, лишенный чуткости, сопереживания и

ряда других важных эмоций, при этом он стремится все рационализировать. Пример – Шелдон Купер из популярного американского телесериала «Теория Большого взрыва», который из-за любви к порядку даже разработал различные документы, регламентирующие его отношения с другими людьми, включая жену.

Что касается «положительных» ученых, одним из «пионеров» в создании положительного имиджа науки (а точнее, идеального образа) называют Фрэнсиса Бэкона («Новая Атлантида»), а реальным прототипом мудрого и благородного ученого считают Исаака Ньютона [5. Р. 246], стремящегося привнести гармонию и порядок в запутанный мир (по крайней мере такие черты обретает он в мифе о самом себе, подорванном, однако, публикациями о его увлечениях алхимией и оккультизмом). Продолжателями архетипа «благородного» ученого становятся также вымышленные персонажи: например, ученые из произведений Герберта Уэллса выступают самоотверженными и мудрыми личностями, достойными того, чтобы доверить им судьбы человечества [Ibid.].

Однако мировые войны XX в. наносят удар по положительным образам ученых, в то время как стереотипы злодеев и безумцев становятся более популярными – во многом благодаря осознанию потенциальной разрушительной мощи науки и технологий. Как отмечает британский историк Эрик Хобсбаум, в XX в. на восприятие современности в европейских странах оказало влияние ощущение того, что наука по сути своей опасна, поскольку «вмешивается в естественный порядок вещей» [10. Р. 530]. На фоне этого в массовой культуре сталкиваются два стереотипа – микс «злого» и «безумного» vs. «благородный» ученый, причем нередко уже в политическом контексте: например, в американской культуре фигурируют злодеи ученые-нацисты, с которыми доблестно борются американские герои-ученые, а в советской это противостояние благородных социалистов со злодеями-буржуа. И все же в западной культуре образы ученых, которым доверили судьбы нации и которые благодаря своему научному подвижничеству спасают мир, в послевоенное время становятся более редкими, уступая место злодеям, а также «беспомощным» ученым, принужденным участвовать в милитаристских проектах [5. Р. 246].

Однако это не двадцатый век породил стереотипы «безумного» и «злого» ученого: он, скорее, взял их на вооружение и растиражировал. Архетипический образ безумного гения, как известно, пришел в кино из художественной литературы; самые популярные и известные персонажи этого типа появились в литературе XIX – начала XX в. Однако их прототипы жили и творили еще раньше (средневековые легенды об алхимиках) – более того, истоки данного архетипа, по всей видимости, глубоко архаичны. Франкенштейн и поиски бессмертия через воскрешение физического тела – очевидный древний мотив. И даже в Средние века, несмотря на преследования, алхимия процветала, обещая своим последователям несметные богатства, сверхъестественные силы и долголетие (в определенной степени схожие блага ожидают сейчас и от науки). Образ доктора Фауста в зависимости от эпохи оценивался двояко: с одной стороны, это своего рода «Прометей», искатель знания, пусть и заблуждавшийся в выборе средств, с другой – самонадеянный глупец, возже-

лавший знать слишком многого. При этом он оказал существенное влияние на дальнейшее развитие темы.

И все же ситуация с популярностью того или иного стереотипа отнюдь не одинакова в разных странах. Если сравнивать послевоенный Запад с Советским Союзом, во втором случае образ ученого-героя, подвижника оказался более живучим, будучи частью общей культурно-идеологической стратегии, основанной в том числе на конструировании «людей новой эпохи» [11]. Образы «благородных» ученых очень плотно населяли советскую массовую культуру, включая научную фантастику. Это, однако, не означает, что популярность «злодеев» и «безумцев» обошла ее стороной. Яркими примерами являются: инженер Петр Гарин, герой романа «Гиперболоид инженера Гарина» А.Н. Толстого; Людвиг Штирнер из романа «Властелин мира» Александра Беляева; Бет Лон из «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова и др. Не обошел советскую культуру и стереотип «бесчувственного» ученого: например, весьма неоднозначен образ физика-ядерщика Дмитрия Гусева (кинофильм «Девять дней одного года»), буквально одержимого наукой, жертвующего ради нее собственным здоровьем и отношениями с близкими.

Возвращаясь к проблеме распространенности в культуре стереотипов ученого-«безумца» и / или «злодея», зададимся вслед за К. Ларсеном вопросом о том, может ли это быть следствием общественного недоверия ученым и науке [4. P. 24]? На наш взгляд, причин тут на самом деле несколько, и они разного порядка. Спекуляция на извечной популярности темы противостояния добра и зла вряд ли может полностью и удовлетворительно объяснить этот феномен. Относительно современных фильмов и сериалов, обыгрывающих популярные стереотипы ученых вокруг темы коллапсов, ускорителей, антиматерии и т.д., Ларсен справедливо отмечает, что «поп-культура может только спекулировать на людских страхах по поводу ускорителей частиц, если общество их, конечно, имеет» [Ibid. P. 48]. «На руку» медиа-бизнесу играют и эсхатологические ожидания, а также теории заговора. В подобном контексте наука и ученые вполне могут иррационально рассматриваться как триггеры конца света. И все же, возможно, популярность стереотипа безумного и злого гения кроется в его архаичных истоках: с одной стороны, люди преклоняются перед великим, с другой – страшатся его. Сами же ученые предстают как жрецы прошлого, готовые ради великого дела приносить великие жертвы.

Литература

1. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 707–735.
2. Shapin S. The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation. Chicago, IL : Chicago University Press, 2008. 488 p.
3. Istvan Z. The Transhumanist Wager. Lexington, KY : Futurity Imagine Media, 2013. 300 p.
4. Larsen K. Particle Panic! : How Popular Media and Popularized Science Feed Public Fears of Particle Accelerator Experiments. Springer, 2019. 194 p.
5. Haynes R. From Alchemy to Artificial Intelligence: Stereotypes of the Scientist in Western Literature // Public Understanding of Science. 2003. Vol. 12, № 3. P. 243–253.
6. Tan A., Jocz J.A., Zhai J. Spiderman and Science: How Students' Perceptions of Scientists Are Shaped by Popular Media // Public Understanding of Science. 2015. Vol. 26, № 5. P. 520–530.
7. Whitelegg E., Carr J, Holliman R. Using Creative Media Literacy Skills to Raise Aspirations in STEM. Milton Keynes : The Open University, 2013. 38 p.
8. Esch M. Make Science into a TV Series // VIEWPOINT_Media Policy. MaxPlanckResearch. 2014. URL: https://www.mpg.de/7426172/W001_Viewpoint_014-018.pdf (accessed: 10. 02.2020)

9. Finson K. Drawing a Scientist: What We Do and Do Not Know after Fifty Years of Drawings // *School Science and Mathematics*. 2002. Vol. 102, № 7. P. 335–345.

10. Hobsbawm E.J. *The Age of Extremes: A History of the World, 1914–1991*. New York : Pantheon, 1994. 627 p.

11. Shibarshina S.V., Maslanov E.V. Science Communication in the Soviet Union: Science as Vocation and Profession // *Social Epistemology*. 2020. Vol. 34, № 2. P. 174–183.

Svetlana V. Shibarshina, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (Nizhni Novgorod, Russian Federation).

Email: svet.shib@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 266–270.

DOI: 10.17223/1998863X/55/28

THE “MAD” SCIENTIST: THE SHADOW SIDE OF SCIENTIFIC VOCATION?

Keywords: science and technology; scientific vocation; science popularization; mad scientist; morality and scientists.

This article focuses on the ambivalent perception of scientific vocation in the public mind (illustrated by popular culture). The author suggests and justifies the idea that the dual perception of the scientist and the popularity of the “mad” and “evil” scientist stereotypes in popular culture, especially since the 20th century, have archaic roots. The archaic nature of these stereotypes can be traced to alchemy, searches for physical immortality, etc. Originated from ancient times, the scientific calling comes into conflict with the “intellectualistic rationalization” and “disenchantment” of the world in Western European culture and, as a result, with professionalization as an inevitable element in science as a social institution. At the same time, though, the image of genius scientists who are not dissolved in collective scientific knowledge survives in culture, generating various facets of scientists’ perception. Studies of science communication show that the stereotypes of “mad” and “evil” scientists remain the most popular in literature and media, which can hardly be explained solely by the commercialization of these images. Rather, the popularity of these stereotypes lies in the archaic past: scientists appear as priests, ready to make great sacrifices for the greater good.

References

1. Weber, M. (1990) *Izbrannyye proizvedeniya* [Selected Works]. Translated from German. Moscow: Progress. pp. 707–735.

2. Shapin, S. (2008) *The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation*. Chicago, IL: Chicago University Press.

3. Istvan, Z. (2013) *The Transhumanist Wager*. Lexington, KY: Futurity Imagine Media.

4. Larsen, K. (2019) *Particle Panic!: How Popular Media and Popularized Science Feed Public Fears of Particle Accelerator Experiments*. Springer.

5. Haynes, R. (2003) From Alchemy to Artificial Intelligence: Stereotypes of the Scientist in Western Literature. *Public Understanding of Science*. 12(3). pp. 243–253. DOI: 10.1177/0963662503123003

6. Tan, A., Jocz, J.A. & Zhai, J. (2015) Spiderman and Science: How Students’ Perceptions of Scientists Are Shaped by Popular Media. *Public Understanding of Science*. 26(5). pp. 520–530. DOI: 10.1177/0963662515615086

7. Whitelegg, E., Carr, J. & Holliman, R. (2013) *Using Creative Media Literacy Skills to Raise Aspirations in STEM*. Milton Keynes: The Open University.

8. Esch, M. (2014) *Make Science into a TV Series. VIEWPOINT_Media Policy. MaxPlanckResearch*. [Online] Available from: https://www.mpg.de/7426172/W001_Viewpoint_014-018.pdf. (Accessed: 10th February 2020).

9. Finson, K. (2002) Drawing a Scientist: What We Do and Do Not Know after Fifty Years of Drawings. *School Science and Mathematics*. 102(7). pp. 335–345. DOI: 10.1111/j.1949-8594.2002.tb18217.x

10. Hobsbawm, E.J. (1994) *The Age of Extremes: A History of the World, 1914–1991*. New York: Pantheon.

11. Shibarshina, S.V. & Maslanov, E.V. (2020) Science Communication in the Soviet Union: Science as Vocation and Profession. *Social Epistemology*. 34(2). pp. 174–183. DOI: 10.1080/02691728.2019.1695012

УДК 001.38

DOI: 10.17223/1998863X/55/29

А.Ю. Антоновский

БОЙТЕСЬ НАУКИ, ДАРЫ ПРИНОСЯЩЕЙ¹

Предложена критика идеи мифического обоснования «науки как дара». Даже если согласиться с тем, что «подлинная мораль» состоит не в правильных поступках, а в сохранении достоинства в условиях несправедливости, это не решает главную проблему обоснования ценностей. Понимание справедливости, как и любой другой ценности, зависит от нормативности, специфической для некоторого конкретного сообщества. В этом смысле ценности интегрируют лишь в малых масштабах, но дезинтегрируют в больших.

Ключевые слова: системно-коммуникативная теория наук, этика науки, история науки, научное сообщество, наука как профессия и призвание

Введение

Морализация в области научной деятельности, ее подчинение универсальной морали противоречит вопиющим фактам индифферентности ученых по отношению к моральным нормам. Можно, конечно, рассматривать науку нацистской Германии как аномалию. Но и «достойные» ученые в этом отношении не являются исключениями. Достаточно вспомнить о предложении Луи Пастера испытывать вакцины от бешенства на приговоренных к смерти [1] и опытах Павлова над беспризорниками [2]. Можно ли упрекать в таком случае общество, не желающее без лишних мер предосторожности «принимать этот дар, предлагаемый наукой», от ученых, которых не заботит ничего, кроме приоритета собственных открытий²?

Во многом научная «релятивизация» общественной морали³, возможно, как раз является следствием той самой корпоративной научной этики, главная задача которой – определить «правила игры» *внутри* ученого сообщества. И эти правила во многом явились условием выживания и «эволюционной стабилизации» самого научного сообщества⁴. В таком смысле «некорректные заимствования» в рамках этого кодекса выступают гораздо большим прегрешением и более опасны для воспроизводства научного сообщества, нежели противоречия с так называемой универсальной моралью, в отношении которой и у самого общества сегодня нет согласия.

Сегодня как никогда очевидно, что ценности не объединяют, а разъединяют. Все этно-религиозные войны суть следствия «политеизма ценностей»,

¹ Статья написана при поддержке РФФ, грант 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание».

² Желание Пастера форсировать создание прививки от бешенства, инфицируя заключенных, как раз и было инспирировано соперничеством с его главным конкурентом Робертом Кохом, который, кстати, в этой гонке за приоритеты и сам не постеснялся выставить на рынок клинически не испытанный «туберкулин», лишь усугублявший страдания больных.

³ См. дискуссию, посвященную данной теме: [3–5].

⁴ Об эволюционных механизмах (варьировании, селекции, стабилизации) научной коммуникации в контексте неodarвинизма см.: [6, 7].

эффекты которого так хорошо описал Макс Вебер в своем манифесте¹. И пытаться посредством «архитепического примера» «профессиональной научной этики» осуществить «соразмерение последней с общечеловеческими ценностями», сегодня функционирующими вхолостую, выглядит контрпродуктивно. Универсальная мораль просто несовместима с целым множеством «корпоративных этик» как кодексов обособившихся коммуникативных систем². Если и остались какие-то объединяющие ценности, которые могут выступить условием социального консенсуса в дифференцированном обществе, то это, скорее, стратегия невмешательства в чужие дела. Наука не лезет в религию со своим рациональным обоснованием религиозной онтологии, а политика не лезет в науку со своими различиями «пролетарских наук» и «продажных девок империализма».

Перейдем разбору дальнейших аргументов. Во-первых не хочется соглашаться с тезисом о «запредельной природе этического дискурса», как и с тем, что у этического суждения отсутствует денотат. Дело даже не только в том, что этот тезис выводит всю социальную теорию, собственно, и изучающую *природу и законы нормативности*, за дисциплинарные стандарты обычной науки. Если сфера должного действительно трансцендентна, то социальная теория в этом смысле была бы социальной теологией. Ценности, конечно, отличаются от ассерторических суждений. Мы можем согласиться с Х. Риккертом и признать, что они *не обладают бытием, а просто «значат»*. Но это и подразумевает, что у них есть собственные значения, или денотаты³.

Все это не позволяет нам выводить «этику как сферу должного за пределы фактичности». Очевидная «посюсторонность» этики заставляет нас отказаться от того, чтобы, основываясь на ее гипотетической «запредельности», также утверждать мифический фундамент для легитимации науки. И в целом такая апелляция к когнитивным ресурсам мифологического сознания, в числе которых прежде всего запрет на вопрошание, на аналитическую и сравнительную методологию, вызывает сомнения в их продуктивности и убедительности.

Мифическое сознание, как известно со времени Курта Хюбнера, по своей природе исключительно синтетично. И всякое апеллирующее к мифу обоснование, избегающее логического круга, может быть только ненаучным. Это не смущает И.Т. Касавина, но, напротив, расценивается как некая гарантия надежности. Ведь это позволяет избежать логического круга. Но все-таки наука по самой своей сути *автологична*. Уже простое определение понятия, как доказал Куайн, синонимично и в этом смысле имеет круговой характер. Такая *автология* никак не мешает применять научные методы анализа для

¹ Лучше Вебера не скажешь: «Древние боги... принявшие образ безличных сил, выходят из мигл, стремятся завладеть нашей жизнью и вновь начинают вести между собой свою вечную борьбу» [8. S. 101; 9].

² Можем ли мы подвести под общий знаменатель политику с ее «патриотизмом» и «ценностями государственности», хозяйство с его утилитаризмом, сакральные ценности религии, искусство с его «отрицанием старых форм», систему права с ее правовым фундаментализмом, наконец, науку, которая за всеми этими ценностями, как замечает И.Т. Касавин, видит лишь исторические (т.е., по существу, преходящие и контингентные) формы социальности?

³ И в истинности ценностных значений можно убедиться, если соотносить их пусть не с классическим денотатом как «производителем истинности» (truth-maker), но с денотатом особого рода – неким «производителем ценности» (wish-maker). Суждение «свобода лучше несвободы» будет истинным, если зафиксирован факт, что высказывающий и сам желает такой свободы.

обоснования и оправдания наукой самой себя. То, что наука постулирует для своего объекта, а именно возможность его рационального анализа, она вполне может применить и в анализе самой себя. При этом ей вовсе не обязательно полагать себя как *абсолютно*¹ обоснованную. Достаточно рассмотреть саму себя как одну из соравноправных форм социальности в полицентричном мире.

Обращение к абсолюту. Должна ли наука основываться на морали?

Впрочем, и мораль, как и наука, требует для себя *автологического* обоснования. Если морализатор вводит соответствующие моральные различия, он и сам должен быть моральным. Вопрос лишь в том, почему *сама* мораль (различие *морального / аморального*) должна оцениваться как моральный институт (а не противный морали), т.е. как относящаяся именно к первому (позитивному) полюсу своего базового различия. Как известно, мораль, чтобы оправдаться в своей моральности, обращалась к *абсолютному* обоснованию – религии, в которой этот вопрос обосновывается таинством. Так решил Бог по только ему ведомому основанию. При этом сам себя Бог, как известно, исключает из парадокса автологии. Он как абсолют, как неограниченное и совершенное начало дефинитивно не допускает в себе внутренних дистикций и тем сам не морализуется как плохой или хороший. «Гот из вас (*не из нас!*), кто без греха, пусть первым бросит в нее камень». Мораль прибегала к абсолюту, чтобы решить (а точнее, затемнить) парадокс моральности самой морали. Но религия, обоснованная тайной («неисповедимы пути Господни»), сегодня не воспринимается как моральный фундамент.

Должна ли наука уподобиться морали и также – перформативно утверждая свою неполноценность – искать себе абсолютных (и в этом смысле едва ли рациональных) оснований?

Обоснование рациональности и само рационально

«Как ни парадоксально, но обоснование рациональности не может быть полностью рационально», – пишет И.Т. Касавин.

Но все ли так безнадежно? Конечно, если придерживаться мифического обоснования авторитета науки, то вся эта процедура завершалась бы ссылкой на соответствующее *arche* (или *origo*), т.е. на некое установление, которое положило начало тому или иному институту или порядку природы. Но разве исчерпаны ресурсы и самого обосновываемого феномена? Почему не задействовать саму научную рациональность, ресурсы критического дискурса и сравнительного анализа с целью легитимации науки?

Наука, конечно, прибегая к автологии или круговому обоснованию, вполне способна сравнить себя с другими формами социальности: хозяйством, политикой, искусством, той же религией, правом и даже семейно-интимными системами коммуникации на предмет экспликации собственных когнитивных и коммуитаристских преимуществ.

¹ Абсолют, как известно, не допускает ничего, кроме себя, никаких внутренних различий и никаких внешних форм его наблюдения. Наука же допускает свое внешнее наблюдение (той же политикой, которая исчисляет научные исследования и финансирует их).

Это требует типологических сравнений науки с конкурирующими и комплементарными ей сообществами. Это сравнение вполне может осуществить и сама наука в своих частных формах, скажем, социологии или философии науки. Они давно этим занимаются, эксплицируют уникальные социальные функции науки (исследование), фиксируют ее конкретные достижения (продукты, поставляемые наукой другим системам), анализируют ее рефлексивные способности, констативность научного дискурса, ее ресурсы антиципации внутрисистемных и внешнемировых событий, коннективность системных элементов (т.е. коммуникативную интеграцию науки как сообщества), степень и виды мотивированности ученых (научное призвание), внутреннюю дифференциацию и специализацию (обеспечивающие «широкополостную» переработку сложности внешнего мира), восприимчивость к опасностям из внешнего мира, способности хеджировать исследовательские риски и оптимизировать собственные наблюдательные ресурсы (понятия, теория, методы).

Все это в сумме и будет той самой искомой легитимацией науки как «наилучшим образом» – когнитивно и нормативно-организованного сообщества. Эти вещи в отношении научной деятельности довольно хорошо разработаны. Классическим примером такого кругового и автологического – и при этом рационального – самообоснования, как известно, стала методология исследовательских программ Лакатоса, которая и к самой себе применила требования, предъявляемые к анализируемому объекту. И идеи «хорошей» науки Куна здесь так же полезны, как и идеи Мертона и Полани, фиксировавших коммунарные преимущества науки.

А нужна ли легитимация науке?

Но И.Т. Касавин не хочет использовать рациональные аргументы, ссылаясь на их неубедительность для неученой публики: «фундаментальной науке в большинстве стран сегодня не хватает рациональных аргументов для обеспечения конкурентного финансирования и общественного авторитета».

С этим тезисом можно лишь частично согласиться. Все-таки для финансирования исследований (в особенности фундаментальных) сегодня в развитых странах выделяются значительные проценты национальных бюджетов. Да, наука – это высококонкурентная область. Поэтому и бюджетирование осуществляется неравномерно. Профессия ученого (как и в спорте высоких достижений) требует полной иммерсивности и сопряжена с высоким риском исследовательских неудач. И это радикально отличает науку от других профессий, делает инклюзией в научное сообщество, скорее, маловероятной, притом что эксклюзирование из него оказывается в порядке вещей.

Но все это вовсе не свидетельствует о том, что общество жалеет денег на науку. Плодить ученых – еще не означает плодить открытия. Здесь проявляется та же самая иллюзия, которая заставляет подкармливать птиц в надежде уменьшить число больных и голодных. Однако эта помощь, очевидно, эфемерна, поскольку при общем росте популяции больных и голодных становится как раз не меньше, а больше. В этом смысле сама постановка вопроса о некой *дополнительной* апологии и легитимации науки (по крайней мере мировой) выглядит не слишком актуальной.

Тезис об иллюзии этического кодекса, противоречащего индивидуальному выбору

Любопытной в этом контексте выглядит своеобразная интерпретация коммунитаристского аргумента Мертона, а именно тезиса о том, что коллективное поведение в науке и единство ее сообщества «создает лишь иллюзию этического кодекса: он не предполагает индивидуального ответственного выбора».

С тезисом об иллюзии этического кодекса как противопоставленного индивидуальному ответственному выбору мы не можем согласиться. Корпоративная этика науки не только не противоречит современному индивидуализму, но задействует его как мощнейший корпоративно-этический ресурс. Научная этика ориентирована на социальную функцию науки – осуществление научного исследования – и выкристаллизовалась в процессе долгой эволюции в ходе становления – ряда *невероятных* общественных предпосылок науки.

Такой общественной предпосылкой науки являются та позитивная оценка и то одобрение, которыми научное сообщество сопровождают всякую критику (т.е. недооценку и неодобрение!) достижений своих членов, не исключая актуальные научные стандарты, методы, теории, обоснованность экспериментальных данных и т.д. В этом смысле *индивидуальный* акт отклонения от *коллективного* согласия в науке является пусть рискованным, но общностно-одобряемым поведением.

То, что в целом критика и вытекающие из нее отклонения «запросов на контакты» (в особенности предложения рукописей в журналы) считаются высоко полезным делом, хотя и противоречат всем принципам консенсуса, объясняется только одним обстоятельством. Тем, что наука, специализируясь на научном исследовании, словно отказывается от индивидуального *авторства* высказывания. А значит, критикующему лицу мы не можем вменить какой-то мизантропии или социопатии. Оппонента критикует не ученый, а, если так можно сказать, сама природа. Возможно, поэтому и профессия ученого так долго не имела даже и названия. Ведь ученый не является автором истины (в отличие от автора произведения, политического решения или экономического проекта).

При этом всякая попытка организовать консенсус (например, договориться о принятии рукописи) рассматривается как коррупция и преследуется внутренней «научной полицией» как блюстителем «научной этики». Так, сегодня, например, представители Диссернета и прочие «волонтеры», безусловно, решают *личные* задачи, т.е. как раз и осуществляют тот самый *индивидуальный ответственный выбор*, когда в условиях переизбытка научной комплексности (количества и качества научных текстов) защищают *корпоративную* этику науки.

Тезис о разрыве внутренней и внешней истории и этики науки

Общая идея И.Т. Касавина в том, что в процессе легитимации науки нужно двигаться с двух сторон – исследовать внешнюю и внутреннюю историю науки. Внутренняя история не генерирует признания и «не укореняется в мифе». Согласимся с тем, что существуют трудности в формировании при-

звания в современном «расколдованном» мире. Речь идет об известной веберовской проблеме [8. S. 101; 10]. И все-таки ее решение И.Т. Касавиным не представляется неуязвимым.

Внешняя история науки, универсальные профессиональные стандарты, необходимость, основанная на абсолюте, корпоративная этика – все это противопоставляется внутренней истории науки, ее атомизации, контингентности выбора, индивидуальному призванию, эконцентризму и бунту против абсолюта. Это размежевание хорошо как схема, организующая понимание науки с точки зрения внутренних и внешних факторов или условий. Но все-таки если понимать науку с точки зрения ее системно-коммуникативного контекста и подхода, который каждую систему общения рассматривает как автономную и конституированную исключительно собственными – внутренними – системными событиями, картина выглядит несколько иначе.

Наука, очевидно, представляет собой социальный институт, бинарно организованный вокруг двух задач [11. S. 636; 12]. Во-первых, вокруг «внутренней функции». Речь о том, что дает наука обществу. И во-вторых, вокруг «научных достижений», когда речь идет о том, чем некоторая дисциплина или междисциплинарное исследование содействуют ее конкретному контрагенту: индустрии (технологии), политике (национальный престиж), образованию (контент для преподавания). В этом случае этика науки как способ организации и интеграции научного сообщества словно сама собой вытекает из этого разделения означенных *функции* и *достижений*. Именно функция (научное исследование как таковое) делает возможным иерархию дисциплин, которые, ориентируясь на иерархически-слоистый характер уровней реальности (физической, химической, биологической, психической, социальной и т.д.), обеспечивают искомую *интеграцию* науки. Химики ориентируются на стандарты физики, а биологи на стандарты химии. Представители социально-гуманитарных дисциплин, хотя и этого или нет, в свою очередь вынуждены собственное знание, как и методы его получения (и не в последнюю очередь структуру и принципы коммуникации своих коллективов и учреждений [12]) подстраивать под стандарты естественных наук. Такова иерархия наук, где одни науки (возникшие ранние, более развитые, авторитетные и фундаментальные), собственно, и задают интегрирующие научное сообщество правила научной работы и дух корпоративной этики [13].

Эту интегрирующую функцию науки выполняют сегодня трансдисциплинарные тенденции в науке (математизация, информатизация, теория систем, структурализм и т.д.). Они объединяют сообщество уже фактом общения и совместной работы представителей разных дисциплин, перформативно связывая дисциплинарно и социально фрагментированные коллективы друг с другом.

Менее выражены интеграционные возможности *междисциплинарных исследований*, которые чаще всего принимают формы временных, окказиональных, контингентных проектов, объединяя представителей различных дисциплин исключительно *по запросу из внешней науке коммуникативных систем*, прежде всего хозяйства или политики (в особенности в вопросах безопасности или обороны). Но даже эти по видимости внешним образом ориентированные прикладные исследования лишь поверхностному наблюдателю покажутся частью «внешней истории» науки.

Возвращаясь к нашему примеру спора между Пастером и Кохом, мы видим, что инспирированные *внешними* потребностями прикладные задачи (иммунология) дали рождение микробиологии как фундаментальной дисциплины. А микробиология на основе своего *внутреннего* предметного интереса, в свою очередь, обеспечила современные достижения иммунологии и решила многие прикладные задачи для сельского хозяйства, здравоохранения и т.д. В этом смысле дистинкция *прикладное / фундаментальное* как выражение различия между функцией и достижениями науки есть *внутренняя* дистинкция самой науки, и она сама по себе обеспечивает интеграцию и соответствующую – внутренним образом конституированную – корпоративную этику.

Литература

1. *Jouglu A.* Profession: animal de laboratoire. Paris, 2015.
2. *Юценко А. А.* Условные рефлексы ребенка. Опыт изучения физиологии больших полушарий ребенка секреторно-двигательным методом. М. : Госиздат, 1928.
3. *Бараи П.Э., Антоновский А.Ю.* Радикальная наука. Способны ли ученые на общественный протест // Эпистемология и философия науки. 2018. Т. 55, № 2. С. 18–33.
4. *Столярова О.Е.* Научный реализм и идея перформативности // Эпистемология и философия науки. 2018. Т. 55, № 2. С. 42–48.
5. *Тухватулина Л.А.* Парадокс Мертона-Поппера и в свете «материализации» рациональности в науке // Эпистемология и философия науки. 2018. Т. 55, № 2. С. 49–52.
6. *Луман Н.* Эволюция науки // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52, № 2. С. 215–233.
7. *Hull D.L.* The Metaphysics of Evolution. Albany : SUNY Press, 1989.
8. *Weber M.* Gesamtausgabe. Tuebingen : Moch Siebeck, 1992. Vol. 17. Wissenschaft als Beruf.
9. *Антоновский А.Ю., Бараи П.Э.* Наука Макса Вебера: рецепция и перспективы // Эпистемология и философия науки. Т. 55, № 4. С. 174–188.
10. *Касавин И.Т.* Нормы познания и познание норм // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 54, № 4. Р. 8–19.
11. *Luhmann N.* Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M. : Suhrkamp, 1990. 732 S.
12. *Шлейермахер Ф.* Фрагмент из работы «Нечаянные мысли о духе немецких университетов» // Epistemology & Philosophy of Science. 2018. Т. 55, № 1. С. 215–235.
13. *Stichweh R.* Wissenschaft, Universität, Professionen. Soziologische Analysen. Bielefeld, 2013.

Alexander Yu. Antonovskiy, Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).

Email: antonovski@iph.ras.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 271–278.

DOI: 10.17223/1998863X/55/29

FEAR SCIENCE BRINGING GIFTS

Keywords: ethics of science; history of science; scientific community; science as profession and vocation; gift; scientific communication.

Moralization in the field of scientific activity and its submission to universal morality contradict the flagrant facts of scientists' indifference to moral standards. Even "worthy" scientists are no exception in this regard. We recall Louis Pasteur's proposal to test rabies vaccines in those sentenced to death and Pavlov's experiments on street children. Inside science, "incorrect borrowing" is a far greater sin and is more dangerous for the reproduction of the scientific community than a contradiction with the so-called universal morality, on which society itself does not agree today. Universal morality is simply incompatible with a whole host of "corporate ethics" as codes of isolated communicative systems. If there are any unifying values that can act as conditions of social consensus in a differentiated society, then this is rather a strategy of non-interference in other people's affairs. Science does not interfere in the affairs of religion with its rational justification of religious ontology, and politics does

not interfere in science with its distinctions between the “proletarian sciences” and the “corrupt girls of imperialism”. Universal morality as applied within science acts as corporate ethics, not as the one mythically affirmed by sacred forces. The obvious “comprehensiveness” of the ethics of science compels us to abandon the idea of affirming the mythical foundation for the legitimation of science based on its hypothetical “transcendence”. Such an appeal to the cognitive resources of mythological consciousness, including, first of all, the ban on questioning, on analytical and comparative methodology, raises doubts about their productivity and persuasiveness. Of course, if one adheres to the mythical justification of the authority of science, then this entire procedure would end with a reference to the corresponding arche (or origo), i.e. to a certain institution that laid the foundation for a particular order of nature. But the resources and self-justification of science are far from exhausted, are not they? Why not use scientific rationality itself, the resources of critical discourse and comparative analysis in order to legitimize science?

References

1. Jouglu, A. (2015) *Profession: animal de laboratoire*. Paris: [s.n.].
2. Yushchenko, A.A. (1928) *Uslovnnye refleksy rebenka. Opyt izucheniya fiziologii bol'shikh polushariy rebenka sekretorno-dvigatel'nym metodom* [Conditioned reflexes of the child. Experience in studying the physiology of the baby's large hemispheres using the secretory-motor method]. Moscow: GosIzdat.
3. Barash, R. & Antonovski, A. (2018) Radical science. Are the scientists capable of social protest? *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 55(2). pp. 18–33. (In Russian).
4. Stoliarova, O. (2018) Scientific activism and the idea of performativity. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 55(2). pp. 42–48. (In Russian).
5. Tukhvatulina, L. (2018) Merton-Popper's paradox and the substantive rationality of science. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 55(2). pp. 49–52. (In Russian).
6. Luhmann, N. (2017) Evolution of Science. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 52(2). pp. 215–233. (In Russian).
7. Hull, D.L. (1989) *The Metaphysics of Evolution*. SUNY Press, Albany.
8. Weber, M. (1992) *Gesamtausgabe*. Vol. 17. Tuebingen: [s.n.].
9. Antonovski, A.Yu. & Barash, R.E. (2018) Max Weber on science: Reception and perspectives. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 55(4). pp. 174–188. (In Russian). DOI: 10.5840/eps201855475
10. Kasavin, I.T. (2017) Norms in Cognition and Cognition of Norms. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 54(4). pp. 8–19. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.01528
11. Luhmann, N. (1990) *Wissenschaft der Gesellschaft*. Suhrkamp.
12. Antonovski, A. & Schleiermacher, F. (2018) Fragment from “Gelegentliche Gedanken über den Universitäten in Deutschland. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 55(1). pp. 215–235.
13. Stichweh, R. (2013) *Wissenschaft, Universität, Professionen. Soziologische Analysen*. Bielefeld: [s.n.].

УДК 165.0

DOI: 10.17223/1998863X/55/30

Н.А. Касавина

НАУЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЫБОР¹

Предпринимается попытка осмысления научного призвания как экзистенциального выбора в связи с идеями И.Т. Касавина о призвании ученого. Показано, что призвание осознается как сопряжение случайных предпосылок личностного становления и действия ценностно-культурных оснований, ориентирующих человека на мужественное следование «предельным смыслам».

Ключевые слова: научное призвание, ученый, экзистенциальный выбор, экзистенциальный опыт, смысложизненные ценности.

Зачем ты живешь тою жизнью, что живешь?

Зачем ты делаешь все то, что ты делаешь?

Л.Н. Толстой

В размышлениях И.Т. Касавина научное призвание во многом предстает воплощением экзистенциального выбора. При этом автор констатирует сложность его понимания и исследования в таком ракурсе и интерпретирует призвание как доисторический, резидуальный феномен, пришедший к нам сквозь века, как жертва или ритуальный дар, связывающий ученого с древними магическими практиками сообщения с иным миром.

Смысл слова «призвание» указывает на сопряженность индивидуальных стремлений, потребностей, интересов человека и надындивидуальных ценностей, которые «призывают» его к особой миссии как предназначению. Ответ на этот призыв личность осуществляет экзистенциально, «всем существом своим», как сказал бы Лев Толстой, через смысложизненный вектор своей деятельности. Жизнь в соответствии с этим взглядом обладает ценностью не сама по себе, а как путь к особой конфигурации смыслов, как связь с предельными ценностями, с достижениями культурного поиска трансцендентных оснований бытия, а глубже – с древними практиками отношения к миру через область запредельного. В экзистенциальном выборе призвания действует «трансцендентный разум» – разум, занятый «последними» вопросами, «предельной заботой» (П. Тиллих). Это разум личности, совершающей прыжок в реальность этих вопросов, под знаменем которых осуществляется повседневность и конкретная научная практика.

Экзистенциальный выбор как сочетание рациональных (когнитивных) и внерациональных личностных факторов нельзя свести к интеллектуальной задаче или выбору занятия, к процессам оценки и взвешивания альтернатив. Это выбор личностью самой себя, предопределенный целостным опытом и конкретными решениями, мотивацией и личностными свойствами. Он фундируется сложным комплексом факторов: традицией, культурными образца-

¹ Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание».

ми, особенностями социализации и может быть прояснен субъектом в ходе самопонимания и саморефлексии. Опираясь на некоторые примеры такого самопонимания, попробуем определить черты научного призвания как экзистенциального выбора и опыта.

Ролло Мэй в своих воспоминаниях о Пауле Тиллихе, друге и учителе, делится рассуждениями о становлении его как мыслителя, излагая как свои собственные выводы, так и интерпретацию самого Тиллиха. Уникальность мышления П. Тиллиха и выбора им призвания раскрывается как «затронутость» культурой Европы особым «трагизмом жизни», пришедшим из тех глубин, «которых можно было достичь только благодаря этому трагическому ощущению» [1. С. 5]. Сам Тиллих рассматривал собственное духовное становление как процесс, протекающий там, где «каждый камень является свидетелем многовекового прошлого», вызывающего «ощущение истории как живой реальности, где прошлое в полной мере участвует в настоящем» [Там же. С. 15].

Р. Мэй, рассуждая также о своем духовном росте, определившем его путь в науке, к поворотным событиям относит восприятие культуры Греции. Для него как представителя американской культуры это было особым экзистенциальным переживанием значения человеческого разума и «неукротимого духа» древних греков. «Затронутость» ценностью или смыслом можно полагать как важнейший фактор и начальный этап формирования призвания при всей сложности конкретной истории становления ученого. Размышляя в терминах статьи И.Т. Касавина, призвание есть дар – дар веков, дар культуры, дар многих поколений и пройденного ими опыта. Это своеобразный пример толкования историзированного, ценностно и культурно укорененного абсолюта, который находится в центре мифа науки и истолкован в основном в секулярном духе.

Призвание как смысло-жизненная перспектива предельной заботы находится в сопряженности со смертью. Оно в некотором смысле есть ответ личности самой себе перед лицом смерти – вопроса всех вопросов. Символ смерти здесь обретает значение «лица», перед которым человек рождается в своих мыслях и опыте [2. С. 207].

Р. Мэй писал: «Я ощущал прямую связь между выдающимися деятелями древнегреческой культуры – Эсхилом, Софоклом, Фидием – и самим Паулем... Каждый сиял точно драгоценный камень, и свет порождало сознание того, что мы пришли на эту землю на краткий миг, чтобы изобрести машины, или обдумать и высказать мысль, или выкрикнуть слова своих стихов» [1. С. 25]. Смерть здесь имеет значение в сочетании с особой конфигурацией ценностей европейской культуры, сочетающей в себе как идею служения или поддержания гуманистических и романтических идеалов, так и идею самореализации в отведенное человеку время, в «граничности» его бытия. Так, для П. Тиллиха особое значение имело «ощущение бездны», в котором он распознавал положительный смысл. Своим мужеством, творчеством, самим существованием – человек противостоит бездне, хаосу и строит космос. «Ощущение бездны», при этом, «выводит за пределы ценностей», делает возможным полноту переживания таинственного присутствия и новой встречи с самим собой. [Там же. С. 111].

Любовь П. Тиллиха к бездне Р. Мэй интерпретирует как его потребность «жить на рубеже», в напряжении мысли и опыта, столкновении противостоящих сил, преодолении и поиске связи. Именно на такой границе или таком рубеже человек, по словам М. Мамардашвили, «завязывает историю актом» [2. С. 160], среди случайностей, в акте самоопределения. Что это за акт? Это, несомненно, «граничное переживание», посредством которого человек оказывается «перед невозможностью возможного или перед возможной невозможностью». Это ощущение неких границ, с которых человек смотрит на мир и в которых «завязывается» его история и продолжается история вообще [Там же. С. 161].

В «Беседах о мышлении» М. Мамардашвили акцентирует, что мышление возможно в граничности опыта, когда человек выброшен из мира и когда он действительно сознает свою конечность. Мысль рождается перед фактом конечности как осознания того, что время ограничено, пути, определившие опыт, уже состоялись, «завязались». Другое невозможно или другое есть «невозможная возможность» во времени, устремленном к смерти [Там же. С. 165]. Это открывает экзистенциальную трагедию призвания, которое также «завязывается» в граничности существования, в «неразрешенном сознании», несущем бремя страдания; «сознанием – которое на границе, потому что не уместается в мире, оно из него выталкивается, оно неуместно» [Там же. С. 163]. Собственную «неуместность» ученые в истории науки и культуры не раз испытывали и проносили через всю жизнь, нередко трагически заканчивая ее.

Ученый, осуществляя призвание, совершает «завязывающие акты», соединяя культурные предпосылки и случайности, прошлое и настоящее в творении настоящего и будущего. Толкование научного призвания П. Тиллихом выступает как пример действия культурно-исторических, ценностных предпосылок, сложившихся в рамках европейской культуры, где наука является образцом рациональности как наивысшей культурной ценности. В целом это толкование укладывается в предлагаемую И.Т. Касавиным историю философского и научного рационализма в европейской культуре, которая «придала мифу науки очевидность, достигшую кульминации в эпоху Просвещения».

Обратимся еще к одному примеру «распутывания» призвания и завязывающих его актов – автобиографическому очерку Г. Марселя, который принял ту самую трудную «рациональную артикуляцию морально-эпистемических интуиций», о которой пишет И.Т. Касавин. Сложность человеческого и профессионального самоопределения в мире предстает здесь «странным симбиозом морального сознания и смерти, вызывающим чувство опустошенности и непобедимого отчаяния» [3. С. 270].

Г. Марсель пытался определить «зачастую почти недоступные формулировке диспозиции» собственных поисков призвания, и в этом определении преобладает не «затронутость» ценностью, а случайность. Он представил интуиции тех границ, в которых «завязывались» его жизненная история и путь в философии и науке. Так, свою склонность к идеализму Г. Марсель трактовал следующим образом: «Когда я обращаюсь к своему детству, в котором был столь опекаем и которое в определенных отношениях было столь ограниченным и замкнутым, когда я вспоминаю эту атмосферу моральных тонкостей и гигиенических предписаний, мне представляется, что я самым простым обра-

зом объясняю, почему дух абстракции пропитывал сам климат, в котором зарождалась моя философская мысль, почему изначально я спонтанно принял враждебную, даже почти презрительную установку по отношению к эмпиризму. И мне хочется спросить себя, а не было ли это своеобразным преломлением того ужаса перед микробами и всяческой грязью, который был мне внушен с самого нежного возраста?.. Зато в мире Идей я мог устроить себе своего рода оплот или приют, где я был у себя дома...» [3. С. 262].

Развитие своих драматургических способностей Г. Марсель объяснял отсутствием братьев и сестер, одиночеством в детстве. Диалоги между персонажами в воображаемых пьесах заменяли мальчику это отсутствие. Кроме того, рефлексия человеческих отношений, осознание их «неразрешимостей» (непреодолимого различия взглядов и темпераментов) была основанием последующего утверждения гармонии, справедливости, истины как противовеса. Драматургическое творчество представало как выход из лабиринта абстрактной мысли и одиночества.

Истоки религиозности также понимаются им в контексте психологической и духовной атмосферы собственного развития. Она включает гипертрофированную опеку, которая вызвала глубокий протест по отношению к близким и системе ценностей, ощущение опустошенности мира под влиянием смерти матери и последующих семейных отношений. «Вглядываясь сегодня в эти трудные годы, предшествовавшие моей философской инициации, я ясно вижу, что непрерывная тревога, сопровождавшая мою школьную жизнь, соединялась с уклонявшимся от формулировки чувством безвозвратности и смерти... Шведский пейзаж, с которым я познакомился на девятом году жизни... изобиловавший скалами, деревьями и водами, преследовавший меня томительной ностальгией, стал символом того мира страданий, который я носил в себе...» [Там же. С. 269–270]. В этой тревоге и в последующих переживаниях, связанных с Первой мировой войной, он усматривал истоки собственного экзистенциального мировоззрения.

Приведенные интерпретации становления научного и философского призвания отражают его сложный, амбивалентный характер: оно актуализируется на стыке влияния культуры и уникального экзистенциального опыта. В этом смысле надежная основа научного призвания действительно неразличима, не вписывается в синхронный порядок каких-либо отношений, как показывает И.Т. Касавин. Она выходит за их пределы. Является ли призвание при этом формой доисторического явления, первичного исторического события, сказать трудно. Но то, что оно может быть понято как жертва и дар, сомнения не вызывает, как и то, что оно требует мужества, как и каждое дело, глубоко затрагивающее человека. Призвание, мужественно обретаемое в цепи случайностей, на границе возможного и невозможного, – поистине дар (дар ученому и дар ученого). Мужество как неустранимый элемент человеческого развития, в том числе и профессионального, как добродетель, которая не находится в ряду других, имеет основополагающее значение как «самоутверждение бытия вопреки угрозам небытия» (П. Тиллих), как труд «оставаться в долготе человеческого существования» (М. Мамардашвили) [2. С. 192]. Призвание не является даром свыше, а обретается в мужестве труда, мужестве конфронтации и напряжения, мужестве понимания, что нет никаких автоматических гарантий и что нужно идти навстречу своим еще полностью не

актуализированным возможностям для утверждения науки как общественного блага.

Призвание как экзистенциальный феномен включает элемент рефлексивного самоопределения, являясь реконструкцией истории жизни, личностного и научного становления, рационализацией глубинных эмоциональных, ценностных, культурных предпосылок индивидуального развития и его связи с представлениями о научном этосе.

Призвание есть элемент культурной памяти и нематериального наследия, который связывает современность с предшествующими эпохами и их достижениями. Метафизический смысл призвания, который в истории культуры фундаментализировался трансцендентной перспективой бытия, возрождается на секулярной почве в форме гуманистических оснований культуры и существования человека. Во многом ему противостоит процесс все большего слияния науки и технического прогресса, науки и бизнеса, науки и власти, что было осмыслено в специальной дискуссии [4–9].

Дискурс о предназначении личности является воспоминанием об утраченном трансцендентном основании культуры и вместе с тем продолжением его влияния на современный мир. Человек как субъект призвания во многом сохраняет значение посредника двух миров, жреца, который не должен упустить своего предназначения и должен «родить из него то, что должно... в нем родиться; иначе это уйдет в небытие и никем другим не будет компенсировано...» [2. С. 205].

Призвание как экзистенциальный опыт «приходит издалека», как приходят чувства в известной строке П. Валери, которые человек открывает для себя в жизни как истории. В этом открывании и «распутывании» сплетены переживание и понимание: чтобы понять, надо пережить, и наоборот, чтобы пережить, необходимо понять и пережить в еще большей глубине. Ученый, идущий по пути призвания, реконструирует его очертания и поистине преподносит дар: «распутывает» себя как результат длительной цепочки случайных и неслучайных событий, переживаний, решений, действий, определяет ключевые смыслы научной деятельности перед лицом «последних вопросов», адресует их обществу настоящего и будущего и ждет ответа, который может случиться...

Литература

1. Мэй Р. Пауль Тиллих. Воспоминания о дружбе. М. : ИОИ, 2013. 192 с.
2. Мамардашвили М.К. Беседы о мышлении. М. : Фонд Мераба Мамардашвили, 2015. 816 с.
3. Марсель Г. Взгляд в прошлое // Марсель Г. О смелости в метафизике : сб. ст. СПб. : Наука, 2013. С. 259–288.
4. Никифоров А.Л. Трансформация науки в XX в.: от поиска истины к совершенствованию техники // Эпистемология и философия науки. 2019. Т. 56, № 3. С. 20–29.
5. Антоновский А.Ю. Мах, Пуанкаре и Вебер: в действительности все не так, как на самом деле // Эпистемология науки и философия. 2019. Т. 56, № 3. С. 30–35.
6. Касавина Н.А. О бремени техники и миссии ученого // Эпистемология и философия науки. 2019. Т. 56, № 3. С. 36–39.
7. Масланов Е.В., Долматов А.В. Гражданская наука – наука как призвание // Эпистемология и философия науки. 2019. Т. 56, № 3. С. 40–44.
8. Столярова О.Е. Можно ли говорить о грехопадении науки // Эпистемология и философия науки. 2019. Т. 56, № 3. С. 45–50.

9. Тухватулina Л.А. О мнимом противоречии в научной рациональности // Эпистемология и философия науки. 2019. Т. 56, № 3. С. 51–55.

Nadezda A. Kasavina, Russian Society for History and Philosophy of Science (Moscow, Russian Federation).

E-mail: kasavina.na@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 279–284.

DOI: 10.17223/1998863X/55/30

SCIENTIFIC VOCATION AS AN EXISTENTIAL CHOICE

Keywords: scientific vocation; scientist; existential choice; existential experience; life-purpose value.

The article attempts to understand scientific vocation as an existential choice in connection with Ilya Kasavin's work on the calling of the scientist. The article recognizes vocation as a combination of random preconditions of personal formation and the influence of value and cultural foundations orienting a person to the courageous adherence to "ultimate senses". Scientific vocation appears as a scientist's "unravelling" of the history of his/her life in the horizon of existential experience determining the main lines of self-development. The calling of the scientist is an element of cultural memory connecting modernity with the spiritual heritage of the past. "Disenchanted" ideals and values continue playing a key role in the formation of the scientific ethos on a secular basis. It is shown that rationalization of scientific vocation helps construing the motivation of scientific growth. Relevant illustrations refer to Gabriel Marcel's autobiographical essay and Rollo May's memoirs about Paul Tillich's spiritual formation.

References

1. May, R. (2013) *Paul' Tillich. Vospominaniya o druzhbe* [Paul Tillich: Reminiscences of a Friendship]. Translated from English by E. Semenova. Moscow: IOI.
2. Mamardashvili, M. (2015) *Besedy o myshlenii* [Conversations about thinking]. Moscow: Fond Meraba Mamardashvili.
3. Marcel, G. (2013) *O smelosti v metafizike* [On Courage in Metaphysics]. Translated from French. St. Petersburg: Nauka. pp. 259–288.
4. Nikiforov, A.L. (2019) The Transformation of Science in the XX Century: from the Search of Truth to the Enhancement of Technology. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science. 56(3)*. pp. 20–29. (In Russian). DOI: 10.5840/eps201956342
5. Antonovski, A.Yu. (2019) On Misinterpretation of Mach, Poincaré and Weber. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science. 56(3)*. pp. 30–35. (In Russian). DOI: 10.5840/eps201956343
6. Kasavina, N.A. (2019) On the Burden of Technology and the Mission of a Scientist. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science. 56(3)*. pp. 36–39. (In Russian). DOI: 10.5840/eps201956344
7. Maslanov, E.V. & Dolmatov, A.V. (2019) Civil Sciences – Science as a Vocation. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science. 56(3)*. pp. 40–44. (In Russian). DOI: 10.5840/eps201956345
8. Stolyarova, O.V. (2019) Can We Talk about the Fall of Science. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science. 56(3)*. pp. 45–50. (In Russian). DOI: 10.5840/eps201956346
9. Tuhvatulina, L.A. (2019) On the Alleged Contradiction in Scientific Rationality. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science. 56(3)*. pp. 51–55. (In Russian). DOI: 10.5840/eps201956347

УДК 001.38

DOI: 10.17223/1998863X/55/31

Л.А. Тухватулина

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СУРРОГАТНОЕ ЗНАНИЕ: О СОЦИАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ НЕДОВЕРИЯ К НАУКЕ¹

Рассматривается проблема социальных оснований недоверия к науке, которое выражается в том числе в востребованности псевдо- и антинаучных движений. Автор анализирует перспективы использования персоналистской модели доверия в укреплении легитимности науки как социального института и возлагает надежды на появление лидеров общественного мнения среди ученых. Преодолению кризиса институционального доверия может способствовать экспансия научной рациональности.

Ключевые слова: научный этос, рациональность, модерн, доверие, институты, антинаучные движения.

В своей статье Илья Теодорович Касавин осмысливает призвание ученого и приходит к заключению, что один из вызовов, с которым сталкивается наука сегодня, – неспособность общества оценить знание как бесценный дар науки. В этой реплике мне бы хотелось обратить внимание на социальные основания недоверия к научному знанию и, как следствие, востребованность псевдо- и антинаучных движений. Я предполагаю, что отрицание научного знания является парадоксальным ответом на усиливающееся информационное давление, а также свидетельствует о глобальном кризисе институционального доверия, который переживает современное общество.

«Организованный скептицизм» является одной из фундаментальных ценностей научного этоса, которая задает высочайший эпистемический стандарт научного знания и выражает его способность к самокоррекции. Однако еще Р. Мертон проникательно отметил, что эта важнейшая особенность науки делает ее особенно уязвимой для критики со стороны профанов, не доверяющих ученым в силу их «непостоянства» и стремления к постоянному пересмотру научного знания. Рациональный скепсис как главная добродетель познающего разума приходит в труднопреодолимое противоречие с фундаментальным стремлением человека минимизировать «основополагающее беспокойство», утвердившись в определенном видении мира. Этим экзистенциальным ожиданиям в большей степени соответствуют представления, которые разделяют люди, стоящие в оппозиции официальной науке. При этом весьма характерно, что различные псевдо- и антинаучные движения (гомеопаты, ВИЧ-диссиденты, антипрививочники и пр.) используют весьма характерную стратегию легитимации. Зачастую их представители вовсе не стремятся полностью отмежеваться от науки, но спекулируют на том, что в науке-де есть альтернативные точки зрения, которые по тем или иным причинам блокируются мейнстримом. Лидерами среди гомеопатов и адептов

¹ Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание».

нетрадиционной медицины часто становятся бывшие врачи, которые якобы разочаровались в медицинской практике и устали от давления фарминдустрии. И теперь, следуя клятве Гиппократу, хотят рассказать людям правду о самоизлечении организма и неограниченных возможностях эффекта плацебо. Отрицатели ВИЧ, защищая свою позицию, всякий раз ссылаются на нобелевского лауреата Кэрри Муллиса и знаменитого биолога Питера Дюсберга, чьи имена связаны с разоблачением «мифа» о смертельной угрозе СПИДа. Не замалчивается ВИЧ-диссидентами и то обстоятельство, что эти ученые стали персонами нон-грата в науке, будучи уличенными в недобросовестном отношении к фактам и доказательствам. Их дисквалификация лишь подтверждает, что официальная наука избавляется от борцов за правду, стремясь во что бы то ни стало защитить «главную аферу XX века». Антипрививочники, склоняя аудиторию к вере в связь между прививками и аутизмом у детей, отсылают к соответствующей публикации 1998 г. в журнале *The Lancet*. При этом замалчивается, что несколько лет спустя статья была отозвана редакцией, поскольку авторы были уличены в конфликте интересов и фальсификации результатов исследования.

Эти примеры свидетельствуют, что информационные спекуляции эпохи постправды происходят *не внутри* науки, но *вокруг* нее. Это уточнение мне кажется весьма важным. Оно позволяет утверждать, что развитие антинаучных движений является скорее симптомом социального кризиса, чем кризиса самой науки. А потому он едва ли может быть преодолен путем переосмысления концепции научного этоса. Названные антинаучные «теории» объединяет то, что все они в той или иной мере являются конспирологическими. Склонность людей верить в «конспирологию» может вызывать усмешку в образованных и тем более научных кругах, однако у этой веры есть серьезные социальные предпосылки [1]. Исследователи отмечают, что люди отдают предпочтение конспирологическим теориям, поскольку те отвечают психологическим мотивам, которые условно подразделяются на эпистемические (стремление к достижению точности и субъективной уверенности в знании), экзистенциальные (стремление к контролю и безопасности) и социальные (поддержание групповой солидарности) [2. Р. 538]. Массовая вера в конспирологические теории говорит о том, что архаические формы мышления все еще влияют на картину мира современного человека. Здесь одной из важнейших предпосылок является разочарование в социальных институтах. Так, системные проблемы в здравоохранении (недостаток финансирования и / или нехватка по-настоящему профессиональных врачей) побуждают людей обращаться за помощью к тем, кто стоит в оппозиции официальной медицине. Дисфункция политических институтов (коррупция и высокий уровень неравенства) укрепляет убеждение во всемогуществе политической элиты, подавляет гражданскую активность и усиливает ощущение отсутствия контроля над происходящим [3]. В этом смысле показательна корреляция, которую обнаруживают социологи: антипрививочники в Европе массово голосуют за популистские партии [4]. В целом социально-экономическое неравенство становится основным фактором resentimentных настроений в обществе.

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что нарастающее недоверие к социальным институтам не является специфической особенностью конкретного общества, но представляет один из главных вызовов современности. По мне-

нию Энтони Гидденса, структурная трансформация современного общества сопровождается переходом от «до-модерного» режима персонализированного доверия к «модерному» доверию к «абстрактным системам» [5]. Однако сам этот процесс весьма проблематичен. Так, основным препятствием для перехода к новому режиму является «рефлексивная природа» социальных институтов, которая, в свою очередь, характеризует меру их адаптивности к возникающим рискам. «Рефлексивная природа» главным образом выражается в высокой динамике перехода от незнания к знанию и обратно. Объективной предпосылкой этого процесса становится сжатие исторического времени в современном обществе, где скорость распространения информации стремится к скорости ее возникновения. Именно в этом состоит один из ключевых факторов, подрывающих доверие к социальным институтам в глобальном мире – люди попросту не успевают за изменениями. Так, скрытая от глаз обывателя машинерия науки делает научный поиск едва ли не эзотерической практикой. При этом сохранение устойчивой картины мира остается одной из базовых потребностей человека. Однако при отсутствии ощущения «онтологической безопасности» архаизация обыденного сознания выражает реакцию на фрустрирующую «текучесть» модерна.

В свою очередь, неготовность общества к принятию «даров ученых» не должна вызывать удивление, поскольку она лишь отражает общую тенденцию. Однако если тезис Гидденса о недоверии правомерен, то решение проблемы может быть найдено через изменение стратегии «дарителя». Доверие к «абстрактной системе» науки можно упрочить благодаря использованию ресурса персоналистской модели. В пользу этого свидетельствует эффективность такой модели в распространении антинаучных движений. Во главе этих движений, как правило, находится харизматичный лидер, «гуру», привлекающий новых адептов личным примером и незаурядной способностью убеждать. Возможно, и в науке доверие к институту укрепляется тогда, когда среди ученых появляются свои лидеры общественного мнения – посредники, которые умеют переводить научное знание на доступный для широкой аудитории язык. Формирование институционального доверия сопряжено с появлением все новых «точек доступа» к знанию, которое, в свою очередь, должно быть адаптировано под непрофессиональную, но заинтересованную аудиторию. И хотя негативным следствием такой популяризации становится превращение ученого в «универсального эксперта», мнение которого признается авторитетным даже за пределами его компетенций, однако вместе с тем нарастает и интерес людей к науке.

В этой связи существенно обратить внимание на скепсис, который вызывает тезис о необходимости доверия к науке. Постпозитивистская критика увенчалась разоблачением мифа о превосходстве научной рациональности и, как следствие, дискредитацией общественного авторитета науки. Если научная рациональность не обладает привилегированным статусом и является не более чем «традицией», то «сциентизация» выражает экспансионистские амбиции науки, ограничение которых, в свою очередь, послужит интересам свободного общества. Не ставя под сомнение значение релятивизма для эпистемологии, отметим, что в публичной сфере он послужил дискредитации науки и интеллектуальной легитимации различных псевдо- и антинаучных течений. Кроме того, аргументы в защиту паритета различных типов рацио-

нальности, сформулированные более 40 лет назад, сегодня, когда каждая «традиция» получает доступ к аудитории благодаря Интернету, утрачивают былую актуальность. В условиях нарастающего давления более актуальной становится проблема качества информации и воспитания ее компетентного потребителя. И потому главный дар, который наука способна дать обществу (помимо собственно научного знания), это научный этос. И если «миф» о величии научного метода подвергся деконструкции в ходе анализа внутренней истории науки, то научный этос все еще не исчерпал возможности для легитимации науки. Решающая роль здесь принадлежит самому научному сообществу, которое должно бескомпромиссно относиться к любым этическим нарушениям. Если экспансия научной рациональности предполагает в том числе трансляцию ценностей научного этоса, то ее результатом могут стать повышение стандартов критической оценки информации в сообществе и, как следствие, эффективное сопротивление информационному давлению. Кроме того, этос задает высочайший стандарт демократической коммуникации в науке, где каждый – вне зависимости от статуса и регалий – имеет право на значимое суждение, которое может стать частью научного знания, если выдержит рациональную критику. А потому важно, чтобы эта модель делиберации стала эталонной для демократического общества в целом [6]. Решение данной задачи требует участия философии. Эпистемология сегодня должна встать на защиту науки, чтобы способствовать упрочению ее общественного авторитета. Возможно, в этом и состоит социальное призвание современного философа. Такого рода защита не сможет побороть социальные факторы недоверия к науке, однако будет щедрым даром науке от философии, которая всегда устремляла жало рациональной критики против лжи и бесчестия – во имя добродетелей разума.

Литература

1. Goertzel T. Belief in Conspiracy Theories // *Political Psychology*. 1994. Vol. 15. P. 731–742.
2. Douglas K. et. al. The Psychology of Conspiracy Theories // *Current Directions in Psychological Science*. 2017. Vol. 26 (6). P. 538–542.
3. Bruder M. et. al. Measuring Individual Differences in Generic Beliefs in Conspiracy Theories Across Cultures: Conspiracy Mentality Questionnaire // *Frontiers in Psychology*. 2013. Vol. 4. Article 225.
4. Kennedy J. Populist Politics and Vaccine Hesitancy in Western Europe: an Analysis of National-Level Data // *European Journal of Public Health*. 2019. Vol. 29, is. 3. P. 512–516.
5. Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011. 352 с.
6. Collins H., Evans R. Populism and Science // *Эпистемология и философия науки*. 2019. Т. 56, № 4. С. 200–218.

Liana A. Tukhvatulina, Russian Society for History and Philosophy of Science (Moscow, Russian Federation).

E-mail: spero-meliora@bk.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2020. 55. pp. 285–289.

DOI: 10.17223/1998863X/55/31

ONTOLOGICAL SECURITY AND SURROGATE KNOWLEDGE: ON THE SOCIAL BASIS OF THE DISTRUST OF SCIENCE

Keywords: scientific ethos; rationality; Modernity; trust; institutes; anti-scientific movements.

The article considers the problem of social grounds for the distrust of science, which is connected with the demand for pseudo- and anti-scientific movements. The author believes that the opposition

movements to official science speculate on a person's desire for "ontological security" and a stable picture of the world. In this regard, the "reflexive nature" of scientific knowledge turns out to be an obstacle to gaining a solid existential foundation in the face of increasing information pressure. The author believes that the archaization of ordinary consciousness becomes a response to intensive structural changes in the society and indicates a protest attitude towards them. Referring to Anthony Giddens' ideas, the author claims that the distrust of science is associated with the destruction of a personalist model of pre-modern trust and the need for a transition to trust in "abstract systems". In this regard, the author analyzes the prospects of using a personalist model of trust in strengthening the legitimacy of science as a social institution and places hopes on the emergence of public opinion leaders among scientists. The expansion of scientific rationality, which will be primarily associated with the recognition of scientific ethos as a reference model of communication in a democratic society, can help overcome the crisis of institutional trust.

References

1. Goertzel, T. (1994) Belief in Conspiracy Theories. *Political Psychology*. 15. pp. 731–742.
2. Douglas, K. et. al. (2017) The Psychology of Conspiracy Theories. *Current Directions in Psychological Science*. 26(6). pp. 538–542. DOI: 10.1177/0963721417718261
3. Bruder, M. et. al. (2013) Measuring Individual Differences in Generic Beliefs in Conspiracy Theories Across Cultures: Conspiracy Mentality Questionnaire. *Frontiers in Psychology*. 4. Article 225. DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00225
4. Kennedy, J. (2019) Populist Politics and Vaccine Hesitancy in Western Europe: An Analysis of National-Level Data. *European Journal of Public Health*. 29(3). pp. 512–516. DOI: 10.1093/eurpub/ckz004
5. Giddens, A. (2011) *Posledstviya sovremennosti* [The Consequences of Modernity]. Moscow: Praksis.
6. Collins, H. & Evans, R. (2019) Populism and Science. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 56(4). pp. 200–218. DOI: 10.5840/eps201956476

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АНКИН Дмитрий Владимирович – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры онтологии и теории познания Института социальных и политических наук Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: dmitryankin@gmail.com

АНТОНОВСКИЙ Александр Юрьевич – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН; научный сотрудник Русского общества истории и философии науки (г. Москва).

Email: antonovski@iph.ras.ru

АНТУХ Геннадий Геннадьевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории логико-философских исследований Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (г. Томск).

E-mail: g.antukh@yandex.ru

БЛАГИНИН Владислав Сергеевич – научный сотрудник Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ (г. Липецк).

E-mail: Kibervlad@mail.ru

БОГДАН Игнат Викторович – кандидат политических наук, начальник отдела медико-социологических исследований Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (г. Москва).

E-mail: bogdaniv@zdrav.mos.ru

БЫКОВ Александр Александрович – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры социальной работы философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: aab56@sibmail.com

БАВИЛИНА Надежда Дмитриевна – доктор социологических наук, советник при ректорате Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (г. Новосибирск).

E-mail: nd.vavilina@gmail.com

ВАЙСБУРГ Александра Владимировна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета (г. Тверь).

E-mail: lassiel@inbox.ru

ГИЗБРЕХТ Евгения Сергеевна – магистрант философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: ev.gizbrekht@gmail.com

ГОЛДОВСКАЯ Алёна Викторовна – аспирант кафедры онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: Alyona170494@mail.ru

ГОЛОВАШИНА Оксана Владимировна – кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и методологии науки Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина (г. Тамбов); научный сотрудник Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ (г. Липецк).

E-mail: ovgolovashina@mail.ru

ГОЛОВИНА Юлия Анатольевна – аспирант кафедры истории философии и логики философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: jagolovina@gmail.com

ГОНЧАРЕНКО Марк Васильевич – доктор философских наук, доцент, доцент отделения социально-гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки Национального исследовательского Томского политехнического университета (г. Томск).

E-mail: markgon73@rambler.ru

ГРИШИН Николай Владимирович – доктор политических наук, профессор кафедры политических институтов и прикладных политических исследований Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).

E-mail: nvgrishin@mail.ru

ГУКОВА Ангелина Валерьевна – ассистент кафедры философии с курсами культурологии, биоэтики и отечественной истории Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск).

E-mail: angelina.gukovaa@yandex.ru

ГУРЫЛИНА Мария Владимировна – старший аналитик отдела медико-социологических исследований Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (г. Москва).

E-mail: gurylinamv@zdrav.mos.ru

ДЕМЧУК Артур Леонович – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры сравнительной политологии факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; старший научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) (г. Москва).

E-mail: arthur@leadnet.ru

ЕФРЕМОВА Евгения Анатольевна – аспирант Новосибирского государственного университета экономики и управления (г. Новосибирск).

E-mail: Eea-207@yandex.ru

ЗВЕРЕВ Андрей Леонидович – кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; доцент кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва).

E-mail: zveandr@mail.ru

ЗЕЙЛЕ Николай Иосифович – кандидат философских наук, доцент кафедры истории и методологии науки философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: aab56@sibmail.com

КАСАВИН Илья Теодорович – доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник, руководитель сектора социальной эпи-

стемологии, заведующий кафедрой философии физического факультета Института философии РАН (г. Москва).

E-mail: itkasavin@gmail.com

КАСАВИНА Надежда Александровна – доктор философских наук, доцент, исследователь Русского общества истории и философии науки (г. Москва).

E-mail: kasavina.na@yandex.ru

КОСАРЕВ Андрей Викторович – кандидат философских наук, старший преподаватель Отдела подготовки кадров в аспирантуре Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).

E-mail: andrkw@rambler.ru

ЛОБОВИКОВ Владимир Олегович – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург).

E-mail: vlobovikov@mail.ru

ЛОЗОВСКАЯ Ксения Борисовна – старший преподаватель кафедры востоковедения департамента международных отношений, заместитель директора Института Конфуция, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: ksenia.lozovskaya@urfu.ru

ЛЬВОВ Денис Владимирович – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета (г. Красноярск).

E-mail: devlal86@gmail.com

МАСЛАНОВ Евгений Валерьевич – кандидат философских наук, научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии Российской академии наук; исследователь Русского общества истории и философии науки (г. Москва).

E-mail: evgenmas@rambler.ru

МЕНЬШИКОВ Андрей Сергеевич – кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии, философской антропологии, истории и теории культуры Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: andreimenchikov@gmail.com

МИХАЙЛОВ Игорь Феликсович – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН (г. Москва).

E-mail: ifmikhailov@gmail.com

НИКОЛИНА Надежда Валерьевна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и методологии науки Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

Email: nikolinanadya@gmail.com

ОВЧИННИКОВ Александр Викторович – кандидат исторических наук, доцент Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирязова (г. Казань); научный сотрудник Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ (г. Липецк).

E-mail: ovchinnikov8_831@mail.ru

ПЕТРЕНКО Александр Николаевич – кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры философии с курсами культурологии, биоэтики и отечественной истории Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск).

E-mail: alexandr_n@mail.ru

ПУРГИНА Екатерина Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: kathy13@yandex.ru

РУДЕНКИН Дмитрий Васильевич – кандидат социологических наук, доцент кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: d.v.rudenkin@urfu.ru

СТОЛЯРОВА Ольга Евгеньевна – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Русского общества истории и философии науки (г. Москва).

E-mail: olgastoliarova@mail.ru

ТАРАБАНОВ Николай Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии, теории познания и социальной философии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: nikotar@mail.tsu.ru

ТУХВАТУЛИНА Лиана Анваровна – кандидат философских наук, исследователь Русского общества истории и философии науки (г. Москва).

E-mail: spero-meliora@bk.ru

ХРОМЧЕНКО Анна Сергеевна – магистрант кафедры философии и методологии науки философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: annhs971017@gmail.com

ЦЕЛИЩЕВА Оксана Ивановна – кандидат философских наук, младший научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).

E-mail: oxanatse@gmail.com

ЧИСТЯКОВА Дарья Павловна – аналитик отдела медико-социологических исследований Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (г. Москва).

E-mail: chistyakovadp@zdrav.mos.ru

ШАХМАТОВА Елена Васильевна – доктор философских наук, доцент Российского института театрального искусства – ГИТИС, начальник научного отдела (г. Москва).

E-mail: Elena.Shahmatova@gmail.com

ШИБАРШИНА Светлана Викторовна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород).

E-mail: svet.shib@gmail.com

ЯКОВЛЕВ Валентин Валентинович – кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры археологии, истории древнего мира и средних веков Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (г. Тюмень).

E-mail: v-yakovlev@yandex.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2020. № 55

Редактор *Е.Г. Шумская*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 25.06.2020 г. Дата выхода в свет 10.07.2020 г.

Формат 70x100^{1/16}. Печ. л. 18,4; усл. печ. л. 23,9; уч.-изд. л. 25,2.

Тираж 50 экз. Заказ № 4359. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru